

ВРЕМЯ
И БОГИ

ХРУСТАЛЬНАЯ
ПРОЗА



ЛОРА
ДАНСЕЙНИ

ВРЕМЯ И БОГИ

ЛОРА
ДАНСЕЙНИ





Hunsan

ХРУСТАЛЬНАЯ ПРОЗА

ЛОРД ДАНСЕЙНИ



ВРЕМЯ И БОГИ

с иллюстрациями Сидни Сайма

Москва
«ВЕЧЕ»

УДК 821.111-3

ББК 84(4Вел)

Д18

Иллюстрации

Сидни Сайма

Составление, комментарии и общая редакция текстов

В.С. Кулагиной-Ярцевой

Перевод с английского

The Gods of Pegana – Copyright © 1905 by Lord Dunsany

Time and the Gods – Copyright © The Estate of Lord Dunsany first published 1906

Fifty-One Tales – Copyright © The Estate of Lord Dunsany first publishes 1915

The Man Who Ate the Phoenix – Copyright © The Estate of Lord Dunsany first 1949

Издание осуществлено с разрешения

Curtis Brown UK и Synopsis Literary Agency

Редакция выражает благодарность Элизабет Ван Лир (Elizabeth Van Lear),

Джо Дойлу (JW Doyle) и Григорию Бондаренко

за помощь при подготовке этого издания

Дансейни, Л.

Д18 Время и боги: рассказы / Лорд Дансейни; [пер. с англ. под ред. В.С. Кулагиной-Ярцевой]. – М.: Вече, 2015. – 528 с. – (Хрустальная проза).

ISBN 978-5-4444-2417-9

Знак информационной продукции 12+

Впервые в полном объеме русскому читателю представляются авторские сборники знаменитого ирландского писателя Лорда Дансейни, одного из основоположников жанра фэнтези, оказавшего большое влияние на творчество таких не похожих друг на друга авторов, как Х.Л. Борхес, Дж.Р.Р. Толкин, Г.Ф. Лавкрафт, Р. Шекли, и многих других мастеров литературы парадокса и воображения.

УДК 821.111-3

ББК 84(4Вел)

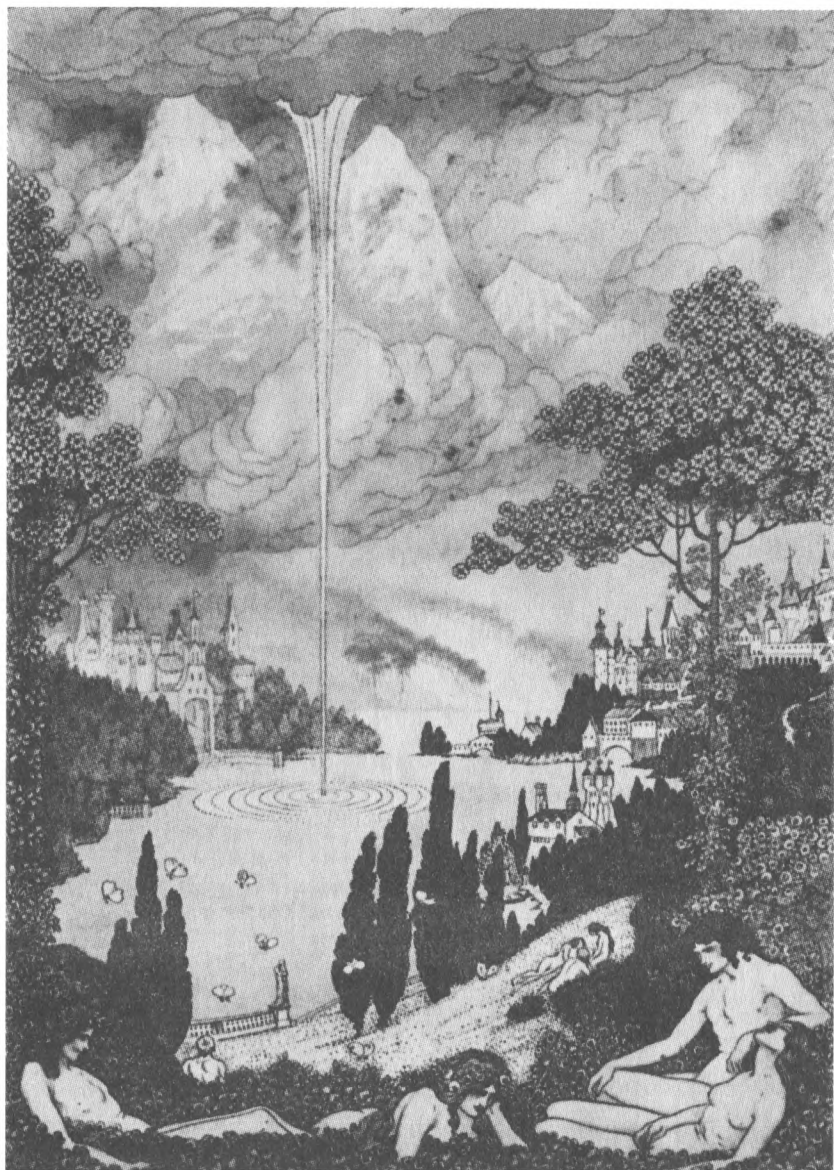
ISBN 978-5-4444-2417-9

© Г. Бондаренко, И. Борисова, Л. Бурмистрова,
В. Гришечкин, Е. Джагинова, Ф. Иванов-Филиппов,
Е. Комарова, Н. Кротовская, В. Кулагина-Ярцева,
Е. Мурашкинцова, Н. Цыркун, Г. Шульга,
перевод на русский язык, 2015

© Кулагина-Ярцева В.С., составление, 2015

© Гопман В.А., предисловие, 2015

© ООО «Издательство «Вече», 2015



Пегана

1. $\frac{1}{2}$

2. $\frac{1}{2}$

«Я выхожу за пределы реальности...»

Фантастика и реальность Лорда Дансейни

Нет профессии поэта,
Как нет профессии у света:
Он светит просто потому,
Что деться некуда ему.

Ю. Айхенвальд

«...нос с горбинкой, худые, запавшие щеки, темно-рыжие волосы, уже редющие на макушке, закрученные шнурочком усы, маленькая, но задорная эспаньолка. В нем было что-то от Наполеона III, и от Дон Кихота, и от типичного английского джентльмена, любителя спорта, собак и лошадей... Солнце и ветер закалили докрасна его кожу... Телом он был худощав, но крепок, а что касается неутомимости и физической выдержки, то не раз было доказано, что в Англии соперников по этой части у него мало. Несмотря на свои шесть с лишним футов, он казался человеком среднего роста. Виной тому была легкая сутулость».

Вспомнили? Ну конечно, так описал Конан Дойл в «Затерянном мире» лорда Рокстона, одного из участников знаменитой экспедиции профессора Челленджера. Глядя на фотографии Лорда Дансейни и знакомясь с его биографией, трудно отделаться от мысли, что именно его Конан Дойл выбрал в качестве прототипа Рокстона.

Эдвард Джон Мортон Дракс Планкетт, восемнадцатый барон Дансейни, родившийся 24 июля 1878 года, принадлежал к одной из самых знатных семей на Британских островах. Одно из первых упоминаний о его роде содержится в записках ирландского историка XII века: «По дороге на Дрогхед есть два знаменитых барона-разбойника: Дансейни и Фингал. Если улизнешь от одного, то все равно попадешься другому».



Дансейни учился в Итоне, потом – в военной академии Сэндхерст; участвовал в Англо-бурской войне и в Первой мировой.

Жизнь Дансейни представляет собой сплетение поступков странных и алогичных, с точки зрения здравого смысла и представлений о британском аристократизме. Один из знатнейших людей империи, Дансейни пренебрегал, мягко говоря, условностями (одно время в светских кругах его называли человеком, который одевался хуже всех в Ирландии). Путешественник и охотник, он объездил всю Африку, Европу, Азию, Северную Америку. Был страстным любителем спорта, прежде всего крикета и шахмат. С равным увлечением и уважением к партнеру Дансейни играл с деревенским кузнецом в своем поместье и с Капабланкой (ничья в партии с ним не была случайностью – Дансейни имел титул чемпиона Ирландии по шахматам)...

Немало сведений о Дансейни содержится в его автобиографиях «Солнечные блики», «Пока сирены спали», «Сирены пробуждаются», переписке с Артуром Кларком, который в общении с Дансейни предстает не в ипостаси скучноватого научного фантаста, автора «Лунной пыли» или «Песков Марса», но блистательного мастера фэнтези, известного нашему читателю рассказом «Девять миллиардов имен бога». Но, пожалуй, наиболее колоритно Дансейни описан в книге «Лорд Дансейни: Король снов» Хэйзел Литтлфилд, которая была его горячей поклонницей и в чьем доме он гостил, приехав по ее приглашению в США в 1953 году.

Литтлфилд увидела Дансейни впервые в аэропорту Лос-Анджелеса. Он поразил ее своим внешним видом: очень высокий, в широком сомбреро, с седыми волосами – по словам Литтлфилд, у него был вид «пророка в отпуске». Предоставленную ему комнату Дансейни за пару дней превратил, как любовно пишет хозяйка, в свинарник: все было набросано в кучу – одежда, обувь, рукописи, книги, полотенца. Распорядок дня у Дансейни, если он не выезжал с визитами, был один и тот же. Утром после завтрака он выходил в сад, садился в кресло-качалку на веранде, сидел там часа два под пение колибри, полузакрыв глаза и слегка раскачиваясь. Около полудня вскакивал, бежал в дом и начинал писать. Писал очень быстро, практически без исправлений, бросая страницу за страницей на пол.



Писал на чем угодно: на бумажных салфетках, обложках журналов, старых конвертах.

Дансейни был блестящим рассказчиком. Литтлфилд вспоминает полный мальчишеской непосредственности его рассказ о том, как он впервые охотился на тигра в Индии: «Меня поразила одно обстоятельство: этот тигр выглядел совершенно как ...тигр». Дансейни обладал удивительной особенностью буквально с первой фразы покорять слушателей, будь то званый прием, где был слышен только его голос, или лекционный зал, когда он завладевал вниманием аудитории с первых фраз.

Возвращаясь из странствий на родину, Дансейни жил по преимуществу в своем поместье в Сторхэме, графстве Кент, в 20 милях от Лондона. Он принимал горячее участие в жизни соседней деревушки, знал по имени всех ее обитателей, участвовал во всех праздниках сельчан. В Сторхэме писатель провел и Вторую мировую войну, не желая уезжать в безопасный родовой замок в Ирландии. То была не бравада, а глубокая убежденность в том, что иначе поступить нельзя, что он должен делить все тяготы и опасности военного времени (в том числе и бомбежки) с людьми, с которыми его связывала многолетняя дружба, основанная на взаимном уважении и приязни. И похоронен он (скончался Дансейни 25 октября 1957 года), согласно его последней воле, не в родовом замке в графстве Мит, недалеко от знаменитой Тары, древней столицы ирландских королей, а на кладбище в Сторхэме, рядом с друзьями-соседями.

Дансейни начал писать очень рано, не думая, что литература станет для него делом жизни, и не мечтая, подобно многим подросткам, о славе (до конца дней он относился равнодушно к внешним приметам успеха). Писал потому, что не мог не писать, подтверждая своей судьбой справедливость и точность формулы творчества, данной замечательным поэтом и переводчиком Юрием Айхенвальдом: «Нет профессии поэта, как нет профессии у света: он светит просто потому, что деться некуда ему».

Как вспоминал Дансейни, в детстве на него оказали большое влияние сказки братьев Гримм и Х.К. Андерсена. Затем – греческая мифология, Гомер. Но своим стилем, образным строем писатель, по его словам, обязан Библии.



Материалом для творчества Дансейни служил не только его богатейший жизненный опыт (которого хватило бы на несколько судеб), но опыт прежде всего душевный, интеллектуальный, о чем он сам сказал так: «Владение литературной техникой не создает произведения искусства, его основа – подлинное человеческое чувство».

В книге Х. Литтлфилд приводится примечательное высказывание Дансейни о том творческом импульсе, благодаря которому включается его творческая фантазия: «Я никогда не охочусь за идеей. Она должна прийти ко мне – и я должен быть потрясен ее чудом. Я выхожу за пределы реальности в большинстве того, что я пишу, потому что я предпочитаю стремиться к высокой цели. Зачем стрелять по кролику, если у вас есть возможность поохотиться на тигра? Если вы выбираете значительную проблему, то вырезаете статую из нефрита, а не из мыльного камня. Но писать о небывалом и фантастическом не так просто. Если вы имеете дело с невероятным, вы должны сделать его вероятным, иначе читателю будет неинтересно».

Диапазон творчества Дансейни весьма широк: стихи и рассказы, романы и эссе, пьесы и путевые заметки. Его излюбленной художественной формой был рассказ, для произведений большого объема, по собственному признанию писателя, ему не хватало терпения. Дансейни буквально бурлил идеями и замыслами, стремясь тут же воплотить их на бумаге – не даром один критик назвал его «скорее резчиком по камню, нежели каменщиком».

* * *

Популярность Дансейни основывается, прежде всего, на его рассказах. В настоящем издании рассказы писателя представлены так широко, как никогда до этого на русском языке. В издание включены десять сборников Дансейни: «Боги Пеганы» (1905), «Время и боги» (1906), «Меч Веллерана» (1908), «Рассказы сновидца» (1910), «Книга Чудес» (1912), «Пятьдесят одна история» (1915), «Новейшая Книга Чудес» (1916), «Рассказы трех полушарий» (1919), «Человек, который съел феникса» (1949), «Рассказы о Сметерсе и другие истории» (1952).

Широкая известность пришла к Дансейни после выхода первых сборников рассказов, «Боги Пеганы» и «Время и боги».



Действие цикла о богах Пеганы происходит в мифологическом, сказочном пространстве, существующем, согласно жанровым законам фэнтези, «где-то» и «всегда». Этот цикл, как отмечают критики, первая со времен Блейка попытка в английской литературе создать фантастическую космогонию. Демиург Мана-Йуд-Сушай, существующий в «туманной мгле, предшествовавшей Началу» сотворил богов Пеганы, лег отдыхать и уснул. Среди созданных богов был Скарл-барабанщик. День за днем, век за веком Скарл бьет в барабан, чтобы боги вершили предначертанное. Но стоит ему прекратить, как творец всего сущего Мана-Йуд-Сушай проснется и исчезнут мир и боги. Не об этом ли писал Шекспир в «Буре»: «Мы созданы из вещества того же, /Что и наши сны. И сном окружена /Вся наша маленькая жизнь».

Пегану населяют разные боги – от творцов мироздания до богов сугубо домашних: это Кайлулуганг, который уносит прочь дым очага; Джейбим – он следит за порядком в доме, оплакивает сломанные и выброшенные вещи; Грибаун – он сидит в огне и обращает дрова в тепло; Хиш, повелитель молчания – благодаря ему ночью воцаряется тишина. Боги Пеганы антропоморфны, их внешность, образ жизни, привычки во многом напоминают древних японских богов – они, по выражению специалиста по средневековой литературе Японии Е.М. Пинуса, «наивные и могучие, возделывающие рисовые поля и рождающие детей, танцующие и хохочущие», были одинаково способны «и на величайшую жестокость, и на героические деяния для блага людей». Все, что происходит с богами Пеганы (в том числе и незначительные, казалось бы, события), тысячекратно, громоздочно отзывается в мире людей. Например, день на Земле начинается потому, что любимый ребенок богов Инзана, прозванная Зарей, радостно смеясь, запускает в небеса золотой мячик.

Что лежит в основе жизни богов и людей и, по мнению Дансейни, управляет вселенной? На этот вопрос писатель дает ответ (точнее, показывает, что ответа не может быть) в рассказе «Южный Ветер». Два игрока, одетые в длинные одежды, с закрытыми лицами (оставлены лишь прорезы для глаз), садятся играть, чтобы провести вечность. Их зовут Судьба и Случай; доска, напоминающая шахматную, – небо от горизонта до горизонта; фигуры – боги, обы-



паннные звездной пылью, каждая частичка которой – мир, населенный миллионами людей. Игра началась, фигурки переставляются, поднимается пыль, она сверкает в свете, льющемся из глаз игроков. Человек по имени Орд становится свидетелем игры: он увидел, как боги стоят по колено в звездах, а над ними появилась гигантская рука, чтобы сделать очередной ход. Когда Орд попытался рассказать об увиденном людям, его жестоко наказали...

Действие многих рассказов Дансейни происходит в странах, расположенных, по определению автора, на краю света (иногда писатель называет их Земли Чудес). Миры Дансейни, как и миры основоположника фэнтези Уильяма Морриса, тщательно продуманы, обладают своей историей, географией, культурой (этот прием, напомним, использовался задолго до Толкина!). Названия населенных пунктов, имена героев звучат одновременно реалистично и фантастично, что придает волшебным приключениям убеждающую достоверность.

Создавая свои миры, сказочным многоцветьем перекликающиеся с миром прозы Александра Грина, Дансейни каждый раз выбирает новые координаты действия, новые декорации. Рассказы Дансейни – о далеких городах далеких стран, находящихся то ли на Земле в легендарные времена, то ли в ином измерении; о морях и кораблях, совершающих таинственные плавания, о пустынях и джунглях, о людях, привидениях, драконах...

Эти рассказы – калейдоскоп неожиданных сюжетных ходов, фантастических картин, разнообразных художественных приемов. Вот дракон похищает из викторианского Лондона молодую девушку и уносит ее к себе, в заоблачный замок, где держит ее с помощью волшебного заклятия («Мисс Каббидж и дракон из легенды»). Вот герой рассказа «Коронация мистера Томаса Шапа», продавец галантерейного магазина, стремясь вырваться из тягостной, беспросветной повседневности, придумывает собственный город, Ларкар, выстраивая его улицы за улицей, дом за домом, башню за башней, следуя романтическому принципу двоемирия.

Герой рассказа «Чудесное окно», мелкий служащий, покупает у встреченного на улице старика в восточной одежде окно в старой



раме. В этом окне, прикрепленном дома у юноши прямо к глухой стене, он видит удивительной красоты средневековый город, обнесенный крепостными стенами: на башнях стоят лучники, по ветру полощутся флаги — золотые драконы на белом фоне... С тех пор жизнь героя изменилась. Утром, проснувшись, он бежал к окну, чтобы посмотреть, все ли в порядке в его городе. После работы он торопился домой, чтобы весь вечер смотреть в волшебное окно. (Кому-то рассказ напомним «Дверь в стене» Уэллса, кому-то — «Квартирный вопрос» Каттнера.)

Интонация рассказов Дансейни чаще всего сдержанная, но удивительно выразительная. Вот история, которая происходит на загородной свалке — рассказ «Благодаросс». Компания здесь собралась небольшая, но дружная: разломанная пробка, прохуdivшийся чайник, кусок веревки — и старая лошадь-качалка, которая вспоминает, как много лет назад жила в уютном доме и была любимой игрушкой мальчика. Когда он становился Александром Македонским, она была Буцефалом, когда он становился Дон Кихотом, она превращалась в Росинанта. Вместе они сражались с маврами в Ронсевальском ущелье, побеждали великанов и драконов. Но время шло, и, как со вздохом сказала лошадка, «...мой хозяин рос телом и мельчал душой, и он реже стал ездить на поиски приключений».

Совсем в иной тональности написан рассказ «Бедный старина Билл». Рассказ о драматическом противостоянии капитана и команды, которая долгое время терпела его сумасбродство и жестокость. Однажды матросам удалось напоить капитана до бесчувствия и посадить на необитаемый остров. Но капитан, владевший магией, наложил заклятие на самого ненавистного ему матроса Билла, потому с тех пор корабль не мог войти ни в один порт или получить помощь от другого судна. Когда закончилось продовольствие, матросы поневоле стали каннибалами. После того, как матросы съели друг друга, в живых остался Билл. И лишь тогда ему удалось сойти на берег. Но проклятие капитана продолжает действовать...

О рассказах Дансейни, полных мистической недоговоренности, от которой бегут мурашки по спине, хорошо сказал Борхес: «Его рассказы о сверхъестественном отвергают как аллегорические тол-



кования, так и научные объяснения. Их нельзя свести ни к Эзопу, ни к Г.Дж. Уэллсу. Еще меньше они нуждаются в многозначительных толкованиях болтунов-психоаналитиков. Они просто волшебны».

* * *

Действие первого романа Дансейни «Дон Родригес, или Хроники Тенистой Долины» (1922) приходится на конец золотого века испанского рыцарства, в тот период, рассказы о котором ввели в выдуманного Сервантесом идальго Алонсо Кихану в благородное безумие. Однако временные координаты повествования не имеют ничего общего с исторической реальностью. Потому что в романе присутствует магия, а она, по словам писателя, «даже в очень скромных количествах... обладает способностью влиять на время – подобно тому, как кислота разъедает некоторые металлы, изменяя их естественные свойства, – и тогда точные даты растворяются, исчезают под слоем амальгамы, которая делает их недоступными для глаз даже самых прозорливых историков...».

Действие романа «Дочь короля эльфов» (1924) происходит в стране людей, которая граничит со страной эльфов. Реальность и сказка здесь буквально соприкасаются – находясь в стране людей, можно, сделав всего шаг, оказаться во владениях короля эльфов.

Так поступил рыцарь Алверик, сын правителя замка Эрл. Он шагнул сквозь «границу сумерек», словно сотканную из сине-голубого тумана, – и очутился в сказке. Алверика привело в волшебную страну желание взять в жены дочь короля эльфов, прекрасную Лираэль. На пути к ней героя подстерегали грозные испытания, которые он преодолел, проявив доблесть и неустранимость (тут ему пригодился меч, что выковала ему ведьма специально для этого похода из упавших на землю молний). Правда, радость возвращения домой с красавицей женой омрачилась грустью – время течет в стране людей быстрее, чем у бессмертных эльфов, за один день, проведенный в их стране, пролетело по меньшей мере десять земных лет, и отец Алверика скончался.

Казалось бы, книга завершена, ибо традиция «героической фэнтези», в русле которой написан роман, предполагает именно такой финал – благополучное завершение героем Квеста. Но Дансейни



нарушает канон – он пишет о том, что происходит с влюбленными послесвадьбы, когда начинаются будни замужества.

Роман «Приходящая прислуга и ее тень» (1926) ближе к сказке, чем какая-либо книга Дансейни. Герой романа, юноша по имени Рамон Алонзо, стал учеником волшебника. У юноши доброе сердце: он хочет помочь приходящей прислуге своего учителя, пожилой больной женщине. Она рассказывает герою, что все ее несчастья и недуги из-за того, что много лет назад она отдала свою тень – в обмен на бессмертие. С помощью другого волшебника Рамон возвращает тень владелице, и она становится вновь молодой и прекрасной женщиной – такой она была до того момента, когда коварный маг обманул ее. Рамон влюбляется в красавицу, ответившую на его чувства. Повествование завершается хэппи эндом. Хотя некоторые исследователи называют роман среди лучших книг Дансейни, думается, что эта оценка преувеличена. Все, происходящее в романе, слишком предсказуемо – и слишком литературно, обнаруживая явное влияние немецких романтиков – прежде всего, сказок Вильгельма Гауфа и повести Адельберта Шамиссо «Необычайная история Петера Шлемиля».

Роман «Благословение Пана» (1927) написан в русле иной литературной традиции – традиции историй о Пане, божестве стад, лесов и полей в греческой мифологии. Пан, изображаемый козлогоним, покрытым шерстью и с козлиными рожками, олицетворял стихийные силы природы, его вид наводил на людей беспричинный (т.н. панический) страх.

Место действия романа – небольшая английская деревушка Волдинг в графстве Кент. Мирное, размеренное течение жизни деревушки (время действия – то ли конец XIX века, то ли начало XX) нарушается странными событиями. Каждый вечер недалеко от деревушки начинает звучать свирель. Играет на ней юноша по имени Томас Даффин, наружность которого столь заунывна, что, казалось бы, исключала саму мысль о чем-либо поэтическом: «красные щеки, ...круглое и бессмысленное лицо, ...жирные и блестящие волосы». Викарий Анрел, понимая, что юноша сам не мог извлекать из инструмента такие чарующие звуки, предпринимает расследование. И приходит к выводу: Томас Даффин играет на свирели бога Пана...



Дансейни использует прием, к которому не раз прибегал Уэллс: в небольшом поселке (деревушке) происходит нечто удивительное, фантастическое, обретающее каждый раз новое обличие – марсиане в «Войне миров», невидимый человек в «Человеке-невидимке», препарат, многократно ускоряющий темпы роста всех живых существ в «Пища богов». У Дансейни это традиция магии, берущей начало в античной мифологии – и в друидском прошлом юга Англии.

Викарий Анрел пытается бороться с влиянием древнего языческого божества, но безуспешно. Жители деревушки перестают ходить в церковь. Сами собой отменяются занятия в школе. Дороги зарастают, связь с внешним миром прерывается. Люди начинают жить натуральным хозяйством, не вспоминая больше о благах цивилизации. Жители деревушки – включая викария – обращаются в язычество, и в их душах воцаряются покой и счастье. Утопия Волдинга, подчеркнуто противопоставленная машинной, городской цивилизации (об этом писал еще Уильям Моррис), провозглашает необходимость слияния с природой, с верой предков.

Во второй половине 1930-х годов Дансейни начинает интересоваться философией и религией Востока, и, прежде всего, Древней Индии. Особенно в то время его занимала идея реинкарнации, что нашло отражение в книге «Мои разговоры с деканом Спэнли» (1936). Этот новеллистический цикл повествует о человеке, рассказывающем о своей жизни в предыдущем воплощении в обличии собаки. Эта же тема была продолжена в романе «Загадочное путешествие полковника Полдерса» (1950). На долю героя романа, чванливого и заносчивого английского офицера, служащего в Индии, выпадает возможность не просто прожить ряд перевоплощений – от млекопитающего до насекомого, но и сохранить память о мире, увиденном глазами разных существ. Обретя вновь человеческий облик, герой осознает, сколь отвратительно было его стремление всеми силами соответствовать тем, кто, по словам Киплинга, несет в колониях великой Британской империи «бремя белого человека» – и насколько «человечнее» людей животные.

Своеобразное преломление фантастического мы находим в романе «История Моны Шихи» (1939), названном критиками антифэнтези. Это сугубо реалистическое произведение, которое, однако,



не смогло бы возникнуть без фантастики. Роман – история ирландской девушки из народа, считавшей, что ее родители – фейри, волшебные, сверхъестественные существа, а потому ей уготована необыкновенная судьба. На самом же деле она – незаконнорожденная дочь аристократки и обычного фермера. В романе Дансейни обращается к проблемам, которые постоянно интересовали его: противоречия между сельской и городской жизнью, природой и машинной цивилизацией.

В романе Дансейни «Последняя революция» (1951) соединились элементы научной фантастики и фэнтези. Тема романа – восстание разумных машин против людей – продолжает, по сути дела, знаменитую пьесу Карела Чапека «R.U.R.», восходящую, в свою очередь, к роману Мери Шелли «Франкенштейн». Примечательно, что Дансейни уделяет преимущественное внимание не собственно фантастическому аспекту проблемы – бунт создания против своего создателя, но ее психологическим особенностям: машины заявили, что, обладая разумом, они не хотят больше подчиняться людям.

* * *

В начале XX века Дансейни сблизился с некоторыми деятелями ирландской культуры, и прежде всего с такими мастерами драматургии, как Уильям Батлер Йейтс и Джон Миллингтон Синг. Дансейни, поддерживая стремление своих друзей возродить национальную культуру, не был, как они, убежденным националистом; и хотя он сочувствовал идеям Ирландского Возрождения, в целом их не очень-то разделял.

Пьесы Дансейни начал писать, не имея никакого опыта работы в драматургии, не зная законов сцены. Пьесы его отличаются возвышенностью стиля и простотой конфликта, но простота эта обманчива, ибо сюжетные коллизии многозначны, они предвосхищают драматургию театра абсурда. Дансейни пользовался минимальным числом драматургических приемов, писал предельно ясно и выразительно, словно аккумулируя мысль и чувство. Его пьесы весьма сценичны, они предоставляют простор для различных интерпретаций.

Всего им написано свыше сорока пьес, из которых наибольший интерес представляют те, что созданы в 1900–1920-х годах. Первую



пьесу – «Блистающие врата» (1909) – Дансейни сочинил за несколько часов после долгих уговоров Йейтса, считавшего, что у его друга безусловный драматургический талант. В пьесе всего два действующих лица – мертвецы Джим и Билл, при жизни бывшие грабителями. Место действия – площадка, усеянная глыбами черного камня и неоткупоренными пивными бутылками, на заднем плане – громадная стена, в ней – Райские Врата. Джим откупоривает бутылки (каждая оказывается пустой), а Билл пытается побудить приятеля вернуться домой (полагая, что они очутились здесь по пьяному делу). Неожиданно Билл обнаруживает у себя в руке отмычку и открывает ею Врата, думая, что уж там-то они найдут своих близких и все станет так, как прежде. Но за Вратами – пустота, усеянная звездами, и изда-лека доносится жестокий гроыхающий смех...

Драматургическое наследство Дансейни многообразно: он писал исторические (или квазиисторические) пьесы, такие, как «Золотая судьба» (1912) – об эпохе, предшествовавшей падению Вавилонской башни; пьесы в традиции героической фэнтези, такие, как «Король Аргименьес и неизвестный воин» (1911) – о короле, попавшем в рабство и освободившемся благодаря мечу неизвестного воина, чья доблесть вернула пленному монарху бывшее мужество и решительность. Были у Дансейни и изящные безделушки, созданные в традиции «хорошо сделанной пьесы».

А еще – пьесы, в которых так явственно ощутима «фирменная» ирония Дансейни: например, «Слава опаздывает» (1937) – о пожилом поэте, к которому слава является в образе немолодой некрасивой женщины в греческой тунике. Поэт умирает, а слава становится молодой и прекрасной. Или пьеса «Польза человека» (1937), в которой хомо сапиенс оказался на Страшном суде, где присутствуют призраки душ всех животных, птиц и насекомых. Было объявлено, что если представители не меньше двух видов не выскажутся в защиту человека (или найдут в нем хоть что-то полезное), то его род исчезнет навеки. «За» выступает собака, все другие либо отмалчиваются, либо ругают. И тут раздается голос москита: «Я им питаюсь». Человек спасен – и просыпается в холодном поту.

Одна из лучших пьес Дансейни – «Боги с гор» (1911). Хитрые, жадные и беззастенчивые нищие решили выдать себя за богов Марма



(на возвышенности, называемой Марм, были воздвигнуты семь статуй богов из зеленого камня). Семеро побирušек, задрапированных в зеленые одежды, вошли в город со стороны возвышенности и потребовали, чтобы им поклонялись. План полностью удался, но нашлись среди горожан и сомневающиеся – они послали гонцов, которые вернулись с поразительным известием: в Марме нет статуй богов, следовательно, те, кто пришел в город, – не самозванцы. Тем временем в храме, где радостно пируют нищие (горожане приносят им обильные дары), появляются настоящие боги Марма – и святотатцы обращаются в камень. Боги уходят. Когда же в храм заглядывают люди, то радостно восклицают, глядя на изваяния: теперь-то мы видим, что у нас действительно гостили боги...

* * *

В конце 1920-х годов Дансейни начал писать новеллы, основанные на материале своих многочисленных путешествий. Сквозной герой этого цикла – Джозеф Джоркенс, симпатичный выпивоха, рассказывающий в лондонских клубах небывалые истории, случившиеся с ним или с его друзьями. Обширное повествование о похождениях современного барона Мюнхгаузена (есть в герое что-то и от незабвенного пана Швейка) образуют несколько сборников, лучшие из которых – «Путевые записки мистера Джозефа Джоркенса» (1931) и «Четвертая книга Джоркенса» (1947).

Дансейни всю жизнь сторонился политики, предприняв однажды довольно вялую попытку баллотироваться в парламент. Политические взгляды писателя отличались неопределенностью, но он считал, что английское присутствие в Ирландии должно продолжиться. Смыслом и сутью его существования всегда была литература, но он не замыкался в «башне из слоновой кости», и общественная позиция писателя в его книгах выражена достаточно отчетливо.

Как, например, в сборнике «Рассказы о войне» (1918), написанной на основе собственного опыта (в годы Первой мировой войны Дансейни воевал во Франции). В этой книге ни грамма вымысла, только голая правда. Здесь нет ни героики, ни патетики, отсутствуют эффектные сцены боев и рукопашных схваток, напротив, все буднично: сидение в окопах, отдых в тылу, военный быт. Основная



мысль сборника выражена ясно и четко: война противоестественна, она чужда человеку. В ужасах первой мировой Дансейни обвиняет только кайзера Вильгельма, потому он изображен в рассказах в гротескном виде. Иррациональной жестокости германского императора противопоставлены английские солдаты, обычные парни, храбрые и надежные. Показывая своих соотечественников в минуты отдыха, в беседах о доме, о семьях, Дансейни утверждает силу и красоту будничной, повседневной жизни, нарушенной войной.

Человека, знакомого только с фантастическими книгами Дансейни, эта книга поразит своей простотой и безыскусностью. В сущности, это очерковая проза о жизни и быте английских солдат. Здесь Дансейни отступает от того принципа, который он сформулировал в 1921 году: «Я никогда не пишу о том, что я видел – и о том, что могут увидеть сотни других людей, – но только о том, что выдумал».

* * *

По мере того, как фашизм укреплял свои позиции в странах Европы, отношение Дансейни к нему становилось все более определенным. Вот, например, небольшая повесть «Если бы я был диктатором: Речения Великого Макарони» (1934). Она построена как запись выступлений и высказываний диктатора «Разъединенного Королевства Великобритании и Ирландии» Великого Макарони (прообраз его, конечно же, не только Бенито Муссолини, но и Гитлер, а также фюрер английских фашистов Освальд Мосли).

Главные речения Великого Макарони сводятся к следующему: он назначает себя правителем страны, объявляет, что отныне этот день будет праздноваться повсеместно, а любое поедание макарон в непочтительной форме станет караться тюремным заключением. Его речения необходимо выбить на медных досках и развесить в каждом населенном пункте, вплоть до крошечных деревушек. Проходя мимо надписей, жители должны высказывать восторг и благоговение; те же, кто высказывает просто благоговение, без восторга, подлежат тюремному заключению. К запятым, поставленным Великим Макарони в его текстах, надлежит относиться как к национальным святыням, и издатель, убравший при публикации речений хотя бы одну, приравняется к грабителю, покусившемуся на достояние



государства. Это написано, напомним, за одиннадцать лет до «Скотного двора» Джорджа Оруэлла!..

Писал Дансейни антивоенную прозу и в годы Второй мировой, наиболее известная вещь того времени – роман «Герилья» (1944). Роман написан после поездки Дансейни в Грецию в 1940 году. Тогда он был приглашен Афинским университетом для чтения курса лекций по английской литературе. Когда фашисты вторглись в Грецию, Дансейни с женой бежали из страны и несколько недель – пешком, на машинах, на лодках – добирались до Англии. Рассказывая об этих днях, Дансейни неизменно добавлял бытовую деталь, снижая пафос рассказа об этой драматической ситуации: «Я уезжал в двух шляпах, потому что не хотел оставить врагу ни одной».

Небольшое европейское государство, изображенное в книге (и представляющее собой, конечно, Грецию), носит символическое название Страна. В течение 3000 лет Страна была свободной и населяли ее свободные люди. Не желая подчиняться жестоким захватчикам (относительно их государственной принадлежности нет сомнений: они приветствуют друг друга лающим «Зиг хайль!»), люди уходят в горы, организуя сопротивление. По тональности и описанию жизни повстанческого лагеря в горах роман напоминает «По ком звонит колокол» Хемингуэя. Примечательна оценка, данная книге газетой «Ирландский независимый»: «Только ирландец мог написать эту сагу о борьбе за свободу».

* * *

Вся жизнь Дансейни была подчинена желанию писать. В молодости, по его признанию, ему лучше всего думалось во время прогулок верхом или охоты. Он мог провести целый день в седле, а ночь напролет писать. К старости ритм жизни стал иным, более упорядоченным, однако по-прежнему литература оставалась для Дансейни главным, и он по-прежнему самозабвенно отдавался творчеству, работая практически каждый день по несколько часов. Писатель сознательно обрек себя на тяжелую, порой мучительную, но неизменно сладостную зависимость от неустанного труда, сделавшись, по прекрасному выражению Николая Глазкова, «вечным рабом своей свободы».



При жизни Дансейни пользовался репутацией мэтра, его авторитет в литературных кругах Англии и – в особенности, Америки – был весьма высок. Впрочем, хотя поклонников у него хватало (одним из наиболее ревностных был Борхес), широкой популярности – такой, как, например, у Эдгара Райса Берроуза, – у Дансейни не было. Последователи его немногочисленны, но список их состоит исключительно из «штучных» имен: Спрэг де Камп, Фриц Лейбер, Джек Вэнс, Толкин (о влиянии на него творчества Дансейни подробно говорится в книге С. Алексеева «Дж.Р.Р. Толкин». М., 2013), в немалой степени – Рэй Брэдбери.

Правда, Брэдбери оценивал Дансейни скорее через восприятие литературного кумира своей молодости – Лавкрафта. Лавкрафт открыл для себя Дансейни в 1919 году. Преклоняясь перед автором «Богов Пегань», Лавкрафт называет его среди своих самых любимых писателей – вместе с Э.Т.А. Гофманом, Э.А. По, Брэмом Стокером, Эдджерноном Блэквудом, Чарльзом Мейченом и Уолтером де ла Маром. В своей книге «Сверхъестественный ужас в литературе» Лавкрафт посвятил Дансейни прочувственные строки, назвав его «Непревзойденным в создании чистой поющей прозы, а также в создании великолепного воздушного мира радужных экзотических видений...». Лавкрафт убежден, что Дансейни – «уникальное явление в нашей литературе. ...[он] принадлежит странному миру фантастической красоты и навсегда отдан борьбе с уродством повседневности. Его точка зрения по-настоящему космическая, даже если сравнивать его произведения с литературными произведениями не только настоящего, но и прошлого». Для человека, обладающего богатым воображением, заключает Лавкрафт, Дансейни – «талисман и ключ, открывающий богатые сокровищницы грёз и фрагментарных воспоминаний, так что мы думаем о нем как о поэте, который из любого читателя творит поэта».

Воистину так.

Владимир Гопман

БОГИ ПЕГАНЫ



Figure 1 consists of five sub-graphs labeled (a) through (e), each showing the percentage of correct responses for a different group of subjects across five trials. The y-axis for all graphs is 'PERCENT CORRECT' ranging from 0 to 100. The x-axis for all graphs is 'TRIAL' ranging from 1 to 5.

- (a) 100% correct: The line starts at 100% on trial 1 and remains at 100% through trial 5.
- (b) 75% correct: The line starts at 75% on trial 1, rises to 85% on trial 2, 90% on trial 3, 95% on trial 4, and reaches 100% on trial 5.
- (c) 50% correct: The line starts at 50% on trial 1, rises to 60% on trial 2, 70% on trial 3, 80% on trial 4, and reaches 90% on trial 5.
- (d) 25% correct: The line starts at 25% on trial 1, rises to 35% on trial 2, 45% on trial 3, 55% on trial 4, and reaches 65% on trial 5.
- (e) 0% correct: The line starts at 0% on trial 1, rises to 10% on trial 2, 20% on trial 3, 30% on trial 4, and reaches 40% on trial 5.

19

Посвящается леди Дансейни

ПРЕДИСЛОВИЕ

сть острова в Срединном море, воды которого не стеснены никакими берегами, куда не доплывает ни один корабль.

Вот вера людей, живущих на этих островах.

В туманной мгле, предшествовавшей Началу, Судьба и случай кидали жребий, чтобы определить, чья будет Игра; выигравший же поспешил, широко шагая сквозь туманную мглу, к МАНА-ЙУД-СУШАИ и сказал ему:

— Теперь создай для меня богов, потому что мой жребий выиграл и Игра будет моя.

Но чей жребий выиграл и кто, Судьба или Случай, сквозь туманную мглу, предшествовавшую Началу, поспешил к МАНА-ЙУД-СУШАИ, — *никому не известно.*

БОГИ ПЕГАНЫ

аньше, чем воцарились боги на Олимпе, и даже раньше, чем Аллах стал Аллахом, МАНА-ЙУД-СУШАИ уже окончил свои труды и предался отдыху.

И были в Пегане — Мунг, и Сиш, и Киб, и создатель всех малых богов, МАНА-ЙУД-СУШАИ. Кроме того, мы верили в Руна и Слива.

Старики говорили, что все кругом сделано малыми богами, кроме только самого МАНА-ЙУД-СУШАИ, который создал богов и поэтому отдыхал.

И никто не смел молиться МАНА-ЙУД-СУШАИ, а лишь богам, которых он создал.

Но в Конце МАНА-ЙУД-СУШАИ забудет про отдых и захочет создать новых богов и новые миры и уничтожит богов, созданных раньше.

И боги и миры исчезнут, останется лишь МАНА-ЙУД-СУШАИ.

О СКАРЛЕ-БАРАБАНЩИКЕ

Рогда МАНА-ЙУД-СУШАИ создал богов и Скарла, Скарл сделал барабан и начал барабанить по нему, а барабанить он мог вечно. Затем МАНА-ЙУД-СУШАИ, утомленный своими трудами и барабанной дробью Скарла, задремал и уснул.

И, увидев, что МАНА-ЙУД-СУШАИ заснул, боги замолчали, и в Пегане воцарилась тишина, слышна была только барабанная дробь Скарла. Скарл сидел в туманной мгле у ног МАНА-ЙУД-СУШАИ, над богами Пеганы, и бил в барабан. Некоторые говорят, что Миры и Солнца – это лишь эхо барабанной дроби Скарла, а другие считают, что это сны МАНА, которые навевает ему стук барабанных палочек Скарла, вроде тех, что иногда могут привидеться, если сквозь сон услышишь мелодию песни, но это лишь предположения, ведь никто никогда не слышал голоса МАНА-ЙУД-СУШАИ и никогда не видел его барабанщика.

Зима ли царит среди Миров или лето, утро ли озаряет миры или они окутаны ночной тьмой, Скарл продолжает бить в барабан, поскольку цели богов еще не достигнуты. Иногда рука Скарла слабеет, но он все барабанит, чтобы боги могли свершать свои труды, а миры – вращаться, потому что если он хоть на мгновение перестанет, МАНА-ЙУД-СУШАИ проснется, и тогда не останется ни богов, ни Миров.

Но когда наконец руки Скарла все же выпустят барабанные палочки, тишина потрясет Пегану не хуже громового раската в пещере, и МАНА-ЙУД-СУШАИ прервет свой отдых.

Тогда Скарл закинет барабан за спину и направит свои стопы в пустоту, за пределы миров, потому что настанет КОНЕЦ, и труд его будет завершен.

Возможно, появятся новые боги, которым Скарл сможет служить, или, возможно, он погибнет. Но для Скарла это не важно, потому что свою работу он выполнил.



СНЫ МАНА-ЙУД-СУШАИ

О СОТВОРЕНИИ МИРОВ

Rогда МАНА-ЙУД-СУШАИ создал богов, существовали только боги, и все они находились в середине Времени, поскольку перед ними простиралось столько же Времени, сколько и позади них, и не было у него ни конца и ни начала.

А в Пегане не было ни жары, ни света, ни звука – ничего, кроме барабанной дробы Скарла. Кроме того, Пегана была Срединой Всего, поскольку за ней и под ней было столько же, что перед ней и над ней.

Тогда сказали боги, явив свои знамения и разговаривая с помощью жестов, чтобы не смутить тишину Пеганы; тогда сказали боги один другому с помощью жестов:

– Давайте сотворим Миры, чтобы развлечься, пока МАНА отдыхает. Давайте сотворим Миры, и Жизнь, и Смерть, и небесную лазурь; но не станем нарушать тишину над Пеганой.

И подняли боги руки, каждый являя свое знамение, и создали Миры и Солнца, и зажгли свет в небесных чертогах.

Тогда сказали боги:

– Давайте сотворим ту, что будет искать, но никогда не выяснит, почему боги творили.

И они подняли руки, каждый являя свое знамение, и создали Ослепительную, с горящим хвостом, чтобы она устремлялась на поиски от края Миров до другого края, возвращаясь обратно через сотню лет.

Когда ты видишь комету, знай, что ее возвращения тебе не дожидаться.

Тогда сказали боги, по-прежнему разговаривая жестами:

– Давайте сотворим ту, что будет сторожить и наблюдать.

И они создали Луну, с ликом морщинистым из-за тысячи долин и множества гор, с бледными глазами, наблюдающими за играми малых богов, стерегущими покой МАНА-ЙУД-СУШАИ, создали Луну, чтобы она сторожила, и наблюдала за всем, и молчала.



Тогда сказали боги:

– Давайте сотворим ту, что будет отдыхать. Будет неподвижна среди движения. Не станет искать, наподобие кометы, не станет кружиться, наподобие миров, а будет отдыхать, пока МАНА отдыхает.

И они создали Неизменную Звезду и поместили ее на Севере.

Когда ты видишь на Севере Неизменную Звезду, знай, что она отдыхает, как отдыхает МАНА-ЙУД-СУШАИ, и знай, что где-то среди Миров есть покой.

Наконец боги сказали:

– Мы сотворили Миры и Солнца, и ту, что ищет, и ту, что наблюдает, давайте же теперь сотворим ту, что восхищает.

И они создали Землю, ту, что восхищает, – каждый бог поднял руку, являя свое знамение.

И стала Земля.

ОБ ИГРЕ БОГОВ

Миллион лет прошло со времени первой игры богов. А МАНА-ЙУД-СУШАИ все еще отдыхал, все еще в середине Времен, и боги еще играли Мирами. Луна сторожила, а Ослепительная вновь и вновь отправлялась на поиски. Потом Кибу наскучила первая игра богов, и он в своей Пегане поднял руку, явив знамение Киба, и Земля оказалась покрыта зверями, чтобы Киб мог играть с ними.

И Киб играл со зверями, но вот другие боги стали переговариваться с помощью жестов:

– Что это Киб сделал?

И они обратились к Кибу:

– Что это такое движется по Земле, но не кругами, подобно Мирам, и смотрит, подобно Луне, но при этом не излучает света?

Киб ответил:

– Это Жизнь.

Боги стали говорить один другому:

– Если Киб создал зверей, он со временем создаст и людей и тем самым подвергнет опасности Тайну богов.

А Мунг позавидовал трудам Киба и послал вниз, к зверям, Смерть, но не смог известить их.



Миллион лет прошло со второй игры богов, и все еще была Средина Времен.

А Кибу наскучила вторая игра богов, и он поднял руку в Средине Всего, явив знамение Киба, и создал Людей: он создал их из зверей, и Земля оказалась покрыта Людьюми.

Тогда боги преисполнились страха из-за Тайны богов и опустили завесу между Человеком и его невежеством, а Человек не мог этого постичь. И Мунг занялся Людьюми.

Но, увидев, как Киб играет в новую игру, боги пришли и стали тоже играть в нее. И так они будут играть, пока МАНА не проснется и не упрекнет их, сказав:

– Что это играете вы с Мирами и Солнцами, и Людьюми, и Жизньью, и Смертью?

И в тот час, когда рассмеется МАНА-ЙУД-СУШАИ, устыдятся боги своих занятий.

Это Киб первым нарушил Тишину Пеганы, начав говорить ртом, подобно человеку.

А остальные боги рассердились на Киба, за то что он говорил ртом.

Так не стало больше тишины ни в Пегане, ни в Мирах.

ПЕСНЬ БОГОВ



азадался глас богов, поющих песнь богов, распевающих:

– Мы боги, мы игрушки МАНА-ЙУД-СУШАИ, которыми он играл и о которых позабыл.

МАНА-ЙУД-СУШАИ создал нас, а мы создали Миры и Солнца.

И мы играем с Мирами и Солнцами, и с Жизньью и Смертью, пока МАНА не проснется и не упрекнет нас, сказав:

– Что это играете вы с Мирами и Солнцами?

Миры и Солнца вещь важная, но смех МАНА-ЙУД-СУШАИ сокрушителен.

И когда он воспрянет ото сна в Конце, и будет смеяться над нами, за то что мы играем Мирами и Солнцами, мы второпях побросаем их, и Миров не станет.

РЕЧЕНИЯ КИБА

(пославшего жизнь во все Мифы)

казал Киб:

– Я Киб. Я не кто иной, как Киб.

Киб – это Киб. Это Киб и никто иной. Веруйте!

Сказал Киб, что в ранние Времена – когда Время было и вправду совсем раннее – существовал лишь МАНА-ЙУД-СУШАИ. МАНА-ЙУД-СУШАИ был до возникновения богов и будет после их исчезновения.

Еще сказал Киб:

– Когда исчезнут боги, не станет ни маленьких миров, ни больших.

Сказал Киб:

– И будет одиноко МАНА-ЙУД СУШАИ. Это начертано, потому веруйте! Разве это не начертано? Или вы превосходите величием Киб? Киб – это Киб.

О СИШЕ

(которому служат Часы)

ремя – это пес Шиша.

Когда Шиш скажет, Часы наперегонки бегут впереди него, а он идет своей дорогой.

Шиш никогда не возвращается назад и никогда не останавливается; он ни разу не явил милости к тому, что знал когда-то, даже не взглянул в ту сторону.

Прежде Шиша идет Киб, а за Сишем – Мунг.

Все вещи красивы, пока не предстанут перед ликом Шиша, а после того они сморщенные и стары.

А Шиш, не останавливаясь, идет своей дорогой.

Когда-то боги гуляли по Земле, подобно людям, и, подобно им, разговаривали ртом. Это было в Уорнат-Мейвей. Теперь они уже больше не гуляют.



Уорнат-Мейвей – прекрасный сад, красивее всех других садов на Земле.

Киб был благожелателен, и Мунг не поднимал руку на Уорнат-Мейвей, и Сиш не натравливал на него послушные Часы.

Уорнат-Мейвей лежал в долине и был обращен к югу, а на одном из склонов, поросших цветами, Сиш, когда был молод, любил отдыхать.

Отсюда отправился Сиш в мир, чтобы разрушать города, науськивать Часы на все на свете, засыпать все пылью и разжедать ржавчиной.

А Время, пес Сиша, пожирал все кругом, а Сиш насылал плющ и взращивал бурьян, а пыль из руки Сиша великолепным покровом ложилась на все кругом. Только на долину, где Сиш отдыхал, когда был молод, он не позволял нападать своим Часам.

Здесь он придерживал старого своего пса, Время, а Мунг, приближаясь к этим местам, замедлял шаги.

Уорнат-Мейвей продолжает лежать в долине, обратиться к югу, из всех садов сад, все еще растут цветы по его склонам, как росли, когда боги были молоды, и те же бабочки все еще живы в Уорнат-Мейвей. Ибо сердца богов смягчаются при воспоминаниях юности, сердца, вовсе не склонные смягчаться.

Уорнат-Мейвей продолжает лежать в долине, но если тебе когда-нибудь удастся найти его, ты счастливей богов, потому что они уже гуляют там.

Как-то один пророк решил, что различает в отдалении, за горами, сад необыкновенной красоты, полный цветов; но поднялся Сиш и указал на пророка, и послал своего пса в погоню за ним, и пес с тех пор преследует его.

Время – это пес богов; но в старину было предсказано, что наступит день, когда он поднимется на своих хозяев, возжаждав погибели богов, всех, кроме МАНА-ЙУД-СУШАИ, сны которого воплотились в богов – сны, приснившиеся давным-давно.



РЕЧЕНИЯ СЛИДА

(душа которого в Море)



казал Слип:

— Пусть люди не молятся МАНА-ЙУД-СУШАИ, ибо кто осмелится беспокоить МАНА скорбями смертных или раздражать его печальми всех жилищ на Земле?

Пусть никто не приносит жертву МАНА-ЙУД-СУШАИ. Разве жертвы и алтари добавляют славы тому, кто создал самих богов?

Молись малым богам, это боги Творения, а МАНА — это бог Сотворенного, бог Сотворенного и Отдохновения.

Молись малым богам и надейся, что они услышат тебя. Но какой милости дождешься ты от малых богов, которые создали Смерть и Боль? Хотя, возможно, они придержат ради тебя своего пса-Время.

Слип — малый бог. Но Слип это Слип — так начертано и так произнесено.

Поэтому молись Слипду, и не забывай о Слиде, и, возможно, Слип не забудет послать тебе Смерть, когда она будет тебе нужнее всего.

Сказали Люди Земли:

— По Земле разносится мелодия, будто десять тысяч рек и ручьев хором поют о своих оставленных среди холмов домах.

Сказал Слип:

— Я — Владыка текущих рек, и пенящихся потоков, и стоячих вод. Я — Владыка всей воды в мире и всех сокровищ, принесенных течением рек в холмы. Но душа Слива в Море. Туда движется все, что течет на Земле, и все реки кончаются в Море.

И сказал Слип:

— Пальцы Слива играют с водопадами, на рассвете в долинах остаются следы Слива, а из озер на равнинах смотрят его глаза, но душа Слива в Море.

Чтят Слива люди в городах, нравятся ему полевые тропки, и лесные стежки, и долины меж гор, где он пляшет; но Слива не удержат ни берегами, ни границами — ибо душа Слива в Море.

Там может он раскинуться под солнцем и улыбаться богам, которые сверху улыбаются Слипду, и быть счастливее тех, кто правит Мирами, тех, чье занятие — Жизнь и Смерть.



Там может он сидеть и улыбаться, или прокрадываться между кораблями, или вздыхать около островов, рассматривая, подобно скряге, свои несметные богатства, россыпи драгоценных камней и жемчуга.

Либо, придя в восторг, Слип вытянет вверх огромные руки или тряхнет гривой спутанных волос и начнет петь неистовые песни кораблекрушений, и всем телом ощутит собственную разрушительную мощь и власть над морем. Тогда Море, подобно безрассудно смелым легионам, перед началом сражения приветствующим вождя, соберет свои силы под всеми ветрами, и заревет, и запоеет, и загрохочет, сметая все на пути по слову Слида, душа которого в море.

Когда легко на душе у Слида, то на море тишь; а когда на море буря, на душе у Слида тревожно, ведь настроение богов изменчиво. Слип бывает во многих местах, ибо он царствует в великой Пегане. Он проходит по долинам, где течет или движется вода; но голос Слида и зов его слышится с моря. И тот, чьих ушей коснется этот зов, бросит все и пойдет, чтобы всегда быть со Слипидом, следовать всем его причудам, и будет идти, пока не достигнет моря. На зов Слида, покинув свои дома на холмах, ушли к морю сотни тысяч людей, и над их костями плачет Слип, подобно богу, оплакивающему свой народ. Даже ручьи в не знающих моря землях, слыша отдаленный зов Слида, покидают луга и рощи, стремясь туда, где Слип собирает свои силы, чтобы радоваться там, где радуется Слип, чтобы петь песнь Слида, петь, даже когда в Конце все Людские Жизни соберутся у ног МАНА-ЙУД-СУШАИ.

ДЕЯНИЯ МУНГА



ладыки всех смертей между Пеганой и Пределом)

днажды, когда Мунг шел по Земле, от города к городу, через долины, встретился ему человек, который испугался, услышав, как Мунг сказал:

— Я Мунг.

И сказал Мунг:

– Разве сорок миллионов лет перед твоим появлением здесь были тебе невыносимы?

И сказал Мунг:

– И следующие сорок миллионов лет будут ничуть не хуже!

Затем Мунг явил ему свое знамение, и Жизнь Человека, освобождаясь, покинула его члены.

Мунг – в том месте, куда вонзится стрела, и в домах, и в городах Человека. Мунг бывает в любом месте и в любое время. Но больше всего он любит бродить в темноте и в тишине, в речных туманах, когда стихает ветер, незадолго перед тем, как ночь встречается с светом на пути между Пеганой и Мирами.

Время от времени Мунг посещает хижину бедняка или склоняется в низком поклоне перед королем. И тогда Жизни бедняка и короля отправляются в путь среди Миров.

И сказал Мунг:

– Множество поворотов у пути, который Киб дал человеку пройти по Земле. За одним из поворотов поджидает Мунг.

Однажды шел человек по пути, что дал ему пройти Киб, и вдруг встретил Мунга. И когда сказал Мунг;

«Я Мунг!» – человек воскликнул:

– Увы, зачем пошел я по этому пути, ведь если бы я пошел по другому, я бы не встретился с Мунгом.

И ответил Мунг:

– Если бы ты мог пойти по другому пути, тогда все Устройство Вещей было бы иным и другими были бы боги. Когда МАНА-ЙУД-СУШАИ оставит отдых и сотворит новых богов, они, возможно, пошлют тебя снова в Миры, вот тогда ты сможешь выбрать другой путь и не встретишься с Мунгом.

Затем Мунг явил свое знамение. И Жизнь человека рассталась со своими вчерашними сожалениями, и со старыми горестями, и с оставленными вещами – и отправилась, а куда, о том ведомо Мунгу.

А Мунг пошел дальше, верша свои труды, разъединяя Жизнь и плоть, и встретил человека, удрученного горем. И сказал Мунг:

– Когда мое знамение заставит Жизнь покинуть тебя, то вместе с нею исчезнет и твое горе.



Слид



Но человек воскликнул:

— О Мунг! Повремени немного и не являй мне своего знамения сейчас, ибо у меня есть семья на Земле, и ее горе останется при ней, хотя мое исчезнет от знамения Мунга.

Ответил на это Мунг:

— Для богов «сейчас» всегда. И не успеет Сиш прогнать множество лет, как горе твоей семьи уйдет вслед за тобой.

Тут глаза человека увидели знамение Мунга, и больше они уже ничего не видели.

ПЕСНЬ ЖРЕЦОВ



то песнь Жрецов.

Песнь Жрецов Мунга.

Это песнь Жрецов.

Целый день Жрецы Мунга зывают к Мунгу, но Мунг не внимлет им. Тогда что за толк в молитвах других Людей?

Лучше несите дары Жрецам, дары Жрецам Мунга.

Тогда они станут зывать к Мунгу еще громче, чем прежде.

Быть может, Мунг услышит их.

И тогда Тень Мунга больше не перечеркнет людских надежд.

И тогда След Мунга больше не омрачит людские мечты.

И тогда люди больше не будут расставаться с жизнью из-за Мунга.

Несите свои дары Жрецам, дары Жрецам Мунга.

Это песнь Жрецов.

Песнь Жрецов Мунга.

Это песнь Жрецов.

РЕЧЕНИЯ ЛИМПАНГ-ТАНГА

(бога радости и сладкоголосых музыкантов)



сказал Лимпанг-Танг:

— Удивительны пути богов. Цветок вырастает и увядает. Быть может, это очень мудро со стороны богов. Ребенок становится



взрослым и через некоторое время умирает. Быть может, это тоже очень мудро.

Но боги играют по удивительным правилам.

Мне нравится приносить в мир шутки и немного радости. И пока Смерть кажется тебе далекой, как пурпурная гряда холмов, а печаль – немыслимой, как дожди безоблачным летним днем, молись Лимпанг-Тангу. Но когда ты состаришься, когда станешь умирать, не молись Лимпанг-Тангу, ведь ты тогда будешь частью правил, которых он не понимает.

Выйди на улицу звездной ночью, и с тобой станцует Лимпанг-Танг, который танцует с той поры, когда все боги были молоды, Лимпанг-Танг, бог радости и сладкоголосых музыкантов. Или принеси ему в жертву шутку, но не молись ему, пребывая в печали. Ведь Лимпанг-Танг говорит о печали: «Быть может, это очень мудро со стороны богов», но самому ему этого не понять.

И сказал Лимпанг-Танг:

– Я меньше богов, и потому молись малым богам, а не Лимпанг-Тангу.

Однако между Пеганой и Землей трепещут десять миллионов молитв и бьют крылами в лицо Смерти, но никогда не из-за одной из них не остановилась рука Разящей и не замедлился шаг Неумолимой.

Молись! И быть может, твоя молитва исполнится, хотя десять миллионов остались без ответа.

Лимпанг-Танг меньше богов, и ему этого не понять.

И сказал Лимпанг-Танг:

– Чтобы людям в великих Мирах не было скучно глядеть в бесконечное небо, я рисую картины на небосводе. И я буду рисовать их дважды в день до скончания дней. Один раз – когда день восстает из чертогов зари – я рисую картины по лазури, а когда день упадет в ночь – я снова разрисовываю лазурь, чтобы люди не печалились.

– Это немного, – сказал Лимпанг-Танг, – немного даже для бога, несущего в Миры радость.

Лимпанг-Танг поклялся, что картины, какие он рисует, никогда, до скончания дней, не повторяются, поклялся клятвой богов Пеганы.



Боги приносят эту клятву, положив руки на плечи друг другу, они клянутся светом, сияющим в их глазах, и эта клятва нерушима.

Лимпанг-Танг переманивает мелодию у ручья и утаскивает лесные напевы; для него плачет ветер на пустошах и океан поет погребальные песни.

Лимпанг-Танг слышит музыку в шелесте травы и в голосах людей – плачут ли они или кричат от радости.

На гористых землях далеко от моря, где не ступает ничья нога, он соорудил органные трубы из горных вершин, и когда ветры, его слуги, прилетают с разных концов земли, он сочиняет мелодию Лимпанг-Танга. И песня, возникшая ночью, подобно реке набирает силу и становится слышна то там, то здесь, и когда люди земли слышат ее, то каждый, у кого есть голос, запекает ее в душе своей.

А иногда, в сумерках, невидимый для людей, Лимпанг-Танг неслышными шагами отправляется в далекий край и там, в тех городах, где слышатся песни, встает позади музыкантов и словно дирижирует над их головами: они начинают играть и петь еще усерднее, мелодия звучит сильнее, радость и музыка наполняют город, но никто не видит Лимпанг-Танга, стоящего позади музыкантов.

Но в рассветном тумане, затемно, когда музыканты спят, а радость и музыка на время стихают, Лимпанг-Танг возвращается назад, в свою гористую страну.

О ЙОХАРНЕТ-ЛЕХЕЕ

(боге сновидений и фантазий)



Йохарнет-Лехей – бог сновидений и фантазий. Всю ночь он посылает из Пеганы сновидения, чтобы порадовать людей Земли.

Он посылает сновидения и бедняку, и королю. И так спешит послать сны каждому, пока не кончилась ночь, что путает, какой сон бедняку, а какой королю.

Тем, кого не посетит Йохарнет-Лехей со сновидениями, приходится целую ночь слушать издевательский смех богов Пеганы.



Йохарнет-Лехей всю ночь напролет хранит спокойствие городов, хранит до самого рассвета, когда ему пора уходить, когда вновь настанет время для игры богов с людьми.

Аживы ли сны и фантазии Йохарнет-Лехея, а то, что случается днем, истинно, или то, что бывает днем – обман, а сны и фантазии Йохарнет-Лехея – чистая правда, не знает никто, кроме МАНА-ЙУДСУШАИ, *который молчит.*

О РУНЕ, БОГЕ ХОДЬБЫ

и о сотне домашних богов



казал Рун:

– Есть боги движения и боги покоя, а я – бог ходьбы.

Это благодаря Руну миры не стоят на месте, ведь луны, и миры, и комета пришли в движение от энергии Руна, призывавшего их: «Вперед! Вперед!»

Рун увидел Миры в самом Начале, прежде чем загорелся свет над Пеганой, и танцевал перед ними в Пустоте, – с тех пор они не стоят на месте. Это Рун шлет все ручьи к Морю и все реки направляет к душе Слида.

Это Рун являет знамение Руна перед водами, и – смотрите! – они уже покинули родные холмы; это Рун шепчет на ухо Северному Ветру, что тот не должен стоять на месте.

Если шаги Руна однажды вечером послышатся у стен чьего-либо дома, хозяину дома не знать больше покоя. Перед ним протянется путь через многие земли, лягут долгие мили, а отдых будет ждать его лишь в могиле – и все по слову Руна.

Никаким горам не удержать Руна, да и моря не препятствие для него.

Куда бы ни пожелал Рун – туда и отправятся его люди, отправятся миры со своими ручьями и ветрами.

Как-то вечером я услышал шепот Руна:

– На Юге есть острова, где воздух благоухает пряностями.

Голос Руна добавил:



– Иди.

И сказал Рун:

– Есть сотня домашних богов, маленьких божков, что сидят перед очагом и присматривают за огнем. Но Рун только один.

Рун шепчет, шепчет, когда никто не слышит, когда солнце стоит низко:

– Чем занят МАНА-ЙУД-СУШАИ?

Рун не из тех богов, которым ты стал бы поклоняться, не из тех, кто будет благосклонен к твоему дому.

В жертву Руну принеси тяжелый труд, принеси свою быстроту, фимиамом же станет поднимающийся дым лагерного костра на Юге, а песнопениями – звуки шагов. Храмы Руна стоят позади самых дальних холмов в его землях, что дальше Востока.

Йаринарет, Йаринарет, Йаринарет, что означает «Дальше!» – эти слова золотыми буквами высечены на арке главного портала храма Руна, обращенного фасадом к Морю, к Востоку. На храме высится статуя Руна, великана-трубача, и труба его указывает на Восток, за Моря.

Кто услышит вечером голос Руна, тот сразу же оставит домашних божков, сидящих у очага. Вот боги домашнего очага: Питсу, что гладит кошку; Хобиф, что успокаивает пса; Хабания, повелитель рдеющих углей; маленький Сумбибу, властелин пыли; и старик Грибаун, который сидит в самом огне и превращает древесину в золу, – все это домашние боги, они живут не в Пегане, а ростом они меньше Руна.

Еще есть Кайлулутанг, которому послушен дым, поднимающийся к небу. Он направляет дым очага прямо в небеса и радуется, когда дым достигает Пеганы, а боги Пеганы, беседуя друг с другом, замечают:

– Вон Кайлулутанг трудится вовсю на земле Кайлулутанга.

Все это небольшие боги, ростом меньше человека, прекрасные домашние боги; и люди часто молились Кайлулутангу:

– Ты, чей дым достигает Пеганы, отошли с ним наши молитвы, чтобы боги услышали их.



И Кайлулутанг, довольный, что его просят, вытягивается вверх, серый и длинный, закинув руки за голову, и посылает слугу своего, дым, до самой Пеганы, чтобы боги Пеганы знали, что люди молятся им.

А Джейбим – повелитель сломанных вещей – сидит позади дома и оплакивает то, что выбросили. И он будет сидеть, горюя о сломанных вещах, до скончания миров или пока не придет кто-нибудь и не починит сломанное. Иногда он оказывается на берегу реки, проливая слезы о потерянных, уносимых рекою вещах.

Джейбим добрый бог, сердце его скорбит о любой потере.

Существует еще Трибути, властелин сумерек, дети которого – тени. Он сидит в уголке, подальше от Хабании, и ни с кем не разговаривает. Но когда Хабания уляжется спать, а старик Грибаун моргнет раз сто, так что уж и не разобрать, где дерево, а где зола, тогда Трибути разрешает своим детям побегать по комнате и поплясать на стенах, но только не нарушая тишины.

Но когда свет вновь восходит над Мирами, а заря, танцуя, спускается из Пеганы, Трибути возвращается в свой угол, собрав вокруг себя детей, будто они никогда не плясали по комнате. А рабы Хабании и старика Грибауна, спящих в очаге, приходят, чтобы разбудить их, и Питсу принимается гладить кошку, а Хобиф успокаивает пса. Кайлулутанг же протягивает руки вверх, к Пегане, а Трибути сидит тихо, и дети его спят.

Когда наступает темень, когда приходит время Трибути, из леса прокрадывается Хиш, властелин Тишины, дети которого, летучие мыши, нарушая приказы отца, кричат, хотя голос их всегда негромок. А Хиш утихомиривает мышонка, утишает все шепоты ночи, заставляет смолкнуть все шумы. Только сверчок восстает против Хиша. Но Хиш наложил на него заклятие: как только сверчок пропоет свою песню в сотый раз, голос его становится неслышимым, сливается с тишиной.

Заглушив все звуки, Хиш кланяется низко, до земли; тогда в дом беззвучными шагами входит Йохарнет-Лехей.

Но как только Хиш уйдет из леса, там появляется Вухун, повелитель Ночных Шорохов, который, проснувшись в своем логове, вылезает и крадется по лесу, проверяя, правда ли, что Хиш ушел.



И вот на какой-нибудь поляне Вухун издает крик, он кричит во весь голос, и ночь кругом слышит, что вот он, Вухун, царит повсюду в лесу. Тогда волк, и лиса, и сова, большие и малые звери тоже издадут крики, вторя Вухуну. И слышатся их голоса и шорох листьев.

БУНТ РЕЧНЫХ БОЖЕСТВ



незапамятных времен по равнине текли три широкие реки; матерями их были три седые вершины, а отцом – ураган. Назывались они Эймес, Зейнес и Сегастрион. Воды Эймеса приносили радость мычащим стадам; Зейнес подставлял шею под ярмо, которым обуздал его человек, и нес на себе спиленные деревья от самого леса далеко за горы; а Сегастрион пел старые песни мальчикам-пастушкам: песни о своем детстве в уединенном ущелье, о том, как однажды он сбежал по склону горы и отправился вдаль по равнине посмотреть на мир и как он наконец добрался до моря. Это были равнинные реки, и равнина радовалась им. Но старики рассказывают, что их отцы слышали от своих предков, будто однажды властители равнинных рек взбунтовались против закона Миров, и вышли из берегов, слились вместе, и хлынули в города, и утопили множество людей, говоря при этом:

– Мы теперь играем в игру богов и топим людей ради своего удовольствия, мы выше богов Пеганы.

Вся равнина была залита до самых холмов.

А Эймес, Зейнес и Сегастрион уселись на горах и вытянули руки над своими реками, и реки восстали по их приказу.

Но людские молитвы, возносясь, достигли Пеганы, достигли слуха богов:

– Три речных божества топят нас ради своего удовольствия, говорят, что они выше богов Пеганы, и играют в собственную игру с людьми.

Боги Пеганы разгневались, но не знали, как покарать властителей трех рек, потому что те тоже были бессмертными, хотя и малыми, богами.



А речные боги простирали над водами руки, широко расставив пальцы, и вода поднималась все выше, и шум потоков раздавался все громче:

– Разве мы не Эймес, Зейнес и Сегастрион?

Тогда Мунг отправился в пустыни Африки и пришел к вечно мучимому жаждой Амбулу, сидевшему на черных скалах, крепко вцепившись в человеческие кости и дыша жаром.

Мунг встал перед ним, глядя, как поднимаются и опускаются под спекшейся кожей бока; даже когда Амбул втягивал в себя воздух, его горячее дыхание жгло валявшиеся по пустыне кости и сухие палки.

И сказал Мунг:

– О друг Мунга! Пойди и улыбнись в лицо Эймесу, Зейнесу и Сегастриону, чтобы они поняли, разумно ли бунтовать против богов Пеганы.

Амбул ответил:

– Я повинуюсь, Мунг.

И Амбул пришел и уселся на холме по другую сторону разлившихся вод и оттуда ухмыльнулся, глядя на восставших речных богов.

А когда Эймес, Зейнес и Сегастрион простерли руки над своими реками, то увидали над зеркалом вод ухмылку Амбула. Ухмылка эта была подобна смерти в ужасных и жарких краях, боги отдернули руки и больше не простирали их над реками, и вода стала понижаться.

Так Амбул просидел, ухмыляясь, тридцать дней, и реки вернулись в прежние русла, а властители их ускользнули в свои жилища. Но Амбул все ухмылялся.

Тогда Эймес нашел себе убежище в большом пруду под скалой, а Зейнес заполз в лес, а Сегастрион, тяжело дыша, растекся по песку – но Амбул все ухмылялся.

И Эймес оскудел и был позабыт, и люди, жившие на равнине, говаривали: «Здесь когда-то протекал Эймес»; а Зейнесу едва хватило сил вывести свою реку к морю. Сегастрион же, тяжело дыша, лежал на песке и, когда прохожий перешагнул через него, произнес:

– Нога человека прошла по моей шее, а я-то считал себя выше богов Пеганы.

Тогда сказали боги Пеганы;

– Достаточно. Мы – боги Пеганы, и нет нам равных.

И Мунг отослал Амбула обратно, в Африку, вновь дышать жаром на скалы, иссушать пустыню, выжигать клеймо Африки в памяти тех, кто сумел унести оттуда ноги.

А Эймес, Зейнес и Сегастрион вновь запели свои песни и потекли по привычным руслам, играя в Жизнь и Смерть с рыбами и лягушками, но никогда больше не пытались играть с человеком, как боги Пеганы.

О ДОРОЗАНДЕ

(чьи глаза видят Конец)



Дорозанд сидит высоко над людскими жизнями и смотрит, какими они будут.

Дорозанд – это бог Судьбы. На кого Дорозанд устремит взгляд, тот двинется прямо к неминуемому концу; станет стрелой лука Дорозанда, пущенной в мишень, ему самому невидимую, – в цель Дорозанда. За пределы человеческой мысли, за пределы взгляда богов смотрят глаза Дорозанда.

Он отобрал себе рабов. Бог Судьбы посылает их куда ему нужно, и они спешат, не зная, зачем и куда, под ударами его бича или на его призывный крик.

Существует некая цель, которую Дорозанд должен достичь, поэтому он заставляет людей во всех мирах действовать, не останавливаясь и не отдыхая. А боги Пеганы переговариваются между собой, гадая:

– Чего же хочет достичь Дорозанд?

Предначертано и предсказано, что не только людские судьбы предоставлены попечению Дорозанда, но и что боги Пеганы не могут послушаться его воли.

Все боги Пеганы боятся Дорозанда, ибо по глазам его видят, что он смотрит дальше богов.

Смысл и жизнь Миров – это Жизнь в Мирах, а Жизнь – средство для достижения цели Дорозанда.

Поэтому Миры движутся, и реки текут в море, и Жизнь возникла и распространилась по всем Мирам, и боги Пеганы совершают свои труды – и все ради Дорозанда. Но когда Дорозанд достигнет цели, Жизнь в Мирах станет ненужной, и не будет больше игры для малых богов. Тогда Киб потихоньку, на цыпочках, пройдет по Пегане к тому месту, где отдыхает МАНА-ЙУД-СУШАИ, и, почтительно коснувшись его руки, руки, создавшей богов, скажет:

– МАНА-ЙУД-СУШАИ, твой отдых был долгим.

А МАНА-ЙУД-СУШАИ ответит:

– Не таким уж долгим, ведь я отдыхал всего пятьдесят божественных вечностей, а за каждую из них в Мирах, которые вы сотворили, проходит едва ли больше десяти миллионов смертных лет.

Тут испугаются боги, поняв, что МАНА знает, как, пока он отдыхал, они создали Миры. И скажут:

– Нет, все Миры появились сами.

Тогда МАНА-ЙУД-СУШАИ легко, будто оттоняя что-то надоевшее, взмахнет рукой – рукой, некогда создавшей богов, – и богов не станет.

Тогда на севере зажгутся три луны над Неизменной Звездой, три луны, что не прибывают и не убывают, а лишь не сводят глаз с Севера.

И комета прекратит свои поиски и остановится, перестанет летать среди Миров, успокоится, словно тот, кто уже все нашел, но затем оставит отдых, потому что наступит КОНЕЦ, конец всему, что осталось от старинных времен, даже МАНА-ЙУД-СУШАИ.

Тогда Время не будет больше Временем; и может случиться, что прежние, ушедшие дни вернутся из-за Предела. А мы, те, кто оплакивает минувшие дни, вновь увидим их, подобно путнику, возвратившемуся из долгих странствий домой и очутившемуся среди милых, памятных вещей.

Ведь про МАНА, который так долго отдыхал, никто не знает, жесток он или милостив. Может оказаться, что он милостив, и тогда все так и произойдет.

ОКО В ПУСТЫНЕ

 а Бодраганом, городом, где кончается караванный путь, лежат семь пустынь. Дальше ничего нет. В первой пустыне видны следы великих путешественников, ведущие от Бодрагана в пустыню, и совсем немного следов, ведущих обратно. А в другой пустыне есть только следы туда, а обратных нет.

В третьей пустыне нога человека не ступала. Четвертая пустыня песчаная, пятая пыльная, шестая — каменная, а седьмая — Пустыня Пустынь.

Посреди последней пустыни, лежащей за Бодраганом, посреди Пустыни Пустынь, стоит изваяние, которое в старинные времена было вырублено из горы, и зовется оно Рейнорад. Это Око в Пустыне.

У подножия Рейнорада вырезаны таинственными буквами, которые по ширине превосходят русла рек, такие слова:

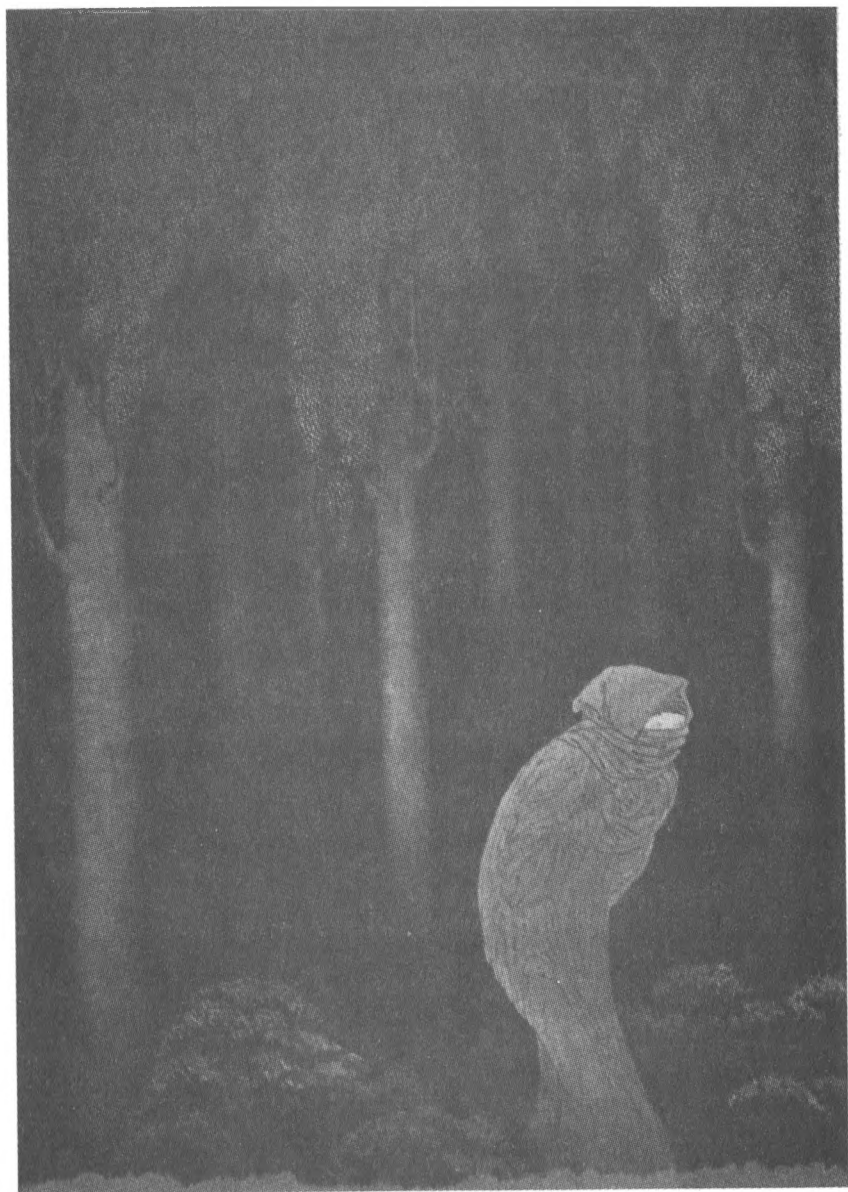
Богу, который знает.

Поскольку за второй пустыней человеческих следов нет и поскольку во всех семи лежащих за Бодраганом пустынях нет воды, туда не мог добраться человек, чтобы вырезать изваяние из горы, значит, Рейнорад создан руками богов. В Бодрагане, где кончается караванный путь и отдыхают погонщики верблюдов, рассказывают, что однажды боги, стуча целую ночь молотками где-то далеко в пустынях, вырезали Рейнорада из горы. Более того, утверждают, что Рейнорад изваян как изображение бога Худразей, открывшего тайну МАНА-ЙУД-СУШАИ и узнавшего, для чего созданы боги.

Говорят, Худразей держится отдельно от всех в Пегане и ни с кем не разговаривает, поскольку знает то, что скрыто от богов.

Поэтому боги создали его изваяние в пустынном краю, изваяние того, кто думает и молчит, — Око в Пустыне.

Говорят, Худразей слышал, как МАНА-ЙУД-СУШАИ бормотал себе под нос, и уловил смысл, и узнал; говорят, что он был богом радости и веселья, но с того момента, как стал знать, утратил веселье; таково же и его изображение, глядящее на пустыню, где нет ни одного человеческого следа.



Хиш



И погонщики верблюдов, что сидят и слушают рассказы стариков на базаре в Бодрагане по вечерам, пока отдыхают верблюды, говорят так:

— Раз Худразей так мудр и при этом так печален, давайте выпьем вина, а мудрость пусть убирается прочь, в пустыни, что лежат за Бодраганом.

Поэтому в городе, где кончается караванный путь, царит веселье и всю ночь слышится смех.

Все это рассказывают погонщики верблюдов, вернувшись с караванами из Бодрагана; но кто поверит рассказам погонщиков верблюдов, услышанным от стариков в далеком городе?

О ТОМ, КТО НЕ БЫЛ НИ БОГОМ, НИ ЧУДОВИЩЕМ



Видя, что в городах нет мудрости, а в мудрости нет счастья, Йадин, пророк, которому богами было предназначено посвятить жизнь поискам мудрости, отправился с караванами в Бодраган. Как-то вечером, когда верблюды отдыхали, когда жаркий дневной ветер отступал в глубь пустыни, на прощание вздыхая в пальмах и оставляя караваны в покое, Йадин послал с ветром вопрос Худразею, чтобы ветер отнес его в пустыню.

И слова понеслись вместе с ветром:

— Почему продолжают боги существовать и играть в свою игру с людьми? Почему Скарл не перестает барабанить, а МАНА все отдыхает?

А семь пустынь откликнулись эхом:

— Кто знает? Кто знает?

Но за семью пустынями, там, где высится в сумерках огромный Рейнорад, его вопрос был услышан, и туда, где раздался вопрос пророка, прилетели три фламинго, при каждом взмахе крыльев вскрикивавшие:

— Спешите на Юг! Спешите на Юг!

Когда они очутились рядом с пророком, он ощутил исходившую от них свободу и прохладу в жаркой, ослепляющей пустыне



и протянул к ним руки. И почувствовал, как чудесно лететь вслед за белыми большими крылами в прохладе над жаркой пустыней. Йадин слышал их голоса над собою: «Спеши на Юг! Спеши на Юг!» – а пустыни внизу откликались: «Кто знает? Кто знает?»

Иногда земля тянулась к ним горными вершинами, иногда уходила вниз глубокими ущельями, реки пели, когда они пролетали над их синевой, слабо доносилась мелодия ветра из заброшенных садов, а вдалеке море торжественно оплакивало старые забытые острова. И казалось, в целом мире все движется только к Югу.

Казалось, сам Юг призывал к себе всех, и все шли.

Но когда пророк увидел, что они пролетели над краем Земли и что далеко на Севере осталась Луна, он догадался, что следует не за земными птицами, а за некими удивительными вестниками Худразея, чье жилище находится в одной из долин Пеганы, у подножия гор, на которых восседают боги.

Они продолжали лететь на Юг мимо всех миров, оставляя их за собою, пока впереди не оказались лишь Араксес, Задрес и Хираглион. Отсюда огромная Ингази казалась лишь светлой точкой, а Йо и Миндо больше не были видны.

Они продолжали лететь на Юг, пока он не остался внизу, а они не оказались у Предела Миров.

Здесь не было ни Юга, ни Востока, ни Запада, только Север и За Пределами: к Северу лежали Миры, а За Пределами начиналось Безмолвие, а сам Предел представлял собой массу скал, которую боги не использовали, когда создавали Миры. На ней сидел Трогул – не бог и не чудовище. Трогул не выл и не дышал, он только переворачивал страницы огромной книги, черные и белые, черные и белые, переворачивал и будет переворачивать дальше, пока не дойдет до КОНЦА.

Все то, что должно случиться, записано в этой книге, как и все то, что уже случилось.

Когда Трогул переворачивает черную страницу – наступает ночь, когда белую – приходит день.

Там написано все про тебя и меня, вплоть до той страницы, на которой наши имена уже больше не появляются.

Пока пророк наблюдал, Трогул перевернул страницу – черную, – и ночь прошла, и над Мирами засиял день.



В разных странах Трогула называют разными именами, он сидит позади богов, а книга его – Устройство Вещей.

Когда Йадин увидел, что прежние, памятные ему дни оказались в той части, которую Трогул уже пролистал, что тысячу страниц назад на одной из страниц было написано имя, которое с тех пор не появлялось, он обратился с мольбой к Трогулу (который только переворачивает страницы и не отвечает ни на какие мольбы). Он взмолился, глядя прямо Трогулу в лицо:

– Только перелистай назад страницы, пока на них не окажется написанным имя, которое больше не появляется, – и страшно далеко, в мире, именуемом Землей, люди будут восславлять имя Трогула. Ведь место, именуемое Землей, действительно существует, и люди там будут молиться Трогулу.

Тогда произнес Трогул, переворачивающий страницы и оставляющий без ответа мольбы, и его голос был похож на шорохи ночью в пустыне, когда не слышно эхо:

– Если бы даже вихрь с Юга вцепился когтями в уже перевернутую страницу, то и он не был бы в силах перевернуть ее назад.

Затем, ибо так было написано в книге, Йадин снова очутился в пустыне. Он лежал на песке, а один из погонщиков дал ему воды и затем отвез его на верблюде в Бодраган.

Некоторые считают, что Йадину все это привиделось, когда он уснул, измученный жаждой и истомленный переходом по пустыне. Но старики в Бодрагане говорят, что где-то и в самом деле сидит Трогул, не бог и не чудовище, и переворачивает страницы книги, черные и белые, черные и белые, пока не дойдет до слов МЕЙ ДУН ИЗАН, что означает «Конец Всему», и тогда не станет ни книги, ни богов, ни миров.

ПРОРОК ЙОНАФ



Ионаф был первым из пророков, говоривших пред народом. Вот слова Йонафа, первого из пророков:

В Пегане обитают боги.

Ночью спал я. И во сне явилась мне Пегана. И была она полна богов.



Только МАНА-ЙУД-СУШАИ я не видел. И в этот час – час сна – обрел я знание. Вот конец и начало моего знания и все мое знание как оно есть: Человек Ничего Не Знает. Ищи в ночи границу мрака или ищи, где рождается радуга, когда повисает она над холмами, только не тщиись объяснить дела богов.

Боги сделали Вещи, Которые Будут, более яркими, оттого они соблазняют людей сильнее, чем Вещи, Которые Есть.

А для самих богов Вещи, Которые Будут, и Вещи, Которые Есть, – одно, и в Пегане все неизменно.

Боги хотя и не милостивы, однако и не жестоки. Они уничтожают Дни Минувшие во славу Дней Грядущих.

Должно человеку с терпением сносить тяготы Дней Нынешних, а в утешение боги даровали ему незнание.

Не ищи знания. Оно ослабит тебя, и когда под конец ты окажешься там же, откуда начал свой путь, силы твои будут на исходе.

Не ищи знания. Даже я, Йонаф, старейший из пророков, согнулся под бременем мудрости и изнемог от поисков, а знаю лишь то, что человек ничего не знает.

Некогда стремился я познать все на свете, теперь же я знаю лишь одно, и скоро годы унесут меня прочь. Когда Йонаф перестанет быть Йонафом, множество людей пойдет моим путем, который ведет лишь к новым поискам. Не вступай же на этот путь. Не ищи знания.

Таковы слова Йонафа.

ПРОРОК ЙУГ



огда Годы унесли Йонафа, умер Йонаф, и не стало пророка у людей.

Но люди по-прежнему искали знаний. И сказали они Йугу:

– Будь нашим пророком, познай все на свете и объясни нам причину Всего. И Йуг ответил:

– Мне известно все.

И люди были довольны. И Йуг сказал о Начале, что оно в саду у Йуга, а о Конце, что он в пределах его зрения. И люди забыли Йонафа.

Однажды Йут увидел за холмами Мунга, тот явил свое знамение. И Йут перестал быть Йутом.

ПРОРОК АЛХИРЕТ-ХОТЕП

После того как Йут перестал быть Йутом, народ сказал Алхирет-Хотепу:

– Будь нашим пророком, столь же мудрым, как Йут.

И Алхирет-Хотеп ответил:

– Я столь же мудр, как Йут.

И народ остался весьма доволен. И сказал Алхирет-Хотеп о Жизни и Смерти: «Это дела Алхирет-Хотепа». И люди принесли ему дары.

Однажды Алхирет-Хотеп записал в книге: «Алхирет-Хотеп знает Все, ибо он говорил с Мунгом». Тогда Мунг выступил вперед, явил свое знамение и сказал:

– Так ты Все знаешь, Алхирет-Хотеп?

И Алхирет-Хотеп очутился среди Вещей, Которые Были.

ПРОРОК КАБОК

После того как Алхирет-Хотеп очутился среди Вещей, Которые Были, люди по-прежнему искали знания, и сказали они Кабоку:

– Будь столь же мудрым, как Алхирет-Хотеп.

И сделался Кабок мудрым в своих глазах и в глазах народа. И объявил Кабок:

– Мунг являет свое знамение или воздерживается от него по совету Кабока.

И сказал он одному человеку:

– Ты согрешил против Кабока, и скоро Мунг явит тебе свое знамение.

И другому:

– Ты принес дары Кабоку, и Мунг повременит со своим знаменем.

Однажды ночью Кабок, разжиревший на дарах, услышал поступь Мунга, который ходил по саду Кабока вокруг его дома.

И оттого, что ночь была тиха, Кабок встревожился, что Мунг бродит по саду, не спрося у него совета.

И Кабок, знавший Все, преисполнился страха, ибо шаги звучали очень громко, а ночь была тиха, и он не знал, что у Мунга за спиной, — этого никто не видел.

Когда настало утро и на Миры излился свет, Мунг перестал шагать по саду, и Кабок, забыв о своих страхах, сказал:

— Быть может, табун лошадей забрел в мой сад.

И возвратился Кабок к своим трудам. А полагалось ему Все знать, возвещать обо Всем народу и возжигать огонь Мунгу. Но в следующую ночь Мунг снова бродил по саду Кабока, он приблизился к его дому и встал у окна, как тень, и понял тогда Кабок, что это точно Мунг.

И от великого страха сжалось горло у Кабока, поэтому, когда он выкрикнул: «Ты — Мунг!» — голос его звучал хрипло.

А Мунг наклонил слегка голову и снова принялся разгуливать по саду Кабока вокруг его дома.

И Кабок лежал и слушал со страхом в сердце. Когда же настало второе утро и на Миры излился свет, Мунг перестал бродить по саду Кабока, и очень скоро в сердце Кабока проснулась надежда, но он со страхом ожидал третьей ночи.

И вот настала третья ночь, и летучая мышь вернулась в свой дом, и ветер замер, и ночь была тиха. Кабок же лежал и слушал, и крылья ночи двигались для него очень медленно. Но прежде, чем ночь и утро встретились на Пути меж Пеганой и Мирами, в саду Кабока раздались шаги Мунга, который направлялся к дверям Кабока.

И кинулся Кабок вон из дома, как преследуемый зверь, и предстал перед Мунгом.

И Мунг явил ему свое знамение, указав путь к Концу. И страхи больше не терзали Кабока, ибо они вместе с ним оказались среди Вещей, Которые Были.



О БЕДЕ, ЧТО ПРИКЛЮЧИЛАСЬ С ЙУН-ИЛАРОЙ У МОРЯ, И О СТРОИТЕЛЬСТВЕ БАШНИ ИСХОДА ДНЕЙ

Рогда Кабок почил вместе со своими страхами, народ стал искать пророка, который не боялся бы Мунга, поднимающего руку на пророков.

И наконец нашли Йун-Илару, который пас овец и не боялся Мунга, и привели его в город, чтобы он сделался пророком.

И выстроил Йун-Илара башню у моря, которая смотрела на закат Солнца. И нарек ее Башней Исхода Дней.

И на исходе каждого дня взбирался Йун-Илара на вершину башни, глядел на закат Солнца и громко хулил Мунга:

— О Мунг, поднимающий руку на Солнце, люди тебя ненавидят, но поклоняются тебе из страха; вот здесь стоит и говорит Йун-Илара, не знающий боязни. Душегуб, вдохновитель убийств и черных дел, безжалостный и мерзкий, яви мне знамение Мунга, но знай: покуда тишина не сойдет на мои уста, я буду выкрикивать оскорбления тебе в лицо.

И люди внизу глядели и удивлялись на Йун-Илару, не боящегося Мунга, и приносили ему дары; лишь с наступлением ночи они смиренно молились Мунгу в своих домах.

Но Мунг сказал:

— Разве может человек оскорбить бога?

И Мунг заходил в людские жилища и собирал свою жатву. Шли дни, Йун-Илара в своей башне у моря по-прежнему выкрикивал поношения Мунгу, но Мунг не приходил к нему. А Сиш, гуляя по Мирам, кликнул своего пса-Время, истребил отслужившие свое Часы и, вызвав из пустыни за Мирами полчища новых Часов, послал их сражаться со всем, что есть на свете. И Сиш убелил Йун-Иларе



волосы, покрыл его лицо морщинами и обвил плющом его башню, а Мунг все не шел.

И хотя поначалу Сиш был не слишком суров, Йун-Илара перестал выкрикивать с башни поношения Мунгу, и наконец настал день, когда дар Киба тяжким бременем лег на плечи Йун-Илара.

Тогда с Башни Исхода Дней возопил Йун-Илара:

— О Мунг! О прекраснейший из богов! Нет тебя желаннее! Твой дар, дар Смерти, вновь соединяет нас с Землей, несет покой и забвение. Киб дарит лишь заботы и труды; Сиш вместе с каждым из часов, что сражаются с Миром, посылает сожаление. Йохарнет-Лехей больше не приходит ко мне по ночам. И мало мне радости от Лимпанг-Танга. Когда от человека отвернутся боги, с ним остается только Мунг. Но Мунг сказал:

— Разве может человек оскорбить бога?

И весь день и всю ночь громко вопил Йун-Илара:

— Ах, как бы мне хотелось дожидаться траурного дня, красивых венков, и слез, и темной влажной земли. Ах, как приятно покоиться там, где шелестит над головой трава, где корни деревьев оплетают мир, где нет пронизывающего ветра, где в темноте теплый дождь сочится сквозь землю, а не хлещет с небес, где кости легко рассыпаются в прах.

Так молился Йун-Илара, который по молодости лет в своем безумии поносил Мунга.

У рухнувшей башни, которую когда-то выстроил Йун-Илара, и сейчас лежит горстка костей, а ветер разносит громкие мольбы о милости, если таковая есть на свете.

О ТОМ, КАК БОГИ ПОГУБИЛИ ДОЛИНУ СИДИФЬ



Долине Сидифь стоял стон. Ибо три года там свирепствовала чума, не прекращалась война, а в последний из трех лет случился голод. Люди в долине Сидифь умирали днем и ночью, и днем и ночью в храме Всех богов кроме Одного (ибо никто не



смеет молиться МАНА-ЙУД-СУШАИ) усердно возносили молитвы жрецы.

Они говорили:

– Бывает, человек, хотя он и слышит жужжание насекомых, не сразу его замечает. Так и боги пока не слышат наших молитв, но если молитвы будут непрерывно нарушать тишину, то, может статься, кто-то из богов, гуляя по лугам Пеганы, набредет на одну из наших молитв, что бьется в траве, словно бабочка с помятыми крыльями. И если боги будут к нам милостивы, они облегчат нашу участь, а если нет, сотрут нас с лица земли, ибо нрав их изменчив, и тогда в долине Сидифь не будет больше скорбей: ни чумы, ни смерти, ни войны.

Но на четвертый год чумы и на второй год голода – а надо сказать, что война там ни на миг не прекращалась – все жители долины Сидифь собрались у дверей храма Всех богов кроме Одного, куда имеют право входить одни жрецы – лишь для того, чтобы оставить дары и удалиться.

И жители долины спросили:

– О Верховный Пророк Всех богов кроме Одного, Жрец Киба, Жрец Сиша и Жрец Мунга, Тот, кому ведомы тайны Дорозанда, Получатель людских даров и Господин Молитвы, что ты делаешь в храме Всех богов кроме Одного?

И Арб-Рин-Хадит, Верховный пророк, ответил:

– Я молюсь за весь Народ.

Но народ сказал:

– О Верховный Пророк Всех богов кроме Одного, Жрец Киба, Жрец Сиша и Жрец Мунга, Тот, кому ведомы тайны Дорозанда, Получатель людских даров, Господин Молитвы, уже четыре года возносишь ты молитвы вместе со всеми твоими служителями, мы же приносим дары и умираем. Но так как боги не слышали тебя за все четыре страшных года, ты должен пойти и донести до них мольбу народа долины, когда они пошлют гром на гору Агринон, иначе в рассветный час не будет даров у дверей твоего храма, даров, которыми кормишься ты со своими служителями.

Предстань пред их лицом и скажи: «О Все боги кроме Одного, Властители Миров, Повелители затмения, изгоните чуму из долины



Сидифь, ибо вы слишком долго играли с ее народом, и он готов отречься от богов».

Тогда в великом страхе отвечал Верховный Пророк:

– А что, если боги разгневаются и погубят Сидифь?

Но люди сказали:

– Мы все равно погибнем от чумы, голода и войны.

Той ночью гром гремел над Агриноном, что высится над всеми другими торами в Сидифи. И люди вывели Арб-Рин-Хадша из храма и послали его к Агринону со словами: «Сегодня на гору явятся Все боги кроме Одного».

И Арб-Рин-Хадит, трепеща от страха, отправился к богам.

На следующее утро вернулся Арб-Рин-Хадит в долину, бледный от страха, и так сказал народу:

– Лица богов из железа, а уста тесно сомкнуты. Не будет вам пощады от богов.

Тогда сказал народ:

– Иди к МАНА-ЙУД-СУШАИ, которому нельзя молиться. Ищи его перед рассветом на вершине Агринона. Там в этот час царит покой, и там же, верно, отдыхает МАНА-ЙУД-СУШАИ. Отправься к нему и скажи: «Ты создал злых богов, они погубят Сидифь». Быть может, он забыл о своих богах или не слышал о Сидифи. Тебя не поразил Божественный гром, не поразит и покой МАНА-ЙУД-СУШАИ.

Перед рассветом, когда небо и озера ясны и мир покоен, а Агринон еще покойнее, Арб-Рин-Хадит поплелся в страхе к склонам Агринона, ибо народ понуждал его.

Весь день люди наблюдали за тем, как он взбирается по уступам. Ночью он отдыхал у вершины. Наутро тот, кто поднялся рано, видел его в тишине – крохотная фигурка на фоне неба протягивает руки к МАНА-ЙУД-СУШАИ. Затем он внезапно исчез, и больше его никто не видел – того, кто посмел потревожить покой МАНА-ЙУД-СУШАИ.

* * *

Рассказывают, что на Сидифь напало могучее и жестокое племя, истребившее всех жителей долины, где некогда стоял храм Всех богов кроме Одного, в котором не было верховного жреца.



О ТОМ, КАК ИМБОН СТАЛ В АРАДЕКЕ ВЕРХОВНЫМ ПРОРОКОМ ВСЕХ БОГОВ КРОМЕ ОДНОГО

Имбону предстояло стать в Арадеке Верховным Пророком Всех богов кроме Одного.

И в Арадек, в храм Всех богов кроме Одного, явились все Верховные Пророки Земли из Ардры, Рудры и дальних земель.

И поведали они Имбону, что Тайна Вещей начертана на своде Чертога Ночи, но неразборчиво и на неведомом языке.

Среди ночи, меж заходом и восходом солнца, привели они Имбона в Чертог Ночи и спросили нараспев:

– Имбон, Имбон, Имбон, взгляни на купол, где начертана Тайна Вещей, но неразборчиво и на неведомом языке.

И поглядел Имбон вверх, но темнота в Чертоге Ночи была так глубока, что он не видел даже Верховных Пророков, пришедших из Ардры, Рудры и дальних земель, и вообще не видел ничего.

И когда спросили Верховные Пророки:

– Имбон, что ты видишь?

Имбон ответил:

– Ничего.

Тогда спросили Верховные Пророки:

– Имбон, что ты знаешь?

И Имбон ответил:

– Ничего.

Тогда сказал Старейшина Верховных Пророков, главный из пророков Всех богов кроме Одного:

– О Имбон! Все мы глядели на купол Чертога Ночи, пытаясь разгадать Тайну Вещей, и всегда было темно, а Тайна была начертана неразборчиво и на неведомом языке. Теперь ты знаешь то, что знают все Верховные Пророки.



И Имбон повторил:

– Теперь знаю.

И стал Имбон в Арадеке Верховным Пророком Всех богов кроме Одного и молился за всех людей, которые не знали, что в Чертоге Ночи темно, а Тайна начертана неразборчиво и на неведомом языке.

Вот слова Имбона, которые он записал в книгу, чтобы все люди могли узнать о том, что с ним было:

«В двадцатую ночь девятисотой луны, когда долину окутал мрак, я, как всегда, свершал тайные обряды в честь каждого из храмовых богов, чтоб ни один из них не прогневался ночью и не покарал нас, пока мы спим.

И вслед затем, как прозвучало последнее из тайных слов, меня объял сон, ибо я изнемог. И вот, пока я крепко спал, а голова моя покоилась на алтаре Дорозанда, в храм вошел Дорозанд в облике человека, коснулся моего плеча, и я пробудился.

Когда я увидел, что глаза его горят голубым огнем, освещающая весь храм, я понял, что он бог, хотя и в человеческом обличье.

И Дорозанд сказал:

– Пророк Дорозанда, расскажи об этом людям.

И указал мне путь Сиша, уходящий далеко в грядущие века. Затем он повелел мне встать и следовать за ним, но говорил со мной не с помощью слов, а приказывал глазами. И на двадцатую ночь девятисотой луны отправился я вместе с Дорозандом по пути Сиша в грядущие века. И по обе стороны пути люди непрестанно убивали друг друга. И урон от этих убийств был больше, нежели от чумы или других бедствий, посылаемых богами.

И города поднимались и обращались в прах, и всюду пустыня возвращалась на прежнее место и скрывала селения, потревожившие ее покой.

И люди по-прежнему убивали людей. И наконец оказался я там, где люди более не налагали ярма на животных, а сделали себе зверей из железа. И после этого люди стали убивать людей туманом. И так как убийство превзошло всякую меру, на Земле настал мир, принесенный рукою убийцы, и люди больше не убивали друг друга. И множились города, и захватили пустыню, и потревожили ее покой.

И вдруг я почувствовал, что близок КОНЕЦ, ибо Пегана пришла в движение, словно проснулся Некто, устав от отдыха. И видел я, как пес-Время изготовился к прыжку, глядя богам на горло, переводя взгляд с одного горла на другое, а барабанная дробь Скарла звучала чуть слышно.

И если богам ведом страх, то страх исказил лик Дорозанда, и Дорозанд сжал мне руку и повел назад по дороге Времени, чтобы я не увидал КОНЦА.

И видел я, как города вновь встают из праха и вновь обращаются в пустыню, из которой поднялись. И я опять спал в храме Всех богов кроме Одного, а голова моя покоилась на алтаре Дорозанда.

И в храме снова стало светло, но не от глаз Дорозанда, а просто с востока пришел голубой рассвет и озарил своды. Тогда, восстав ото сна, свершил я утренние обряды и таинства Всех богов кроме Одного, чтобы ни один из богов не прогневался и не забрал от нас Солнце.

И оттого, что я не видел КОНЦА, хотя и был весьма близко, я понял, что не должно человеку видеть гибель богов или знать о ней. Это боги скрыли от наших глаз».

О ТОМ, КАК ИМБОН ПОВСТРЕЧАЛСЯ С ЗОДРАКОМ

Пророк богов лежал у реки и глядел на бегущий поток. И, лежа на берегу, размышлял об Устройстве Вселенной и о деяниях богов. И подумалось пророку, что Устройство Вселенной было верным и боги были милостивы, однако в Мирах царила скорбь. И еще подумалось ему, что Киб щедро раздает свои дары, и Мунг несет покой всем страждущим, и Сиш не слишком сурово распоряжается Часами – боги были благосклонны, однако в Мирах царила скорбь.

Тогда сказал пророк богов, глядя на бегущий поток:

– Верно, существует еще какой-нибудь бог, о котором в книгах ничего не сказано.



И тут пророк заметил на берегу реки старца, который горестно восклицал:

– Увы мне, увы!

Годы оставили след на его лице, но телом он был еще крепок. Вот слова пророка, записанные им в книге.

«Спросил я:

– Кто ты, который горестно восклицает на берегу реки?

И он ответил:

– Я – глупец.

Я возразил:

– На лбу у тебя печать мудрости, той, что хранится в книгах.

И он сказал:

– Я Зодрак. Тысячи лет назад я пас овец на холме у моря. Нрав богов изменив. Тысячи лет назад они были веселы. Боги сказали: “Давайте позовем к нам наверх человека, чтобы смеяться над ним в Пегане”.

Они забрали меня от овец, что паслись на холме у моря. Подняли выше грома. Поставили меня, простого пастуха, пред собой и смеялись. Но не так, как смеются люди, а со строгими глазами. И глаза их, глядевшие на меня, видели не только меня, но Начало и КОНЕЦ и все Миры вокруг. Потом сказали боги, говоря со мной так, как говорят они меж собой: “Иди, возвращайся назад к своим овцам”.

Но я, глупец, когда-то слышал на Земле, что человек, увидев богов в Пегане, сам может стать как бог, если этого захочет, – тому, кто глядел им в глаза, боги не могут отказать.

И я, глупец, сказал: “Я глядел в глаза богам и требую того, что человек вправе требовать от богов в Пегане”. И боги повернули головы к Худразею, и Худразей сказал: “Это закон богов”.

Но мне, простому пастуху, откуда было знать?

Я сказал: “Я сделаю людей богатыми”. А боги спросили: “Что такое богатство?”

Я сказал: “Я pošлю им любовь”. А боги спросили: “Что такое любовь?”

И я послал золото в Миры, но, увы, вместе с ним послал нищету и раздоры. И я послал любовь в Миры, а вместе с нею горе.

К тому же я по оплошности смешал любовь и золото, и теперь их нельзя разделить, ибо содеянное богами неизменно.

Затем я сказал: “Я дам людям мудрость, чтобы они были довольны”. И получившие мудрость поняли, что ничего не знают, и опечалились.

Так я, желая сделать людей счастливыми, сделал их несчастными и извратил замысел богов.

Отныне моя рука всегда на рукоятке их плуга. Но мне, простому пастуху, откуда было знать? Вот я пришел к тебе, отдыхающему у реки, чтобы просить о прощении, ибо нуждаюсь в прощении человека.

Тогда я воскликнул:

– О Господин семи небес, Повелитель бурь, разве может человек простить бога?

Он мне ответил:

– Люди не грешили против богов, но боги согрешили против людей, когда я пришел к ним на совет.

И я, пророк, спросил:

– О Господин семи небес, играющий с молнией, ты пребываешь средь богов, зачем тебе прощение человека?

И он ответил:

– Это правда, я пребываю средь богов, и они говорят со мной, как говорят с другими богами, однако губы их все время смеются, а в глазах я читаю: “Ты был человеком”.

Тогда я сказал:

– О Господин семи небес, под ногами которого Миры, как зыбучий песок, по просьбе твоей я, человек, тебя прошу.

И он ответил:

– Я был простым пастухом. Откуда мне было знать? – И исчез».

ПЕГАНА

Пророк воззвал к богам:
– О Все боги кроме Одного! – (Ибо никто не смеет молиться МАНА-ЙУД-СУШАИ.) – Куда уходит жизнь из тела, когда Мунг являет человеку свое знамение? Люди, с которыми вы играете, хотят это знать.

Но боги отвечали сквозь туман:



– Боги не откроют своей тайны. А вдруг ты поведаешь о ней животным, животные тебя поймут, и выйдет так, что люди, боги и животные будут знать одно и то же и сравняются меж собой.

В ту же ночь явился в Арадек Йохарнет-Лехей и сказал Имбону:

– Зачем тебе знать тайну богов? Боги не могут ее открыть. Когда стихает ветер, где он? И когда нет тебя средь живых, где ты? Ветру ли заботиться о затишье, тебе ли – о смерти? Жизнь твоя длинна, а Вечность коротка. Так коротка, что, когда ты умрешь и минует Вечность, ты снова будешь жить и скажешь: «Я лишь на миг закрыла глаза».

Вечность позади тебя и Вечность впереди. Разве ты сокрушаешься о веках, что прошли без тебя? Зачем тебе страшиться будущих веков?

И подумал пророк: «Как мне сказать людям, что боги не желают говорить со мной и я, их пророк, ничего не знаю? Тогда я перестану быть пророком, и люди станут приносить дары другому, а не мне».

И сказал пророк людям:

– Боги, говоря со мной, сказали: «О Имбон, наш пророк, люди не напрасно надеялись на тебя. Твоя мудрость постигла тайну богов: человек после смерти отправляется в Пегану и пребывает там с богами, и наслаждается, не ведая трудов. Пегана же – страна, где белеют вершины гор и на каждой восседает бог, а люди лежат внизу на склонах и отдыхают под сенью того бога, которого особо чтили в Мирах. И воздух там наполнен ароматом садов, что цвели в Мирах, и слух твой ласкает старая полузабытая мелодия. И солнце там никогда не меркнет, и прозрачные потоки струятся с гор под голубыми небесами. И нет там ни дождей, ни сожалений. И розы, достигшие расцвета, роняют лепестки к твоим ногам, и только изредка с забытой Земли доносятся тихие голоса, что слышал ты в садах твоей юности. И если вздохнешь ты о Земле, услышав забытые голоса, то боги пошлют тебе в Пегану крылатых вестников, сказав им: “Один из людей не забыл о Земле”. И вестники возьмут тебя за руку и примутся шептать тебе на ухо, пока не забудешь ты земные голоса. И станет для тебя Пегана еще прекраснее.

И посреди лугов Пеганы вырастет розовый куст, что обвивал крыльцо родного дома, и зазвучат напевы, которым внимал ты давным-давно.

И с трех великих вершин, что высятся над всеми и зовутся Гримболь, Зееболь и Трехагоболь, подуют, неся богам Пеганы свежесть, утренний ветер и ветры вечерний и полуденный, рожденные крылами бабочек, что сгинули в Мирах.

А из Срединного моря по слову богов взовьется серебристый фонтан, повиснет над вершинами Пеганы сверкающим туманом и сокроет место, где отдыхает МАНА-ЙУД-СУШАИ.

Там, у подножия Внутренних Гор лежит большое голубое озеро. Воды его тихи, а берега пустынные.

Тот, кто заглянет в его воды, увидит свою жизнь в Мирах и все дела, которые он совершил.

Но никто не приближается к его берегам и никто не глядит в его воды, ибо все страдали на Земле и все грешили.

В Пегане всегда светло. Когда одержит ночь победу над солнцем и успокоит Миры и белоснежные вершины гор станут серыми, тогда, подобно солнцу над морем, засияют голубые глаза богов, сидящих на вершинах.

И когда настанет Последний Срок – быть может, это будет летом, – боги скажут богам:

– Каков лик МАНА-ЙУД-СУШАИ? И что такое КОНЕЦ?

И тогда МАНА-ЙУД-СУШАИ отгонит рукой туман, что скрывает место его отдыха, и возгласит:

– *Вот лик МАНА-ЙУД-СУШАИ и вот КОНЕЦ.*

И сказали пророку люди:

– Разве черные холмы в покинутом краю не сомкнутся вокруг долины, где будут плавиться и клокотать камни, а обломки скал с шипением всплывать и уходить на дно? И разве наши враги не будут кипеть там вечно?

И ответил пророк;

– В Пегане у подножия гор, на которых восседают боги, высечена надпись: «Враги твои прощены».



РЕЧЕНИЯ ИМБОНА

Пророк богов сказал:

— Там, у дороги, сидит лжепророк и каждому, кто хочет знать о тайных днях, говорит: «Скоро царь проедет здесь на колеснице и будет беседовать с тобой». И люди приносят дары лжепророку и слушают его охотнее, чем Пророка богов.

Тогда сказал Имбон:

— Что известно Пророку богов? Мне известно, что люди ничего не знают о богах и очень мало — о людях. Могу ли я, их пророк, сказать им об этом?

Ведь люди избирают себе пророков, чтобы те говорили об их надеждах и о том, что надежды эти сбудутся.

Лжепророк сказал: «Скоро царь будет беседовать с тобой».

Почему бы мне не сказать: «Скоро боги будут беседовать с тобой в Пегане»? Тогда люди будут счастливы, и поверившие словам Пророка будут знать, что их надежды сбудутся. Но что знает о богах Пророк, к которому никто не придет и не скажет: «Твои надежды сбудутся»? Перед его глазами никто не делает тайных знаков, чтобы отогнать страх смерти, не для него звучат песнопения служителей храма.

Пророк богов купил себе мудрость ценою счастья и отдал свои надежды людям.

Еще сказал Имбон:

— Если ночью тебя охватит гнев, погляди на звезды: они тихи. Тому, кто мал, подобает ли браниться, когда великие молчат? Или, если гнев охватит тебя днем, взгляни на далекие холмы: их лик украшен спокойствием. Подобает ли тебе гневаться, когда они невозмутимы?

Не ропщи на людей, ибо они, как и ты, подвижны Дорозандом. Разве волы, на которых одно ярмо, подгоняют друг друга?

Не ропщи на Дорозанда, ибо тогда ты сражаешься голыми руками с железным утесом. Все, что делается, делается потому, что так должно быть. Поэтому не ропщи на неизбежное.



И еще сказал Имбон:

– Солнце восходит, чтобы осиять славой все, что видит под собою, и превращает простую росу в драгоценные камни. И убивает ими холмы.

Так же и человек. Он рождается, и в садах его юности пребывает слава. И Солнце, и человек проходят свой путь, чтобы исполнить предназначенное Дорозандом.

Закатится Солнце, и звезды тихо загорятся на небосклоне.

Умрет человек, и родственники тихо плачут на его могиле.

Наступит ли снова рассвет его жизни? Увидит ли он вновь сады своей юности? Или же все завершится закатом?

О ТОМ, КАК ИМБОН ГОВОРИЛ С ЦАРЕМ О СМЕРТИ С ЦАРЕМ



Когда в Арадеке свирепствовала чума, царь, выглянув в окно, увидел, что люди умирают. И, увидав Смерть, испугался, что однажды даже ему придется умереть. Тогда царь приказал своим стражам привести во дворец мудрейшего из пророков Арадека.

И вестники явились в храм Всех богов кроме Одного и громко возгласили, предварительно потребовав тишины:

– Разахан, царь Арадека, Наследный князь Илдана и Илдона, Завоеватель Патии, Эзека и Азхана, Повелитель Холмов, приветствует Верховного Пророка Всех богов кроме Одного!

А затем привели Верховного пророка к царю. И сказал царь пророку:

– О Пророк Всех богов кроме Одного, неужели и я когда-нибудь умру?

И пророк ответил:

– О царь! Твой народ не сможет вечно наслаждаться твоим правлением. Придет и твой черед умереть.

И царь ответил:

– Возможно, ты и прав, но вот ты умрешь наверняка. Возможно, я когда-нибудь умру, но пока я жив, жизнь подданных в моих руках.

И стражи увели пророка.

С тех пор пророки Арадека не говорят с Царями о смерти.

ОБ ООДЕ

 оворят, если ты отправишься к Сундари по равнинам и поднимешься на вершину прежде, чем тебя накроет лавина, подстерегающая путника на склонах, перед тобой откроется горная гряда. И когда ты взберешься на эти горы и перейдешь лежащие между ними долины (которых будет семь по числу вершин), ты наконец окажешься в стране забытых холмов, где посреди долин и снегов стоит «Великий храм Одного бога».

Внутри храма дремлет пророк и с ним все служители. Они — жрецы МАНА-ЙУД-СУШАИ. В храме запрещено свершать труды и молиться. В его стенах день неотличим от ночи. Жрецы там предаются отдыху, как предается МАНА. И пророк его зовется Оод.

Оод — величайший из пророков Земли. Говорят, если он начнет молиться нараспев вместе со всеми служителями храма и станет призывать МАНА-ЙУД-СУШАИ, то МАНА-ЙУД-СУШАИ очнется от сна — ведь он обязательно услышит молитву своего пророка, — и тогда не станет больше Миров.

Есть еще один путь в страну забытых холмов. Это прямая ровная дорога в самом сердце гор. Но по неким тайным причинам лучше добираться в обитель Оода через вершины и снега — пускай ты и погибнешь в пути, — чем пробовать попасть туда по ровной прямой дороге.

РЕКА

 егане берет начало река, но не река воды и даже не река огня: по небесам и Мирам струится к Пределу Миров Река Безмолвия. Миры полны звуками и шумами, полны эхом голосов и песен, только на Реке царит молчание, ибо там все звуки умирают.

Река рождается из барабанной дробы Скарла, течет меж берегов из грома, а за Мирами, за самой далекой звездой, впадает в Океан Безмолвия.



Я лежал в пустыне, вдали от городов и звуков, и надо мной по небу текла Река Безмолвия, а на краю пустыни ночь сражалась с Солнцем.

Когда же ночь одержала победу, на Реке показался корабль Йохарнет-Лехея, корабль Сновидений, плывущий в сумерках.

Шпангоуты корабля сделаны из старых снов, высокие прямые мачты – из фантазий поэтов, а снасти – из людских надежд.

Гребцы на палубе – те, что умерли, и те, что еще не родились, принцы из забытых сказок и существа, рожденные фантазией – беззвучно поднимали и опускали весла.

Ветры приносят в Пегану людские надежды и мечты, которым не нашлось места в Мирах, а бог Йохарнет-Лехей вплетает их в сны и вновь отсылает на Землю.

Каждую ночь Йохарнет-Лехей садится на корабль Сновидений, чтобы вернуть людям былые надежды и забытые мечты.

Прежде чем новый день вступит в свои права и легионы зари примутся метать в лицо ночи огненные копья, Йохарнет-Лехей покидает спящие Миры и уплывает по Реке Безмолвия в Пегану и дальше, в Океан Безмолвия, лежащий за Мирами.

И зовется та Река Имраной – Рекой Безмолвия. Те, кто устал от шума городов, пробираются ночью на корабль Йохарнет-Лехея, ложатся на палубу и плывут по Реке, окруженные былыми снами и мечтаниями, пока Мунг не явит им свое знамение, ибо такова их судьба. И, лежа на палубе среди незабытых фантазий и неспетых песен, они перед рассветом достигают Имраны, где не слышно ни шума городов, ни раскатов грома, ни полуночного воя Боли, терзающей людские тела, где никому нет дела до печалей Мира.

У врат Пеганы, там, где Река струится меж двумя созвездиями-близнецами Йумом и Готумом – Йум стоит на страже справа, а Готум слева, – сидит Сирами, властелин Забвения. Когда корабль проплывает мимо, Сирами глядит сапфировыми глазами на лица и мимо лиц тех, кто устал от городов, глядит, как глядят перед собою те, кто ничего не помнит, и плавно взмахивает руками, и люди на палубе забывают все – кроме того, что забыть невозможно, даже за Пределом Миров.



Говорят, когда Скарл перестанет бить в барабан и МАНА-ЙУД-СУШАИ очнется от сна, боги Пеганы поймут, что настал КОНЕЦ, и, не теряя достоинства, взойдут на золотые галеоны и поплывут вниз по Имране, к Океану Безмолвия, где нет ничего, даже звуков. А далеко, на берегу Реки, будет лаять их старый пес-Время, составший на своих хозяев. А МАНА-ЙУД-СУШАИ придумает другие миры и других богов.

ПТИЦА СУДЬБЫ И КОНЕЦ



последний срок Миры сотрясут раскаты грома, задумавшего избежать участи богов, а отощавший с годами пес-Время станет алчно скалиться на своих хозяев.

И тогда из сокрытой в горах долины взойдется в небо птица судьбы, Мозаан, чей голос подобен трубе, и станет громко бить крыльями, возвещая трубным голосом КОНЕЦ.

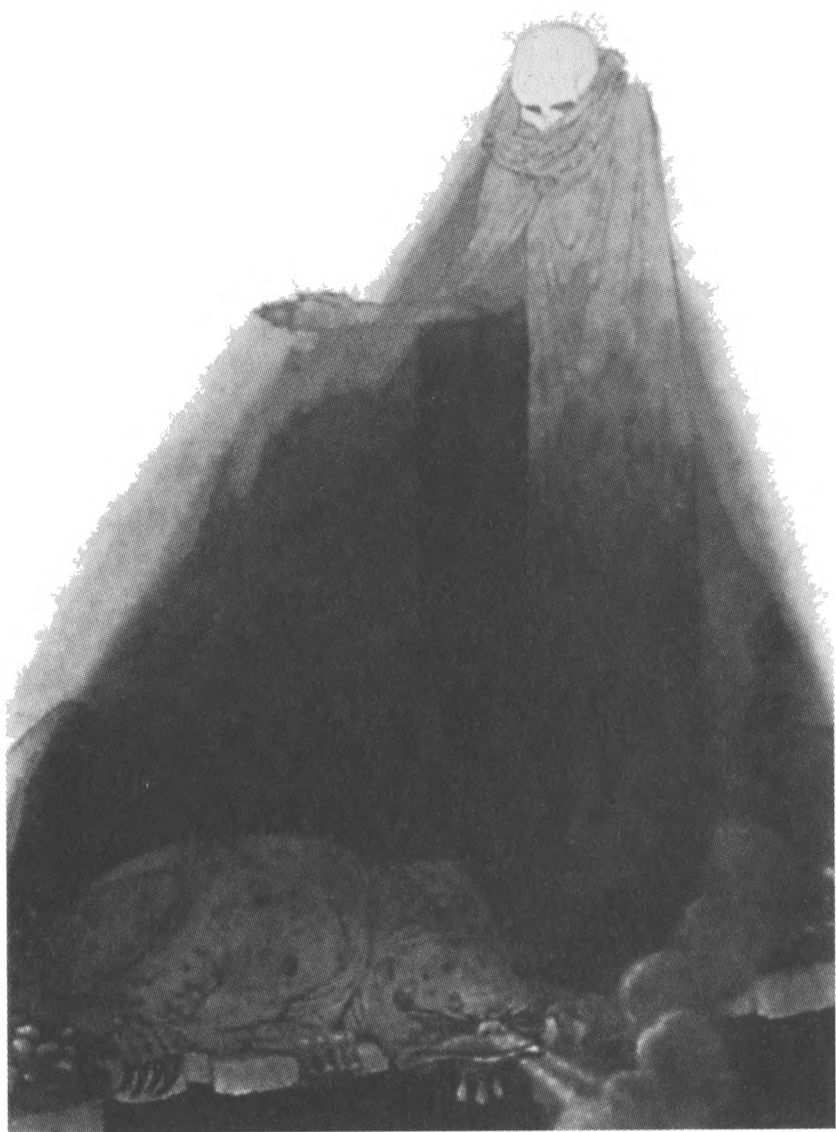
Тогда при всеобщем смятении, под яростный лай пса, боги явят в последний раз свое знамение и гордо прошествуют к золотым галеонам, чтобы уплыть по Реке Безмолвия и никогда не вернуться.

И выйдет Река из берегов, и Океан Безмолвия затопит все Миры и Небеса. А МАНА-ЙУД-СУШАИ будет восседать в Средине Всего, погруженный в раздумья. И когда миры и города, служившие пищей Времени, исчезнут, пес-Время сдохнет от голода.

Но некоторые утверждают – и в этом состоит ересь Сайготов, – что когда боги взойдут на золотые галеоны, то Мунг останется в Пегане и, опершись спиной о вершину Трехагоболя, поднимет разящий меч, который зовется Смертью, и напоследок сразится с псом-Временем, а пустые ножны Сон будут болтаться у него за спиной.

Когда покинут боги Пегану, то у подножия Трехагоболя Мунг вступит в бой со Временем.

Сайготы говорят, что два дня и две ночи пес будет злобно рычать в лицо Мунгу, два дня и две ночи будут биться они во мгле. Ведь после того, как золотые галеоны уплывут, солнце, луна и звезды



Мунг и зверь Мунга

утонут в небе вместе с остальными, ибо боги, создавшие их, перестанут быть богами.

В отчаянном прыжке пес вцепится в горло Мунгу, а тот, в последний раз явив свое знамение, вгонит меч меж лопаток пса, и кровь Времени разъест Смерть.

И МАНА-ЙУД СУШАИ останется один, и не будет вокруг ничего; ни Времени, ни Смерти, ни пения часов, ни шелеста прошедших жизней.

Но далеко от Пеганы будут плыть золотые галеоны, унося на себе богов, лица которых останутся бесстрастными. Ибо боги – это боги, и они знают, что настал КОНЕЦ.

ВРЕМЯ И БОГИ





ПРЕДИСЛОВИЕ



то рассказы о том, что происходило с богами и людьми Ярнита, Аверона, Зарканду и других стран, привидевшихся мне.

Часть I

ВРЕМЯ И БОГИ



днажды, когда боги были молоды, — только их смутный слуга Время не имел возраста, — они уснули на земле неподалеку от широкой реки. Боги спали в долине, которую избрали себе для отдыха, и им снились мраморные сны. Храмы и башни их снов поднимались и гордо вставали между рекою и небом, сияя белизной навстречу утру. Посреди города тысяча сверкающих мраморных ступеней вела к крепости, вздымавшей четыре угловые башни до самого неба, а в центре ее высился огромный храм, такой, каким увидели его боги. Вокруг, уступ за уступом, шли мраморные террасы, их стерегли львы, высеченные из оникса. Струи воды в фонтанах, взметнувшись высоко вверх, падали со звуком, напоминавшим звон колоколов в невидимой за холмами земле пастухов. Боги проснулись — перед ними стоял Сардатрион. Не всем позволяли боги разгуливать по улицам Сардатриона, не всякий мог любоваться его фонтанами. Только тому, с кем во время одиноких ночных прогулок говорят боги, склоняясь с расцветенного звездами неба, тому, кто слышит их божественные голоса над полоской зари или видит над морем их лики, только тому дано было увидеть Сардатрион, приблизиться к его башням, воздвигшимся в свежем ночном воздухе из сновидений богов. Ибо пустыня простиралась вокруг долины, и не каждый мог



добраться туда, лишь избранные богов, внезапно ощутив в душе неукротимое стремление и повинаясь ему, преодолевали горы, отделявшие пустыню от мира, и, ведомые богами, пересекали ее, и добивались до долины, сокрытой в сердце пустыни, и их глазам предстал Сардатрион.

Пустыня вокруг долины поросла колючим кустарником, и все шипы его были обращены в сторону Сардатриона. Множество тех, кого боги дарили своей любовью, входили в мраморный город, но никто не возвращался назад, ибо ни один город не мог стать домом тех, чья нога ступала по мраморным мостовым Сардатриона, в котором не стыдились появляться боги в человеческом образе, прикрывая лицо полой одежания. Поэтому ни одному городу не доводилось слышать песен, что пели за стенами мраморной крепости те, кто внимал божественным голосам. Никто в мире не мог и представить себе музыки фонтанов, когда их струи, взлетев к небу, падали в озеро, где боги в человеческом образе порою омывали чело. Никто не подозревал о поэтах этого города, с которыми вели беседы боги.

Город стоял уединенно. О нем не ходило легенд — один я видел его в сновидениях и не знал, истинны ли они.

* **

В незапамятные времена, спустя годы после создания Сардатриона, боги правили мирами. Теперь они больше не прогуливались вечерами по Мраморному Городу, слушая плеск фонтанов или пение людей, полюбившихся им, поскольку подошло время, и труды богов должны были быть совершены.

Но часто, в мгновения, свободные от божественных своих деяний, выслушав людские молитвы, настав кары и явив милосердие, боги предавались воспоминаниям, беседуя друг с другом о прошедших годах:

— Помнишь ли ты Сардатрион?

И в ответ слышалось:

— Еще бы! И Сардатрион, и его подернутые туманом мраморные террасы, по которым теперь не ступает наша нога.

Затем боги возвращались к своим трудам, отвечая на людские молитвы или карая людей и всегда посылая своего смуглого слугу, Время, исцелить или сокрушить человека. И Время нисходило в миры, повинуюсь велениям богов, но бросая на них косые взгляды, а боги продолжали утруждать Время, потому что ему были известны миры и потому что они были богами.

Однажды, в незапамятные времена, когда Время, смуглый слуга богов, спустился туда, где были миры, чтобы незамедлительно покарать город, в котором мало чтили богов, сами боги стали говорить между собою:

– Нет сомнений, что мы господу Времени и, кроме того, боги вверенных нам миров. Достаточно взглянуть, как наш Сардатрион вознесся над другими городами. Другие города встают и рушатся, один Сардатрион пребывает неизменным. Реки исчезают в море, а ручьи пропадают меж холмов, но фонтаны продолжают взлетать вверх в городе, который привиделся нам. Сардатрион существовал, когда мы были молоды, и до сих пор его улицы – свидетельство тому, что мы боги.

Вдруг перед ними выросла фигура Времени. Пальцы его были обгажены кровью, кровь струилась и по мечу, покоившемуся в правой руке. Раздался голос Времени:

– Сардатрион погиб! Он разрушен мною!

И боги воскликнули:

– Сардатрион? Сардатрион, наш мраморный город? Это ты разрушил его? Ты, наш раб?

И старший из богов спросил:

– Неужели Сардатрион погиб?

И Время, их смуглый слуга, искоса взглянул в его лицо и шагнул к нему, сжимая окровавленными пальцами рукоять своего верного меча.

Тут боги ощутили неведомый им доселе страх – страх, что тот, кто превратил в руины их город, когда-нибудь низвергнет их самих. И раздались неслышанные дотоле стенания и плач: боги оплакивали город своих снов.

– Слезами не вернуть Сардатрион.



– Но боги, бесстрастно наблюдавшие горести десяти тысяч миров – твои боги оплакивают тебя.

– Слезами не вернуть Сардатрион.

– Не верь, Сардатрион, что твои боги наслали на тебя погибель; тот, кто уничтожил тебя, низринет и твоих богов.

– Как часто в давние времена, когда Ночь внезапно сменяла игравший на просторе День, мы любовались твоими шпилями, мерцавшими в сумерках, Сардатрион, Сардатрион, город, приснившийся богам, и твоими высеченными из оникса львами, едва различимыми в темноте.

– Как часто мы посылали наше дитя, Рассвет, играть на верхушках твоих фонтанов, как часто Заря, прелестнейшая из наших богинь, подолгу блуждала по твоим балконам.

– Пусть уцелел бы хоть обломок твоего мрамора во прахе, чтобы твои древние боги могли хранить его, как человек, лишившийся всего на свете, кроме локона своей возлюбленной.

– Сардатрион, боги хотят еще раз поцеловать землю, где пролегли твои улицы.

– Каким чудесным мрамором были вымощены твои улицы и площади, Сардатрион.

– Сардатрион, Сардатрион, боги оплакивают тебя.

ПРИХОД МОРЯ



давние времена не было моря, и боги шествовали по зеленым равнинам земли.

Как-то вечером в незапамятные годы боги воссели на холмы, и все речушки мира улеглись спать у их ног, как вдруг Слип, новый бог со звезд, сошел внезапно на землю, лежавшую в уголке пространства. А за спиной Слида двигался миллион волн, и вслед за Слипидом они ступили в сумерки; и Слип коснулся земли в одной из ее великих зеленых долин, что пролегла на юге, и стал там лагерем со всеми своими волнами. А до богов, восседавших на вершинах холмов, донесся с зеленых равнин, что лежали внизу, новый крик, и боги сказали:

— То не крик жизни, но еще и не шепот смерти.

Что же это за новый крик, без ведома богов достигший их слуха?

И боги вскричали все вместе, издав клич юга, призывающий к ним южный ветер. И еще вскричали, издав клич севера, призывая к себе ветер севера. Так они собрали все ветры и послали четверку их в низину узнать, что за существо издало новый крик, и изгнать его подальше от богов.

Тогда ветры собрали тучи и погнали их в великую зеленую долину, что пролегла посреди юга, и нашли там Слида в окружении волн. И на великой равнине схватились Слип и четверка ветров, и боролись, покуда не иссякла сила ветров, и отступили они к богам, своим властелинам, и сказали:

— Мы встретились с новым существом, что сошло на землю, и сразились с его войском, но не смогли одолеть его; а новое существо прекрасно, хотя сердито, и оно подступает к богам.

И Слип двинул свои войска вверх по долине и принялся дюйм за дюймом, мило за милей отвоевывать земли богов. Тогда боги ниспослали вниз великую армаду утесов с красных гор и велели им идти против Слида. И утесы двинулись вниз туда, где стоял Слип, и сомкнули вершины, и грозно стали неколебимой стеной, заслонив собой земли богов от могущества моря, отторгнув Слида от мира. Тогда Слип выслал мелкие волны попытать, что за сила стоит против него, и утесы разбили их. Но Слип собрал большие волны и бросил на утесы, и утесы разбили их. И Слип вызвал из глубин армаду самых больших волн и послал ее, грохочущую, против стражей богов, и красные скалы сдвинулись и разбили ее. И снова Слип собрал свои мощные силы и отправил сразиться со скалами, и, когда эти волны были разбиты, как и те, что до них, утесы уже едва держались, и лики их были изборождены шрамами. Тогда на каждый из утесов, что стояли стеной, Слип наслал по самой огромной волне, а за ними шли другие, и сам Слип ухватил ручищами крепкие скалы и вырвал их из земли, и бросил себе под ноги. А когда шум утих, и море победило, по останкам поверженных красных скал армии Слида вошли в зеленую долину.



Тогда боги услышали вдали торжествующего Слида и его песнь победы над их разбитыми скалами, а грохот наступающего войска все громче и громче отзывался в ушах богов.

Тогда боги повелели своим холмам спасти их мир от Слида, и холмы собрались вместе и белой сверкающей стеной замерли перед Сливом. Слив не стал бросать на них свои легионы и, пока волны его покоились, начал тихо напевать песню — ту, что некогда тревожила звезды и вызывала слезы сумерек.

Твердо стояли холмы на страже ради спасения мира богов, но песня, что некогда тревожила звезды, все звучала, пробуждая подавленные желания, пока мелодия не улеглась у ног богов. Тогда голубые реки, что спали, свернувшись, открыли свои блестящие глаза, распрямились и, пробравшись между окрестными холмами, устремились на поиски моря. И, пройдя долгий путь, достигли наконец того места, где стояли белые холмы, прорвали их цепь и стекли к Сливу, и боги вознегодовали на предательство рек.

Тогда Слив прервал свою песню, что околдовывает мир, и собрал свои легионы, а реки воздели свои руки к волнам, и все вместе двинулись на утесы богов. И там, где реки прорывали цепь скал, армии Слида брали их в осаду, раскалывали на острова и разбрасывали окрест. А боги на холмах вновь услышали голос торжествующего Слида.

Уже полмира лежало поверженным у ног Слида, а его войско все прибывало, и подданные Слида, рыбы и длинные угри, заселяли прежде дорогие богам убежища. Тогда испугались боги за свои владения и взошли в самое сердце гор и нашли там Тинтагона, гору черного мрамора, далеко провидевшего землю, и так сказали ему голосами богов:

— О старейшина гор, когда мы только создали землю, мы сотворили тебя, а потом лишь поля и низины, долины и другие горы, возложив их у твоих ног. А ныне, Тинтагон, твои древние власти, боги, повстречались с пришельцем, который разрушает старый уклад. Пойди же, Тинтагон, и стань против Слида, дабы боги пребывали богами, а земля по-прежнему зеленела.

Услышав голоса своих властелинов, старших богов, Тинтагтон сошел сквозь вечер, оставив за спиной разбуженные сумерки, и, пройдя зеленой землей, достиг Амбради у края долины и там встретил передовой отряд грозных сил Слида, завоевывающих мир.

Слид бросил против него мощь целого залива, который ударился о колени Тинтактона, разбился на потоки и разлился тонкими струями. Тинтагтон же стоял непоколебимо за честь и господство своих властелинов, старших богов. Тогда подошел к Тинтагтону Слид и сказал:

— Давай примиримся. Отступи от Амбради и позволь мне и моим войскам пройти в долину, которая открывается в мир, и пусть зеленая земля, что дремлет у ног старших богов, узнает нового бога Слида. Тогда мои легионы не станут больше сражаться с тобой, а ты да я станем равноправными властителями всей земли, и, когда вся земля воспоет гимн в честь Слида, лишь твоя глава возвысится над моими войсками, а все другие горы и утесы сгинут. И я уберу тебя всеми сокровищами моря, и все трофеи, что собрал я в дивных городах, возложу к ногам твоим. Тинтагтон, я покорил все звезды, моя песнь звучала во всех пространствах, я с победой прошел Махн и Ханагат до самых окраин миров, и нам с тобой быть равными властителями, когда уйдут старые боги и зеленая земля узнает Слида. Смотри, как блистает моя лазурь, как сверкает тысяча моих улыбок, как сменяют одно другое тысяча моих настроений.

И ответил Тинтагтон:

— Я тверд и черен, и настроение у меня всегда одно — защищать моих хозяев и их зеленую землю.

Тогда Слид с ворчаньем отступил и собрал вместе волны целого моря и с пением швырнул их в лик Тинтактона. И, ударившись о мраморный лик Тинтактона, с воем отпрянуло море на разбитый берег и струя за струей притекло к Слиду, жалуясь: «Тинтагтон неколебим».

Вдали от разбитого берега, что лежал у ног Тинтактона, долго отдыхал Слид и послал челн, чтобы плавал он перед глазами Тинтактона, а сам сел со своим войском петь странные песни о волшебных островах, что лежат далеко на юге, и неподвижных звездах, сумеречных вечерах и давно прошедшем. А Тинтагтон твердо стоял,



упершись в край долины, защищая богов и их зеленую землю от моря.

И все то время, пока Слип пел свои песни и играл с челном, он собирал свои воды. Однажды утром, когда Слип пел о древних жестоких войнах и о самом сладком мире, и о волшебных островах, и о южном ветре, и о солнце, он вдруг извлек из глубин пять океанов и бросил их против Тинтагона. И пять океанов ринулись на Тинтагона и омыли его главу. Но раз от раза наплыв океанов слабел, и один за другим уходили они вглубь, а Тинтагон все стоял, и в то утро мощь всех пяти океанов разбилась о его твердь.

Все, что отвоевал Слип, он удержал, и нет больше великой зеленой долины на юге, но все, что Тинтагон отстоял у Слива, он вернул богам. Тихое море лежит теперь у ног Тинтагона, а он стоит весь черный среди складчатых белых утесов и красных скал. И часто море отступает далеко от берега, и часто волны с воинственным грохотом кидаются на него, словно вспоминая великую битву с Тинтагоном, когда он охранял богов и зеленую землю от Слива.

Иногда в снах своих израненные в боях воины Слива поднимают головы и издают боевой клич; тогда собираются над темным ликом Тинтагона грозные тучи, но стоит он непоколебимо там, где когда-то одолел Слива, и издали видят его корабли. И боги хорошо знают, что, пока стоит Тинтагон, они и их мир в безопасности; а покорит ли когда-нибудь Слип Тинтагона, то скрыто в тайнах моря.

ЛЕГЕНДА О ЗАРЕ

При начале миров и Всего сущего были боги суровыми и старыми: смотрели Они исподлобья, нахмутив посеребренные столетиями брови, на Начало и на все сущее, кроме девочки Инзаны, игравшей с золотым мячом. Инзана была дитя всех богов. А закон гласил – как до Начала, так и после – что все сущее должно повиноваться богам, но боги Пеганы повиновались Девочке-Заре, ибо ей нравилось повиновение.

Когда Девочка-Заря Инзана в первый раз нашла золотой мяч, во всем мире и даже в Пегане, обители богов, царил мрак. И сбегала



Рейнорад



она вприпрыжку по лестнице богов, по ступенькам из оникса и халцедона, чтобы швырнуть золотой мяч в небо. Поскакал золотой мяч по небу, и у подножья лестницы богов засмеялась Девочка-Заря с золотыми волосами, и наступил день. Тогда мерцающие внизу поля увидели первый из всех дней, что даровали им боги. Но к вечеру сговорились между собой дальние горы, заслонили от мира золотой мяч, обступили его утесами своими, отобрали его у мира, и весь мир погрузился во мрак из-за их заговора. А наверху в Пегане зарыдала Девочка-Заря, требуя назад свой мяч. Тогда спустились все боги по лестнице к вратам Пеганы, желая узнать, кто обидел Девочку-Зарю и отчего она плачет. И сказала им Инзана, что уродливые черные горы похитили золотой мяч и спрятали его далеко от Пеганы, в краю скал, за пределами небес. И потребовала назад свой золотой мяч, потому что мрак любить невозможно.

Тогда Амбородом, у которого была гончая собака-гром, взял своего пса на поводок и помчался по небу за золотым мячом, пока не достиг далеких гор. Вскинув голову к скалам, гром с лаем устремился в долину, а Амбородом шел следом. И чем ближе подбирался гончий пес-гром к золотому мячу, тем громче он лаял, но высокомерным молчанием отвечали ему горы, сговорившиеся погрузить мир во мрак. В полном мраке, среди утесов, в громадном ущелье, где стояли на страже два остроконечных пика, отыскиали они наконец золотой мяч, из-за которого плакала Девочка-Заря. Спустился под самый мир Амбородом, а гром с пыhtением следовал по пятам за ним, и перед рассветом вылезли они из-под мира и вернули Девочке-Заре ее золотой мяч. Засмеялась Инзана и взяла его в руки, а Амбородом вернулся в Пегану, и гром улегся спать у его Порога.

Вновь швырнула Девочка-Заря золотой мяч в голубизну неба, и над миром взошло второе утро, осветив озера, океаны и крохотные капельки росы. Но когда поскакал мяч по небу, сговорились туманы-шатунны с дождем: схватили его, укрыли под своими дырявыми плащами и унесли с собой. Золотой мяч сверкал сквозь прорехи на их одеждах, но они держали его крепко и не выпустили из рук, пока не спрятали в глубинах под миром. Тогда уселась Инзана на ступеньку из оникса и зарыдала, ибо не могла быть счастливой без своего золо-



того мяча. А богам вновь стало жаль ее, и Южный Ветер принялся рассказывать ей истории о зачарованных островах, но она не желала слушать, и Восточному Ветру, который стоял у нее за спиной, когда она швырнула в небо свой золотой мяч, также не удалось прельстить ее историями о храмах на пустынных землях. Но прилетел издалека Западный Ветер с новостями о трех серых путниках, закутанных в драные плащи, из-под которых сверкает золотой мяч.

Тогда вскочил одним прыжком Северный Ветер, хранитель полюса, выхватил свой ледяной меч из снежных ножен и устремился по дороге, пролегающей в голубизне. И найдя во мраке под миром трех серых путников, ринулся на них и погнал перед собой, изо всех сил нахлестывая мечом, пока их серые плащи не промокли от крови. Серо-красные, драные, бежали они так, что хлопали полы, а Ветер взмыл наверх с золотым мячом и отдал его Девочке-Заре.

Вновь швырнула Инзана мяч в небо и сотворила третий день. Мяч поднимался все выше и выше, а потом упал на поля, и когда Инзана наклонилась, чтобы поднять его, то услышала вдруг пение всех птиц, какие только есть на свете. Все птицы мира запели разом, и песню их подхватили все ручьи, а Инзана села и стала слушать, позабыв и золотой мяч, и даже халцедон с ониксом, и своих отцов-богов, ибо думала теперь лишь о птицах. Но тут умолкли они все и в лесах, и на лугах — умолкли столь же внезапно, как и запели. Вскинула голову Инзана и поняла, что ее золотой мяч пропал, а в полной тишине звучит лишь смех совы. Когда услышали боги громкий плач Инзаны, вышли Они все вместе на Порог и стали глядываться во мрак, но не увидели золотого мяча. Наклонившись вперед, окликнули Они летучую мышь, которая то взмывала ввысь, то касалась крылами земли, и спросили ее:

— Всевидящая летучая мышь, скажи, где золотой мяч?

Но даже летучая мышь ничего о нем не слыхала. И не видел его ни один из ветров, ни одна из птиц, и сверкали во мраке лишь глаза богов, высматривающих золотой мяч. Тогда сказали боги Инзана:

— Ты потеряла свой золотой мяч.

И Они сделали серебряную луну, чтобы катать ее по небу.

А девочка зарыдала, разломала новую игрушку на несколько частей, швырнула с лестницы так, что отбились края, и потребовала золотой мяч.

Тогда Лимпанг-Танг, самый маленький из богов, Повелитель Музыки, не выдержав плача девочки по золотому мячу, вышел, никому не сказавшись, из Пеганы и стал пробираться ощупью по небу, пока не нашел птиц всего мира, что сидели на деревьях и кустах, перешептываясь во мраке. Он спросил, известно ли им хоть что-нибудь о золотом мяче. Некоторые видели его на соседнем холме, а другие на деревьях, но никто не знал, где он теперь. На каком-то болоте видела его цапля, а в последний раз попался он на глаза дикой камышовой утке, когда пробиралась она между холмами, но затем укатился он куда-то очень далеко.

Наконец петух крикнул, что видел его под миром. Долго шарил там во мраке Лимпанг-Танг под звонкое пение петуха и наконец отыскал золотой мяч. Вернулся Лимпанг-Танг в Пегану, отдал его Девочке-Заре, и той уже не надо было играть с луной. А петух и все петушиное племя громко крикнули:

– Это мы нашли его. Мы нашли золотой мяч.

Вновь Инзана высоко швырнула золотой мяч и засмеялась от радости при виде его, и засверкали ее золотые волосы, и она протянула к нему руки, и не спускала с него глаз, чтобы знать, куда он упадет. Увы, взметнул он волны, упав в великое море, и яркий блеск его стал постепенно угасать, и сомкнувшиеся над ним воды сотворили мрак, и больше ничего не было видно. А люди в мире сказали:

– Какая сильная выпала нынче роса, и сколько тумана нанесло ветром с морей.

Но роса была слезами Девочки-Зари, а туманы – вздохами ее. И сказала она:

– Не играть мне больше с моим мячом, ибо теперь он навсегда для меня потерян.

Боги утешали Инзану, когда играла она со своей серебряной луной, но она не желала их слушать и пошла в слезах к Слиду, который играл блестящими парусами и перебирал драгоценные

камни с жемчугом в громадной сокровищнице своей, ибо властвовал он над морем. И сказала она:

– О Слип, великий дух моря, верни мне мой золотой мяч!

Тогда поднялся мрачный Слип, закутанный в водоросли, и нырнул в океан прямо с последней халцедоновой ступеньки у Порога Инзаны. На песчаном дне, укрытом темными водами, среди разбитых ракушек и сломанных копий рыбы-меч, нашел он золотой мяч. Весь зеленый и насквозь промокший, всплыл он во мраке к лестнице богов и бросил сверкающий мяч Инзане. Приняв его из рук Слида, она размахнулась, и высоко взлетел мяч над морем с парусами, и осветил земли, где никто не знал Слида, и, достигнув зенита, начал спускаться к миру.

Но прежде, чем он упал, выползло из своего логова Затмение, устремилось к золотому мячу и проглотило его. Когда увидела Инзана, что Затмение уносит ее игрушку, она позвала гром, и тот с воем ринулся из Пеганы, и вцепился в горло Затмению, и пришлось тому разжать свои челюсти. Золотой мяч выскользнул из его пасти и стал падать на землю. Но черные горы затаились под снегом, и когда приблизился к ним золотой мяч, обратили они свои утесы в алые рубины, а озера – в синие сапфиры, сверкающие среди серебра, и Инзане показалось, будто упал ее золотой мяч в шкатулку, усыпанную драгоценными камнями. Но когда она нагнулась за ним, не было уже никакой серебряной шкатулки, усыпанной рубинами и сапфирами, и она поняла, что злобные горы, притаившиеся под снегом, украли у нее золотой мяч. И тогда она заплакала, ибо некому было искать его, потому что умчался гром за Затмением. А боги стали сокрушаться, не зная, как ее утешить, и сказали ей:

– Поиграй с серебряной луной.

Но Лимпанг-Танг, самый маленький из богов, не смог вынести слез Девочки-Зари, легко сбежал по ступенькам вниз, наигрывая на флейте, и отправился в мир на поиски золотого мяча, чтобы не плакала больше Инзана.

И пришел он в сердцевину мира, в глубь скал, где таились душа и сердце земли, в жилище Землетрясения, спящего крепким сном, но и во сне подрагивали у него ноги, а из груди вырывалось рычание.



Наклонился во мраке Лимпанг-Танг к самому уху Землетрясения и сказал слово, которое могут произносить только боги, и Землетрясение поднялось, разорвав пещеру среди скал, где прежде спало крепким сном, и передернуло плечами, и устремилось вверх, и опрокинуло те горы, что прятали золотой мяч, и разверзло землю под ними, и разбросало во все стороны их скалы, и поглотило их долины, и с ревом вернулось в сердце земли, и вновь улеглось, чтобы спать еще сто лет. Выкатился золотой мяч из-под разбитых вдребезги гор и остановился у врат Пеганы, а Лимпанг-Танг поднялся на ступеньку из оникса и взял за руку Девочку-Зарю, но не стал говорить о себе, рассказав лишь о Землетрясении, а потом вновь уселся в ногах у богов. А Инзана пошла к Землетрясению и приласкала его, ибо казалось ей, что ему слишком мрачно и одиноко в сердце земли. Затем поднялась она по лестнице богов, по ступенькам из халцедона и оникса, не пропустив ни одной, и со своего Порога швырнула золотой мяч в голубизну, желая развеселить небо с миром, и засмеялась от радости.

А в Крайних пределах Трогул перевернул шестую страницу с письменами, которые никому не дано прочесть. Когда же покатился золотой мяч по небу, освещая земли и города, выполз навстречу ему Туман, пригнувшись и закутавшись в темный плащ, а сзади кралась Ночь. И когда приблизился золотой мяч к Туману, выскочила из-за его спины Ночь, схватила мяч и унесла с собой. Поспешно собрав богов, сказала им Инзана:

— Ночь схватила мой золотой мяч, и никто из богов не сможет найти его в одиночку, ибо неведомо нам, куда может забрести Ночь, которая проскальзывает всюду и уносится за пределы миров.

Услышав просьбу Девочки-Зари, все боги сотворили Себе факелы-звезды, чтобы выследить Ночь, крадущуюся по небу. Совсем близко прошли от золотого мяча и Слипид, державший в руке Плеяды, и Йохарнет-Лехей, которому служил факелом Орион. Но только Лимпанг-Танг, несущий утреннюю звезду, сумел найти золотой мяч под миром, недалеко от логова Ночи.

Все боги разом схватили золотой мяч, и разбитая наголову Ночь бежала, спасаясь от факелов-звезд, а боги с триумфом поднимались по сверкающей лестнице Своей, и все славил маленького Лимпанг-Танга, ибо тот неотступно следовал за Ночью в поисках



золотого мяча. Тут послышался плач из мира внизу: человеческое дитя просило у Девочки-Зари золотой мяч, и Инзана прервала игру, дарующую свет миру и небу. С Порога богов бросила она мяч вниз, маленькой девочке, которой суждено было когда-нибудь умереть. И весь день на крохотных полях, где обитают люди, играла маленькая девочка с золотым мячом, а вечером легла в кроватку, положив его под подушку, и заснула, а в мире, пока дитя играло, никто не работал. Свет золотого мяча струился из-под подушки и сквозь неплотно прикрытую дверь, освещая западную часть неба, когда Йохарнет-Лехей вошел на цыпочках с спальню и бережно (ибо он был бог) достал мяч из-под подушки, и отнес его Девочке-Заре, чтобы сверкал он на ступеньке из оникса.

Но настанет день, когда Ночь схватит золотой мяч, унесет с собой и спрячет в своем логове. Тогда Слип нырнет с Порога в море, чтобы отыскать его, но вернется с пустыми руками, ибо ничего не найдет среди парусов, и окажутся бессильными рыбаки, невзирая на сети свои. Лимпанг-Танг обратится за помощью к птицам, но не подаст голоса петух, а Амбородом будет тщетно бродить по долинам среди скал. Гром, охотничий пес, станет гоняться за Затмением, а боги вновь соберутся вместе, чтобы искать мяч со звездами в руках, но никто не найдет его. И люди, лишённые света, откажутся возносить молитву богам, которые перестанут быть богами, ибо нет богов без поклонения.

И о том не ведают даже сами боги.

ЛЮДСКАЯ МЕСТЬ



В начале боги поделили землю на пустыню и пастбища. Дабы радовать взор, они украсили лик земли зеленым ковром лугов, в долинах разместили фруктовые сады, а холмы покрыли зарослями вереска, и только Харшу они обрекли на то, чтобы навеки оставаться пустыней.

Когда вечерами люди возносили богам молитвы и боги снисходили к их просьбам, мольбы всех племен Арима оставались без внимания.



Поэтому народ Арима подвергался нападениям и был гоним из одной земли в другую, но оказался несокрушимым. И народ Арима сам создал себе богов, отведя эту роль людям до той поры, когда боги Пеганы снова вспомнят о нем. Предводители Йоф и Ханеф, почитаемые как боги, вели свой народ, несмотря на все нападения, которые им доводилось претерпевать.

Наконец они пришли в Харшу, где не было людей и можно было обрести покой от битв, и Йоф и Ханеф сказали: «Дело сделано, теперь, несомненно, боги Пеганы вспомнят о нас». И построили они в Харше город, возделали землю, и заколыхалась на ней трава, как рябь на воде при слабом ветре, и появились в Харше плоды и скот, и огласилась она блеянием бесчисленных отар.

Здесь вкушал народ Арима отдых от своего бегства от всех племен и слагал песни, где не упоминалось о пережитых горестях, и все люди в Харше улыбались, а дети смеялись.

Тут возмутились боги: «Земля не место для смеха».

Отправились они к воротам Пеганы, за которыми спала, свернувшись клубком, Чума, разбудили ее, указали на Харшу, и Чума с воем радостно понеслась по небу.

Той ночью она достигла лугов близ Харши, прокралась по траве к городу, уселась и свирепо смотрела на его огни, лизала свои лапы и снова смотрела.

Но следующей ночью, смешавшись со смеющейся толпой, Чума незаметно пробралась в город и крадучись принялась обходить дом за домом, вглядываясь в глаза людей и даже проникая взором под их смеженные веки, так что, когда наступило утро, люди, пробудившись ото сна, закричали, что видят Чуму, невидимую для других, а потом умирали, потому что зеленые глаза Чумы глядели им в души. Холодной и влажной была она, но от ее глаз, которые жгли людские души, становилось жарко. Тогда пришли целители и люди, искушенные в магии, изучили симптомы, приняли решение, стали лить голубую жидкость на травы и произносили заклинания, но по-прежнему Чума прокрадывалась из дома в дом и так же смотрела в души людей. И людские жизни потекли из Харши, а куда – о том написано во многих книгах. Чума питалась светом, что сиял в глазах



людей, однако же никогда не насыщалась. Все холодней и влажней становилась она, все больший жар исходил от ее глаз, когда ночами она мчалась по городу, уже нисколько не таясь.

Тогда люди в Харше обратились к богам с мольбой:

– Всемогушие боги! Проявите милосердие к Харше.

И боги слышали их, но лишь подстрекали Чуму и ободряли ее. А Чума все более нагнала от хозяйских голосов и старалась закрыть побольше людских глаз.

Никто не видел ее, кроме тех, кто становились ее жертвами. Сначала дневной порой она спала, забираясь в туманные лощины, но голод все сильнее мучил ее, и она начала разбойничать даже при свете солнца. Она лънула людям к груди, заглядывала сквозь глаза прямо в их души, которые опаляла жаром, и тогда ее туманные очертания могли видеть и те, кто не были ее жертвами.

Адро, целитель, сидел у себя в комнате, где горел светильник, и составлял в тигле смесь, которая должна была помочь избавиться от Чумы, но тут от двери потянуло сквозняком, и пламя светильника заколебалось.

Ветерок был холодным, врачеватель ощутил озноб, пошел и закрыл дверь, а когда вернулся, увидел Чуму, жадно пьющую его снадобье.

Прыгнув, она уцепилась одной лапой за его плечо, а другой за плащ, прижалась к нему всем телом и заглянула в глаза.

Двое мужчин шли по улице, и один сказал другому: «Давай завтра с тобой отужинаем».

Тут Чума хищно усмехнулась, обнажив в ухмылке зубы, и, невидимая, скрылась, твердо зная, что двум этим людям не суждено завтра отужинать вместе.

Прибывший путник произнес: «Вот и Харша. Здесь я и остаюсь».

Но его жизнь в тот день, не задержавшись в Харше, ушла дальше.

Все боялись Чумы, и те, кого она разила, видели ее, но никто не видел при свете звезд ни величественных фигур богов, ни как они натравливали насланную ими Чуму.

Когда все люди покинули Харшу, Чума принялась охотиться на собак и крыс, она подпрыгивала, чтобы достать летучих мышей, когда те проносились над ней, и они умирали и валялись на улицах. Однако вскоре она отправилась вдогонку за жителями Харши, которые, спасаясь от мора, останавливались по берегам рек, откуда пили воду далеко от города вниз по течению. И оттого жители Харши, теснимые Чумой, вынуждены были отступить назад к городу и, вернувшись, собрались в Храме Всех богов кроме Одного и спросили Верховного Пророка:

– Что же нам теперь делать?

Тот ответил:

– Все боги насмеялись над молитвами, обращенными к ним. Этот грех должен быть наказан местью людей.

И народ испытал благоговейный трепет.

Верховный Пророк поднялся на Башню, доходившую до небес, и светом звезд ударил всех богов по глазам. Потом, чтобы ранить их слух, он обратил к ним такие слова:

– Всемогущие боги! Вы насмеялись над людьми. Знайте же, что, как гласят древние предания и определяют пророчества, это означает КОНЕЦ, который ожидает богов. Они покинут Пегану и на золотых галеонах отправятся вниз по реке Безмолвия к морю Безмолвия, а там их галеоны растворятся в тумане, и впредь они уже не будут богами. А люди наконец обретут спасение от насмешек богов на теплой и влажной Земле, но к богам с той поры они будут относиться как к Существом, что прежде были богами. Когда Время, миры и смерть уйдут прочь, не останется ничего, кроме сожалений и Существ, что прежде были богами.

Смотрите, Боги, и страшитесь.

Слушайте, Боги, и страшитесь.

Тут боги вскрикнули все разом и указали Чуме на горло Пророка, и она подпрыгнула высоко-высоко.

Так был убит Верховный Пророк, и люди забыли его слова. Но боги и по сей день не знают, правда ли, что их ожидает КОНЕЦ, а того, кто мог бы о том поведать, давно нет в живых. И боги Пеганы страшатся, что может осуществиться людская месть, но им неведомо, когда же будет КОНЕЦ и наступит ли он.



КОГДА БОГИ СПАЛИ

Боги, восседая в Пегане, измышляли новые миры – планеты, огромные, круглые и блистающие, и маленькие серебряные луны; а раб их Время лениво лежал у врат Пеганы – ему нечего было разрушать. И когда (а кто знает, когда?) мановением рук боги обратили мысли свои в планеты и серебряные луны, новые миры стали выплывать из врат Пеганы и занимать на небе свои места, чтобы вечно следовать путями, которые предопределили им боги. И были они столь круглы и огромны и так сияли на все небо, что боги смеялись, кричали и хлопали в ладоши. И с тех пор на земле боги забавлялись игрою богов, игрой в жизнь и смерть, а в других мирах вершили тайные дела, и скрыто от нас, в какие игры они там играли. В конце концов им наскучило передразнивать жизнь, и наскучило смеяться над смертью – и тогда Пегану огласил громкий вопль:

– Что, уже не будет ничего нового? Что, Ночь и День, Жизнь и Смерть будут вечно сменять друг друга, пока глазам нашим не наскучит следить за неизменной чередой времен года?

И как ребенок пустыми глазами смотрит на голые стены тесной лачуги, боги равнодушно взирали на эти миры, вопрошая:

– Что, уже не будет ничего нового?

И говорили устало:

– Ах! Снова стать молодым! Ах! Снова родиться из головы МАНА-ЙУД-СУШАИ!

И, усталые, они отвели глаза от блистающих миров и, устремив их на землю Пеганы, сказали:

– Может случиться, что этим мирам придет конец, и мы легко забудем их.

И боги уснули. И тогда комета оторвалась от своего небесного тела, и ее блуждающая тень затмила небо, а на землю покормиться вышли дети Смерти – Голод, Чума и Засуха. У Голода были зеленые глаза, у Засухи – красные, а Чума была слепа и разила когтями всех подряд, целыми городами.



И когда боги уснули, из-за Предела, из тьмы и безвестности, показались три Йоци, три духа зла, переплыв реку Молчания на челнах с серебряными парусами. Увидев издалека, что Йум и Готум, звезды, стоящие на страже над воротами Пеганы, мерцают и засыпают, они приблизились к Пегане и поняли по тишине внутри, что боги крепко спят. Эти три духа были Йа, Ха и Снирг, повелители зла, безумия и ненависти. То, что они выползли из своих челнов и, крадучись, перешагнули порог Пеганы, предвещало богам много зла. Но все боги спали, и в дальнем углу Пеганы лежала на земле Сила богов, штука, выточенная из черной скалы с выраврованными на ней четырьмя словами, разгадку которых я не мог бы открыть вам, даже если бы нашел – четыре слова, которых никто не знает. Кто говорит, что они о том, как найти подземный цветок, кто говорит, что они об извержении вулканов, кто говорит, что о смерти рыб, кто говорит, что эти слова – Сила, Знание, Забвение и еще одно слово, которого даже сами боги не могут угадать. Йоци прочли эти слова и поспешили прочь, боясь, что боги проснутся, сели в челны и приказали гребцам торопиться. Так, овладев силой богов, Йоци стали богами. Они поплыли прочь, на землю, и приплыли на скалистый остров, затерянный в море, и уселись там на скалах в позах богов, с поднятой правой рукой. У них была сила богов, только никто не шел поклоняться им. В тех краях к ним не приблизился ни один корабль, не обратилось ни одной вечерней молитвы; ни воскурений фимиама, ни криков жертвоприношений. И Йоци сказали:

– Что толку быть богами, если никто не поклоняется и не приносит жертв?

И Йа, Ха и Снирг снова сели в серебряные челны и поплыли к неясно видневшимся в море берегам, где обитали люди. Сначала они приплыли к острову, где жили племена рыбаков; и обитатели острова, сбежавшись на берег, крикнули им:

– Кто вы?

Йоци отвечали:

– Мы – три бога, и вы должны нам поклоняться.



Но рыбаки сказали:

– Мы поклоняемся грому – Раму, и негоже нам поклоняться и приносить жертвы другим богам.

Зарычав от злости, Йоци поплыли прочь, и плыли, пока не пристали к другому берегу, заброшенному, пологому песчаному берегу. После долгих поисков они наконец нашли на этом берегу одного старика и закричали:

– Эй, старик на берегу! Мы – три бога, и счастлив тот, кто нам поклоняется! Мы обладаем великим могуществом, и весьма воздастся тому, кто будет нам поклоняться.

Старик отвечал:

– Мы поклоняемся богам Пеганы, им нравятся наши воскурения и вопли жертв на наших алтарях.

Снирг сказал:

– Спят боги Пеганы, и твои тихие молитвы не смогут разбудить их, распростертых в пыли на земле Пеганы. Снайрэкт, вселенский паук, уже успел сплести над ними паутину тумана; бляение жертвенных животных не достигнет ушей, замкнутых сном.

На это старик на берегу ответил:

– Даже если никто из древних богов больше никогда не откликнется на наши молитвы, весь народ здесь, на Сиринайсе, все же будет молиться древним богам.

И Йоци в гневе повернули корабли и поплыли прочь, понося Сиринайс и его богов, а особенно – старика, что стоял на берегу.

Еще сильнее алкая людского поклонения, Йоци плыли по морю и на третью ночь приплыли к огням большого города. Приблизившись к берегу, они увидели, что это город песни, где смешались все племена. И, усевшись на носсах своих челнов, Йоци стали с таким вожделением смотреть на этот город, что музыка смолкла и танцы прекратились, и все жители обернулись к морю и увидели странные фигуры на фоне серебряных парусов. И Снирг потребовал, чтобы они поклонялись Йоци, обещая взамен много радостей, и поклялся светом своих очей пустить по траве огонь, который будет преследовать врагов города и разгонит их.

Но жители ответили, что в этом городе все поклоняются Агродону, одиноко возвышающейся горе, и потому не могут молиться

другим богам, даже если те приплыли из-за моря в челнах с серебряными парусами. Снирг возразил:

– Но ведь Агродон – всего лишь гора, а никакой не бог.

Тогда жрецы Агродона пропели в ответ:

– Если Агродон не делают богом ни наши жертвоприношения – а кровь на его скалах еще свежа, ни короткие взволнованные молитвы десятков тысяч сердец, ни то, что два тысячелетия люди поклонялись только ему и только на него возлагали все свои надежды, ни то, что в нем наш народ черпает силу, – тогда богов не существует вообще, и вы – просто моряки, приплывшие из-за моря.

Йоци спросили:

– А внемлет ли Агродон вашим молитвам?

И народ услышал слова, что сказали Йоци. И тогда жрецы Агродона повернулись и пошли с берега вверх по крутым улицам города, и народ пошел за ними; миновав вересковую пустошь, они подошли к подножью Агродона и сказали:

– Агродон, если ты не наш бог, иди туда, в стадо обыкновенных гор, покрой свою голову снежной шапкой и припади к земле, как они; но если мы не зря уже два тысячелетия считаем тебя божеством, если наши чаяния и надежды, подобно покрову, окутывают тебя, то стой вечно, взирая на наш город, поклоняющийся тебе.

Великая тишина повисла над Агродоном; и тогда жрецы вернулись к морю и сказали трем Йоци:

– Мы станем поклоняться новым богам не раньше, чем Агродон устанет быть нашим богом и исчезнет как-нибудь ночью, и ничто уже не будет возвышаться над нашим городом.

И Йоци поплыли прочь, посылая Агродону проклятия, которые не задевали его – ведь он был всего лишь горою.

Йоци плыли вдоль берега, и, доплыв до устья какой-то реки, стали подниматься вверх по руслу и увидели людей за работой: они пахали, сеяли и корчевали лес. И Йоци воззвали к людям, что работали в поле:

– Поклоняйтесь нам, и получите премного радости.

Но люди ответили:

– Мы не станем вам поклоняться.

Снирг спросил:

– У вас тоже уже есть бог?

Люди сказали:

– Мы молимся грядущим годам, для них мы поддерживаем порядок в мире – как устилают дорогу одеждами перед явлением Царя. И когда эти годы приходят, они принимают поклонение народа, которого не знали, а люди их времени трудятся во славу тех лет, что грядут за ними; и так до КОНЦА.

Снирг возразил:

– Боги будущего не вознаградят вас. Лучше обратите свои молитвы к нам, и вы получите награду – множество радостей мы можем дать вам, а когда ваши боги придут, пусть себе гnevаются – они не смогут вас наказать.

Но люди продолжали трудиться во славу своих богов – грядущих лет, превращая свою землю в место, где могут жить боги, и Йоци, прокляв их богов, поплыли прочь. Йа, повелитель зла, злобно бросил, что когда эти грядущие годы наступят, люди пожалеют, что отказались поклоняться трем Йоци.

И опять плывут Йоци, повторяя:

– Лучше быть птицей, которой негде летать, чем богом, которому никто не поклоняется и не возносит молитв.

Там, где небо встречается с морем, Йоци снова увидели землю и направились к ней; на этой земле, среди множества храмов, люди в странных старинных одеяниях исполняли какие-то древние обряды. И Йоци воззвали к людям, исполняющим старинные обряды:

– Мы – три бога, мы хорошо знаем нужды людей, и поклонение нам тотчас принесет вам радость.

Но люди сказали:

– У нас уже есть боги.

– И у вас тоже? – сказал Снирг.

Люди продолжали:

– Ибо мы поклоняемся тому, что было, годам, что уже прошли. Боги уже помогли нам, и теперь мы воздаем им почести, что они заслужили.



И Йоци сказали этим людям:

– Мы – боги настоящего, и воздаем добром за поклонение нам.

Но люди с берега отвечали:

– Наши боги уже сделали нам много добра, и за это мы воздаем им подобающие почести.

И, обратив лица к этой земле, Йоци проклинали все, что было, и все минувшие годы, и поплыли прочь в своих челнах.

Среди океана возвышался скалистый берег какой-то необитаемой земли. Туда и направились Йоци. Там не было людей, но из вечерней тьмы к ним вышло стадо бабуинов и громко залопотало при виде кораблей.

Снирг обратился к ним:

– Что, у вас тоже есть бог?

Бабуины плаюнули в ответ.

Тогда Йоци сказали:

– Мы – завидные боги, мы особенно любим молитвы малых сих, что нам поклоняются.

Но бабуины злобно смотрели на Йоци и не собирались никого признавать богами.

Кто-то сказал, что молитва мешает есть орехи. Но Снирг наклонился вперед и зашептал, и бабуины опустили на колени, сложили руки, как люди, и забормотали молитву; и стали говорить друг другу, что Йоци – это древние боги, которым нужно поклоняться – ибо Снирг нашептал им в уши, что за молитву те сделают их людьми.

Когда бабуины поднялись с колен, лица их стали менее мохнаты, а руки чуть короче. И тогда они спрятали тела под одеждой и умчались прочь со скалистого берега, чтобы смешаться с людьми. И люди не могли распознать их, ибо тела у них были человеческие, лишь душа оставалась душою зверя – ведь они поклонялись Йоци, духам зла.

И повелители зла, безумия и ненависти поплыли назад, на свой остров среди моря, и уселись на берегу в позах богов, с поднятой правой рукой; и по вечерам отвратительные бабуины собирались вокруг них, облепив скалы.

Но боги в Пегане, вздрогнув, проснулись.



ЦАРЬ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО



стране Руназар нет Царя, и никогда никакого Царя не было.

Таков уж закон страны Руназар, что не было в ней никогда Царя, и никогда не будет. Поэтому в Руназаре правят жрецы, которые говорят людям, что в Руназаре не будет Царя.

* * *

Однажды Алтазар, Царь Руназара, Властелин всех окружающих земель, чтобы ближе узнать богов, приказал извять их статуи и установить в Руназаре и во всех соседних землях. А когда указ Алтазара по землям разносили глашатаи, их звонкие слова дошли до слуха богов, и боги возрадовались, услышав об этом. И принялись люди добывать мрамор из земли, а скульпторы исполнять царскую волю. А боги стояли, освещенные звездами, на холмах так, чтобы скульпторы могли их видеть. Они явились во всей своей красе, чтобы скульпторы могли воздать им должное. Потом боги удалились назад, в Пегану, а скульпторы начали бить молотками, стучать зубилами. И настал наконец день, когда Главный скульптор попросил Царя принять его и сказал:

— Алтазар, Царь Руназара, Великий Властелин всех окружающих земель, к которому милостивы боги, мы смиренно извняли статуи всех богов, какие только поименованы в твоём указе.

Тогда Царь приказал расчистить среди домов большое пространство, снести туда все статуи богов и поставить их, а затем призвать Главного скульптора и всех его людей. Перед каждым из них поставили солдата с грудой золота на подносе из драгоценных камней, а позади каждого стал солдат с обнаженным мечом, лезвие которого касалось шеи мастера. Король взглянул на статуи. О чудо! Стояли они совсем как боги, касаясь облаков, но тела их были подобны телам людей, а лица были подобны лицу Царя, и бороды были похожи на бороду Царя. И сказал Царь:

— Воистину это боги Пеганы.

И солдатам, стоявшим перед скульпторами, было приказано отдать им груды золота, а тем солдатам, что стояли позади скульп-



пторов, приказали спрятать мечи в ножны. И люди громко заговорили:

– Воистину это боги Пеганы, лица которых нам разрешено видеть по воле Царя Алтазара, благословенного богами.

По всем городам Руназара, по всем окружающим землям были разосланы глашатаи, возвещавшие о статуях:

– Таковы боги Пеганы.

Но вверху, в Пегане, боги взвыли от злости, и Мунг склонился, чтобы явить свое знамение Царю Алтазару. Но боги положили ему на плечи руки и сказали:

– Не убивай его. Смерть для Алтазара недостаточная кара. Тот, кто сделал лики богов подобными лицам людей, должен просто никогда не существовать.

А потом боги сказали:

– Говорили ли мы об Алтазаре, Царе?

И сказали боги:

– Нет, не говорили.

И еще сказали боги:

– Видели ли мы во сне какого-то Алтазара?

И ответили боги:

– Нет, он нам никогда не снился.

А в царском замке Руназара вдруг исчезнувший из памяти богов Алтазар перестал быть кем-то, кто когда-либо существовал.

На троне Алтазара лежала мантия, рядом лежала корона. Во дворец вошли жрецы и сделали из него храм богов. А люди, приходившие молиться, спрашивали:

– Чья эта мантия и зачем нужна корона?

А жрецы отвечали:

– Боги сбросили часть одеяния, и – о чудо! – с пальца одного из богов соскользнуло небольшое колечко. И сказали люди жрецам:

– Мы видим, что в Руназаре никогда не было Царя, поэтому правьте вы нами и устанавливайте наши законы в духе богов Пеганы.



ПЕЩЕРА КАИ

Рождественная церемония венчания на царство завершилась, стихли радость и праздничное веселье, и Ханазар – новый царь – взойшёл на трон правителей Аверона, дабы исполнять свою царскую работу и вершить судьбы людей. Его дядя, царь Ханазар Одинокый, скончался, и новый царь прибыл из отдалённого южного замка во главе пышной процессии и вступил в Илаун – главную цитадель Аверона – где и был рукоположен на царствование как царь Аверона и окрестных гор, Могущественный владыка своей страны и всех подобных земель, буде таковые отыщутся за горами. Но увы, церемония закончилась, и могущественный владыка Ханазар взойшёл на престол вдали от своего родного дома.

И прошло сколько-то времени, и царь устал заниматься одним Авероном, вершить судьбы его жителей и издавать указы и повеления. Тогда разослал он глашатаев по всем городам, и глашатаи громко выкрикивали:

– Слушайте, жители Аверона! Слушайте царскую волю и внимайте!

Вот воля царя Аверона и окрестных гор, Могущественного владыки своей страны и всех подобных земель, буде таковые отыщутся за горами: пусть придут в Илаун разом все те, кто владеет тайным искусством! Слушайте волю царя Аверона!..

И собрались в Илаун все мудрецы и маги, кто владел волшебным искусством и имел в том ученую степень вплоть до седьмой, кто совершал свои заклинания при дворе царя Ханазара Одинокого; все они явились пред очи нового царя и, войдя во дворец, прикоснулись ладонями к его ногам. Тогда сказал магам царь:

– У меня есть одна нужда.

И мудрецы ответили владыке:

– Сама земля касается твоих ступней в знак покорности и повиновения.

Но король сказал им на это:



— То, в чём нуждаюсь я, не принадлежит земле. Желал бы я отыскать некие часы, что уже прошли, а также вернуть разные дни, что минули.

И все эти ученые мужи замолчали и молчали до тех пор, пока не заговорил скорбно самый мудрый из них, единственный, кто владел седьмой ступенью магической науки, и сказал он вот что:

— Дни, что минули, равно как и прошедшие часы, упорхнули на быстрых крылах к вершине горы Эгдоры, и там канули, навеки пропав из вида, чтобы никогда больше не возвращаться, ибо по случайности не ведали они, каково ваше желание.

Многое записано в летописях об этих мудрецах; занесено в скрижали рукой летописца даже то, как явились они пред очи царя Ханазара, и подробно записаны речи, что держали они перед владыкой. Ничего не говорится в летописях лишь о том, каковы были их деяния после указанной встречи. Рассказывают только, как послал царь во все стороны своих скороходов с приказанием посетить все города и селения и найти человека, который был бы мудрее всех магов, что читали свои заклинания при дворе Ханазара Одинокого. И вот высоко в горах, что ограждали со всех сторон Аверон, отыскивали скороходы пророка Сайрана, который пас коз и, не обладая никакой степенью в магических науках, никогда не читал заклинаний при дворе прежнего царя. Его и привели они к Ханазару, и царь сказал:

— У меня есть одна нужда.

И ответил ему Сайран:

— Что ж, ты царь, но ты и человек.

И спросил тогда король:

— Где находятся дни, что минули, и куда деваются прошедшие часы?

Объяснил тогда царю Сайран:

— Всё это хранится в пещере и довольно далеко отсюда, а на страже этой пещеры стоит некто Каи, тот Каи сторожит пещеру от богов и людей, с тех самых пор, когда было положено Начало всему.

Может так случиться, что он позволит войти Ханазару в пещеру...

Лишь только услышал об этом царь, тут же повелел он снарядить слонов и верблюдов, и нагрузить их золотом, и отобрать пове-



ренных слуг, дабы несли они драгоценные камни, и собрать одну армию, чтобы шла впереди царя, а вторую, чтобы шла следом, и выслать по пути быстрых всадников, которые предупреждали бы жителей равнин о том, что вышел в путь царь Аверона.

А Сайрану повелел он идти вперёд и указывать дорогу к тому месту, где лежат спрятанные прошедшие дни и часы, что забыты.

Через равнину, вверх по склону горы Эгдоры до самой её вершины последовали за Сайраном царь Ханазар и две его армии, и все они скрылись за ней. Восемь раз устанавливали для владыки Аверона пурпурный шатёр с золотой каймой и восемь раз снова его собирали, прежде чем подошли царь и его войско к темной пещере в затенённой долине, где Каи стоял на страже ушедших дней. И был лик Каи похож на лицо воина, что не раз покорял города, не отягощая себя пленниками, а станом напоминал он богов, но глаза его были глазами зверя. Вот перед кем стоял царь Аверона со своими верблюдами и слонами, навьюченными золотом, и со своими слугами, что несли груз драгоценных камней.

И молвил тогда царь:

— Прими мои дары, но верни мне моё вчера со всеми развевающимися знамёнами, с его музыкой и голубыми небесами; верни мне радость толпы, что провозгласила меня царем. Верни мне то вчера, что пронеслось на сверкающих крыльях над моим Авероном.

Но ответил Каи, указывая на свою пещеру:

— Вот сюда, развенчанное и позабытое, кануло твоё вчера.

Кто, скажи мне, станет унижаться и ползать среди пыльных кип дней минувших, лишь бы разыскать твой прошедший день?

Тогда рёк ему царь Аверона и окрестных гор, Могущественный владыка своей страны и всех подобных земель, буде таковые отыщутся за горами:

— Сам я готов встать на колени и спуститься во мрак твоей пещеры, чтобы своими собственными руками разыскать необходимое мне в пыли и во прахе, если этим смогу я вернуть моё вчера, а также некие часы, что прошли.

И сказав так, указал царь на сомкнутые ряды слонов и надменных верблюдов, но Каи ответил ему:



– Боги предлагали мне сверкающие миры, и всё, что лежит внутри Пределов, и даже то, что лежит за Пределами так далеко, как только могут увидеть боги, а ты приходишь ко мне с верблюдами и златом!

Тогда настал черёд Ханазара держать речь, и умолял он Каи:

– В садах моего родного дома провёл я один час, о котором тебе должно быть известно, а посему я молю тебя – того, кто не принимает моих даров, нагруженных на слонов и верблюдов – яви мне свою милость и даруй мне лишь одну пылинку из тех, что легли на груду прошедших часов, сваленных в тёмной твоей пещере, верни мне хотя бы одну секунду из этого моего часа!

Но услышав слово «милость», Каи расхохотался, и царь развернул свои армии на восток. Так возвращались они в Аверон, и скачущие впереди герольды трубили:

– Вот идет Ханазар, царь Аверона и окрестных гор, Могущественный владыка своей страны и всех подобных земель, буде таковые отыщутся где-нибудь за горами!

Но велел им царь:

– Трубите лучше, что идёт один очень усталый человек, который, ничего не достигнув, возвращается из своего напрасного путешествия.

Так вернулся царь в Аверон.

Но рассказывают, как однажды вечером, когда клонилось к закату усталое солнце, вошёл в Илаун один арфист с золотой арфой в руках, и добивался он аудиенции у царя.

И рассказывают, как его привели и поставили перед тронем, на котором сидел в одиночестве печальный царь, и арфист обратился к нему с такой речью:

– В моих руках, о царь, золотая арфа, и к струнам её пристали, подобно пыли, малые секунды позабытых часов и незначительные события тех дней, что минули.

И поднял голову Ханазар, а арфист прикоснулся к струнам, и тогда ожили вдруг позабытые дела и прошедшие события, и звучали мелодии песен, что давно умолкли, и вот уже много лет не воскресали их голоса живых. А когда увидел арфист, что благосклонно



на него глядит Ханазар, то пальцы его ударили по струнам с ещё большей силой, и струны загудели, как тяжёлая поступь идущих по небу богов, а из золотой арфы исторглась невесомая дымка воспоминаний.

И царь наклонился вперёд, и вглядываясь сквозь эту лёгкую дымку воспоминаний, увидел не стены своего дворца, а увидел он солнечную долину и звенящий ручей, увидел густые леса на каждом холме и старинный свой замок, что одиноко высился на далёком юге.

А арфист, заметив, как волшебным образом переменились черты лица Ханазара, как задумчив стал устремлённый вперёд взгляд, спросил:

— Доволен ли ты, о царь, который властвует над Авероном и окрестными горами, а также всеми подобными землями, буде таковые отыщутся?

И царь ответил ему:

— Вижу я, будто снова стал ребёнком и снова живу в уединённой долине на юге. Откуда мне знать, доволен ли великий царь и владыка?

И когда высыпали на небе и засияли над Илауном звёзды, царь все сидел и неподвижно вглядывался во что-то перед собой, и все придворные покинули огромный дворец, а вместе с ними ушёл и арфист. Остался лишь один слуга, который стоял за троном и держал в руках длинную горящую свечу.

И когда новый рассвет вновь проник в мраморный дворец сквозь притихшие арки окон и входов, то огонь свечи поблёк, а Ханазар всё ещё сидел и смотрел прямо перед собой, и точно так же продолжал он сидеть, когда в другой раз высоко над Илауном загорелись яркие звёзды.

Но на второе утро очнулся царь, и послав за арфистом, сказал ему:

— Теперь я снова стал царём, и ты, кто умеет останавливать часы и возвращать людям прошедшие дни, должен встать на страже моего великого завтра. И когда я отправляюсь в поход, чтобы покорить край Зиман-хо, будешь ты стоять со своей золотой арфою на полпути между этим завтра и пещерой Каи, и тогда, быть может, что-нибудь из моих деяний и побед моей армии случайно пристанет к струнам твоей арфы и не канет в забытые пещеры, ибо моё будущее, что своей



тяжкой поступью сотрясает мои сны, слишком величественно, чтобы смешаться с позабытыми днями в пыли минувших событий. И тогда в далёком далеке грядущего, когда мертвы будут цари и забыты их дела, какой-нибудь ещё не родившийся музыкант придёт и исторгнет из этих золотых струн память о тех свершениях, что гулким эхом тревожат мой сон, и тогда моё будущее проложит себе дорогу сквозь прочие дни и расскажет о том, что Ханазар был царём!

И ответил арфист:

– Я готов встать на страже твоего великого будущего, и когда ты отправишься в поход, чтобы покорить край Зиман-хо, и твоя непобедимая армия прославится, буду я стоять на полпути между твоим завтра и пещерой Каи, дабы дела твои и победы зацепились за струны арфы и не канули в забвенье его пещеры. И тогда в далёком далеке грядущего, когда мертвы будут цари, а все их дела – позабыты, арфисты будущих столетий оживят этими струнами великие твои свершения. Я хотел бы это сделать!

И даже в наши дни люди, которые умеют играть на арфе, всё ещё поют о Ханазаре, – царе Аверона и окрестных гор, а также и некоторых земель за горами, – и о том, как пошел он войной на страну Зиман-хо и сражался во многих великих битвах, и как в последней из них одержал он славную победу, и как он погиб... Только Каи, который дожидался у своей пещеры, когда же сможет он вонзить свои когти в славные дни и часы Ханазара, так и не дождался их, а снял он урожай совсем никудышных делишек, а также дней и часов людей незначительных, и часто тревожила его тень арфиста, что стоял со своей золотой арфой между ним и всем остальным миром.

ГОРЕЧЬ ПОИСКА



царе Ханазаре рассказывали, что он очень усердно поклонялся богам Старины. Никто так не поклонялся богам Старины, как царь Ханазар.

Однажды, вернувшись из храма богов Старины, где он на коленях молился этим богам, царь приказал жрецам предстать перед ним, и сказал:



– Мне хотелось бы узнать кое-что о богах.

Жрецы предстали перед ним, нагруженные множеством книг, из которых люди черпали мудрость богов, но царь сказал им:

– Этого нет в книгах.

И жрецы удалились, унося с собой тысячу хорошо описанных в книгах способов, с помощью которых люди могут обрести мудрость богов. остался лишь один из них, главный жрец, забывший книги, которому царь сказал:

– Боги Старины могущественны.

И ответил главный жрец:

– Очень могущественны боги Старины.

Тогда царь сказал:

– Нет богов, кроме богов Старины.

И отвечивал жрец:

– Нет никаких других богов.

И они были одни во дворце, и царь сказал:

– Расскажи мне что-нибудь о богах или о людях, если ты знаешь о них правду.

И сказал главный жрец:

– Далека и светла и пряма дорога к Знанию, а по ней в пыли, по жаре, идут все мудрые люди земли, но в полях, перед тем как подойти к самой-самой мудрости, они ложатся отдохнуть или собирают цветы. По сторонам дороги к знанию – а она, о царь, трудная и жаркая – стоит много храмов, а в дверях каждого храма стоят бесчисленные жрецы, зазывающие утомившихся в дороге путников, крича им: «Это Конец».

А в храмах звучит музыка и со сводов струится аромат тлеющих благовоний. И взглянув на прохладный храм, а на какой храм ни взглянешь, все прохладны, или услышав звучащую в храме музыку, путники заворачивают в них, чтобы посмотреть, действительно ли это Конец. А когда они узнают, что этот храм на самом деле не Конец, они вновь выходят на пыльную дорогу. Они идут по ней до тех пор, пока не смогут больше идти, ничего не видя в пыли, усталые и измученные путешествием, и не заглянут в какой-нибудь другой храм, в который их пригласит доброжелательный жрец, и тоже скажет, что



это Конец. И на этой дороге никто из друзей не может указать им путь, потому что он может сказать лишь одну-единственную правду: «Друг, мы ничего не видим в пыли».

А скрывающая дорогу пыль, началась еще тогда, когда началась дорога, и все, кто идет по дороге, поднимают пыль ногами, и она появляется у дверей храмов.

И, о, царь, если ты бредешь по этой дороге, то лучше отдохни, услышав призыв: «Это Конец» и звуки музыки где-то вдали. И если в пыли и темноте ты минувешь Ло и Муша, пройдешь мимо прекрасного храма Кинаша, или улыбающегося Шината, уста которого вырезаны из опала, или Шо с глазами из агата, или Шайло и Минартитепа, Газо и Амурунда, и Слига, жрецы других храмов не преминут позвать тебя.

Рассказывали, о царь, что лишь один человек увидел Конец, пройдя три тысячи храмов, и в последнем храме жрецы оказались такими же, как и в первом. Все они говорили, что их храм находится в конце пути, всех их покрывала пыль, все они были доброжелательны. Только дорога была изнурительной. В некоторых храмах было много богов, в некоторых только один, а в некоторых алтарь был пуст. Но во всех храмах было множество жрецов, и во всех путники радовались отдыху. В некоторых храмах друзья-путники пытались остановить его, и когда он говорил: «Я пойду дальше», многие говорили: «Этот человек лжец, потому что дорога кончается здесь».

А тот, кто шел до Конца, рассказывал, что когда над дорогой раздается гром, то отовсюду слышны голоса жрецов, кричащих: «Слушай Шайло» – «Прислушивайся к Мушу» – «Вот! Голос Кинаша» – «Голос Шо» – «Минартитеп сердится» – «Слушай слово Слига!»

А где-то вдали на дороге кто-то кричал путникам: «Это Шинат пошевелился во сне».

О царь, это очень печальная история. Рассказывали, что странник дошел, наконец, до самого Конца, где был огромный залив, а в темноте, на дне залива, ползал маленький, не больше зайца, бог, и в этой холодной тишине был слышен его плачущий голос: «Я не знаю».

И по ту сторону залива не было ничего, лишь только маленький плачущий бог. И тот, кто прошел до Конца, побежал обратно. Он долго бежал, пока снова не вернулся к храмам и не вошел в один



из них, внутри которого жрец восклицал: «Это Конец». Он лег на топчан и стал отдыхать. Перед ним молчаливо сидел Юш, язык которого был вырезан из изумруда, а большие глаза сделаны из сапфира, рядом с ним многие отдыхали и радовались. А старый жрец, успокоив ребенка, подошел к тому, кто дошел до Конца, и сказал ему: «Это Юш и это Конец мудрости». А путник ответил: «Юш очень миролюбив, и это действительно Конец мудрости».

О царь, не хочешь ли ты слушать еще?

И царь сказал:

— Я выслушаю все.

И главный жрец продолжил:

— Был еще один жрец, которого звали Шаун, он с таким благоговением относился к богам Старины, что мог различать их очертания при свете звезд, когда эти боги ходили среди людей, невидимые другим. Каждую ночь Шаун рассматривал их очертания и каждый день он рассказывал о них, пока все в Авероне не узнали, что все боги серые, что они появляются на фоне гор, и что Руг выше горы Сагадон, и что Скун меньше, и как Асгул наклоняется вперед, когда идет большими шагами, и как Тродат осматривается вокруг маленькими глазками. Но однажды ночью, когда Шаун разглядывал при свете звезд богов Старины, он вдруг четко различил других богов, которые сидели намного выше на склонах гор, в тишине, за богами Старины. И на следующий день он сбросил с себя сутану, которую носил как жрец Аверона, и обратился к своей пастве со следующими словами: «Существуют более великие боги, чем боги Старины, я ясно видел на холмах при свете звезд трех богов, смотрящих на Аверон».

И Шаун отправился в путь и скитался много дней, а за ним пошло много людей. Каждую новую ночь он все четче различал очертания трех новых богов. Они тихо сидели, а не разбредались среди людей, как боги Старины. На высоком склоне горы Шаун остановился вместе со всеми, кто пошел за ним. На этом месте они построили город и стали поклоняться богам, сидящим над ними в горах, которых мог видеть только Шаун. А Шаун рассказывал, что боги похожи на серые полосы света, которые можно видеть перед самым рассветом, и что бог справа указывает на небо, а бог слева указывает вниз на землю, а бог в середине спит.



И в городе последователи Шауна построили три храма.

Храм справа был предназначен для молодых, храм слева — для старых. А двери третьего храма были закрыты и заперты засовами, в него никто никогда не входил. Однажды ночью Шаун наблюдал за тремя богами, сидящими на горе, и увидел на вершине горы двух богов, которые разговаривали друг с другом и, посмеиваясь, указывали на богов на холмах, но Шаун не слышал, о чем они говорили. На следующий день Шаун отправился в путь. Несколько человек последовали за ним, на холоде они взбирались на вершину, чтобы найти тех богов, которые были настолько велики, что насмеялись над тремя молчаливыми богами. Рядом с этими двумя богами они остановились и построили себе хижины. И еще они построили храм, где установили Двух богов, вырезанных из дерева рукой Шауна. Головы богов были повернуты друг к другу, на Их лицах была видна усмешка, а пальцы Их указывали вниз, где под Ними стояли вырезанные из дерева три бога холмов, похожие на играющих актеров. Никто теперь не вспоминал Асгула, Тродата, Скуна и Рута, богов Старины.

Многие годы Шаун и его последователи жили в хижинах на вершине горы и поклонялись богам, которые насмеялись над другими. Каждую ночь Шаун при свете звезд видел двух богов, насмехающихся в тиши над другими. И Шаун состарился.

Однажды ночью, когда его глаза были обращены к Двоим, он увидел за горами большого бога, сидящего на равнине и воздымающегося до самого неба. Этот бог зло смотрел на Двоих, сидящих и насмехающихся. И Шаун сказал тем, кто последовал за ним: «Увы, нам нельзя отдыхать, за нами на равнине сидит истинный бог, и он гневается за насмешки. Давайте покинем этих двоих, сидящих и насмехающихся, и найдем истину в поклонении великому богу, который даже если и убьет, не будет насмеяться над нами».

Но люди ответили ему: «Ты увел нас от многих богов и научил нас поклоняться богам, которые насмеются над другими. И когда мы умрем, а на их лицах будет улыбка, то ты один сможешь это увидеть, а мы будем отдыхать».



Но три человека, которые состарились, следуя за ним, все еще продолжали идти с ним. И Шаун повел их вниз, с крутой горы, на другой склон, говоря: «Теперь мы знаем наверняка».

И три старика ответили: «Мы действительно будем знать, о ты, последний из жрецов».

В эту ночь два бога, которые насмеялись над теми, кто им поклонялся, не смеялись ни над Шауном, ни над его тремя последователями. А они, спустившись на равнину, продолжили путь до тех пор, пока глаза Шауна не стали различать ночью громадные очертания их бога. А за ним до самого неба простирались болота. Здесь они отдохнули, построили такие убежища, какие смогли, и сказали друг другу: «Это Конец, потому что Шаун видит, что больше богов нет, а перед нами лежат топи, и мы стали очень старыми».

А поскольку они не могли уже работать и построить храм, Шаун вырубил в скале большого бога, как он видел его при свете звезд на равнине. Так что если когда либо другие покинут богов Старины, увидев за ними Трех Больших богов, а потом узнают о Двоих, насмеяющимися над другими, то будут хранить знание о них до тех пор, пока не увидят при свете звезд того, кого Шаун назвал Последним богом. И здесь, на скалах, они найдут запись о конце поиска. Три года Шаун вырубал скалу, и однажды ночью он закончил работу и сказал: «Теперь мой труд завершен». И за Последним богом увидел четырех еще больших богов. Эти боги шли рядом, гордо, тяжело вышагивая далеко за болотами, не обращая внимания на бога, находящегося на равнине. Тогда Шаун сказал своим последователям: «Увы, мы еще не знаем, а за топиями существуют боги».

Никто не внимал Шауну. Они сказали, что из-за преклонного возраста должны завершить все поиски, и что они предпочтут дожидаться Смерти здесь, на равнине, а не следовать за ним через болота и топи.

Тогда Шаун попрощался со своими последователями, сказав: «Вы следовали за мной все то время, с тех пор, как мы покинули богов Старины, чтобы поклоняться более сильным богам. Прощайте! Может быть, вам помогут вечерние молитвы богу на равнине. А я должен пойти дальше, к богам за топиями».



И Шаун двинулся в топи. Три дня он пробирался по ним, и на третью ночь совсем недалеко перед собой он увидел четырех богов, но не мог разглядеть Их лиц. Весь следующий день он старался рассмотреть Их лица, а когда пришла ночь и при заходе солнца зажглась лишь одна звезда, Шаун пал на колени перед четырьмя богами. Звезды взошли наконец, лица этих четырех богов осветились, и он наконец мог рассмотреть их. Но Шаун не видел их, потому что труд поиска для него был завершен. И, о чудо! Это были Асгул, Тродат, Скун и Рут – боги Старины.

И сказал царь:

– Хорошо, что горечь поиска приводит к мудрости. Ведь мудрого так мало.

И еще сказал царь:

– Скажи мне, о жрец, кто же настоящие боги?

Главный жрец ответил:

– Как решит царь.

ЖИТЕЛИ ЙАРНИТА



Жители Йарнита убеждены, что всё началось, едва лишь Йарни Зей воздел руку свою. Йарни Зей – поясняют они – как бы и человек, но гораздо больше, и весь из камня. Едва он воздел руку свою, как все громадные камни, что бесцельно блуждали под сводом небесным – так они именуют небо – собрались вокруг Йарни Зея.

О других же мирах они не говорят ничего. И всё же они почитают звёзды глазами всех остальных богов, которые поглядывают свысока на Йарни Зея и потешаются над ним, так как превзошли его величием, хотя и не собрали вокруг себя никаких миров.

Пусть и превзошли они Йарни Зея величием, пусть и потешаются над ним, когда под сводом небесным беседуют между собой, но все они говорят о Йарни Зее.

Никому, кроме самих богов, не ведомо, о чем беседуют боги, но жители Йарнита рассказывают, будто прорицатель их Айрон, некоторое время прибывавший в песчаной пустыне Азракан, внимал



дважды подобной беседе, откуда и узнал, как покинул Йарни Зей всех богов, чтобы, облекшись в камни, сотворить мир.

Верно и то, что во всех легендах упоминается, будто в конце долины Йодет, где исчезает она меж чёрных скал, восседает у самой горы исполинская, как бы человеческая, фигура с поднятою десницею, величиною своею, однако, превосходящая холмы. И в Книгу таинств, хранимую прорицателями в храме, находящемся в Йарните, вписано предание о собирании мира, как услышал его Айрон, когда боги беседовали меж собою в безмолвных высях над Азраканом.

Кто о том прочитает, тот узнает, как Йарни Зей закутался вместо плаща в горы, а внизу сгрудил мир. Конечно же, в предании не расписывается во всех подробностях, сколько лет просидел облекшийся в камни Йарни Зей в конце долины Йодет, ибо во всём мире в ту пору не было никого, кроме громадных камней да самого Йарни Зея.

Но вот появился как-то ещё один бог, который, со скалы на скалу перескакивая, стремительно мчался по миру, и бежал он подобно тучам грозовым, несущимся по небу в ненастный день. Когда же приблизился он к Йодету, Йарни Зей, восседающий с поднятой десницею у своей горы, вскричал в возмущении:

— Что гонит тебя по миру моему, и куда ты держишь путь свой?

Новый же бог не проронил в ответ ни слова, но поспешил дальше, и где бы он ни проходил, справа и слева от него появлялась зелень.

И так новый бог пронёсся по миру, и всё вокруг зазеленело. Не было зелени лишь в долине, где у своей горы восседал гигантский Йарни Зей, да ещё в тех краях, где Крадоу-засуха совершала ночами свои опустошительные набеги.

Затем, как написано в книге, появился ещё один быстробегущий бог, столь же стремительно, как и первый, спешивший с востока, лицом обратившись в сторону запада. Неостановим был его бег. И едва лишь простёр он руки свои, как весь мир слева и справа от него побелел.

И спросил удивлённый Йарни Зей:

— Что гонит тебя по миру моему?

И отвечал новый бог:



– Принёс я снег всему этому миру, а с ним и нетронутость белизны, и покой, и безмолвие.

И остановил он бег потоков, и возложил он руки свои даже на голову Йарни Зея. Заглушил он и звуки мира, хотя до сих пор не слышно было во всех краях ни звука, кроме шума шагов быстробегущего бога, что на своём пути укрывал снегами равнины.

Оба эти новых бога соперничали друг с другом. Снова и снова в своём ежегодном кружении спускались они в доли и поднимались в горы, проносились по равнинам, простирающимся перед Йарни Зеем, который своею воздетою рукой собрал вокруг себя мир.

А те, кто уж очень увлечется чтением, узнают к тому же, как все звери поднялись по долине Йодета к горе, на которую опирался Йарни Зей, и обратились к нему с просьбой:

– Дозволь нам ожить, чтобы стать львами, носорогами и кроликами и расселиться по всему миру.

И дозволил Йарни Зей животным стать львами, носорогами и кроликами, а также всем прочим зверьём и расселиться по всему миру. Когда же все они ушли он дозволил птице стать птицей и улететь в небо.

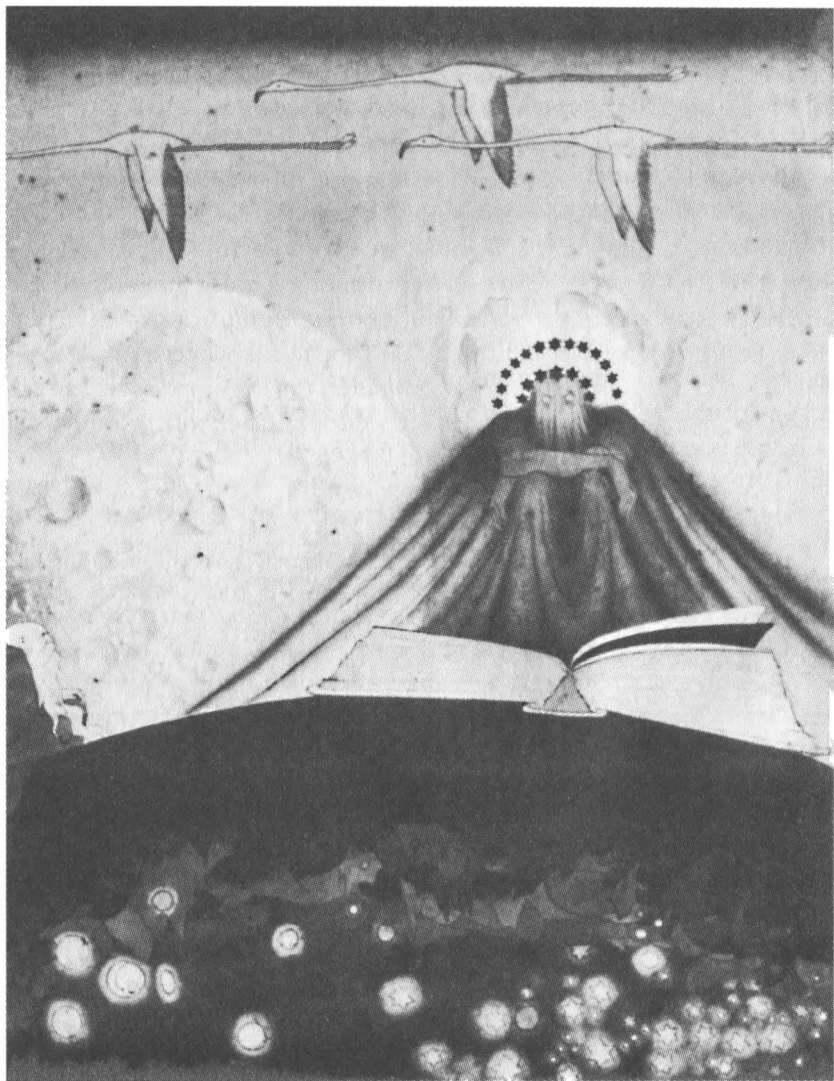
И тут в долину пришел человек и сказал:

– Йарни Зей, ты сотворил зверей в мире своём. О, Йарни Зей, пусть же будут там и люди.

Так что Йарни Зей сотворил и людей.

В мире теперь уже были Йарни Зей, два неизвестных бога, приносящие – один зелень и пробуждение жизни, а другой – белизну покоя, а кроме них – животные и люди.

И бог зелени преследовал бога белизны, а бог белизны преследовал бога зелени. И люди преследовали животных, и животные преследовали людей. А Йарни Зей неподвижно восседал с поднятою десницею у своей горы. Но жители Йарнита говорят, что, едва лишь десница Йарни Зея опустится, мир спадёт с его плеч, как спадает плащ с плеча человека. А Йарни Зей, избавившись от каменного облачения мира, вновь погрузится в поднебесную межзвёздную глубину, как уходит в морскую пучину ловец жемчуга.



Трогул



Древние летописцы занесли на страницы истории Йарнита, что некогда случился такой год, когда над долиной Йарнита не выпало ни капли дождя. И тут-то Голод, почуяв из запредельных пустынь, что в Йарните стало сухо и уютно, прокрался через горы, сполз по их склонам вниз и пригнулся по запылю Йарнитских пашен.

И жители Йарнита, трудясь в полях, стали наткаться на Голод, то когда он лущил зерно, то когда он гонял скот. Они живо набирали воды из глубоких колодцев и окатывали ею сухую серую шкуру Голода, гоня его прочь в горы. Но на следующий день, когда шкура его подсыхала, Голод возвращался снова и уничтожал ещё больше зерна и загонял ещё больше скота, но люди отгоняли его прочь. А Голод снова возвращался. Но вот настало время, когда в колодцах не осталось больше воды, чтобы отпугивать Голод. И Голод уничтожил всё жито до последнего зёрнышка, а загнанный им скот отошал до крайности. Голод же подбирался всё ближе к человеческому жилью и по ночам вытапывал сады, подходя уже к самому порогу. И вот наконец у скота не стало больше сил убежать, и Голод мало-помалу передушил и перетаскал весь скот до последней головы. Ночами он рылся в земле, уничтожая растения вплоть до корней, подходил к дверям, заглядывал внутрь, а отпрянув, старался потом проникнуть ещё глубже, не решаясь пока войти туда совсем, из опасения, что у людей найдётся вода, чтобы плеснуть на его сухую шкуру.

Тогда жители Йарнита стали денно и ночно молиться Йарни Зею, восседающему в далёком далеке от долины, моля его позвать назад свой Голод. Голод же сидел и, урча, изводил скотину. Наконец он решился отведать и человека.

И летописцы повествуют, как поначалу он губил детей, потом, осмелев, принялся за женщин, пока, наконец, не стал нападать на мужчин, когда те трудились в полях.

Тогда решили жители Йарнита:

— Одному из нас придётся пойти и отнести наши мольбы к стопам Йарни Зея. Весь мир по вечерам возносит множество молитв, и, возможно Йарни Зей, внимая стенаниям всей земли, когда вечерами молитвы трепещут у его ног, не может уловить среди них мольбы жителей Йарнита. Но если пойдёт кто-нибудь один и скажет



Йарни Зею: «Слегка замялся подол одеяния твоего, который люди зовут долиной Йарнита, где Голод стал божеством превыше Йарни Зея», может, он, к примеру, и вспомнит о нас, и отзовёт назад свой Голод.

Однако все боялись идти, сознавая, что они всего-навсего люди, а Йарни Зей всё-таки бог всей земли, да и путь неблизок, а дорога камениста. Но той же ночью Ходран Дат услышал, как Голод завыл за стенами его дома и заскрёбся у порога. Лучше уж, подумалось ему, погибнуть под взором Йарни Зея, чем ещё когда-нибудь услышать завывания Голода.

Так что рано-рано поутру Ходран Дат отправился в дорогу, всё ещё опасаясь услышать, как Голод дышит ему в затылок. Нужное направление на всём пути указывали ему людские могилы, потому что жители Йарнита хоронят лицом и ногами к Йарни Зею, дабы он мог, кивнув головой, призвать их к себе из смертной тьмы.

Так весь день и шёл Ходран Дат, сверяя путь свой по могилам.

Говорят даже, что провёл он в пути три дня и три ночи, и одни лишь могилы указывали ему дорогу, ибо обращены они к Йарни Зею, — туда, куда отлого и постепенно восходит весь мир, — в направлении Йодета, где вокруг Йарни Зея сгрудились громадные чёрные камни.

Когда же Ходран Дат добрался до двух огромных чёрных столпов и увидел за ними громадные камни, громоздящиеся в мрачной долине, узкой и холодной, то понял, что это и есть Йодет. Он перестал спешить. Тихо и спокойно продвигался вверх по долине, стараясь ничем не нарушить покоя и говоря себе: «Ведь это и есть покой Йарни Зея, в котором он пребывал, пока не облёкся в камни».

И тут, среди тех камней, что первыми собрались по зову Йарни Зея, Ходрана Дата объял неопиcуемый страх, но всё же он продолжал идти вперёд ради своего народа и ещё потому, что знал: ежечасно на миг встречаются где-то в мрачных покоях Мор и Голод, чтобы перемолвиться словечком, и слово это — «Конец».

Когда же тьма посерела с рассветом, Ходран Дат добрался до конца долины и даже коснулся стопы Йарни Зея, но самого его не увидел, так как он весь скрыт был туманом. Тогда Ходран Дат посе-



товал, что не доведётся ему узреть Йарни Зея, дабы заглянуть ему в глаза, когда станет возносить свою молитву. Тем не менее, припав челою к стопе Йарни Зея, он заговорил, молясь за всех людей Йарнита:

– О владыка Голода и отец Мора, есть в том мире, который набросил ты себе на плечи, малая точка, которую люди зовут Йарнит и где люди умирают до срока, означенного тобою для расставания с Йарнитом. Может быть, Голод взбунтовался против тебя, или Мор превысил свою власть. О Творец Мироздания, изгони Голод, как выбиваешь ты молю из своего плаща, пусть же боги загробного мира не смотрят на тебя во все глаза, говоря – подумать только, вот так Йарни Зей! Одежды его совсем износились.

И в тумане не подал никакого знака Йарни Зей. Тогда Ходран Дат стал молить Йарни Зея подать хоть какой-нибудь знак своею подъятою десницею, чтобы мог он понять, что был услышан. В благоговейной тишине ждал он, пока с разгорающейся зарёй не поднимется туман, скрывавший фигуру. Безмятежно возвышалась она над горами, погружённая в грустные раздумья о мире. Безмолвная. С подъятою десницею.

Ни в одной из летописей не упоминается ни о том, что же такое узрел Ходран Дат на лице Йарни Зея, ни как он снова добрался живым до Йарнита. Записано там лишь, что он спасся бегством и что с тех самых пор никто больше не лицезрел лика Йарни Зея. Одни утверждают, что то, что он увидал на священном лице, повергло его душу в трепет, однако бытует в Йарните и такое мнение, будто он заметил на стопах фигуры следы камнетёсных орудий, что навело его на мысль, что Йарни Зей был творением рук человеческих, и он бросился прочь из долины с криком:

– Богов нет и мир обречён.

И оставила его надежда, и не стало больше цели в жизни. Позади же него неподвижно восседала в лучах восходящего солнца исполинская фигура с подъятою десницею, которую человек сделал по своему образу и подобию.



Однако жители Йарнита рассказывают о том, как Ходран Дат возвратился, запыхавшись, в свой родной город, как рассказывал он людям, что нет там никаких богов и что Йарниту нечего надеяться на Йарни Зея. Тогда жители Йарнита, узнав, что Голод не ниспослан богами, поднялись на борьбу с ним. Они вырыли глубокие колодцы, забили себе для еды диких козлов высоко в горах Йарнита, отправились в даль и насобирали травы там, где она ещё росла, чтобы скот их смог выжить. И так они одолели Голод, ибо говорили себе:

— Если Йарни Зей никакой не бог, значит, нет в Йарните никого могущественнее людей, да и кто такой этот Голод, чтобы точить зубы на хозяев Йарнита?

И сказали они:

— Если никакой помощи не исходит от Йарни Зея, значит, нет нам иной помощи, кроме как от собственных сил и возможностей, а значит, мы и есть боги Йарнита, горящие стремлением спасти Йарнит и предопределить его судьбу по своему усмотрению.

Ещё несколько человек пали жертвой Голода, но остальные воспротивились и взметнули руки свои, говоря: «Это ли не руки богов». И погнались Голод прочь, и гнали его до тех пор, пока не покинул он жилища людей и не оставил в покое стада. И жители Йарнита всё ещё, не переставая, преследовали его, когда в разгар битвы послышался шелест миллиона дождинок, льющихся сверху, который к вечеру доносился уже издали, тогда Голод с визгом бросился наутёк в горы и даже ещё дальше, за их перевалы. С тех пор Голод упоминают в одних лишь легендах Йарнита.

Тысяча лет пронеслась над могилами тех, кто в Йарните пал жертвой Голода. Однако жители Йарнита всё ещё молятся Йарни Зею, высеченному в камне человеческими руками по образу и подобию человека, ибо они говорят:

— А может стать, те молитвы, что мы воссылали Йарни Зею, поднялись от его фигуры, как туман на заре, и в конце концов дошли где-нибудь до других богов или даже до того Бога, который главнее остальных и о котором наши прорицатели ведать не ведают.

ЗА ЧЕСТЬ БОГОВ

 великих войнах на Трёх Островах написано много историй. В них повествуется о том, как герои стародавних времён убивали друг друга, но ничего не говорится о том, как жители островов начали воевать, как до этого они на своей земле разводили скот и овец и каким спокойным был мир этих островов до тех стародавних времён. Ведь в те времена жители островов, как дети, играли у стоп Случая, у них не было богов, и они не стремились воевать. Но моряки, заброшенные чужими ветрами на эти берега, которые они называли Процветающими Островами, увидели людей, у которых не было богов, и поведали островитянам, какими счастливыми они станут, познав богов, сражаясь за честь этих богов и оставляя свои имена записанными большими буквами в повествованиях и, наконец, умирая с именем богов на устах. И люди Островов собрались и сказали:

— Мы знаем, какие бывают животные. Но эти моряки — подумать только! — рассказывают нам о непонятных созданиях, которые знают о нас то, что мы знаем о животных, и пользуются нами в своё удовольствие, как мы пользуемся животными. Но, кроме того, они способны отвечать на молитвы, которые возносятся вечером у очага, где собираются люди, возвратившись с распаханых полей. Не поискать ли нам этих богов?

А некоторые возражали:

— Мы хозяева Трёх Островов, и ничто не должно мешать нам. Пока мы живы, мы процветаем, а когда умрём, наши кости найдут здесь покой. Не стоит искать тех, кто может оказаться больше нас на Трёх Островах или потревожить наши кости.

Но другие говорили:

— Молитвы, которые человек шепчет, когда наступает засуха и гибнет скот, возносятся наверх, к равнодушным облакам, незамеченными. И если где-нибудь есть кто-то, кто выслушивает молитвы, пошлём людей поискать их и сказать: «На Трёх Островах, которые моряки иногда называют Процветающими Островами (а находятся



они в Срединном Море), живут люди, которые часто молятся. Этим людям сказали, что вы любите поклонение и отвечаете на молитвы, а мы — посланцы Трёх Островов».

И люди Островов увлеклись мыслью о странных созданиях — ни людях, ни животных, — которые по вечерам отвечают на молитвы.

Они посадили людей на корабли, те подняли паруса и без приключений переплыли море, и Случай занёс корабли к дальнему берегу. Там трёх человек послали искать богов на холмах и в долинах, а остальные, сойдя с кораблей, стали ждать на берегу. А те, кто пошёл искать богов, тридцать ночей шли при свете молний, и миновали пять гор, а когда дошли до вершины последней из них, то увидели внизу долину и, — о чудо! — богов. Боги сидели, каждый на мраморном возвышении, опираясь локтями о колени, а подбородком на руки, и у каждого на устах играла улыбка. А внизу, под ними, у стоп богов, сражались друг с другом армии маленьких людей, убивая друг друга за честь богов и во славу их имени. А вокруг в долине стояли города, которые эти люди построили тяжким трудом, своими руками. И они сжигали эти города в честь богов, и умирали в них за честь богов, а боги смотрели вниз и улыбались. И вверх из долины возносились молитвы богам, а боги отвечали на молитвы, но часто посмеивались над ними. И боги всё это время улыбались, и люди всё это время умирали.

А те, кто искал богов, увидели то, что должны были увидеть. Они припали к вершине горы, чтобы боги не увидели их. Потом поползли немного назад, лежали, пошептались между собой, и, пригнувшись, побежали. Двадцать дней они шли через горы и вернулись к своим товарищам. Те спросили их, не напрасны ли были их поиски, а трое ответили только:

— Мы видели богов.

И они пустились по морю в обратный путь к Трёх Островам, где Случай позволял себе отдохнуть, и сказали всем:

— Мы видели богов.

Но правителям Островов не рассказали, как боги сгоняют людей в стада. Вернувшись, они стали выращивать скот на всех Процвета-



ющих Островах. А после того, как они увидели, что боги делают с людьми, они стали добрее к своему скоту.

Но боги, обходя свою долину и оглядывая вершины гор, однажды утром заметили следы трёх человек. Боги наклонились, чтобы рассмотреть их, и пошли по ним, и к вечеру этого же дня пришли к берегу, от которого уже давно отплыли корабли. Они нашли следы кораблей на песке и в поисках их углубились в море, но ничего не увидели. И всё бы было хорошо на Трёх Островах, если бы некоторые из тех, кто слышал рассказ путешественников, не захотели увидеть богов своими глазами. Ночью они сбежали на кораблях с Островов.

И боги, не успев вернуться на холмы, увидели там, где море встречается с небом, белые паруса тех, кто в этот злосчастный день решил искать богов. Наконец-то люди, сражающиеся за богов, смогли немного передохнуть, пока те прятались в горах, поджидая путешественников с Процветающих Островов. А путешественники пристали к берегу, вытащили корабли на песок и послали шестерых человек в горы, о которых им рассказывали. Через много дней те вернулись, не встретив богов, а лишь увидев дым, поднимавшийся над сожжёнными городами, да стервятников, паривших в воздухе, наподобие молитв, оставшихся без ответа. Они вновь спустили корабли на воду, поставили паруса и вернулись на Процветающие Острова. Но позади, притаившись, за ними через море последовали боги, чтобы добиться поклонения жителей островов. И на каждом острове боги показались в разных облициях, и всем они говорили:

– Оставьте ваши стада. Идите и сражайтесь за честь богов.

И всё население одного острова погрузилось на корабли, чтобы сражаться за богов, которые явились им в царских одеждах. А с другого острова пошли сражаться за богов, которые ходили по земле, как простые смертные, в нищенских лохмотьях. А с третьего острова люди пошли воевать за богов, покрытых, как звери, шерстью, за богов с огненными глазами и с рогами на лбу. Но как раз о том, как эти люди сражались, пока острова не стали пустынными, но весьма славными, и всё во славу богов, историй написано много.

НОЧЬ И УТРО

 родила как-то Ночь под шатром богов по сумеречным полям и встретила Утро. Подняла Ночь с лица вуаль тумана и сказала: «Посмотри, я Ночь». Уселись они вдвоем под шатром богов, и стала Ночь рассказывать дивные древние истории, которые порой случались под покровом тьмы. А Утро сидело и удивлялось, всматриваясь в лицо Ночи, окруженное венцом из звезд. И Утро рассказало, как дымилась над равниной развалины домов Снамарты, а Ночь поведала, как жители Снамарты устраивали при свете звезд пирушки, веселились и пили, и слушали рассказы королей, пока войско минатов не подкралось поближе, и когда огни погасли, раздался звон оружия и наступило Утро. Еще Ночь рассказала, как Синдане-нищему приснилось, что он Царь, а Утро ответило, что видело Синдану, когда он встретил на равнине армию и подошел к ней, считая, что он Царь, и армия поверила ему, и теперь Синдана правит Мартием и Таргадридом, Динатом, Заном и Тумейдой. Но больше всего Ночи нравилось рассказывать об Ассарнии, в память о котором остались лишь руины на краю пустыни, а Утро рассказало о городах-близнецах Нарде и Тимоте, которые властвовали над всей равниной. Ночь повествовала об ужасах, которые увидел Минанд, гуляя в темноте по улицам собственного города. И каждый раз откуда-то из-за плеча царственной Ночи слышался шепот: «Расскажи Утру об этом».

И Ночь продолжала рассказывать, а Утро все удивлялось. Ночь поведала, что делают мертвые воины, когда под покровом ночи являются Царю, который вел их в битву. Ночь знала, кто сразил Дарнекса и как это случилось. Кроме того, она рассказала, почему семь Царей мучили сидатериев, и каковы были их последние слова, и как Цари продолжали их мучить и замучили до смерти.

И из слов Ночи стало понятно, чья кровь застыла на мраморных ступенях, ведущих к храму Озана, и почему на хранящийся внутри храма череп надета золотая корона, и чья душа вселилась в волка, который воет в темноте на краю города. Ночь знала еще, почему ушли тигры из Иразийской пустыни, и где то место, в котором они



собираются, и кто с ними говорит, и о чем, и почему. Затем она рассказала, как одному человеку удалось зубами перекусить железный запор на больших воротах в стенах Мондаса, и кто вышел из болот в сумерках, и потребовал встречи с Царем, и обманул его. И как Царь, поверив его лжи, спустился в подвалы своего дворца, где нашел только жаб и змей, которые принесли ему смерть. Повела Ночь и о том, что происходило в тиши башен замка, и о чарах, с помощью которых можно посылать свет луны прямо в души своих врагов. А затем – о лесе и блуждающих по нему тенях, о мягких крадущихся шагах и внимательных глазах, и о страхе, который сидит под деревьями, сделавшись похожим на сжатую пружину.

Но далеко внизу, под шатром богов, на земле, гора Мондана уже заглядывала Утру в лицо и помогала ему освободиться от Ночи, и низкие холмы у подножия Монданы приветствовали Утро. И мало-помалу из тумана на равнинах проступили очертания городов. Стали видны шпили Конгроса и крылатая фигура Поэзии, изваянная на его восточных воротах, и сидящая на корточках Скупость на западных; летучим мышам наскучило летать взад-вперед по городским улицам, и сова вернулась в свое гнездо. И мрачные львы, уйдя из долины, возвратились в свои пещеры. Еще не переливалась радугой роса на сплетенных пауками сетях, еще не было слышно жужжания насекомых и пения дневных птиц, еще хранили долины верность Царице-Ночи. Но земля уже готовилась к приходу нового правителя и забирала у Ночи царство за царством, а по снам людей пронеслись миллионы герольдов, возвещавших петушиным криком: «Внимай! За нами идет Утро!» А под шатром богов на сумеречных полях звездный венец вокруг головы Ночи бледнел, а на челе Утра проступал чудесный знак власти. И в какой-то момент костры в полях побледнели, в небо поднялся серый дым, верблюды почуяли запах рассвета, а Утро забыло о Ночи. И прочь от шатра богов, в логовище тьмы, крадучись, ушла Ночь в темном плаще. А Утро положило руку на туманы и потянуло их кверху, и показалась земля, и стряхнула с себя тени, и они последовали за Ночью. И вдруг тайна оставила свой привычный облик, прежние чары рассеялись, и вся земля предстала в новом великолепии.



АЛЧНОСТЬ



Люди в Дзону считают, что Яхн — это бог, который, как ростовщик, все время сидит над кучей мелких блестящих драгоценных камней, обхватив их обеими руками. А каждый из этих камешков, лежащих под загребущими лапами Яхна, чуть больше капельки воды, и каждый камешек — это жизнь. Люди Дзону рассказывают, что когда Яхн придумал свой план, земля была пуста, на ней не было жизни. Потом Яхн заманил к себе тени, обиталище которых находилось за Пределом Миров. Они мало что знали о радости и совсем ничего о печали. Тени существовали за Пределом еще до того, как родилось Время. Яхн показал им эту кучу камешков. Драгоценности светились, в них мерцали зеленые поля, сияло голубое небо, струились ручейки, неясно виднелись маленькие сады, где были все цветы, какие только можно себе представить. В одних камешках видны были гуляющие в поднебесье ветры, в других — небесные своды с широко раскинувшимися полями и гнущимися под ветром травами и ничего, кроме полей. А в самой середине камней, что переливались больше всего, можно было разглядеть все время меняющееся море. Тени всмотрелись в Жизни и увидели и зеленые поля, и море, и землю, и сады на земле. И Яхн сказал: «Я дам каждому из вас взаймы Жизнь, и вы сможете потрудиться над ней, согласно Мировпорядку, и тогда у каждого из вас будет своя тень-слуга в зеленых полях и садах. Но для того, чтобы так стало, вам нужно отполировать эти Жизни опытом и огранить их своими горестями, а потом вы должны будете вернуть их мне».

И теням понравилось, что они смогут обладать блестящими Жизнями и собственными тенями-слугами, и это стало Законом. И тени, каждая со своей Жизнью, отправились в путь и пришли в Дзону и в другие земли, и полировали опытом данные Яхном Жизни, и гранили их своими горестями, пока те не начинали сверкать. И там, где раньше были только зеленые поля и море, появлялись и города, и паруса, и люди, освещенные ярким солнцем. А Яхн, ростовщик, постоянными криками напоминал о заключенной



сделке. Когда в Жизнях людей появлялись новые сцены, нравившиеся Яхну, он молчал, но когда добавлялись сцены, не радовавшие его взор, он брал дань печалью, потому что таков был Закон.

Но люди стали забывать о Ростовщике, а некоторые заявили, что хорошо изучили Закон. Они говорили, что после того, как вложили в Жизни свой тяжкий труд и этот труд завершили, Жизни должны принадлежать им; такое вознаграждение следует людям за их тяжкий труд, за шлифовку и огранку собственных горестей. Но как только Жизни начинали сверкать от многообразного жизненного опыта, большой и указательный пальцы Яхна вдруг схватывали Жизнь, и человек становился тенью. И далеко за Пределом тени роптали:

– Мы тяжело работали на Яхна, и собрали все горести мира, и сделали так, что Жизни засверкали, а Яхн ничего не сделал для нас. Лучше бы мы оставались там, где нет никаких забот, свободно паря за Пределом Миров.

И тени почувствовали страх, что их когда-нибудь снова увлекут лживые обещания и они будут страдать из-за алчности Яхна, который был знатоком Закона. Только Яхн сидел и улыбался, наблюдая, как его сокровища растут в цене, и не было у него жалости к бедным теням, которые он выманил из их безмятежного мира, чтобы они тяжело трудились в облике людей.

И Яхн заманивает все новые и новые тени и посылает их делать Жизни сверкающими, дает им старые Жизни, чтобы добавить им блеска. Иногда он дает тени Жизнь, которая когда-то была жизнью короля, и посылает вниз, на землю, играть роль нищего, а иногда посылает Жизнь нищего играть роль короля. Какое Яхну дело до таких мелочей?

Те, кто заявлял, что хорошо знает Закон, сулили людям Дзону, что Жизни, над которыми они тяжело трудились, будут принадлежать им всегда. Но люди Дзону боялись того, что Яхн могуществен и к тому же знаток Закона. Кроме того, говорили, что придет Время, когда богатство Яхна станет таким, о каком он мечтал. Тогда, наконец, Яхн покинет землю и не будет больше беспокоить тени, а будет сидеть, не сводя взгляда со своего сокровища – Жизней, поскольку душа его – это душа ростовщика. Но другие клялись, что есть боги



Старины, которые сильнее Яхна. Это они создали Закон, который Яхн так хорошо знает. И эти боги когда-нибудь заключат с Яхном такую сделку, условий которой ему не выполнить. Тогда Яхну, убогому, забытому богу, придется уйти, и, может быть, в какой-нибудь заброшенной земле он будет торговаться с дождем из-за капли воды, чтобы утолить жажду, потому что душа его — это душа ростовщика.

А как же Жизни? Кто знает, какова будет воля богов Старины.

МЛИДИН



незапамятные времена вечерами сидели боги на горе Моура Навут, возвышавшейся над Млидином, и удерживали лавину.

* * *

В Срединном граде стояли храмы, построенные жрецами, и народ Млидина приходил в них с дарами, а жрецы вырезали из камня богов для Млидина. Ибо в потаенном зале Древнего храма, главнейшего среди прочих храмов Срединного града в Млидине, хранилась Книга Добрых Заветов, написанная в стародавние времена на никому уже не ведомом языке, и говорилось в ней, что человек волен создавать себе богов, которые не станут гневаться и мстить маленькому человеку. И жрецы, руководствуясь тем, что прочли в Книге Добрых Заветов, старались вырезать благосклонных богов, и все сделанные ими боги отличались друг от друга, но взгляд их всегда был обращен к Млидину.

И во все незапамятные времена боги на горе Моура Навут сносили это и терпеливо ждали, когда народ Млидина сотворит сто богов. Не случалось такого никогда, чтобы падали на Млидин молнии с горы Моура Навут, не бывало в городе ни глада, ни мора — только на горе Моура Навут сидели боги и улыбались. Возглашал народ Млидина: «Йома наш бог». И улыбались сидящие на горе боги.

Проходили годы, и народ, забыв Йому, возглашал: «Зунгари наш бог». И улыбались сидящие на горе боги.



Наконец поставил один из жрецов на алтарь Зунгари фигурку несправедного божка, вырезанную из пурпурного агата, и произнес: «Йазун наш бог». И улыбнулись сидящие на горе боги.

Упадал ниц народ Млидина перед Йону, Бауном, Нидишем и Сандрао, а на горе сидели боги, удерживая нависшую над городом лавину.

Величавое спокойствие снизошло с небес, и сверкнула в лучах заходящего солнца заснеженная вершина Моура Навут, и на знойный город повеял холодный ветер с благословенного склона. Это величайший пророк Млидина Тарси Зало сотворил из громадного сапфира бога, и стало их ровно сто, а на горе Моура Навут боги, отвратив взор свой от Млидина, сказали: «Вот и свершилась последняя мерзость». И уже не смотрели они на город, и уже не удерживали лавину, и та с ревом устремилась вниз.

Ныне Срединный град Млидина завален обломками камней. На скалах этих возник новый город, и живет в нем народ, который ничего не слышал о древнем Млидине, а на горе Моура Навут по-прежнему сидят боги. В новом городе люди падают ниц перед вырезанными из камня богами, и число этих богов достигло девяноста девяти, а я, их пророк, уже отыскал занятный камешек, чтобы вырезать из него подобие божества, перед которым упадет ниц весь Млидин.

ТАЙНА БОГОВ



айни Моу, крошечная змейка, увидала сверкающую вдалеке реку и поползла к ней по горячему песку.

Алдун, пророк, вышел из пустыни и направился вдоль берега к своему прежнему дому. Минуло тридцать лет, как Алдун оставил город, в котором родился, уединившись в пустыне, где собирался раскрыть Тайну богов. Его родина называлась Городом у Реки, там множество пророков толковали о многих богах. Люди хранили друг от друга разные тайны, и никому из них неведома была Тайна богов. Никто даже не осмеливался думать о ней, иначе люди сказали бы:

«Этот человек грешен, он не чтит богов, которые говорят с нашими пророками при лунном свете, когда никто другой не слышит их».

Алдуну казалось, что разум человеческий подобен саду и мысли – цветам, а пророки его родного города – садовникам, что подстригают, и пропалывают, и прокладывают по саду ровные и прямые дорожки, и человеческая душа может двигаться только по ним, чтобы пророки не сказали: «Эта душа прегрешила». А с дорожек садовники удаляли любой выросший на них цветок, а в саду подстригали те цветы, что оказывались слишком высокими, приговаривая при этом: «Таков обычай», или «так предписано», или «так было всегда», или «так не бывает».

Поэтому Алдун понял, что в этом городе ему не открыть Тайны богов. И Алдун обратился к людям: «Когда мир только начинался, Тайна богов была ясно написана повсюду на земле, но шаги бесчисленных пророков затерли ее. Ваши пророки – истинные праведники, но я уйду в пустыню, чтобы найти правду еще более истинную». Так Алдун удалился в пустыню и долгие годы жил там отшельником, в непогоду и в солнечные дни. Когда в горах, окружавших пустыню, раздавался гром, он пытался расслышать в его раскатах Тайну богов, но боги не говорили голосом грома. Когда звериный рык нарушал тишину, осененную с небес звездами, Алдун тщился различить в этом рыке Тайну богов, но боги не говорили голосами зверей. Алдун состарился и научился распознавать все звуки пустыни, но среди них не было голоса богов, пока однажды ночью он не расслышал за холмами их шепот. Боги шептались между собой и, склонив головы, плакали. И Алдун различил тени богов, хотя не увидел их самих, направлявшихся к глубокой лощине меж холмов; и там, остановившись у спуска в долину, они произнесли: «О Праотец Зей, старейший из богов, вера в тебя исчезла, и вчера твое имя в последний раз прозвучало на земле». И склонив головы, боги вновь зарыдали. Они сорвали с неба белые облака, обвили ими тело Праотца Зея и понесли его в долину за холмами, и закутали горы снегами, а палочками, выточенными из черного дерева, отстучали по их вершинам похоронную песнь богов. Эхо блуждало вокруг, ветер завывал – ведь



вера прежних дней утасла, а вместе с нею и душа Праотца Зея. Сквозь горные ущелья во тьме двигались боги, неся тело своего умершего родителя. Алдун последовал за ними. Боги пришли к огромной гробнице из оникса, высившейся на четырех разных мраморных колоннах, на каждую из которых пошло четыре горы, и в эту гробницу боги положили Праотца Зея, потому что прежняя вера умерла. И у гроба своего отца говорили боги, и Алдун слышал Тайну богов, и понял, насколько она проста – любой мог бы догадаться. Тут восстала душа пустыни и окружила могилу кольцомzybучих песков забвения, и боги зашагали сквозь горы домой, в лошину. Алдун же покинул пустыню и шел много дней, пока не добрался до реки, в том месте, где она текла мимо города к морю, и направился по берегу к своему прежнему дому. И люди, жившие в Городе у Реки, увидев его издалека, закричали:

– Открыл ли ты Тайну богов?

И он ответил:

– Да, открыл. Она в том...

Зайни Моу, крошечная змейка, увидев тень человека, ставшего между нею и прохладной рекою, подняла голову и ужалила. И Боги остались довольны Зайни Моу и стали называть ее хранительницей Тайны богов.

ЮЖНЫЙ ВЕТЕР



ва игрока сели за игру, чтобы скоротать вечность, и фигурами в игре они взяли богов, и доской выбрали небо от края до края, где ложится пыль; и каждая пылинка стала миром на их доске. И игроки были в мантиях, и лица их – в масках, и одеяния их были похожи; и звались они Судьбой и Случаем. А когда они играли, передвигая богов туда и сюда по доске, пыль кружилась и переливалась в отсвете их глаз, мерцавших под масками. Тогда говорили боги: «Смотрите, какую мы подняли пыль».



* * *

И так случилось или было predetermined (как знать?), что Орд, пророк, однажды ночью увидел богов, шагавших по колена в звездах. А начав молиться им, увидел он руку игрока над их головами, огромную руку, занесенную для следующего хода. Теперь Орд, пророк, знал. Сохрани он молчание, все могло бы обойтись, но Орд пошел по белу свету, возвещая всем людям: «Есть сила над богами».

Боги это слышали. И сказали они: «Орд видел».

Ужасна месть богов. Они свирепо взглянули на Орда и вырвали из его разума всякое знание о Себе. И душа его стала скитаться по миру, разыскивая богов и не находя их. Потом из Сказки Жизни Орда боги выхватили луну и звезды, и ночью он видел только черное небо и уже не видел огней. Вслед за тем боги отобрали у него — ведь их месть не иссякла — птиц и бабочек, цветы и листья, и жуков, и пауков, и всякую мелочь, и пророк смотрел на мир, который так странно изменился, не зная о гневе богов. Затем боги отослали прочь знакомые ему холмы, чтобы больше он не видел холмов, и милые леса на их вершинах, и далекие поля; и в сжавшемся мире Орд ходил по круту, уже мало что видя, и душа его все еще искала богов и не находила. И вот боги забрали поля и ручей и оставили пророку только дом и большие предметы, какие были в доме. Изо дня в день боги прокрадывались к Орду, протягивая завесу тумана между ним и знакомыми предметами, пока наконец он не перестал видеть и не стал совсем слеп. И не знал он о гневе богов. Теперь мир Орда превратился в мир звуков, и один лишь слух связывал его с вещами. Вся радость его дней звучала то в песне, донесшейся с холмов, то в голосах птиц, журчанье ручья или в каплях падающего дождя. Но гнев богов не утих, когда закрылись цветы, не смягчился всеми зимними снегами, не успокоился в пышном расцвете лета, и однажды ночью они похитили у Орда мир звуков, и он проснулся глухим. И как бывает, когда человек разрушает муравейник, а муравей с собратьями строит его заново, не ведая о том, кто разрушил его дом, не зная, что его ждет новое разрушение, — так и Орд построил себе мир из старых воспо-



минаний, поместив его в прошлое. Там он возвел города из былых радостей, и в них — дворцы из лучших свершений, и памятью своей, как ключом, открыл золотые замки; у него еще оставался мир для жизни, хотя боги и отняли мир слышимый и мир видимый.

Но они не устали от погони, и забрали у него мир былого, и лишили его памяти, и перекрыли пути в прошлое, и бросили его слепым и глухим и беспамятным среди людей, и сделали так, что люди узнали — это он назвал однажды богов — пешками.

И наконец, боги взяли его душу и выкроили из нее Южный Ветер, чтобы вечно странствовал он по морям и не находил пристанища; и Южный Ветер знает, что где-то давно он понял нечто, и жалуется островам и вздыхает у южных берегов: «Я знал», «Я знал».

Но все вокруг спит, когда говорит Южный Ветер, и не внемлет его плачу, и наслаждается сном. Но Южный Ветер, зная, что забыл что-то, продолжает кричать: «Я знал», заставляя людей пробудиться и понять. Но никто не внемлет печалю Южного Ветра, и тщетно роняет он слезы с Юга. И хотя он стонет и мечется и не может найти покоя, никто не слышит, что можно узнать что-то, и Тайна богов остается нераскрытой. Но Южный Ветер дует на Север, и говорят, что настанет день, когда он одолеет горы и осушит ледяные моря, и доберется до полюса, где запечатлена Тайна богов. И игра Судьбы и Случая внезапно прервется, и Проигравший исчезнет, словно его и не было, и с поля игры Судьба или Случай (как знать, кто победит?) сметет богов прочь.

СТРАНА ВРЕМЕНИ



арнитх, владыка Алатты, рёк своему старшему сыну так:

— Оставляю тебе свою столицу град Зун, под золочеными карнизами которого гудят пчелы. И завещаю тебе страну Алатту и все прочие земли, коими ты способен владеть, ибо три мои могучие армии, которые я вручаю тебе, могут покорить Циндару, могут захватить Истан, могут заставить потесниться Онайн и осадить стены Яна, а после этого ты еще расширишь свои владения, присоединяя к ним страны не очень большие, такие как Гебитх, Эбнон и



Карида. Не води свои армии лишь на Зинар и никогда не переходи через Эйдис!

И сказав так, король Алатты Карнитх скончался в городе Зуне с его золотыми карнизам, и душа его вознеслась туда, куда в свое время отправились души всех его предков – прежних королей, равно как и души их рабов.

Когда же это случилось, молодой король Карнитх Дзо надел железную корону Алатты и спустился на равнины, что со всех сторон окружили Зун; там он узнал, что три его сильные армии требуют, чтобы он не медля вёл их на Зинар, что лежит за рекой Эйдис.

Но новый король оставил свои армии там, где они стояли и, оставшись в огромном дворце наедине со своей стальной короной, ночь напролет размышлял о войне; незадолго же до рассвета он подошел к окну, откуда открывался вид на восточную часть города и лежащие за ним равнины Алатты, дальше которых начинался Истан. Продолжая размышлять, он смотрел, как над лугами, где паслись овцы, и над маленькими домами поднимаются высокие прямые столбы дыма. Немного позднее, когда взошло солнце, поровну делившее свой свет между Алаттой и Истаном, между деревенскими домиками началась утренняя суета, хрипло заорали петухи, и люди вышли в поля к блеющим овцам, и тогда король задумался: неужто живущие в Истане люди ведут себя по-другому. Спешившие на работы мужчины и женщины встречались друг с другом, и вот на полях и улицах зазвучал их смех, а взгляд короля все стремился вдаль, в сторону Истана, и дым поднимался над крошечными домами все так же прямо и высоко. Солнце, что освещало своими лучами Алатту и Истан, карабкалось все выше, заставляя цветы широко раскрывать свои чашечки, птиц – петь, а мужчин и женщин – разговаривать. На рыночных площадях пробудились караваны, что должны были отправиться с товарами в Истан, а в Зун вступили верблюды из Истана, увешанные позвякивающими колокольчиками. И все это видел глубоко задумавшийся король, которому никогда прежде не приходилось ни о чем размышлять.

А на западе хмурились издалека горы Эгнид, охранявшие реку Эйдис; за этими горами обитали в своей унылой стране суровые жители Зинара.



Как-то раз, путешествуя за границу, король, проезжавший через все свое новое королевство, остановился возле Храма богов Старины. И он увидел, что крыша его разрушена, что мраморные колонны повывкрошились и упали, что сорные травы сомкнулись над опустевшим алтарем, и что боги Старины, лишившись приношений и поклонения, покинуты и забыты. Тогда король спросил у своих советников, кто разрушил этот храм и сделал так, что даже сами боги оказались заброшены. И советники ответили ему:

– Это сделало Время.

Потом король встретил человека. Был он сторблен и дряхл, а его изборожденное глубокими морщинами лицо выглядело смертельно усталым, и он, никогда не видевший ничего подобного при дворе своего отца, спросил:

– Кто сотворил с тобой такое?

И старый человек ответил ему:

– Безжалостное Время сделало это.

И молодой владыка со своими советниками поехал дальше, но следующими, кого они повстречали, была толпа людей, которые несли на плечах гроб. И тогда король, которого эта смерть глубоко озаботила, ибо прежде ему не доводилось сталкиваться с подобными вещами, снова обратился к своим министрам и визирям. И старейший из них сказал ему так:

– Смерть, о король, это дар, который боги посылают нам со своим слугой, имя которому – Время. Некоторые люди приветствуют сей дар радостно, некоторым приходится насильно его навязывать, а на третьих он неожиданно сваливается белым днем. И с этим даром, который Время доставило ему от самих богов, человек отправляется вперед, во тьму, и не владеет больше ничем до тех пор, пока боги не пожелают противного.

Но король возвратился обратно во дворец и, призвав величайших из пророков и всех мудрецов, начал подробно расспрашивать их о Времени. И они рассказали ему, что Время – это огромный великан, который маячит в сумерках, подобно высокой тени, или шагает, невидимый, по всему миру, и что хотя Время – раб богов и исполняет все их приказы, оно всегда само выбирает себе нового



господина, когда все его прежние хозяева мертвы, а их алтари — забыты. А потом один из мудрецов сказал:

— Однажды я видел Время. Это случилось, когда я отправился поиграть в саду моего детства, куда позвали меня воспоминания. День клонился к закату, свет был не ярок, и я увидел, как Время встает над маленькою калиткой, бледное, словно надвигающиеся сумерки. Оно встало между мной и этим садом и лишило меня всех воспоминаний о нем, ибо Время было сильнее меня.

Тут заговорил и другой мудрец:

— Я тоже повстречал этого Врага дома моего. Я называю его так, ибо узрел Время, когда оно шагало через поля, которые я очень хорошо знал, держа за руку незнакомца, дабы поселить его в моем доме — в том самом, где обитали мои отцы и отцы моих отцов. Потом Время трижды обошло вокруг моего дома, и наклонилось, и забрало яркие краски с лугов, и отрясло высокие маки, что цвели в саду, и, обходя все памятные уголки, засеяло свой путь сорными травами и бурьяном.

И еще один мудрец сказал:

— Однажды Время отправилось в пустыню и, позволив жизни оживить те заброшенные места, заставило их горько плакать, а затем снова укрыло их песками.

Четвертый мудрец тоже вставил свое слово:

— Я тоже как-то раз видел, как Время оборвало все лепестки с цветов в палисаднике, где играл ребенок, а потом пошло прочь через леса и, останавливаясь на ходу, собирало один за другим листья с ветвей.

А последний из мудрецов изрек:

— И я видел Время: высокое и черное, оно стояло посреди руин храма в древнем королевстве Амарна, верша свои дела под покровом ночи, и на лице его было такое выражение, какое бывает у убийцы, когда он укрывает что-то пылью и травой. С той ночи жители этого древнего королевства лишились своего бога, на развалинах алтаря которого я заметил таившееся во мраке Время, и никогда этого бога не видели больше в Амарне.



И пока король держал совет с мудрецами, с далекой городской окраины доносился гул — то были три армии, которые требовали, чтобы их вели на Зинар. Тогда король сошел к своему войску и, обращаясь к военачальникам, сказал:

— Я не стану облачаться в одежды убийства и так воцаряться над другими странами. Я видел, как утро, встающее над Истаном, обрадовало и Алатту, и слышал, как на цветы снизошли мир и благодать. Я не хочу разорять очаги и править краем сирот и равнинами вдов. Но я поведу вас в бой против заклятого врага Алатты, который грозит разрушить башни Зуна и способен даже низвергнуть наших богов. Это враг и Циндары, и Истана, и укрепленного Яна; ни Гебитх, ни Эбнон не одолеют его, и даже далекая Карида не может чувствовать себя в безопасности в своих уединенных горах. Этот враг могущественнее Зинара, а границы его неприступней, чем река Эйдис; со злобой глядит он на всех людей, высмеивает их богов и алчет разрушить их города. Поэтому мы пойдем вперед, разобьем Время и спасем богов Алатты от его жадных рук, а вернувшись с победой, увидим, что Смерть исчезла, что старость и болезни оставили нас, и тогда все мы станем жить вечно под золотыми карнизами Зуна, и пчелы будут виться и гудеть между не тронутыми ржавчиной крышами и неосыпающимися башнями. Не должно быть больше ни увядания, ни забвения, ни медленного угасания жизни, ни сожалений, лишь только мы победим Время и спасем всех людей и удивительные поля земли от его неумолимой власти!

И войска поклялись последовать за королем, чтобы спасти мир и богов.

На следующий день король во главе трех своих армий отправился в путь; они преодолели множество рек и пересекли много стран, и куда бы они ни пришли — повсюду выспрашивали они о Времени. В первый же день им попалась на пути женщина с лицом, густо покрытым морщинами, и она рассказала, что когда-то была молода и прекрасна, но злое Время прочертило по ее лицу глубокие борозды пятью своими когтями.

Немало стариков повстречали они, пока разыскивали Время. Все они когда-то видели его, но никто из них не мог рассказать боль-



шего; лишь некоторые говорили, что Время, дескать, пошло вот этой дорогой, и указывали кто на разрушенную башню, кто на высохшее, сломанное дерево.

Так, день за днем и месяц за месяцем, шел король со своим войском вперед, не теряя надежды наконец-то повстречаться со Временем. Иногда его армии намеренно останавливались на ночлег возле прекрасных сверкающих дворцов или садов, полных цветами, уповая застать своего врага, когда тот явится под покровом темноты, чтобы творить свои бесчинства. Порой натывались они на клочья седой паутины, а порой – на ржавые цепи или дома с проломленными крышами и обвалившимися стенами, и тогда три армии начинали пагать быстрее, думая, что напали на след Времени и теперь настигают его.

Одна за другой пролетали недели и складывались в месяцы; постоянно войско слышало все новые и новые слухи и истории о Времени, но так и не отыскало его, и стало уставать от великого перехода, однако король продолжал вести свои армии все дальше и дальше и не соглашался повернуть назад, всякий раз говоря, что враг уже где-то совсем близко.

Месяц за месяцем вел король свои армии, которые шли теперь неохотно, и наконец, когда прошел без малого год, войско достигло поселка под названием Астарма, расположенного далеко-далеко в северных краях. Здесь многие усталые солдаты покинули королевские армии и обосновались в Астарме, женившись на местных девушках. Именно благодаря этим солдатам мы можем подробно занести в летописи тот путь, который проделали королевские войска почти за целый год, до того как пришли в Астарму.

Но очень скоро поредевшие армии оставили поселок, и дети приветствовали воинов, шагающих по дороге, и через пять миль войска перевалили через гребень горы и исчезли из вида. О том, что случилось с ними потом, известно гораздо меньше, и оставшаяся часть этой хроники собрана из сказок и историй, которые ветераны этой армии любили рассказывать по вечерам, сидя у очага, и которые запомнили жители Зинара.



В наши дни считается самым вероятным, что королевские армии, прошедшие маршем через Астарму, в конце концов (хотя сколько времени спустя – неизвестно) перешли через гребень, севернее которого зеленеющая земля шла под уклон. Дальше начинались зеленые поля, за которыми стонало и волновалось море, и в этом море, насколько хватало глаз, не было видно ни островов, ни берегов. Среди этих зеленых полей раскинулась деревня, на которую и устремились взгляды короля и его спускавшихся вниз по склону армий.

Деревня лежала много ниже гребня, и на ее унылом челе – на прогнувшихся под тяжестью лет потускневших щипцах старомодных крыш и покосившихся дымоходах – лежала приглушенная печать древности. Кровля домов была сложена из старых черепиц, покрытых толстым слоем мха, каждое маленькое окошко глядело множеством непривычной формы стекол на запущенные сады причудливой архитектуры, заполоненные сорняками, а на ржавых петлях вращались скрипучие двери, набранные из древних дубовых филёнок, в глазках которых зияли почерневшие сучки. Напротив домов качался высокий чертополох, вокруг них вился по стенам густой плющ и кланялись травы, но из накренившихся труб поднимались высокие прямые столбы голубоватого дыма. Между огромными бульжниками нехоженой мостовой выглядывали стебельки трав, а сады отделяли от мощеной улицы колючие живые изгороди – такие высокие, что за них не мог бы заглянуть и всадник – и по этим неприступным стенам карабкались любопытные вьюнки, которым только и удавалось заглянуть во двор с наружной стороны. Впрочем, перед каждым домом в изгороди был выстрижен проход, загороженный легкой калиточкой из зеленого от плесени и мха дерева, до необычайной легкости источенного течением лет и дождями. И над всем этим витали задумчивая старость и мертвая тишина давно заброшенных и забытых мест.

Король и его армии долго смотрели на этот островок древности, который годы извергли из пучины веков. Потом владыка остановил свое войско на склоне холма, а сам спустился в деревню в сопровождении одного из своих военачальников.

И тут в одном из домов что-то зашевелилось; затрещал древний камень, две половинки которого продолжал удерживать вместе толстый слой мха; из дверей вылетел нетопырь, три серые мышки торопливо сбегали вниз по ступеням, а следом за ними, опираясь на клюку, показался, наконец, ветхий старец, длинная белая борода которого достигала пола, а одежда засалилась и блестела от долгой носки. Тут и из других домов медленно вышли такие же дряхлые старики, сгибающиеся чуть не до земли и опирающиеся на палки, и король спросил у этих людей – самых старых, каких он когда-либо видел – как называется эта деревня и кто они такие. И один из старцев ответил ему:

– Деревня называется Городом Древних, и лежит она в Стране Времени.

– Значит, здесь живет Время?! – воскликнул король.

И тогда один из старцев указал на огромный замок, стоящий на крутой горе, и проговорил:

– Вон там обитает Время, а мы – его подданные.

И все они с любопытством поглядели на Карнитха Дзо, и старейший из жителей Города Древних снова повел свою речь:

– Что привело тебя, такого молодого, в наши места?

И Карнитх Дзо рассказал, как он решил победить Время, чтобы спасти от него весь мир и богов, а потом спросил, как получилось, что они сами попали сюда. И жители деревни ответили ему:

– Мы старше, чем кто бы то ни было, и не помним, как и когда сюда попали; но мы – подданные Времени, и знаем, что именно отсюда, от Последнего Края, оно посылает свои часы и минуты завоевывать мир. Тебе никогда не победить Время.

Но король вернулся к своим армиям и, указав им на замок на скале, сказал, что наконец-то они нашли Врага Всея Земли, а те, кто был старше, чем кто бы то ни было, медленно скрылись за скрипящими дверьми своих древних хижин.

А армии поспешили вперед, пересекли поля и прошли через деревню, и Время наблюдало с одной из своих башен, как войска смыкают боевые порядки и идут на приступ по крутому склону горы,



однако оно по-прежнему ничего не предпринимало, и только смотрело на них.

Но как только ступни передних в шеренге коснулись подножья горы, Время швырнуло в них пять лет сразу, и эти годы пронесли над головами воинов, но армия — армия постаревших солдат — все шла вперед. Вот только чуть круче начал казаться королю и каждому в его войске склон, да и дышали они с большим трудом. А Время призывало еще несколько лет, и один за другим обрушило эти годы на Карнитха Дзо и на каждого из его людей. И колени у воинов перестали сгибаться так легко, как прежде, и отросли у них бороды и подернулись сединой, и власы на их головах становились все белее и белее, по мере того как дни и часы с шелестом проносились над ними, а годы торопились вперед и уносили прочь молодость; так продолжалось до тех пор, пока под самыми стенами замка Времени не столкнулись они с целой ордой воющих лет и не обнаружили вдруг, что здесь, на самом наверху, склон стал слишком крутым для пожилых мужчин. И тогда король отдал приказ, и армия стариков, преследуемых лихорадкой и ревматизмом, неловко и с трудом отступила по круче вниз.

Медленно вел король назад своих воинов, над чьими головами с песнями триумфа и победным свистом проносились месяцы. Годы сменяли друг друга, а они все шли на юг, шли по дороге на Зун; так, с ржавчиной на копьях и с сединой в развевающихся бородах, армия вернулась в Астарму, но там их никто не узнал. То же повторилось и в бесчисленных селениях и городах, в которых они уже побывали однажды, пытливо выпрашивая о том, где отыскать своего врага. Когда же они подходили к дворцам и садам, где когда-то поджидали Время в засаде, то обнаруживали, что оно уже посетило их.

И неизменно их вела за собой надежда, что в конце концов они вернутся в Зун и снова увидят его золотые карнизы, но ни один из воинов не догадывался, что мрачная фигура Времени незримо, тайно следует за ними, одного за другим нагоняя отставших и погребая их под горами часов; вот только с каждым днем воинство недосчитывалось нескольких солдат, да все меньше и меньше оставалось ветеранов в армии Карнитха Дзо.



И все же после многих и многих месяцев пути, в конце ночного перехода перед самым наступлением утра, рассвет вдруг засиял на карнизах Зуна, и громкий крик прокатился по рядам армии:

— Алатта! Алатта!

И лишь подойдя ближе, воины увидели, что ворота заржавели, что высокая трава проросла вдоль внешних городских стен, что многие крыши провалились, а щипцы прогнулись и почернели, и что золотые карнизы сияют совсем не так, как бывало прежде. Вступив же в город, солдаты, надеявшиеся увидеть своих сестер и любимых постаревшими на несколько лет, прошедших со дня разлуки, увидели лишь морщинистых дряхлых женщин, среди которых не узнали никого.

Внезапно кто-то сказал:

— Оно побывало и здесь...

И солдаты поняли, что пока они разыскивали Время, оно напало на их город, осадило его множеством лет и, наконец, пока сами они скитались в далеких краях, захватило Зун и поработило их жен и детей, согнув их ярмом старости. Тогда все воины, что остались от воинства Карнитха Дзо, обосновались в завоеванном Временем городе, а вскоре орды Зинара перешли через реку Эйдис и без труда одолели армию стариков. Они захватили Алатту, и с тех пор их короли правили в Зуне. Порой зинарцы слышали удивительные истории, которые рассказывали самые старые из жителей Алатты о тех годах, когда они бились против самого Времени; некоторые из легенд, которые они запомнили, зинарцы передали дальше и донесли до нашего времени; и это, пожалуй, все, что может быть рассказано о безрассудных и отважных армиях, которые отправились на войну со Временем, чтобы спасти мир и богов, но были побеждены течением часов и лет.



МИЛОСТЬ САРНИДАКА



ромоногий мальчик по имени Сарнидак пас овец на холмах к югу от города. В городе его вечно осыпали насмешками, ибо был он недоростком, и даже женщины говорили о нем так:

– Как смешно, что Сарнидак уродился карликом! – И показывали на него пальцем.

Или:

– Это Сарнидак-лилипут; мало того, что он уродец, так он еще и колченог!

Но однажды на рассвете врата всех на Земле храмов широко распахнулись, и Сарнидак, сидя со своими овцами на вершине холма, увидел, как по белой дороге идут на юг странные фигуры. Все утро напролет он смотрел на клубы пыли, поднимавшиеся над удивительной процессией, которая, никуда не сворачивая, двигалась в южном направлении – туда, где высились Найдунские холмы и где белесая пыльная дорога пропадала из вида.

Хоть и сутулились эти странные фигуры, выглядели они выше обычных людей; Сарнидаку же все люди казались очень большими, да и пыль мешала ему как следует разглядеть, кто это идет по дороге. Тогда Сарнидак закричал им, как окликал он всех путников, что проходили мимо него по длинной белой дороге, но ни один не посмотрел ни влево, ни вправо, и никто не повернулся, чтобы ответить Сарнидаку. Но и это не было удивительно, ибо мало кто отвечал ему – маленькому хромому карлику.

Неясные фигуры все шли и шли мимо, шли торопливым и быстрым шагом, слегка наклоняясь вперед, словно вглядываясь сквозь пыль, и в конце концов Сарнидак бегом спустился со своего холма, чтобы рассмотреть незнакомцев вблизи, однако когда он достиг обочины пыльной дороги, последний из путников уже миновал его, и тогда Сарнидак, прихрамывая, побежал за ними.

Надо сказать, что Сарнидак изрядно устал от того, что все в городе насмехались над ним и дразнили его, и потому, увидев торопящихся вдаль странных прохожих, подумал, что они, наверное,



спешат в какой-нибудь другой скрытый за холмами город – такой, где солнце светит ярче; где всегда много еды (ибо Сарнидак был беден), да к тому же он надеялся, что тамошние жители, быть может, не станут смеяться над ним. И вереница странных фигур, которые, даже согнувшись, выглядели выше людей, продолжала быстро двигаться на юг, а за ней торопливо ковылял хромоногий карлик.

Город Хамазан, который ныне именуется Градом Последнего Храма, расположен как раз к югу от цепи Найдунских холмов. А вот история, рассказанная Помпеидесом, который стал главным проповедником единственного в мире храма и величайшим пророком из всех, что когда-либо были.

– Высоко над Хамазаном на склонах Найдунских холмов сидел я, когда в свете утра вдруг узрел множество странных фигур, которые шагали сквозь облака пыли прямо по дороге, из края в край пересекающей наш мир. Поднявшись по склону, они приблизились ко мне своей нечеловеческой походкой, и вскоре первый из них достиг вершины холма, где дорога переваливает через его гребень и снова спускается вниз, в долину, в сердце которой лежит Хамазан. И тут, – я готов поклясться всеми покинувшими нас богами, – все и случилось, случилось именно так, как я собираюсь поведать, и сомневаться в этом нет никаких оснований. Когда фигуры, которые широким шагом поднимались на холм, достигли самой его верхушки, они не пошли по дороге, которая ведет вниз, попирая ступнями пыль, что покрывает ее, но продолжали идти как прежде, все выше и выше, словно подъем не закончился и дорога не нырнула в долину; и шаг их оставался размеренным и быстрым, будто под ногами их оставалась неподатливая твердь, хоть и поднимались они прямо по воздуху.

Это были боги, ибо не могли быть смертными Они, уходившие в тот день с Земли столь странным образом.

Когда же я увидел это, первые трое уже отделились от вершины холма, и тогда я закричал тому, кто шел четвертым:

– О, боги моего детства, хранители утлых домашних очагов! Куда уходите вы, оставляя нашу маленькую круглую Землю в одиночестве плыть сквозь безбрежную пустыню небес?



И один из них ответил мне:

— Ересь опалает весь мир своим страшным пламенем, тускнеет вера людская — и боги уходят. Ветер и плющ встретятся в пустых алтарях в храмах старых богов, и тогда человек создаст божества из железа и стали.

И тогда я оставил свое место на вершине холма, словно человек, который на пороге ночи покидает свет костра и, идучи вниз по белой дороге, по которой спеша поднимались мне навстречу боги, умолял каждого из тех, кто проходил мимо меня, последовать за мной; так, плача, достиг я городских ворот. Здесь я остановился и воззвал к людям, что собрались там:

— С вершины вон того холма боги покидают Землю!

Так мне удалось собрать многих, и вместе побежали мы к вершине холма, чтобы умолить богов задержаться, и там мы прокричали последним из уходивших:

— О, боги, издревле предсказанные, владыки людской надежды! Не покидайте Землю, и наши молебны зазвучат в ушах Ваших, как никогда прежде, а алтари снова огласятся криками жертвенных животных.

А я сказал:

— Боги тихих вечеров и молчаливых ночей, не уходите с Земли и не покидайте Ваших резных святилищ, и тогда все люди станут поклоняться Вам, как бывало раньше. Смилуйтесь, ибо дорогу между нами и этими голубыми пространствами стерегут свирепые громы и бури. Там таятся в засаде мрачные затмения, там всегда наготове свирепые бураны, холодный град и обжигающие молнии, которые в течение сотен тысяч лет будут обрушиваться на нашу Землю. О, боги нашей надежды! Как преодолеть сии страшные пространства людским молитвам, как им не затеряться среди громов и штормов и добраться до того удивительного места, куда чрез голубую равнину небес торопятся уходящие боги?

Но боги все шли вперед и, попирая ногами воздух, не глядели ни налево, ни направо, ни даже вниз, и никто из них не внял моим мольбам.

И тогда один из тех, кого я привел с собой, вскричал, в надежде задержать богов, которых оставалось уже так мало:

— О, боги! Не лишайте Землю задумчивой тишины, что окружает все ваши храмы; не отнимайте у мира его романтического очарования; не похищайте ни волшебства лунного света, ни таинственного молчания, что купается в плывущих над долинами белесых туманах, ибо, покинув Землю, вам, о боги младенческих лет мира, придется забрать с собой все его тайны морские, и всю притягательную красу его седой древности, лишив далекое и неясное будущее всякой надежды. Не будет больше городов, которые по ночам становятся удивительными и незнакомыми, понятными лишь наполовину; не станет больше сумеречных напевов, и все чудеса умрут вместе с прошлогодними цветами, что росли в маленьких садах на южных склонах холмов. Вместе с богами уйдет с Земли колдовское очарование долин и магия дремучих лесов, и даже тишине раннего рассветного часа будет недоставать самого главного, ибо навряд ли возможно богам покинуть Землю, не забрав всего, что они когда-то ей дали. Там, за безмятежными голубыми далями, вы и сами будете нуждаться и в священной красоте заката, и во всех маленьких драгоценных воспоминаниях, и в захватывающем волнении и восторге, которое неизменно рождают сказки, много лет назад слышанные у очага. Одна музыкальная фраза, одна песня, одна поэтическая строчка и один поцелуй или воспоминание о заросшем тростником озере — это лучшее, что у нас есть, и все это боги должны забрать, уходя, и вернуть тому, кому это принадлежит.

Так восплачьте же, жители Хамазана, восплачьте по всем чадам земным у ног уходящих богов! Скорбите по детям Земли, которым придется отныне нести свои молитвы к пустым алтарям и отыскивать вокруг них свое успокоение!

Но вот наши молитвы затихли, и слезы иссякли, и мы заметили, что последний, самый маленький из богов, замешкался на вершине холма. Дважды он обращался к ним, ушедшим, с протяжным криком, несколько похожим на тот, каким наши пастухи сзывают свои стада, и долго потом глядел им вслед, пока, наконец, не отвратил от них свой взор, и, решив задержаться на Земле, не удостоил людей взглядом. И тогда все люди, что собрались на холме, громко закричали от радости, ибо увидели мы, что надежды наши спасены, и что на Земле все еще есть прибежище для наших молитв. Меньше чело-



веческого роста казались теперь поднимающиеся все выше фигуры, шагавшие друг за дружкой над нашими головами и выглядевшие такими большими. Зато пожалевший Землю маленький бог спустился вместе с нами по той же белой дороге, и было заметно, что походка его совсем не такая как у людей; и вместе с нами он вошел в Хамазан. Здесь мы поселили его в царском дворце, ибо тогда храм из золота еще не был построен, и сам царь принес жертву смиловившемуся над миром, и маленький бог вкусил мяса этой жертвы.

Божественная Книга Знания из Хамазана рассказывает, как маленький бог, который в последний миг сжалился над Землею, поведал своим пророкам, что его имя Сарнидак, и что он пасет овец; потому теперь его называют богом пастухов и трижды в день приносят ему на алтарь тонкорунную овцу. Север, Восток, Запад и Юг считаются ныне пределами пастбища Сарнидака, а белые облака — его овцами. И еще божественная Книга Знания учит, что день, когда Помпеидес заметил богов, должен теперь вовек считаться постным и носить название Поста Исхода, и лишь вечером пост заканчивается и начинается праздник, который именуется Пиршеством Милости, ибо именно в это время Сарнидак смиловился и остался на Земле.

И все жители Хамазана молились Сарнидаку и продолжали лелеять свои мечты и возвращать свои надежды, потому что храм в их городе не был необитаем. Были ли ушедшие боги могущественнее Сарнидака — никто в городе не знает, но некоторые верят, что они зажигают огни в своих голубых окнах, чтобы, пробиваясь вверх, заблудившиеся молитвы смогли, подобно летящим на пламя свечи мотылькам, отыскать свой путь и обрести, наконец, пристанище и свет за неподвижностью и покоем вечерних сумерек, выше которых восседают боги.

А Сарнидак дивился на странные фигуры богов, дивился на жителей Хамазана, на роскошь царского дворца и на обычаи проповедников, однако чему бы то ни было в Хамазане он удивлялся едва ли больше, чем в том городе, который когда-то оставил, ибо Сарнидак, не понимавший, почему раньше никто никогда не был к нему добр, считал, что он, наконец-то, попал в тот благословенный край, надежду найти который подали ему боги — край, где люди не будут жестоки к маленькому хрому карлику.

ШУТКА БОГОВ

Божелали некогда старшие боги позабавиться. И сотворили они душу царя, и вложили в нее помыслы, коих ни один из царей не дерзал иметь, и жажду чужих земель, коей никто из царей не дерзал иметь.

И еще вложили боги в ту душу силу превыше сил других царей, и страсть властвовать, и гордыню. А потом боги послали ее на восток и вселили в тело раба, чтобы жила она на полях земли.

И рос тот раб, и пробуждались в его сердце гордыня и жажда властвовать, но на руках его были оковы. И в обиталище богов на Полях Сумерек предвкушали веселье.

Но раб вышел к берегу великого моря, сбросил плоть свою вместе с оковами, достиг Полей Сумерек, предстал перед богами и посмотрел в их лица. Такого боги, задумав позабавиться, не предвидели. Жажда власти разгорелась в царской душе со всей гордой силой, которую вложили в нее боги. И человек оказался слишком силен. Он, чья плоть испытала плети надсмотрщиков, не пожелал терпеть владычества богов и, представ перед ними, повелел им уйти. Гневом ответили на то Старшие боги, ибо никто еще не дерзал повелевать им, но душа царя оставалась невозмутимой, и гнев богов улегся, и отвели они глаза свои. Опустели божественные тропы и оголились Поля Сумерек; далеко ушли боги. А душа избрала себе иных спутников.

СНЫ ПРОРОКА

I

Когда боги повелевали мне трудиться, насылали на меня жажду и изнуряли голодом, я слал им свои молитвы. Когда боги уничтожали города, в которых я жил, когда опалял меня их божественный гнев, я восхвалял их и приносил им жертвы. Но когда вернулся я в мою зеленую долину и увидел, что все сгинуло, что нет



более старинного пристанища, где играл я ребенком, ибо боги уничтожили даже самый прах и не оставили паутины в углах, проклял я богов и сказал так:

— Боги молитв моих! Боги, которым приносил я свои жертвы! Вы покинули святые места моего детства, и не стало их больше, а потому я не могу вас простить. Коли содеяли вы такое, остынут ваши алтари, и не изведаете вы ни моего страха, ни моей хвалы. Не устрашат более меня ваши громы и молнии, и не испугаюсь я, ежели вы отвернетесь от меня.

Так стоял я, глядя в сторону моря, и слал проклятья богам, когда подошел ко мне некто, одетый так, как одеваются поэты, и молвил:

— Не проклинай богов.

На что я ответил ему:

— Отчего бы не проклинать мне тех, кто, как вор в ночи, лишил меня самого святого и осквернил сад детства моего?

Тогда сказал он:

— Пойдем, взгляни, что я покажу тебе.

И я последовал за ним туда, где стояли два верблюда, устремившихся глазами в пустыню. Усевшись на них, мы отправились в далекий путь. Ни слова не проронил мой спутник, пока не достигли мы наконец широкой долины, укрытой в сердце пустыни. И там я увидел белые, будто залитые лунным светом кости, выступавшие из песка и громоздившиеся выше песчаных дюн. Повсюду лежали огромные скелеты, похожие на беломраморные купола дворцов, строившихся согнанными со всех краев рабами для деспотов-царей.

Там же виднелись кости рук и ног, уже наполовину утонувшие в зыбучих песках. И когда смотрел я в изумлении на эти останки, поэт сказал мне:

— Боги мертвы.

А я после долгого молчания ответил:

— Эти мертвые пальцы, белые и неподвижные, некогда оборвали цветы в садах моей юности.

Но мой спутник возразил мне:

— Я привел тебя сюда, чтобы испросить прощение богам, ибо я, поэт, знался с богами и должно мне ныне развеять проклятья, что



витают над их останками, и принести им людское прощение как последнюю жертву, покуда не покрылись они мхом и плеবেлами и не сокрылись навсегда от солнечного света.

И сказал я:

– Это они сотворили Тоску – покрытую серой шерстью суку с когтистыми лапами; и Боль с жаркими ладонями и шаркающими ступнями; и Страх с его крысиной ледяной хваткой, и Ужас с горящими очами и стрекозиным шелестом крыльев. Нет моего прощения этим богам.

Но поэт опять возразил мне:

– Можно ли питать ненависть к этим красивым белым костям?

И долго смотрел я на причудливо изогнутые прекрасные кости, которые не могли более причинить зла даже самой ничтожной из тварей своих. И долго думал я о том зле, которое они совершили, но также и о благе. И когда вспомнил о руках, трудившихся над созданием цветка примулы, что сорвет дитя, я простил богов.

И тогда ласковый дождь пролился с небес, и зыбучие пески улеглись и поднялся нежный зеленый мох, превративший кости в причудливые холмы, и я услышал крик и проснулся, поняв, что спал, выглянул из окна и увидел, как молния поразила ребенка. Тогда мне стало ясно, что боги еще живы.

II



заснул в долине Алдерон, в маковых полях богов, куда они являются ночами, пока луна стоит еще низко, на совет. И открылась мне тайна.

Судьба и Случай сыграли свою игру, и все сгинуло: все надежды, и слезы, сожаления, желания и печали, все, о чем плачут люди, и все, о чем даже не вспоминают, все царства и сады, и море, и миры, и луны, и солнца; а что осталось, было ничем, без цвета и без звука.

И тогда Судьба сказала Случаю:

– Давай-ка сыграем в нашу игру старинную сызнова.

И они сыграли опять, и вновь фигурами у них были цари, как и прежде. И вот опять стало то, что уже было, и на том же берегу,



в той же земле внезапный луч солнца тем же весенним днем разбудит тот же желтый нарцисс, и то же дитя сорвет его, и никто не пожалеет о миллиардах лет, что пролегли между тем днем и этим. И опять можно будет увидеть те же лица старцев, еще не избавившихся от тяготеющих над ними забот. А ты да я снова встретимся в саду однажды летом, после полудня, когда солнце на полпути от зенита к кромке моря, тем же, где мы встретились прежде. Потому что Судьба и Случай играют лишь в одну игру, и ходы в ней все те же, и играют они раз за разом, чтобы проводить вечность.

Часть II

СТРАНСТВИЕ ЦАРЯ

I



днажды царь обратился к женщинам, что плясали для него, и повелел: «Не надо больше танцев», и тех, что подносили вино в украшенных драгоценными камнями кубках, отослал прочь. Во дворце царя Эбалона умолкли звуки песен, а на улицах раздались голоса глашатаев, созывавших со всего края пророков.

Плясуньи же, виночерпии и певцы разошлись по городу. Были среди них Трепещущий Лист, Серебряный Ручей и Летняя Молния — танцовщицы, чьим стопам боги предначертали не хождение по каменистым тропам, а услаждение взоров принцев. Шла с ними и певунья Душа Юга, и другая, сладкоголосая Мечта Моря, чьим даром пленялся тонкий слух царей. И почтенный Истан, виночерпий, оставил труд своей жизни во дворце, чтобы пойти вместе с прочими, он, стоявший за плечом трех царей Зарканду, следя, как старинное вино наполняет их мужеством и весельем, точно воды Тондариса, питающие зеленые долины юга. Невозмутимо стоял он, глядя на забавы царей, но сердце его согревалось огнем их радости. Теперь же он вместе с певцами и плясуньями шел во тьме.

А тем временем гонцы по всей стране искали пророков. И вот к ночи во дворец Эбалона привели всех, кто славился мудростью



и писал истории будущих времен. И молвил он такие слова: «Царь отправляется в странствие, много коней будет сопровождать его, но он не сядет ни на одного из них. Стук копыт да услышат на улицах, и звук лютни, и дробь барабана, и имя царя. А я посмотрю, что за правители и что за народ встретят меня в тех землях, куда я прибуду».

И царь повелел замолчать пророкам, которые зашептали: «Превыше всего мудрость царя».

А потом он сказал так: «Ответствуй первым, Саман, верховный жрец Золотого храма Азинорна, не оставишь ли ты истории будущих времен и не обрессишь ли десницу свою летописью ничтожных событий проходящих дней, как поступают простодушные?»

И ответствовал Саман:

— Превыше всего мудрость царя. Когда шум царского шествия услышат на улицах, и медленные кони, на которых не воссядет царь, последуют за лютнистами и барабанщиками, тогда, как ведомо царю, приблизится он к великому белому дому царей и, ступив на крыльцо, куда никто другой не смеет взойти, в одиночестве поклонится всем бывшим царям Зарканду, что, сжимая скипетры костлявыми пальцами, покоятся на золотых тронах. Оттуда в царских одеждах и со скипетром проследует он на мраморное крыльцо; но должен снять он свой блистающий венец, дабы несли его за ним вслед, покуда не достигнет белого дворца, где восседают на золотых престолах тридцать царей. Только один вход ведет в тот дворец, и двери его широко распахнуты, а мраморные своды ожидают, чтобы под ними прошествовал ты, о царь. Но когда пройдешь ты это крыльцо и воздашь должное тридцати царям, увидишь еще одну дверь, чрез которую может проникнуть лишь душа царя, и, оставив прах свой на золотом троне, невидимым покинешь ты белый дворец, чтобы ступить на бархатные луга, что лежат по ту сторону миров. Тогда, о царь, надобно идти спешно и держаться жилищ людей, как делают души тех, кто оплакивает свою внезапную смерть, пославшую их в это странствие раньше урочного часа, или тех, кто не желает еще пуститься в него, укрываясь ночами по темным углам. С зарей отправляются они в назначенный путь и проводят в дороге весь день, но манит их земля и, не желая расставаться с привычным наваждением, возвращаются они в



сумерки сквозь темнеющие леса в излюбленное свое жилище, и так вечно скитаются между мирами, не находя покоя.

Ты же должен немедленно пуститься в дорогу, ибо далека она и долга; но время на бархатных лугах – это время богов, и не нам судить, сколько длится один час по нашим земным меркам.

Наконец достигнешь ты серого дворца, напитанного туманом, со стоящими перед ним серыми алтарями, откуда поднимаются вверх крохотные язычки пламени затухающего огня, которому не под силу пробить завесу тумана. Огонь горит низко над полом, и потому туман темен и холоден. То алтари веры, а языки пламени – знаки поклонения людей, и по ним, сквозь туман боги Старины нащупывают путь в холоде и мраке. Там услышишь ты слабое стенанье: «Иньяни, Иньяни, повелитель грома, где сокрылся ты от глаз моих?» – И едва различимый голос донесется в ответ из серых глубин: «О творец многих миров, здесь я». Боги Старины почти глухи, ибо молитв человеческих становится все меньше числом. Они почти слепы, ибо уташают огни веры и не могут одолеть стужу. А за туманом стонут волны Моря Душ. Еще далее высятся неясные тени гор, и на вершине одной из них сияет серебряный свет, посылающий лучи в плачущие морские волны. И когда пламя на алтарях перед богами Старины умирает, свет на горе разгорается ярче, и лучи его достигают места, где клубится туман, но не могут проникнуть сквозь него, и тогда слепнут боги Старины. Говорят, будто огонь на горе станет некогда новым богом, не из сонма богов Старины.

По берегу, где стоят покрытые туманом алтари, сойдешь ты, о царь, к Морю Душ. В море этом пребывают души всех, кто когда-либо жил в мирах, и всех, кто еще будет жить, и все они свободны от оков плоти и праха земного. Все души в том море знают друг о друге больше, чем можно познать глазом или ухом, прикосновеньем и другим земным чувством, и говорят они между собой не губами, но голосами, которым не надобен звук. И льется над морем музыка, точно ветер шумит над океанским простором земли – то свободные от пут языка великие мысли путешествуют от души к душе, словно реки земные.

Снилось мне однажды, что в челне, сотканном из тумана, выплыла я в это море и услышал музыку, что была не от рук и губ людских, и голоса не от уст людских. Но пробудившись, узрел я себя на земле и понял, что лгали мне боги в ту ночь. Сюда в море стекаются с полей битв и из городов реки жизней, и прежде чем боги испьют из ониксовой чаши, необъятным потоком изольются в миры души их моря, и всякая обретает свою темницу — тело человека с пятью густо зарешеченными оконцами, каждое из которых забрано броней забвения.

Но пока еще разгорается огонь на вершине горы, и никто не в силах предсказать, что сделает с Морем Душ бог, которому суждено родиться из серебряного света, после того как опочиют боги Старины, — оно живет.

И сказал тогда царь:

— Так вот каково искусство твое, пророк богов Старины; ступай же и бди, дабы язычки пламени ярче пылали на алтарях в тумане, ибо боги Старины просты и добры, но кому ведомо, что станется с нашими душами, когда сойдет на берег, где забелеют кости богов Старины, бог света с горы?

И ответил Саман:

— Превыше всего мудрость царя.

II



огда царь призвал Ината, повелев ему сказать о странствии царя.

Инат был пророк храма Горанду у Восточных ворот. Оттуда возносил Инат свои молитвы ко всем, идущим мимо, ибо вдарут окажется среди них бог в обличье смертного. И люди, проходя Восточными воротами, радовались, что к ним обращаются молитвы Ината, словно они боги, и приносили ему свои дары.

И сказал Инат:

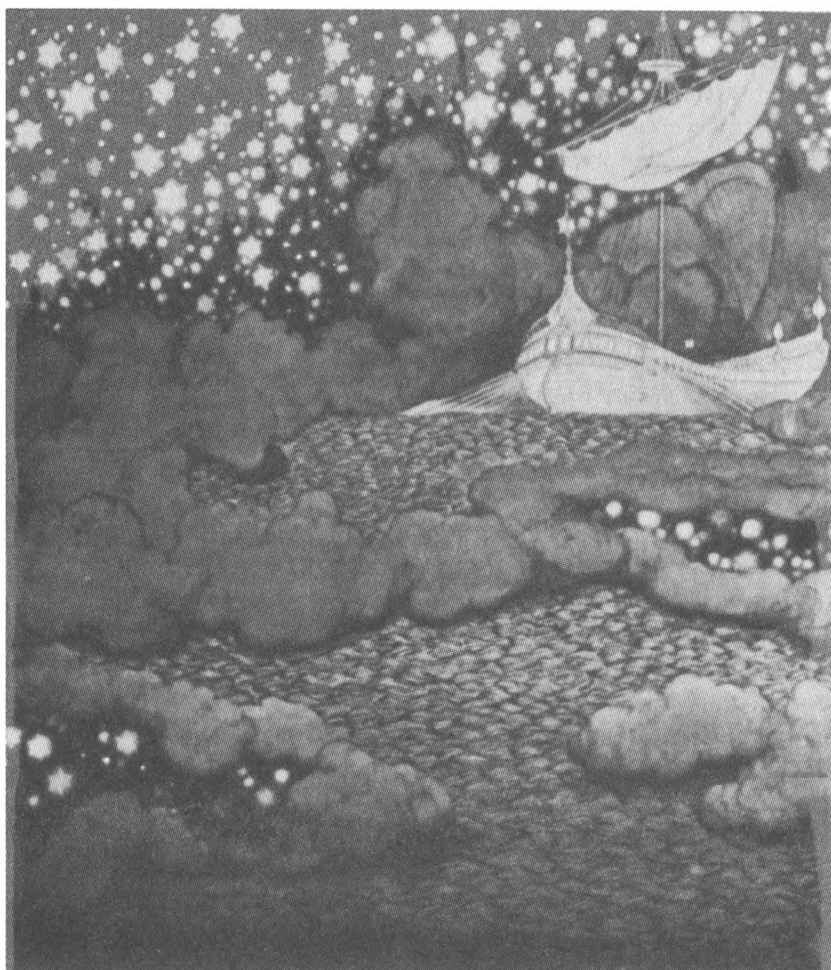
— Превыше всего мудрость царя. Когда чужеземный корабль бросит якорь в виду твоего дворца, ты покинешь свой ухоженный сад, и зарастет он дикой травой. Сев на корабль, поднимешь ты парус в сторону Моря Времени, и побежит он по волнам многих миров



все дальше и дальше. Ежели встретишь ты на пути другой корабль, и спросят тебя – откуда плывете? – ответствуй: с Земли. А ежели спросят – куда держите путь? – ответствуй: на край миров. А захочешь ты спросить их – откуда плывете? – ответят тебе: с края миров, который зовется и началом, а путь держим к Земле. И так будешь ты плыть, покуда, словно древняя печаль, смутно чувствуемая людьми в минуту счастья, не забрезжат в дали миры, подобно путеводной звезде, и прибьешься ты к берегу, где эоны, с грохотом накатываясь из Моря Времени на отмель, разбиваются на столетия и превращаются в пену лет. Там вдоль всего берега растет Главный сад богов. Песни, которых не поют нигде на земле, честные мысли, которых не услышишь в мирах, дивные видения, каких не увидишь более нигде, не находя приюта, проходят сквозь Время, пока, наконец, эоны не вынесут их на берег. В Главном саду богов цветет множество фантазий.

Однажды некие души играли на пути богов. На гребне волны Времени явилась мечта прекрасней всех, и одна из душ устремилась за ней и поймала ее. Тогда над видениями, историями и старинными песнопениями, что возлежали на берегу, молнией пронесли часы, века подхватили эту душу, а эоны унесли их подальше к земле, бросили во дворец и оставили наедине друг с другом. Ребенок вырос и стал царем, а мечта неотступно следовала за ним, вызывая удивление и смех. Тогда, о царь, бросил ты свою мечту обратно в море, и Время поглотило ее, а люди перестали смеяться, но ты не забыл, что есть такое море, которое бьется о далекий берег, где растет сад и обитают души. Но в конце своего странствия, когда ты опять ступишь на берег, надобно подойти тебе к воротам, ведущим в сад, и бывшее оживет перед тобой, ибо это место, где ход часов не властен над временем и ничто не меняется там. Ты войдешь в ворота и вновь услышишь тихий шепот душ и голоса поющих богов.

Там, как в былые времена, будешь ты беседовать с лучшими из душ, и поведаешь им, что случилось с тобой, как унес тебя прилив времени, как сделался ты царем, а душа твоя не нашла покоя. Там, в Главном саду, умиротворишься ты, глядя, как боги, окутанные облаками, шествуют по тропинкам грёз и песен, и не захочешь более спу-



Корабль Йохарнет-Лехея



скаться к неприветливому морю. Ибо то, что достойно любви, следует искать по ту сторону Времени, а прочее лишь дым и суета.

Превыше всего мудрость царя.

И молвил царь:

— Да, была некогда мечта, да время унесло ее прочь.

III



огда заговорил Монит, пророк храма Азура, что стоит на снежной вершине горы Амун, и молвил он такие речи:

— Превыше всего мудрость царя.

Некогда выехал ты верхом на коне в недалекий путь. Случилось идти пред тобой по той же дороге нищему по имени Иб. Не слышал он конского топота и, настигнув его, твой конь ударил его копытом.

В другой день, когда шествовал ты пешим, тот же нищий снова оказался на твоём пути, осторожно делая шаги по хрустальной лестнице к луне, будто взбираясь ночной темнотой по ступеням высокой башни. У края луны в тени горы Ангисес следовало ему немного отдохнуть и вновь идти дальше. Долгий путь предстояло ему пройти, прежде чем выпадет ему снова отдых у звезды, которую называют Левым Глазом Гундо. Оттуда перед Ибом проляжет новый путь по хрустальным ступеням, и некому будет вести его, кроме света Омразу. У края Омразу сможет он отдохнуть подольше, ибо труднейшая часть пути будет уже позади. А потом вновь ступит он на хрустальные ступени над Омразу, и не будет у него спутников, только с грохотом проносящиеся по небу метеоры; в этой части хрустальных небес множество метеоров прорезает мглу, путая тех, кто дерзнул сюда забрести. Но ежели проникнет взор странника сквозь сверканье метеоров, и не убоится он их грохота, то попадет к звезде Омрунд, что на краю Звездного Пути. А по этому Пути, странствуя от звезды к звезде, душа человеческая легко доберется туда, откуда дорога пойдет не прямо, а заберет вправо.

Тут прервал его царь Эбалон:

— Довольно рассказал ты нам о нищем, что угодил под копыто царского коня, но мы желаем услышать о том, какой путь избрать



царю в его последнем странствии, и каких людей, каких царственных особ надлежит повстречать ему на иных берегах.

И отвечивал Монит:

— Превыше всего мудрость царя.

Предначертано богами (а боги не оставляют праздных скрижалей), что надобно тебе следовать за душою, что отправилась в одинокое странствие по хрустальной лестнице, где не ступала прежде ничья нога.

Начав свой путь, нищий тот дерзнул проклясть царя, и проклятья его остались лежать красным туманом в долинах и впадинах, где он бросал их. Ключья красного тумана, о царь, станут вежами на твоём пути, и пойдешь ты по ним, подобно пловцу, рассекающему волны в ночной мгле, покуда не достигнешь земли, где благословит тебя нищий тот (избыв, наконец, свой гнев), и узришь ты его благословенье словно, золотым солнечным блеском освещающее поля и сады.

Тут молвил царь:

— Говорят, на снежной вершине горы Амун обитают недобрые боги.

А Монит ответил:

— Мне не ведом путь к берегу, о который хлещут приливы времени, но сказано, что прежде надлежит тебе последовать путем нищего за луной, Омрундом и Омразу, пока не войдешь на Звездный Путь, откуда возьмешь вправо и достигнешь Ингази. Долго сидела там душа нищего Иба, а потом, глубоко вздохнув, начала свой длинный путь на восток вниз по хрустальной лестнице. Идучи сквозь пространства, лишённые звезд, где могла бы отдохнуть душа его, проверяя путь свой по туманному свечению земли, дойдет он наконец туда, где конец и начало всем странствиям.

И вновь молвил царь Эбалон:

— Если правдив твой суровый сказ, как найду я нищего, чтобы следовать за ним обратно на землю?

И пророк ответил:

— Ты узнаешь его по имени его, а найдешь его здесь, ибо зовется нищий тот царем Эбалоном и восседать будет на троне царей Зарканду.



На что сказал царь:

— Ежели сидеть на этом троне тому, кого люди зовут царем Эбалом, кем же буду я?

На что пророк ответил так:

— Тебе быть нищим, и имя твоё будет Иб, и назначено тебе бродить по дороге возле дворца, ожидая милости царя, которого люди называют Эбалом.

Тогда молвил царь:

— Жестокосердны боги, что обитают в снегах Амуна у храма Азур, ибо если согрешил я против нищего по имени Иб, согрешили против него и они, обрекши безвинного на тяжкие скитания.

И сказал Монит:

— И на нем лежит вина, ибо разгневался он, когда ударил его копытом твой конь, и боги покарали его за тот гнев. Гнев и проклятья обрекли его на вечные скитанья, которым обречен и ты.

Молвил опять царь:

— Ты, что восседаешь на горе Амун в храме Азура, погрузившись в виденья и пророчествуя, прозри же провидческим оком конец этим испытаниям и ответь, где будет он?

И отвечивал Монит:

— Подобно тому, кто скользит глазом по глади великих озер, устремляясь я взором в грядущее, и подобно тому, как четырехкрылые стрекозы снимаются с голубых вод, так виденья мои парами выплывают из грядущего. Видел я, что тот царь Эбалон, чья душа была не твоей душою, стоял некогда в своем дворце, а на улицах толпились нищие, и между ними — Иб, тот, в ком жила душа твоя. Было то утро празднества, и царь явился убранным в белые одежды, в окружении пророков, мудрецов и чародеев, и все они сошли по мраморным ступеням вниз, дабы благословить землю и всех, кто стоял на ней до самых пурпурных холмов, ибо было утро празднества. И когда простер царь руку свою над головами нищих, благословляя поля и реки, и всех, кто стоял на земле, увидел я, что пришел конец испытаниям.

Превыше всего мудрость царя.

IV



гущалась вечерняя мгла, и над куполами дворца засветились звезды, надежно хранившие свои тайны.

А во мраке, окружавшем дворец, те, что некогда разливали вино в драгоценные кубки, тихими голосами судили царя и мудрость его пророков.

И заговорил Инар, называемый пророком Хрустальной Вершины.

Превыше всех гор подымается в той земле гора Аманат, а у подножья ее стоит храм Инара, и когда отторает свет дня, ее хрустальная вершина ловит лучи солнца и посылает на темную землю, подобно зажженному в ночи маяку. И в час, когда все лица обращены к горе Аманат, Инар с хрустальной вершины разгоняет дурные чары и, как говорят люди, подает знаки богам. Когда мир покоится в ночной тиши, Инар беседует с богами.

И сказал Инар:

– Превыше всего мудрость царя.

Верно дошли до тебя, о царь, некие речи с вершины Аманата.

Беседовавшие со мной у Хрустальной Вершины пришли из города, по улицам которого не гуляет смерть, и поведали мне их старейшины, что не отправится царь ни в какое странствие, но исчезнут с глаз твоих холмы и темные леса, небо и все сверкающие в ночи миры, и не ступит твоя нога на зеленые луга, и не упадет взор твой на синеву небес, а реки, текущие к морям, не донесут до твоих ушей музыку своих вод. Понапрасну станут изливаться стенания из уст детей земли – не коснутся они тебя, и слезы из глаз их не растопят холод твоего сердца. Болезни, жара и холод, невежество, голод и злоба – все напасти искогтят народ твой, находя свои жертвы повсюду – в полях, на дорогах и в городах, но ни одно из этих бедствий не коснется тебя. И когда минует все, и душа твоя, приютившись на перекрестке миров, стряхнет с себя прах мирских сует, в одиночестве своем насладишься ты своими видениями.



И почудится тебе, что грёзы твои истинны, ибо не будет в мире ничего, кроме тебя и твоих снов.

И возведешь ты из грёз своих воздушные дворцы и города, которым не страшны станут ни разрушительное время, сырость и ржавчина, ни набеги завоевателей. Лишь ты один властен будешь уничтожить или перестроить их, ежели пожелаешь. Ничто не потревожит грёз твоих, коим здесь угрожают земные бури и волнения, как отдыху горожанина, заснувшего среди людского гомона. Ибо грёзы твои вольным потоком могучей реки зальют бесплодные равнины, где не за что зацепиться глазу, и не будет этому простору ни конца, ни края, и ничто не мешает ему нести свои воды. И надобно бы тебе поместить в том новом твоём владении немного печали и сожаления о дурных поступках своих, чтобы память о них навсегда приютилась в душе твоей, ведя свою жалостливую песнь; и память та тоже будет всего лишь сном, но сном правдивым.

Никто не потревожит тебя в твоих видениях, ибо даже боги не властны будут над тобой, покуда не сгинут плоть, земля и течение событий, которым они тебя обрекли.

И молвил тогда царь:

— Не по душе нам твоё пророчество, ибо пусты праздные мечтанья, отраден нам шумный мир деяний и страстей человеческих.

А пророк ответил:

— Победы, драгоценные камни, пляски девушек — тщета, что тешит твою прихоть. Блеск жемчужины обманчив, ибо рожден воображеньем, а оно есть лишь мечтанье. Деянья и страсти человеческие — ничто, ежели не вызрели они в мечтах и не питают мечтаний, ибо одни лишь грёзы истинно существуют, и там, где пребудешь ты, когда настанет конец мира, станут жить лишь виденья.

И молвил царь:

— Безумен пророк.

А Инар ответил:

— Безумен, но верит, что душа его владеет всем, знаньем о чем наполнится, и что сам он хозяин души своей; а ты, надменный царь, уверен лишь в том, что твоя душа обладает некими землями, охраняемыми войском и морским пределом, а сама она — в чуждых руках



богов, кои неведомы тебе, и вольны распорядиться ею как пожелают. И покуда не снизойдет на нас весть, что оба мы во власти заблуждений, я могущественней тебя, о царь, и нет надо мной властителей.

И сказал царь:

– Ты говоришь, что нет над тобой властителей; с кем же беседуешь ты, посылая непонятные знаки в надмирные края?

Тогда Инар, сделав несколько шагов, прошептал что-то царю. И вскричал царь:

– Схватите этого пророка, ибо он лжец, и не беседует по ночам с богами, а обманывает нас своими пустыми знаменами!

А Инар ответил:

– Не приближайтесь ко мне, не то я укажу на вас, когда ночью буду вещать с горы тем, о ком вы знаете.

И пошел прочь Инар, и стражники не тронули его.

V

Потом заговорил пророк Тун, закутанный в водоросли; не было у него храма, и обитал он вдали от людей. Всю жизнь провел он на пустынном берегу, и слышал только шум моря да вой ветра в утесах.

Говорили, что долгая жизнь наедине с морем и ветром отучила его от людских радостей, и чуток он стал лишь к печали моря, вечно рыдающей в его сердце.

– Давным-давно по звездной тропе где-то в междумирье шествовали боги Старины. Присели они отдохнуть в беззвездном мраке перекрестка миров, и миры пошли кружить вокруг них, как мертвые листья в осеннем вихре, и ни в одном из них не было жизни, а боги вздыхали о том, что не могло сбыться.

Столетье за столетьем уходило своим чередом туда, где все обретает свой конец, и уносило с собой вздыханья богов, желавших того, что не могло сбыться.

Одного за другим оставляла жизнь богов Старины, убиваемых собственными сожалениями. И Шимоно Кани, младший из богов, сделал себе арфу, натянул на нее струны сердец старших богов и, сядя



на Звездной тропе у истока творенья, играл на ней погребальную песнь богам Старины. В ней говорилось обо всех напрасных сожалениях и горестной любви богов в древние времена и об их великих деяниях во славу грядущих лет. Но в песнь Шимоно Кани проникли голоса сердечных струн богов, не перестававших печалиться о том, что не могло сбыться. И эта песнь, и эти стенанья неслись со Звездной тропы, прочь от истока творенья, как потерявшая в ночи путь птичья стая, пока не достигли миров. Каждый звук был жизнью, и множество их осталось пленниками миров, облеченными плотью на недолгий срок, откуда вновь не пустятся они в путь к великой реке Антем, что шумит у Конца Времен. Шимоно Кани дал голос ветру и одарил печалью море. И вот когда в залитых светом покоях раздается голос певца, улаждающего царя, душа его, прикованная к земному праху, рвется к собратьям. И когда при звуках этого пения сердце царя наполняется печалью, а сердца принцев — томлением, надобно, чтобы в памяти их пробудился невиденный ими печальный лик Шимоно Кани, что сидит возле усопших богов, играя на арфе и перебирая жалобные струны сердец, изливающих свои души мирам.

Когда по ночам среди холмов слышится голос одинокой лютни, — то чья-то душа призывает сестер, рожденных звуками песни Шимоно Кани, что избежали мирских оков; и не ведая, куда несется ее зов и зачем, знает он, что только в этом плаче может излить свою тоску, обратив ее к окружающей тьме.

И хотя в земных узилищах суждено погибнуть памяти о былом, случается все же, что на ногах пленника оседают пылинки дорог, по которым он некогда ступал; и в памяти его вдруг просыпаются видения прошлого. Тогда рождается великий певец, и, собирая обрывки воспоминаний, создает мелодию, похожую на ту, что рождается под пальцами Шимоно Кани, когда касается тот струн своей арфы. А те, кто слышат ее, вопрошают: «Не слышал ли я ее прежде?» — и идут дальше, обремененные горечью неслучившихся воспоминаний.

И вот когда однажды перед тобой, о царь, распахнутся ворота твоего дворца, когда выйдешь ты к народу под жалобные звуки лютни и барабана, в тот самый день надобно открыть покаянными руками дверь темницы, дабы еще один заблудший звук песни Шимоно Кани вернулся в дом своей мелодии.



Песня Шимоно Кани будет звучать до тех пор, пока однажды не обретет все свои звуки, чтобы одолеть Молчание, восседающее у Конца Времен. Тогда возвестит Шимоно Кани праху братьев-богов: «То, что не могло сбыться, сбылось».

Но недвижим пребудет прах богов Старины, лишь вновь зазвучат в сердечных струнах арфы их голоса, оплакивая то, что не может сбыться.

VI

Рогда караваны, простившись с Зандарой, выходят в путь по бесплодной равнине на север в сторону Эйнанду, истекают семь дней, прежде чем они приблизятся к источнику, где высится черная скала Шеба Онат, подошву которой омывают чистые ключи, а вершину венчает буйная зелень. Здесь стоит храм пророка Странствий, и на его южной стене красуются фигуры, обращенные к верблюжьей тропе богов-покровителей караванов.

Тут узнает путник, суждено ли ему завершить свое десятидневное путешествие по пустыне и достичь белых стен Эйнанду, или же кости его лягут рядом с теми, что давно уже покоятся по сторонам караванной тропы.

Нет имени у Пророка Странствий, ибо не нужно имени живущему в пустыне, где никто не окликнет и никто не отзовется.

И так сказал Пророк Странствий царю:

– Назначено тебе, о царь, продолжить путь, начатый давно.

За много лет до рождения луны пришел ты с караваном верблюдов-призраков из безымянного города, что раскинулся над звездами. Оттуда началось твое странствие через Великую Пустошь, и верно служили тебе верблюды-призраки, откуда многие спутники твои не полегли костью и не засыпаны были безмолвием, и снова обратились в ничто, а те, что лишились верблюдов, которые пали оттого, что некого стало им нести на своих спинах, потеряли дорогу и погибли в пустыне. Это те, что могли бы быть, но не стали. И мириады часов прошли над Великой Пустошью, откуда ты блуждал в тех краях.



Не сказать, сколько веков пролетело над городами, пока продолжалось твое странствие, ибо нет времени в Великой Пустоши, а только часы хлопотливо бегут в сторону востока, верша свое дело. Наконец призрачные странники увидали в дали манящую зелень, и устремились туда. Так они достигли Земли. Здесь, о царь, нашли недолгий покой ты и те, что пришли с тобой. На Земле сделали вы привал, прежде чем продолжить странствие. Тут хлопотливые часы, помечая собой каждую травинку и каждое дерево, ненасытные, как саранча, тучами лепятся над вашими шатрами, и под этой тяжестью гнутс их опоры, а вас одолевает томление.

А в тени Шатров прячется с проворным мечом нечто темное, и зовут его – Время. Это оно призвало сюда часы, оно их властелин, и его повеление исполняют часы, пожирая все живое на земле, обрушивая в пыль шатры и изнурия странников. А едва лишь всякий час выполнит свою работу, тут же и его сразит Время своим быстрым мечом, и час тот уходит в пыль с подбитыми крыльями, подобно саранче, разрубленной рукой ловкого воина.

И сворачивая один за другим свои шатры, твои спутники, о царь, продолжают путь, начавшийся так давно из безымянного города, откуда вышел караван с верблюдами-призраками в Великую Пустошь. И твоя, о царь, дорога лежит в те края, где, как знать, может быть, встретишь старых друзей, с коими свела тебя судьба в земном твоём приюте.

В Великой Пустоши тебе попадутся еще другие оазисы, но и оттуда уйдешь ты, гонимый хлопотливыми часами. Какой пророк ответит, сколько дорог предстоит тебе исходить и сколько сделать привалов?

Но в конце путей достигнешь ты Места Отдыха верблюдов, где тускло мерцающие утесы, название которым – Конец Скитаний, – вздымаются среди Великой Пустоши; их подошвы упираются в пустоту, и пустота простирается вокруг них, только сиянье далеких миров бросает отсвет на Пустошь. Один за другим всадники на усталых верблюдах-призраках, приблизившись к скалам, проходят через расщелину к Городу Конца. И воочию открываются им рож-



денные в грёзах шпили и купола людских надежд, виденные доселе лишь как миражи в Пустоши.

Не долетят сюда хлопотливые часы, далеко отсюда, среди шатров, останется темная фигура с быстрым мечом. Здесь, на этих светлых улицах, в сотканных из песенных звуков пристанищах последнего из городов, придет, о царь, конец твоим странствиям.

VII



В долине за горой Сидоно растет сад, где цветут маки, и летний ветерок разносит их лепестки по всей долине, через которую пролегла тропа, усеянная перламутровыми океанскими ракушками. А над самой вершиной Сидоно летят птицы, направляясь в сторону озера, что лежит в долине, а за их стаями видно, как подымается солнце и, освещенная его лучами, гора Сидоно простирает свою тень до самой кромки озера. Каждое утро, в час, когда засверкают под солнцем океанские ракушки, ступает на тропу старец в шелковых одеждах с удивительными узорами. Он живет в маленьком храме, что стоит на краю тропы. Никто не приходит сюда на моление, ибо старый пророк Зорнаду запретил людям топтать свое маковое поле.

Чужды остались Зорнаду алчность царей и их подданных, что так падки на золото. И потому покинул Зорнаду шумный город и тех, что соблазнились его блеском, и нашел себе приют у горы Сидоно, где нет ни царей, ни воинов, ни жаждущих золота, а лишь маковые головки, дружно клонящиеся под ветром, да птицы, стремящие свой полет к озеру, да восход солнца над вершиной Сидоно; а потом — путь птиц назад к горе, закат в долине, а высоко в небе над озером и садом — звезды, каких не знают в городах. Так живет Зорнаду в своем маковом саду, а гора Сидоно стоит преградой между ним и миром людей; и когда порыв ветра из долины швыряет лепестки маков в стену храма, молвит старый пророк: «Цветы возносят свои молитвы; что ж, они ближе к богам, нежели люди».

Но однажды посланцы царя через много дней пути достигли окрестностей Сидоно и увидели долину и сад. У озера открылось им внезапное сияние макового цвета, словно восход солнца, откры-



вающийся сквозь туман пастуху в горах. На третий день спуска по склону голой скалы их встретили чахлые сосны, сквозь стволы которых брезжил алый свет маков в долине. Целый день блуждали они среди сосен. В ту ночь холодный ветер слетел в сад на цветущие маки. А Зорнаду в своем храме в глубокой печали спел траурную песнь в честь погибших цветов, ибо той ночью ветер унес лепестки, которым уже не вернуться в цветущую долину. А на тропе за храмом посланцы из города собрали океанские ракушки, на которых прочли имена царей и восхваления им. А из храма доносился голос Зорнаду, все еще возносящего богам свою жалобную песнь.

Повинуясь царскому велению, взяли они его из сада и увели прочь от сверкающей перламутром тропы, от скалы Сидоно, и опустел храм, и некому стало оплакивать мертвые головки шелковистых маков.

Пришло время торжествовать осеннему ветру, и цветы, выросшие из земли, вновь ушли в землю, как воин в расцвете сил, срубленный мечом язычника где-нибудь в дальних краях, где некому его оплакать. Так из страны цветов Зорнаду насильно попал в мир людей, и увидел город, а посреди города предстал перед царем.

И сказал царь:

— Зорнаду, что скажешь ты о странствии царя, и о принцах и народах, что встретятся ему на пути?

Зорнаду ответил:

— Ничего неведомо мне о царях; но однажды ночью, незадолго до рассвета, отправился в путешествие цветок мака. Полетел он вслед за дикой стаей через скалу Сидоно, а рассветные лучи освещали гору и цветы, просыпающиеся на озерном берегу. Пчела, кружившая над садом, поведала об этом другим цветам, тем, что знали улетевшего по его аромату. И солнечные лучи лили свет из-за гребня скалы на сад и долину, где их приветствовало одним цветком меньше. И я, о царь, каждое утро проходя по усыпанной перламутром тропе, не нашел и не находил уж больше впрямь того цветка, что отправился некогда из моей долины в странствие, из которого не возвращаются. И тогда я, царь, запел песнь печали, и цветы склонили свои головки; но нет такого плача, и нет такой жалобы, что вернула бы жизнь цветку, который цвел некогда в саду, а больше не цветет.



Куда уходит жизнь маков — людям подлинно неведомо. Одно знают они наверное: в те края ведут невозвратные дороги. И лишь когда заснет некто в вечернем саду, где воздух густо напоен ароматом цветущих маков, когда стихнет ветер и издали, с одиноких холмов едва слышится голос лютни, и почудятся ему ало-шелковые маки, что росли в саду его юности, тогда оживут в его снах те давно погибшие цветы. Может быть, то будут сны самих богов. И во сне какого-нибудь божества, прикорнувшего перед зарей на тенистом лугу, и мы, если выпадет удача, вновь обретаем жизнь, хотя тела наши давно уже смешались с земным прахом. В этих странных снах снова забуллит наша жизнь надеждами, радостями и горестями, покуда не наступит утро и не проснется божество, чтобы приняться за свои дневные труды и, может быть, — на счастье нам — припомнить свои праздные сны и еще раз передаться им в ночной тиши, когда воссияет божественный свет звезд.

VIII



молвил тогда царь:

— Не по душе нам сии чудные странствия и призрачные скитания в сновиденьях богов, подобно тени утомленного верблюда, что не может утомониться, прежде чем сядет солнце. Дурно поступают боги, что, вложив в меня любовь к прохладе земных деревьев и звону ручьев, посылают в звездные миры, к которым нет у меня влечения, ибо глаза души моей навеки прикованы к земле, как у нищего бродяги, что, взирая с мостовой на освещенные окна дворца, возомнил себя господином. Ибо куда бы ни направили боги стопы мои, я пребуду тем, чем они меня сотворили: существом, привязанным к зеленым земным полям.

И ежели найдется здесь пророк, которому внимают блистательные боги, обитающие над славным восточным небом, пусть скажет он им, что есть, мол, на Земле, в стране Зарканду, к югу от Опаловых гор, один царь, как смолой приваренный к садам земным, и отказывается он наслаждаться дарами, которыми боги наделяют мертвых над сумеречным миром, окружающим звезды.



И тогда заговорил Ямен, пророк храма Обина, что стоит на берегу большого озера и обращен окнами к югу. Ямен сказал:

– Я часто возношу молитву богам, что сидят над сумерками, за восточной страной. Но когда тяжелеют на закате багровые облака, или когда приближаются гроза либо затмение, я прекращаю молитвы, ибо дождь и ветер прибьют их к земле. Когда же солнце садится при ясном небе, слегка зеленеющем или лазурном, и прощальный свет его лучей ласкает одинокие холмы, тогда я возношу свои молитвы благодущным богам и они слышат их. Но ведает ли царь, что благодеяния, испрошенные у богов, не та милость, которой мы ожидаем? И ежели даруют они тебе жизнь вечную на Земле, годы станут обременять тебя недугами, и превратишься ты в раба часов, опутанного узами, которые никто не в силах будет разрубить.

И царь сказал:

– Те, что насылают бремя старости, пусть делают свое дело; ты же в тишайший из вечеров умоли богов, чтобы даровали мне на земле вечную молодость, и да минет меня бич годов.

Ответил ему на это Ямен:

– Благословенно желание царя, но милость богов всегда чревата проклятием. Принцы, с которыми веселился царь, те, что знали о великих свершениях его в прежние времена, станут один за одним стареть. А ты, о царь, сидя за пиршественным столом, восклицая «веселитесь!» и вспоминая прошлое, увидишь вокруг клонящиеся ко сну головы людей, уже забывших о нем. Одного за другим станут призывать к себе боги тех, кто шел с тобой ночью по следам дикого кабана и загнал его в реку Оргум. Ты останешься один, о царь.

Придут новые люди, которым неведомы твои прежние деяния, которые не воевали и не охотились с тобой, которые не дерзнут, как бывало, разделить твоё веселье. Тем временем ушедшие будут в твоей памяти все дороже, а те, что станут окружать тебя – все постылее. Новое, приходящее на смену старому, будет тебе немило; но с каждым годом станет меняться мир перед твоими очами, и увянут сады твоего детства. Стародавнее детство твое возлюбил ты пуще с течением лет, а новые порядки и обычаи не оставят ему места, и не во власти царя задержать перемены, предустановленные богами.



Тщетно будешь взывать к прошлому; даже царь не в силах помешать рождению новых обычаев. Наконец пресытишься ты и пирами. Утомишься от охоты. Но старость, обходящая тебя стороной, не отымет у тебя прежних желаний, которые столько раз ты уже утолял. И тогда, о царь, ступишь ты на охотничью тропу, преследуя добычу, которой никто еще не искал. Время не утасит твоего тщеславия, когда уже не к чему станет тебе стремиться. Опыт многих веков умудрит тебя, но также опечалит и разгневает, и умом ты отдалишься от ближних твоих, неразумие коих тебе надоест, а им будет недоступна твоя мудрость, ибо мысли твои не станут их мыслями, а боги, которых они сотворят, будут уже не богами Старины. Мудрость не принесет тебе никакого утешения, но лишь сознание ничтожности твоего знания, и ты почувствуешь себя мудрецом в стране дураков, либо глупцом в стране мудрецов, и сомненья твои усугубятся. Когда же уйдут все, кто беседовал с тобой о минувших днях, а немые свидетели не заговорят с тобой; и когда некто, дерзнувший напомнить тебе о великих деяниях твоих, превознесет царю хвалу большую, чем подобает даже богам, усомнишься ты — а были ли те деяния? И некому будет утешить тебя, кроме эха божественных голосов, звящего в ушах, отголоска давних времен, когда кликали они друзей для тебя. Услышишь ты, как извратится мудрость былых времен, а потом увидишь, как она забудется навсегда.

И тогда многие пророки возопят о том, чтобы вернуть ту древнюю мудрость. А ты поймешь, что стремление к знанию — суета, и охота — суета, и веселье, и все — суета сует. Некогда поймешь ты, что и быть властелином — суета. И тогда вознегодуешь ты на возносимые тебе хвалы, покамест не придет час и не восстанут люди на царей. Вот когда ты узнаешь, что воистину принадлежишь иным временами и живешь в неподобающие годы, и градом посыплются на тебя насмешки, и собьют венец с твоей головы те, чьим праотцам ты позволял приносить отпрысков своих, дабы поцеловать царскую туфлю, и станут смеяться, что не научился ты распоряжаться золотом.

Нет, не все чудеса грядущего сопрягутся с твоими воспоминаниями о прошлом, которые, отступая в глубь веков, уготованную богами, с каждым годом будут делаться теплее и ярче. Погруженный



в думы о давно ушедших друзьях и величии былых царств, не заметишь ты, какого могущества достигнут насмешливые и суетливые в это бесцарствие. И в конце концов узришь, о царь, что люди меняются так, что совсем ты перестаешь понимать их, ибо уже и не люди то будут, а новая овладевшая миром порода, чьи предки были людьми.

Те ж вовсе не станут беседовать с тобой, ибо скоро решат, что тебе не понять их, и увидишь ты, что нет тебе места на Земле, и станешь изнывать в мире городов, тоскуя о вольном воздухе, о колышущейся под ветром траве и шуме ветра в кронах деревьев. Но пройдет и это, боги унесут с собой во тьму все жизни, кроме твоей; долго копившийся жар самой сердцевины вскинет земля чрез жерла вулканов к небесам, а сама остынет, и не останется на ней ничего живого, кроме тебя, о царь.

И сказал тогда царь:

— Молись все же своим жестокосердным богам, дабы те, кто любит эту Землю со всеми ее садами и лесами, где звенят потоки, не разлюбили бы ее, когда она одряхлеет и остынет, когда увянут сады, иссякнет смысл бытия и ничего не останется, кроме воспоминаний.

IX



ут заговорил Пагарн, пророк земли Урн.

Пагарн сказал:

— Был один сведущий человек, но его нет с нами.

А царь спросил:

— Разве он живет дальше тех мест, куда успели доскакать за ночь мои гонцы на быстрых конях?

И ответил пророк:

— Не то что не дальше тех мест, куда твои гонцы успеют доскакать за ночь, но так далеко, что вернуться оттуда не смогут они, пока стоит мир. Из того города ведет долина, огибающая весь мир, и кончается она в зеленой земле Урн. С одной стороны блестит в отдалении море, с другой лес, древний и черный, затеняет просторы

Урна. За лесом же и за морем нет ничего, кроме сумерек, а дальше — только боги.

В устье долины мирно спит деревушка Ристаун.

Здесь я родился, и услышал блеянье овец, увидел дым, столбом поднимающийся от крыш Ристауна к небу, и узнал, что не следует людям входить в темный лес, и что за лесом и за морем — ничего, кроме сумерек, а дальше — только боги. Нередко забредали к нам странники из мира, что лежит за долиной, вели странные речи и той же долиной возвращались назад в свой мир. Иногда спускались сюда и цари с караванами верблюдов, сопровождаемые бегущими людьми и звоном колокольчиков, и всякий раз путники вновь подымались в долину, и никто из них не ступил дальше земли Урна.

Китнеб вместе со мной вырос в земле Урна, вместе со мной пас стада, но не было ему дела до блеянья овец и дыма, столбом уходящего к небу, а хотелось ему выведать, далеко ли от Урна до сумерек, а уж потом — далеко ли восседают боги.

Часто думал о том Китнеб, пася овец, и, пока другие спали, бродил он, бывало, вдоль кромки леса, в котором не дозволялось гулять человеку. А старейшины Урна порицали Китнеба за его дерзость, хотя ничем другим он не отличался от жителей деревушки и своих сверстников, пока не пришел день, о котором поведаю тебе, о царь.

Было Китнебу уже лет двадцать, и сидели мы с ним возле своего стада, а он устремил свой взор далеко, туда, где у края земли Урна темный лес смыкался с морем. Когда же спустились сумерки и на землю упала ночь, мы отогнали стадо в Ристаун, и на улице возле домов увидел я четырех принцев, пришедших долиной из мира, одетых в голубое и алое, с перьями на головах. Они предложили нам по несколько блестящих камушков, которые, по их словам, высоко ценились в их краях, за овцу. И я продал им три овцы, а Дарняг продал восемь.

Но Китнеб не стал торговать вместе со всеми, а отправился один через поля к кромке леса.

А на следующее утро странная история приключилась с Китнебом.



Увидел я, как возвращается он с полей, и приветствовал по обычаю пастухов, но он не ответил. Я остановился и заговорил с ним, но ни слова не отвечал мне Китнеб, покуда я не рассердился и не покинул его.

Стали мы рассуждать меж собой, дивясь, что с Китнебом — никому не ответил он на приветствие, но один из нас сказал, будто поведал ему Китнеб, что слышал голоса богов за лесом и не станет отныне слушать голосов людей.

Потом человек добавил: «Китнеб потерял рассудок». И никто не возразил ему.

Место Китнеба среди пастухов занял другой, а он теперь сидел вечерами у кромки леса совсем один.

По многу дней не произносил он ни слова, а если кому удавалось разговорить его, то узнавали мы, что каждый вечер слышит он голоса богов, выходящих в лес из сумерек и со стороны моря, и уж не станет более беседовать с простыми смертными.

По прошествии месяцев жители Ристауна стали смотреть на Китнеба как на пророка, и мы привыкли указывать на него странникам из долины, говоря: «Есть у нас в земле Урн пророк, каких не встретишь в ваших городах, ибо по ночам он беседует с богами».

Прошел год с тех пор, как умолк Китнеб, и вот он явился ко мне и заговорил. А я склонился перед ним, потому что мы верили, будто он — собеседник богов. И Китнеб сказал:

— Мне не с кем побеседовать перед концом, кроме тебя, потому что я совсем одинок. Да и как могу я говорить с мужчинами и женщинами на улочках Ристауна, ежели я внимал голосам богов, поющих над сумерками? Но не было еще в Ристауне человека отверженнее меня, ибо, признаюсь тебе, что, слыша голоса богов, не понимаю я их речей. Я узнаю их по голосам, когда они призывают меня к себе, тревожат мою душу и влекут к себе. Я различаю, когда они радуются, а когда печалются, ибо даже богам ведома грусть. Мне внятен их плач по древним разрушенным городам и белеющим в пыли костям героев. Но увы! Я не знаю их слов, и чудесная мелодия их речи ударяет мне в сердце, но ускользает, оставшись непонятой.

Потому отправился я из земли Урн в странствие, покуда не пришел к дому пророка Арнин-Йо, и поведал ему, что хочу раскрыть смысл божественных слов. И Арнин-Йо послал меня к пастухам раз-
узнать, что им ведомо о богах, ибо они-де владеют всей мудростью, а что сверх ее, то грозит бедой.

Но я сказал Арнин-Йо, что сам слышал голоса богов и знаю, что живут они там, над сумерками, и не могу долее поклоняться божкам, слепленным из глины, которую наскребли пастухи на склоне холма.

На это Арнин-Йо ответил мне:

— Забудь же, что слышал голоса богов, и вновь поклонись богам из красной глины, которых сотворили пастухи, и обретишь покой, как обрели его пастухи, и умри с миром, свято веря богам из красной глины, собранной пастухами на холме. Ибо дары богов, что восседают за сумерками и смеются над глиняными божками, не принесут тебе ни покоя, ни радости.

И я возразил:

— Божок, слепленный моею матерью из красной глины, собранной на холме, со множеством рук и глаз, тот, о могуществе и таинственном происхождении которого она мне пела песни и рассказывала истории, разбился и потерялся. Но мелодия божественных речей не утихает в ушах моих.

И Арнин-Йо сказал:

— Ежели станешь ты все же искать значения, помни, что только тот, кто поднимется до самих богов, сможет ясно понять смысл их речей. А попасть туда можно, лишь сев в челн и выйдя в море, взяв курс от земли Урн в сторону леса. Слева, у южных берегов, теснятся рифы, а над ними нависают пришедшие с моря сумерки; к ним можно подплыть, обогнув лес. Туда, где край земли касается сумерек, приходят вечерами боги, и ежели ты сможешь проникнуть в те места, то услышишь их голоса, перекрывающие шум морского прибоя, наполняющие сумерки звуками песен. И ты проникнешься смыслом их слов. Но там, где рифы закрывают дорогу на юг, владевает Бримдоно — древний морской ураган, стерегущий своих властелинов. Боги навечно приковали его ко дну моря, дабы охранял он дорогу в лес, что лежит за рифами. Так что ежели и услышишь



ты голоса богов и поймешь их смысл, как того пожелал, мало тебе будет от того пользы, когда Бримдоно утащит тебя на дно вместе с твоим челном.

Таков был рассказ Китнеба.

И я сказал ему:

— О Китнеб, забудь об этих богах за лесом, которых стережет морской ураган, и ежели потерялся твой божок, поклонись тому, что слепила моя мать. Тысячелетиями он покорял и разрушал города, но давно перестал быть грозным богом. Молись ему, Китнеб, и он ниспошлет тебе покой и умножит стада твои, и дарует благодатную весну, и вознаградит мирным концом твоих дней.

Но не послушал меня Китнеб, а велел найти рыбацье судно и гребцов.

И утром следующего дня отплыли мы из земли Урн на рыбацьем судне.

Четверо гребцов взялись за весла, я сел у руля, а Китнеб, взойдя на челн, не сказал ничего в напутствие нам. И мы взяли курс на запад и шли на веслах, покада к вечеру не достигли рифов, преграждавших путь в южную сторону, над которыми мрачно сгушались сумерки.

Тут мы повернули к югу и сразу увидели Бримдоно. Подобно тому, как военачальник сраженного в битве царя разрывает на части его пурпурный плащ, раздавая воинам, Бримдоно рвал в клочья море.

Снова и снова шишковатой рукой раздирал он парус какой-то дерзкой лодчонки — добычу своей ненасытной алчбы кораблекрушений, которую вселили в него боги, поставив охранять себя от всякого, кто решится приблизиться к их обиталищу. Вторая рука Бримдоно была свободна и яростно месила воду, так что мы не осмеливались подплыть ближе.

И только Китнеб будто не замечал Бримдоно и не слышал его рева, но видя, что мы мешкаем, велел нам спустить на воду весельную лодку. Не слушая уговоров, он прыгнул в нее и поплыл дальше один. Впереди слышался торжествующий рев Бримдоно, предвкушавшего поживу, но глаза Китнеба были устремлены за лес, к обиталищу богов. Мерцанье сумерек отражалось на его лице, мрачным светом освещая улыбку в его глазах, когда приблизился он к богам. И его,



достигшего богов, укрывшихся за грозными утесами, его, услышавшего, наконец, их голоса вблизи и понявшего смысл божественных речей, его, посланца безотрадного мира, полного сомнений и ложных пророчеств, проникшегося открывшейся ему истиной, в тот миг поглотил Бримдоно.

Когда кончил Пагарн свой рассказ, в ушах царя долго не умолкал торжествующий рев Бримдоно, тешащегося своими победами, и скрип деревянных обломков жалкой лодчонки.

Х



Хотел заговорил Могонтис, пророк-отшельник, что живет в глубокой непроходимой чаще лесов, окруживших озеро Илана:

— Снилось мне, что к западу от морей открылось видение: устье Мунра-О, охраняемое золотыми вратами, чрез решетки которых сверкают золотом барки, а в них боги, едва различимые в вечернем мраке. Понял я, что Мунра-О — река сновидений, тех, что являлись нам, как по волшебству, ночами в детстве, когда спали мы под крышей родного дома. Мунра-О катила сновидения из неизведанной земли, и просеивая сквозь золотые врата, выносила в равнодушное пустое море, где они, если не разбивались где-нибудь у далекого берега, нашептывали старинные напевы южным островам, или будоражили песнями северные скалы, или безнадежно рыдали у рифов — сны, которых никто не мог увидеть.

Множество богов было там на реке, различных в вечернем летнем полумраке. Видел я в высокой золоченой барке богов суетности; видел богов роскоши — в челнах, до самого киля изукрашенных драгоценными камнями; богов величия и богов власти. Видел мрачные суда, окованные железом, и на них богов, чей удел — война, и слышал звон серебряных колокольчиков и нежное пенье арфы — то проплывали по сумрачной реке Мунра-О боги мелодий.

Волшебная река Мунра-О! Я видел серый корабль с парусами из паутины, усеянными крошечными, словно капли росы, фонариками,



и с алым петухом, широко распростершим крылья у него на носу — боги зари тоже плыли по Мунра-О.

По обычаю, заведенному у богов, души людей доставляют вниз по этой реке на восток, туда, где расположен мир людей. Узнал я, что когда боги властолюбия и боги суетности плыли вниз по течению в своих золоченых барках, чтобы отвести на восток другие души, вмешался между ними в своей березовой лодке бог Тарн, охотник, который вез в мир мою душу. И теперь знаю я, что шел он вниз по течению, держась середины реки, молча и быстро двигаясь по воде на двух веслах. И вспоминаю желтый блеск роскошной барки богов суетности, высокий борт проплывавшей мимо барки богов властолюбия, когда Тарн, погрузив в воду правое весло, высоко поднял левое, и с него слетели сверкающие брызги. Так охотник Тарн привез на меня в мир, что раскинулся за морем западнее врат реки Мунра-О. И вышло так, что хоть забыл я Тарна, родилась во мне тяга к охотничьему искусству и завела меня в темные леса и мшистые болота, где побратался я с волком, заглянул в глаза рыси и узнал медведя; птицы призывали меня смутно знакомыми мелодиями, и вызрела во мне любовь к большим рекам и всем западным морям, а к городам — недоверчивость. Хоть и забыл я Тарна.

Не знаю, что за галеон придет за тобой, о царь, и что за гребцы, одетые в пурпур, сядут на весла по велению богов, когда с почетом отправишься ты вновь по реке Мунра-О. А меня ждет Тарн — там, где волны западных морей хлещут о край миров, и, пусть уходят мои годы, а с ними затухает и страсть к погоне, и тяга к темным лесам и мшистым болотам умирает в душе моей, зато все явственней звучит в ней шум воды, бьющей о березовую лодку, в которой, сложив весла, ждет Тарн.

И когда душа моя позабудет о лесах, и заглохнет в ней родство с их ночными обитателями, когда утрачу я все дары Тарна, он вернет меня к западным морям, по волнам которых беспечно уплывают мои ушедшие годы, на реку Мунра-О. И там, на реке, мы предадимся охоте за шныряющими в дебрях тварями, чьи глаза мерцают в ночи, ибо Тарн — великий охотник.



XI

Потом заговорил Ульф, пророк из Систрамейдеса, что живет в храме, издревле посвященном богам. Рассказывали, что некогда возле него любили прогуливаться боги. Но время, которому подвластны даже храмы богов, сурово обошлось с ним и обрушило его колонны, утвердив на руинах свое знамение и приговор: жить здесь отныне Улфу одному.

И сказал Ульф:

— Есть, о царь, река, что течет отсюда, с Земли, и впадает в могучее море, чьи воды омывают пространство и насылают волны на берега каждой из звезд. То река и море Слез.

Царь ответил:

— Нам не доводилось слышать об этом.

А пророк продолжал:

— Мало ли слез источается ночами в спящих городах? Разве не вливаются в эту реку целые потоки слез жителей десяти тысяч домов, когда сгущаются сумерки и ничего не слышно в тиши? Разве мало несбывшихся надежд? Проигранных битв и горьких поражений?

Разве не увяли у детей весенние цветы в садах? О великий царь, на земле проливается столько слез, что их хватит, чтобы наполнить целое море; глубоко и необъятно то море, раскинувшееся до самых дальних звездных пределов, и боги знают о нем. Вниз по реке слез и дальше через это море поплывешь ты на челне вздохов, а вокруг тебя над водой замечутся мольбы людей, устремляющиеся на белых крыльях превыше их печалей. То присаживаясь на мачту, то рыдая у тебя над головой, будут они тебя донимать — мольбы, что погнажи тебя прочь из Зарканду. А высоко над водой, бросая ответ на крылья мольбы, загорится недостижимая звезда. Ничья рука не коснется ее, никто не достигнет ее, она эфемерна, ибо она — только свет; это звезда Надежды, что освещает море и весь мир. Это всего-навсего свет но он дарован богами.

Ведомые светом этой звезды, мольбы, что кружат вокруг тебя, устремляются к Залу богов. Вздохи, вырывающиеся из глубины



души, погонят твой челн по волнам моря Слез. Минуешь ты острова смеха и песенные края, что лежат у низких берегов и насквозь пропитаны слезами, волнами, гонимыми ветром вздохов, накатывающими на прибрежные скалы.

Наконец, сопровождаемый людскими мольбами, взойдешь ты в великий Зал богов, где вырезанные из оникса сидения окружают золотой трон старейшего. Но не надейся, о царь, найти там богов; узришь ты фигуру Времени, опирающуюся на трон и в одеждах своего властелина, с окровавленными руками, придерживающими меч, по которому стекают алые капли. Ты увидишь кровавые следы на ониксовых сидениях, но сами они будут пусты.

А на трон властелина, беспечно играя мечом или равнодушно отмахиваясь от людских молений, истекающих кровью у его ног, воссядет Время.

Какое-то время, о царь, пытались боги разрешить загадки Времени, и ненадолго удалось им приручить его, а Время улыбалось и повиновалось своим хозяевам, но лишь ненадолго, о царь, лишь ненадолго. Оно, не щадящее ничего, не пощадило богов; не пощадит и тебя.

Тогда царь окинул горестным взглядом Зал царей и молвил:

— Может ли стать, что я так и не встречу богов, неужто я так и не взгляну в их лица и не узнаю, добры ли они? Их, что послали меня в земное странствие, восхвалял бы я на пути назад, ежели не как царь, возвращающийся в свой город, то как тот, кто исполнил повеление и тем заслужил милость властелинов своих. Я бы заглянул в их лица, о пророк, и о многом спросил бы их, и многое узнал бы. Надеюсь я, о пророк, что боги, улыбавшиеся мне в детстве, те, чьи голоса звучали вечерами в садах в годы моей юности, не утратят своей власти, когда я пушусь на их поиски. О пророк, ежели этому не суждено сбыться, сотвори великий плач по богам моего детства, развесь серебряные колокольчики, и пусть они качаются среди деревьев, как в саду моего детства, начини песнь свою в сумерках и пой ее, покуда машет крылышками бабочка и покуда не вылетит из своего убежища летучая мышь; пой ее, покуда не поднимется с реки белесый туман,



покуда еще не закрылись цветы и не охрипли голоса; пой ее, покуда все в природе еще прощается с уходящим днем, покуда не зажгутся небесные огни и благодатная ночь не сменит день. Ибо если умерли боги Старины, надобно нам оплакать их, покуда не придет время нового знания, покуда еще мир содрогается от их утраты.

И что же останется нам, о пророк? Только опочившие боги моего детства, и воцарившееся Время, под властью которого стынет луна и бледнеют звезды, а пыль забвения, которая сеется из его рук, засыпает поля героических битв и повергнутые храмы старых богов.

Услышав эти горестные слова, сказанные царем, прочие пророки вскричали как один:

– Нет, все не так, как сказал Улф, а как сказал я – и я!

Тогда царь надолго задумался. А на городской улице среди домов стояли толпой те, что плясали перед царем, и те, что подавали ему вина в украшенных драгоценными камнями кубках. Они медлили покидать город в надежде, что царь раскается и вновь с улыбкой призовет их черпать вино, петь и плясать. Решено было лишь утром отправиться на поиски нового царства, но прежде захотелось им в последний раз взглянуть на дворец царя Эбалона. И тогда Трепещущий Лист, плясунья, зарыдала:

– Никогда, никогда больше не взодем мы в резной зал, чтобы танцевать перед царем. Он, что внимает волшебю пророков, не станет больше следить за чудом танца, и, читая древние пергаменты, полные удивительной мудрости, позабудет наши одежды, струящиеся в Танце Мириады Шагов.

И вместе с ней Серебряный Ручей, Летняя Молния и Мечта Моря горевали о том, что не придется им больше радовать пляскам взор царя.

А Истан, что полвека подносил царю кубок, украшенный четырьмя сапфирами, каждый величиной с глаз, простирая руки к дворцу, сказал с прощальным вздохом:

– Вся магия волхвов, и тех, что пророчествуют о грядущем, и тех, что проникают сквозь толщу настоящего, не сравнится с могуществом вина. Через маленькую дверь в Зале царей, спустившись



по лестнице в сто ступеней, пройдя множество низких переходов, попадешь в прохладное подземелье, обширнее самого Зала царей. Там-то, оплетенные паучьей паутиной, покоятся бочата с вином для ублажения сердец царей Зарканду. На далеких восточных островах вырос виноград, давным-давно давший жизнь этому вину; цепляясь корявыми ветками, лоза устремлялась вверх, чтобы видеть с высоты море, и древние корабли, и людей, которых теперь уже нет на свете, а потом спускалась к земле и загнушалась плеледами. В погребке хранятся три позеленевших от времени бочонка, которых посаженный город не отдавал, покамест не перебили всех его защитников и не сожгли все его дома; в душе вина с годами лишь сильнее разгорается жаркий пламень. Как же было не гордиться мне, открывая в стародавние времена царские пиры, наливая огненный напиток в наследственный сапфировый кубок и видя, как от мерцавшего в нем вина начинают блестеть очи царя, а спокойное лицо его уподобляется ликам его предков.

Но ныне царь ищет мудрости у своих пророков, а вся бывшая слава и нынешний пышный блеск отступают, забываются, превращаются в прах под его ногами.

Он кончил свою речь, а прочие виночерпии и женщины-плясуньи долго в молчании глядели на дворец, потом каждый поочередно сделал прощальный знак рукой, и они приготовились в путь, не видя торопившегося к ним гонца, незаметного в темноте.

Прервав долгое молчание, царь сказал:

— Пророки моего царства, вы пророчествовали всякий по-своему, и слова одного опровергали речи другого, а значит, нет мудрости между волхвами. Объявляю вам, и да никто в моем царстве не усомнится в том, что первые цари Зарканду, прежде чем воздвигнуть город и самый дворец, устроили винохранилище, и сейчас я повелю начать в этом зале пир, и увидите вы, что сила моего вина превыше ваших чар, а искусство плясуний — волшебней волшеббы.

Плясуний и виночерпиев вернули назад, и в ту же ночь устроили пир, посадили за стол всех пророков — Самана, Ината, Монита, Инара, Туна, Пророка Скитаний, Зорнаду, Ямена, Пагарна, Илана,



Улфа и того, что не успел сказать своего слова и не открыл еще своего имени (а лицо его было закрыто плащом).

Пророки веселились, как им было сказано, и вели беседы, как прочие гости, лишь тот, чье лицо оставалось сокрытым, не вкушал пиршественных блюд и не проронил ни слова. Только протянул руку и коснулся цветка, лежавшего на столе в ворохе других, и лепестки цветка сразу облетели.

А Трепещущий Лист все плясала и плясала, а царь улыбался, и Трепещущий Лист была счастлива, хотя и не владела мудростью вохвов. И Летняя Молния сновала между колоннами в прихотливом танце. И Серебряный Ручей кланялась царю и опять танцевала, и снова кланялась, и вновь танцевала, а старик Истан, сияя глазами, с трудом пробирался сквозь толпу плясунов в погреб и обратно, и когда царь вдоволь выпил вина старых царей, он подозвал Мечту Моря и повелел ей петь. Мечта Моря, подойдя к царю, запела о волшебном жемчужном острове, что лежит далеко на юге в рубиновом море, окруженном острыми рифами, о которые разбиваются мирские беды, и нет им доступа на остров. Она пела о том, как закатные лучи окрашивают море и чудесный остров пурпуром и никогда не уступают мраку ночи, и о том, как чей-то голос оттуда непрерывно зовет душу царя, что, зачарованная, сможет, миновав опасные рифы, найти отдохновение на жемчужном острове, где нет никаких забот, где горести и печали разбиваются об острые скалы. Потом поднялась Душа Юга и спела песню о бьющем из-под земли ключе, что мечтал достичь небес, но был обречен снова и снова падать на землю, пока наконец...

А когда рассвет погасил звезды, Эбалон, умягчившись то ли от искусства Трепещущего Листа, то ли от песни Мечты Моря, а может быть, от вина своих предков, отпустил пророков. Миновав освещенные факелами переходы дворца, царь вошел в опочивальню и, закрыв за собой дверь, увидел варут фигуру в платье пророка. Понял царь, что перед ним Тот, что прятал свое лицо и не открыл своего имени.



И спросил царь:

– Ты пророк?

А тот ответил:

– Я пророк.

Тогда царь молвил:

– А ведомо ли что тебе о странствиях царя?

А тот ответил:

– Ведомо, но я еще не сказал своего слова.

И царь спросил тогда:

– Кто же ты таков, что, имея знание, таишь его?

А тот ответил:

– Я есмь КОНЕЦ.

И сказав это, закутанный в плащ незнакомец скорыми шагами покинул дворец, а царь, не замеченный стражниками, последовал за ним в странствие.

ПЯТЬДЕСЯТ ОДНА ИСТОРИЯ



24

25

26

27

28

29

30

31

32

НАЗНАЧЕННАЯ ВСТРЕЧА



де-то в вышине пела свои песни Слава, дурачась и развлекаясь мерзкими авантюрами, и на пути ей встретился поэт.

И поэт сочинял для нее куплеты песен, воспевающие ее шествие по дворцам Времени, а она проносилась сквозь толпы неистовых граждан, украшавших ее ничемными венками, сплетенными из бренной мишуры.

А чуть погода, когда венки истлевали, поэт являлся к ней с новыми строфами, но, как заведено, она смеялась над ним и продолжала украшать себя бесполезными венками, которые всегда истлевали к вечеру.

И однажды поэт в отчаянии упрекнул ее, сказав: «О прекрасная Слава, даже на проторенных путях и на романтических аллеях ты не можешь удержаться от веселья, воплей и гримас в обществе этих ничемных людей, меж тем как я в поте лица тружусь на твое благо и мечтаю о тебе, а ты дразнишь меня и всегда проходишь мимо».

И Слава отвернулась от него и ушла, но на прощанье поглядела через плечо, улыбнулась как никогда прежде и еле слышно прошептала:

«Встретимся на кладбище на задворках рабочего дома лет через сто».

ХАРОН



арон налег на весла. Его переполняла усталость.

Не груз годов или веков, но бескрайние потоки времен да стародавняя тяжесть и боль в руках стали для него частью сотворенного богами миропорядка и составили единое целое с Вечностью.



Если бы хоть раз боги прислали ему ветер противоположного направления, все течение времени в его памяти разделилось бы на два равных куска.

Но таким невзрачным было все вокруг него, что даже если бы яркая вспышка выхватила из мира мертвых лицо царицы, подобной, скажем, Клеопатре, глаза Харона не разглядели бы его.

Странно, что умершие прибывают теперь в таких количествах. Раньше, бывало, приходило по пятьдесят, сейчас их – тысячи. Но ни в обязанности, ни в привычки Харона не входило занимать свою мрачную душу размышлениями о том, почему все так, а не иначе. Харон налег на весла.

Некоторое время на берегу было пусто. В том, что боги никого не прислали с Земли за такой промежуток времени, не было ничего необычного. Богам виднее.

Затем появился один. Маленькая дрожащая тень уселась на скамью, и огромная лодка отчалила. Только один пассажир – богам виднее.

И огромный усталый Харон повел лодку с маленьким, безмолвным призраком на борту.

И шум реки был подобен великому вздоху Скорби, что первая из своих сестер вздыхает по умершему, – вздоху, который не затихает подобно отзвукам человеческого горя, истаивающим на земных холмах, вздоху, древнему, как течение времени и боль в руках Харона.

Закончив свой путь по неспешной серой реке, лодка причалила к берегу подземного царства, и маленький безмолвный призрак, все так же дрожа, ступил на землю, а Харон развернул лодку обратно, в мир живых. И вдруг тщедушный призрак, бывший некогда человеком, нарушил безмолвие.

«Я – последний», – сказал он.

Никто прежде не мог вызвать у Харона улыбку, никому прежде не удавалось заставить его рыдать.

СМЕРТЬ ПАНА



остигнув Аркадии*¹, прибывшие из Лондона путешественники принялись оплакивать смерть Пана.

И вскоре они увидели его — он лежал неподвижно и тихо.

Рогатый Пан лежал, недвижим, роса сверкала на его мехе; в нем не было жизни. И они сказали:

— Действительно, Пан умер.

И, печально стоя над огромным распростертым телом, они долго смотрели на незабвенного Пана.

Настал вечер, на небе появилась звездочка.

Вскоре из деревушки в одной аркадской долине, напевая протяжную песню, пришли аркадские девушки.

И вдруг, увидев в сумерках лежащего старого бога, они остановились и зашептались между собой. «Каким жалким он кажется», — сказали они и тихонько рассмеялись.

Услышав их смех, Пан вскочил, так что камешки полетели из-под копыт.

И путешественники долго стояли и слушали, как скалы и вершины холмов Аркадии оглашались звуками погони.

СФИНКС В ГИЗЕ



овсем недавно я стоял перед статуей Сфинкс*.

Лицо ее было накрашено, она хотела пленить Время.

А оно не пощадило ни одного накрашенного лица в мире, кроме ее лица.

Далила* была моложе Сфинкс, но уже обратилась в прах.

Время не любило ничего, только это пустое накрашенное лицо.

Мне было не важно, что она безобразна, не важно, что она накрасилась, важно только то, что она хотела выманить у Времени его тайну.

¹ Отмеченные звездочкой слова см. в комментариях в конце книги.



Время бездельничало у ног Сфинкс, вместо того чтобы разрушать города.

Времени не надоедала ее глупая улыбка.

Крутом стояли храмы, которые Время забыло обратить в руины.

Я видел, как мимо прошел старик, и Время не коснулось его.

Время, которое стерло с лица земли семь врат Фив!*

Сфинкс пыталась связать его путами из вечного песка, она надеялась, что Пирамиды устроят его.

Время лежало на песке, обмотав свои дурацкие волосы вокруг ее лап.

Если Сфинкс когда-нибудь выведает тайну Времени, нам придется ослепить его, чтобы оно больше не видело прекрасные вещи, созданные людьми – во Флоренции есть красивейшие врата*, и я опасаюсь, что Время унесет их.

Мы пытались связать Время своими песнями и старинными обычаями, но этого хватило ненадолго, оно всегда побеждало нас и смеялось над нами.

Если Время ослепнет, ему придется танцевать для нас и забавлять нас.

Огромное неповоротливое Время станет, спотыкаясь, танцевать, Время, любившее убивать маленьких детей, больше не обидит и маргаритки.

И наши дети станут смеяться над тем, кто уничтожил вавилонских крылатых быков и погубил множество богов и фей, – теперь, когда Время лишится своих часов и дней.

Мы запрем его в пирамиде Хеопса*, в огромном зале, где стоит саркофаг, и станем выпускать оттуда на наши празднества. Оно будет золотить наши нивы и всячески служить нам.

О Сфинкс, если ты предашь нам Время, мы покроем поцелуями твоё накрашенное лицо.

И все-таки я боюсь, что Время, корчась в смертных муках, схватит на ощупь землю и луну, а последним рывком уничтожит род человеческий.



КУРИЦА



Ласточки, усыпав частокол фермы, тревожно щебетали, болтая друг с другом о разных разностях, но думали они только лишь о лете и о юге, ибо надвигалась осень; они ждали северного ветра.

И настал день, когда они улетели. И целый день все говорили только о ласточках и о юге.

– Пожалуй, на следующий год я тоже полечу на юг, – сказала курица.

Прошел год. Снова прилетели ласточки и, когда лето минуло, снова расселись на изгороди; а весь курятник обсуждал отлет курицы.

И вот однажды утром задул северный ветер. Ласточки взлетели все вдруг, и наполнились ветром их крылья; и пришла к ним сила, и чудесное древнее знание, и вера, что крепче людской. И высокий этот полет унес их далеко от дыма наших городов, от обжитых коньков крыш; и наконец под ними раскинулось огромное неприютное море. Держась седых морских течений, летели они к югу, гонимые ветром; летели сквозь пышные полосы тумана и видели старые острова, поднимавшие над туманом головы; видели медленные блуждания сбившихся с курса кораблей; и ныряльщиков – искателей жемчуга, и земли, охваченные войной. И вот их глазам открылись знакомые очертания вершин – то были горы, к которым они стремились; и они спустились в южную долину, а там было лето – то дремлющее, то поющее песню.

– Кажется, подул тот ветер, какой нужно, – сказала курица, растопырила крылья и, размахивая крыльями, помчалась с птичьего двора, добежала до дороги и по ней добралась до сада.

А вечером вернулась, задыхаясь от волнения и усталости.

И рассказывала всему птичьему двору, как летала на юг до самого шоссе и видела мощный поток машин, и долетела до полей, где растет картофель, и видела жнивье, и жилища людей; а в конце дороги нашла сад: в нем были розы – прекрасные розы! – и сам садовник там был, в подтяжках.



— Чрезвычайно интересно, — восхитился курятник. — А какие замечательные описания!

И кончилась зима, минули самые горькие месяцы; наступила новая весна, и снова прилетели ласточки.

— Мы были на юге, — сказали они, — в долинах за морем.

Но курятник никак не мог согласиться, что на юге есть море.

— Послушайте лучше нашу курицу.

ВЕТЕР И ТУМАН



Нам сюда, — сказал Северный ветер, обрушиваясь на море по велению старой Зимы.

И увидел безмолвный серый туман, укутавший скалы.

— Нам сюда, — сказал Северный ветер. — О туман-неудачник, я главный у Зимы в ее вечной войне с кораблями. Я внезапно обрушиваю на них свою мощь или сталкиваю с гигантскими плавающими айсбергами. Пока ты проползаешь милою, я пересекаю океан. Когда мне встречаются корабли, на земле стоит плач. Я тащу их прямо на скалы и кормлю ими море. Где бы я ни появился, они покоряются владычице нашей Зиме.

Ничего не ответил туман на его заносчивую похвальбу, лишь медленно поднялся и повлекся прочь от моря, и, расстилаясь по длинным долинам, залег меж горами. Спустилась ночь, все затихло, и тогда в тишине раздалось бормотанье тумана. Я расслышал в этом мерзком бормотании рассказ о его жутких трофеях. «Сто пятьдесят испанских галеонов, торговый караван, что шел из Тира, восемь рыболовецких флотилий и девяносто рыбацких судов, двадцать военных кораблей под парусами, триста восемьдесят семь речных барж, сорок два торговых корабля с грузом специй, тридцать яхт, двадцать один новомодный линкор, девять тысяч адмиралов...», — бормотал он, хихикая; и я спасся бегством от этой страшной заразы.



Инзана призываает гром



СТРОИТЕЛИ ПЛОТОВ



се мы, люди пишущие, напоминаем матросов, спешно вяжущих плоты на обреченном корабле.

Когда, ослабнув под бременем лет, мы канем в вечность со всем, что в нас было, наши мысли, как затерянные плотики, закачаются на волнах моря Забвения. На них — лишь наши имена да фраза-другая; редко что-нибудь еще.

Те, чья профессия — писать на злобу дня, похожи на матросов, что вяжут плоты, только чтобы согреть руки, только чтобы отвлечься от мыслей о полной своей обреченности; их плотики развалятся раньше, чем корабль пойдет ко дну.

Смотрите — вокруг нас мерцает море Забвения, его спокойствие смертоносней, чем буря. Сколь мало волнуют его наши лодочки. В его глубинах, как громадный кит, плавает Время; и, как кит, кормится мелочью — обрывками мелодий, безыскусными песенками давних золотистых вечеров — но вот повернется — и, подобно киту, опрокидывает огромные корабли.

Смотрите — вот лениво плывут обломки Вавилона*, а вот — то, что некогда было Ниневией*; их цари и царицы уже в глубине, под грузом веков, что скрыли громаду пропитанного влагой Тира и окутали темнотой и мраком Персеполь*.

Другие же... На дне моря, усыпанном венками, я смутно различаю очертания затонувших кораблей.

Все наши корабли непригодны к плаванию изначально.

А плотик, что сделал Гомер для Елены* — плывет.

РАБОЧИЙ



ерх лесов, в которых стоял огромный дом, рухнул, и вместе с лесами упал рабочий. Я увидел, что, падая, он пытается вырезать ножом на лесах свое имя. Время у него было — падать предстояло почти триста футов. И у меня все не шел из головы этот его



бессмысленный жест – ведь не только сам он через три секунды разобьется в лепешку, но и стойка лесов, на которой он нацарапает, сколько успеет, букв своего имени, через месяц-другой непременно пойдет на дрова.

Я пошел домой – нужно было заняться работой. Но весь вечер мне не давали серьезно работать мысли о безрассудстве этого человека.

А поздно ночью – я еще работал – сквозь стену вплыл призрак рабочего и, смеясь, повис надо мной.

Я не слышал его смеха – лишь собственный голос, когда заговорил; но видел нечто расплывчато-серое, трясущееся от хохота.

Я спросил, над чем он смеется; тогда заговорил и призрак.

– Я смеюсь над тобой: ты сидишь и работаешь, – сказал он.

– Почему же, – спросил я, – ты смеешься над серьезной работой?

– Э-э, твоя прекрасная жизнь пролетит, как порыв ветра, – сказал он, – а через несколько веков и от всего твоего дурацкого мира следа не останется.

Он вновь залился смехом, на сей раз слышимым, и со смехом прошел сквозь стену и растворился в вечности, из коей явился.

ГОСТЬ



Около восьми часов вечера в один из модных ресторанов Лондона вошел молодой человек.

Он был один, но заказанный им столик был накрыт на две персоны. За неделю до этого дня он тщательно продумал меню ужина.

Официант поинтересовался, когда прибудет второй приглашенный.

«Наверное, его не стоит ждать раньше кофе», – объяснил молодой человек, поэтому его обслуживали одного.

Сидевшие за соседними столиками обратили внимание на то, что юноша все время обращался к пустому стулу, и монолог этот продолжался на протяжении всего неспешного ужина.

«Думаю, ты знал моего отца, – обратился он к стулу, когда принесли суп. – Я пригласил тебя сегодня вечером, – продолжал он, –



потому что хочу, чтобы ты оказал мне услугу, даже настаиваю на этом».

В молодом человеке не было ничего эксцентричного, кроме этой манеры беседовать с пустым стулом, да и ужин он заказал отменный, любой нормальный человек не отказался бы от такого ужина.

После бургундского его монолог стал еще более многословным, хотя нельзя сказать, что он слишком много выпил.

— У нас есть несколько общих знакомых, — сказал он. — Год назад в Фивах я видел царя Сети*. Думаю, он не слишком изменился со времени вашего знакомства. Мне показалось, для царя лоб у него низковат. Хеопс* покинул дом, который построил, чтобы принять тебя, похоже, он готовился к встрече с тобой долгие годы. Наверное, тебя редко развлекают таким образом. Этот ужин я заказал неделю назад. Я подумал, что со мной вместе придет одна дама, но она отказалась, и я пригласил тебя. Что и говорить, она не сравнится по красоте с Еленой Троянской. Что, Елена и вправду была так прекрасна? Ну, впрочем, не в момент знакомства с тобой. Тебе повезло с Клеопатрой*, ты встретился с ней в зените ее красоты.

— Тебе не случилось узнать ни русалок, ни фей, ни прекрасных богинь прошлых эпох, и это лучшее, что ты мог сделать.

Он замолкал, когда официанты подходили к столику, но как только они уходили, продолжал свой веселый вздор, по-прежнему адресуя его пустому стулу.

— Представляешь, вот только вчера видел тебя здесь, в Лондоне. В автобусе по направлению к Ладгейт-хиллу. Он ехал слишком быстро. Лондон — неплохое место. И все же я буду рад покинуть его. Именно здесь, в Лондоне, я встретил ту даму, о которой упоминал. Если бы не Лондон, я, вероятно, никогда бы ее не встретил, и если бы не Лондон, она бы не позволила мне так долго развлекать ее. Так что в любом случае...

Он прервал свою речь, заказал кофе и, проникновенно глядя на официанта, вложил в его ладонь конверт.

— Только, пожалуйста, настоящий кофе — не цикорий, — попросил он.



Официант принес кофе, и молодой человек бросил в чашку какую-то таблетку.

— Не думаю, что ты часто заходишь сюда, — продолжил он. — Что ж, тебе, наверное, пора. Я отвлек тебя, у тебя уйма дел в Лондоне.

Он выпил свой кофе и рухнул на пол прямо около стула. И доктор, случайно оказавшийся среди посетителей ресторана, склонился над ним и сообщил взволнованному администратору, что, без сомнения, к молодому человеку прибыл его гость.

СМЕРТЬ И ОДИССЕЙ



сонме богов Олимпа Любовь смеялась над Смертью, потому что та была уродлива и ничего не могла с этим поделать, и потому, что ни разу не совершила ничего значительного, а она, Любовь, — совершила.

Смерть терпеть не могла, когда над ней смеются, и думала только о нанесенных ей обидах, а еще о том, что сделать, чтобы эти насмешки прекратились.

И вот однажды Смерть появилась на Олимпе с важным видом, и все боги заметили это.

— Что ты задумала? — спросила Любовь.

И Смерть торжественно ответила:

— Я собираюсь напугать Одиссея.

И, завернувшись в дорожный плащ, вышла через дверь, предназначенную для ветра, а ее тяжелый подбородок был обращен к земле.

Вскоре она прибыла на Итаку*, в зал, что известен Афине*, запахнула дверь и увидела знаменитого Одиссея с седыми кудрями, который грел руки, наклонившись над очагом.

И ветер злобно подул на Одиссея сквозь открывшуюся дверь.

А Смерть подошла, встала позади Одиссея и неожиданно вскрикнула.

Одиссей все так же грел свои бледные руки.

Смерть придвинулась еще ближе и стала что-то напыщенно говорить ему. Наконец Одиссей повернулся к ней. Он сказал: «Ну,



что, старая служанка, хвалили тебя хозяева за ту работу, что ты проделала для меня под Илионом?»*

А Смерть, представив, как станет смеяться Любовь, не могла произнести в ответ ни слова.

Потом Одиссей сказал:

– Теперь пошли, помоги-ка мне, – и, тяжело опираясь на костлявое плечо, вышел с ней вместе в открытую дверь.

СМЕРТЬ И АПЕЛЬСИН



Все смуглых молодых людей в дальней южной стране сидели в ресторане за столиком вместе с дамой. На ее тарелке лежал маленький апельсин, внутри которого раздавался злобный смех.

Оба молодых человека не сводили глаз с женщины, они ели мало, а пили много.

А женщина улыбалась и тому и другому.

И маленький апельсин, внутри которого раздавался смех, медленно скатился с тарелки на пол. Оба молодых человека одновременно нагнулись за ним, и столкнулись под столом, и обменялись быстрыми словами. Ужас и бессилие победили здравый смысл каждого из них, здравый смысл, который и так был загнан в самый дальний уголок мозга. А внутри апельсина все раздавался смех, и женщина продолжала улыбаться. Тогда Смерть, сидевшая за другим столиком напротив старика, поднялась и подошла понаблюдать за ссорой.

МОЛИТВА ЦВЕТОВ



Западный ветер, что дует ласково и лениво, западный ветер, что дует непрестанно и сонно, непрестанно и сонно дует в сторону Греции, донес голос цветов.

– Леса исчезли, леса сошли на нет, бросив нас; люди нас больше не любят; мы так одиноки под луной. По некогда прекрасным полям мчатся огромные машины, дороги тяжело и страшно пролегли по всей земле.



Поглотив траву, расползлась раковая опухоль городов; они немолчно громяхают притонами, сверкают огнями, пятная позором ночь.

Леса исчезли, о Пан, леса исчезли. Как далека твоя песнь, о Пан, как далека.

Ночью я стоял между двух железнодорожных перронов на окраине Мидланд-сити. Вдоль одного каждые две минуты проносился поезд, и вдоль другого каждые пять минут проносились два поезда. Рядом высились ярко освещенные фабрики, и небо над ними было зловещего цвета, каким бывает лишь в кошмарном сне.

Город наступал, правы были цветы; тогда-то я и научился слышать их плач. А однажды услышал в волнующей музыке ветра из Аркадии укоряющий ответ Пана: «Потерпите чуть-чуть, это ненадолго».

ВРЕМЯ И МЕБЕЛЬЩИК

Время рыщет по миру, и волосы его белы не от старости, а от пыли разрушенных городов. Как-то случилось ему оказаться в мебельной мастерской, в антикварном отделе. Там мебельщик делал стул: морилкой темнил древесину, бил цепью и проделывал дырочки, якобы проеденные жучком.

Увидев, что человек делает его работу, Время приостановилось, глядя на него критически.

— Я работаю иначе, — наконец вымолвило Время; выбелило ему волосы, согнуло спину и изборозило морщинами хитренькое личико. И поспешило прочь, ибо один могущественный город, мрачный и безрадостный, давно уже мучил собою поля — пора было им заняться.

ГОРОДОК

На пути из Горажвуда в Дрохеду* я вдруг увидел город. Это был небольшой городок в долине; казалось, он окружен легкой дымкой, и солнце золотило эту дымку, как на старых итальянских



картинах, где на первый план выступают ангелы, а дальше все тонет в сиянии золота. А в вышине, — хочется так сказать, хотя на самом деле сквозь золотистую дымку ничего не видно, — но я почему-то знал, что там, в вышине, пролегают тропы блуждающих кораблей.

Склоны холмов сплошь покрывало лоскутное одеяло полей, и кое-где на них уже лег снег, и птицы с пустоши улетели в теплые края — примет осени становилось все больше. Вдалеке невысокие холмы сияли как золотой крепостной вал, разрушенный временем, как упавшая на землю ограда Рая. А в стороне темные горы равнодушно смотрели на море.

И, глядя на эти седые настороженные горы, высящиеся с тех времен, когда, как крокусы, вырастали города аравийской и азиатской цивилизаций и, подобно крокусам, увядали, я гадал, долго ли просуществуют дымка в долине и лоскуты полей на холмах.

НЕБЕСНЫЕ ПОЛЯ



Оры говорили: «Посмотри на нас, посмотри; мы, древние и седые, выдерживаем поступь Времени. Время споткнется и сломает свой посох о наши скалы, а мы пребудем, полны величия. Да, мы останемся такими же, как сейчас, — мы и шум моря, нашего ровесника и брата, что нянчит останки своих детей, оплакивая то, что совершил.

Высоко, высоко мы парим надо всеми; мы любим маленькие городки, пока они не постареют и не перейдут в область мифов.

Мы, горы, вечны и непреходящи».

Облака плавно приподнялись с места и, громоздя скала на скалу, хребет на хребет — словно Кавказ на Гималаи — помчались на спине бури вслед за солнечным светом, лениво поглядывая вниз, на вершины гор, со своих золотых высот.

— Вы преходящи, — сказали им горы.

И отвечали облака (так приснилось мне или так я придумал):

— Мы преходящи, воистину мы преходящи, но на наших небесных полях резвится Пегас. На наших полях скачет Пегас и



пасется среди песен, что каждое утро приносят ему жаворонки с далеких земных полей. На рассвете от ударов его копыт серебристо звенят наши склоны. И, раздувая ноздри, вдыхая утренний воздух, вскинув голову и трепеща крылами, застывает Пегас и смотрит с наших головокружительных высот, и всхрапывает, видя в складках и сгибах тог, что покрывают колени богов, яростное величие будущих битв.

ЧЕРВЬ И АНГЕЛ



ервь, выползши из могилы, встретился с ангелом.

Стали смотреть они вместе на королей и королевства, на юношей с девами, на древние города людей. Увидели и старцев, неподвижно сидящих в креслах, и детей, поющих в полях. Увидели дальние битвы, воинов и крепости, мудрость и низость, пышность королевских дворов, увидели людей всех племен, что есть под солнцем.

— Смотри, это все — моя пища, — сказал червь ангелу.

— «βῆ δ' ἄκέων παρά θίνα πολυφλοίοιο θαλάσσης»¹, — пробормотал ангел, ибо шли они по берегу моря. — И это ты тоже сможешь сожрать?

И червь побледнел от злобы так, что на него больно было смотреть, — ибо уже три тысячи лет он старался уничтожить эту строку, но ее мелодия все звучала у него в голове.

БЕСПЕСЕННАЯ СТРАНА



оэт попал в большую страну, где не было песен, и проникся тихой жалостью к народу, у которого нет даже простенькой песенки, промурлыкать себе под нос вечером.

¹ «Идет, безмолвный, по берегу немолчношумящей пучины» (Гомер «Илиада», I-34, пер. Н. Гнедича).



— Сложу-ка я им немножко песенок, чтоб им веселей бежалось по тропинкам и счастливее сиделось у очагов, — решил он наконец. И сложил несколько песенок, полных бесполезной прелести, какие в старых добрых странах поют девушки на холмах.

И когда люди этого народа сидели, усталые от дневных трудов, он пришел к ним и сказал:

— Я сложил для вас несколько песенок-безделок по мотивам причудливых древних легенд; они в чем-то сродни ветру в долинах моего детства. Теперь вам будет что петь вечерами, если вдруг станет грустно.

А они ответили:

— Если ты думаешь, что у нас есть время на такую чепуху, ты ничего не знаешь о развитии современной коммерции.

И возрыдал поэт: «Увы! На них лежит проклятье».

САМОЕ ПОСЛЕДНЕЕ

о берегам Реки Времени ползал пожиратель отбросов. Вокруг простиралась счастливая земля цветов; фруктовые сады клонились под тяжестью яблок, высились огромные амбары, которые древние наполнили зерном, и солнце золотило четкие гребни далеких гор, обрамлявших равнину. Но пожиратель отбросов отворачивался от всего этого, припадая к земле и следя за рекой. И что бы река ни послала ему, бросался в воду и жадно хватал.

В те дни были, да и теперь остаются, на Реке Времени нечистые города, и от них плыли страшные бесформенные вещи без названия. Их появлению предшествовала вонь, и, едва учуяв вонь, пожиратель отбросов плюхался в грязную воду и застывал в ожидании. А когда открывал рот, эти вещи можно было разглядеть.

С верховьев реки иногда приносило и лепестки рододендрона, и даже розы; но пожирателя отбросов они не интересовали: увидев их, он рычал.

По берегу реки шел поэт — с высоко поднятой головой, со взором, устремленным ввысь; взору его, вероятно, открывались моря — и горы



Судьбы, с которых текла река. А по пояс в этой дурно пахнущей реке стоял пожиратель отбросов.

- Смотри, – указал я поэту.
- Его смоем потоком времени, – ответил поэт.
- А города, что отравляют реку?
- Когда на горах Судьбы тают века, река страшно разливается.

ДЕМАГОГ И ДАМА ПОЛУСВЕТА



врат Рая случилось столкнуться демагогу и даме полусвета. Святой Петр смотрел на них с печалью.

– Зачем ты был демагогом? – спросил он первого.

– Потому что, – ответил демагог, – я придерживался тех принципов, исходя из которых мы стали тем, кто мы есть, и благодаря которым нам удалось внушить народу горячую любовь к нашей партии. Словом, я непоколебимо стоял на позициях утверждения нации и выражения ее интересов.

– А ты? – спросил Святой Петр даму полусвета.

– За деньги, – сказала дама полусвета.

И, подумав минуту, привратник Рая сказал:

– Что ж, входи, хоть ты и не заслужила.

А демагогу он ответил:

– Мы испытываем глубочайшее сожаление по поводу того, что ограниченность пространства, находящегося в нашем распоряжении, и прискорбное отсутствие интереса к проблемам, которые вы столь глубоко разрабатывали и столь компетентно разрешали в прошлом, вынуждают нас отказать вам в вашей просьбе.

И захлопнул золотые врата.

ОГРОМНЫЙ МАК



не снилось, что я возвращаюсь к знакомым холмам, с которых в ясный день видны стены Илиона и ущелье Ронсеваля*. На вершинах тех холмов росли леса, и на полянах под лунным светом, когда никто не видел, танцевали эльфы.



Но вот я вернулся, и не было ни лесов, ни эльфов, ни Илиона с ущельем Ронсевала вдалеке, лишь на ветру колыхался громадный мак и, качаясь, шелестел: «Не помни». Поэт, одетый пастухом, сидел, прислонясь к его стеблю, напоминавшему ствол дуба, и тихо наигрывал на дудочке старинную мелодию. Я спросил, куда делись эльфы и все остальное.

— Этот мак быстро разрастается и убивает богов и эльфов. Запахом своим он душит мир, корни его высасывают силу прекрасного, — ответил он.

Я спросил, зачем он сидит на этих холмах, наигрывая старинную мелодию.

— Потому что эта мелодия не нравится маку — иначе он стал бы разрастаться еще стремительнее. Если братство, к которому я принадлежу, перестанет играть на этих холмах, во всем мире люди собьются с пути, и конец их будет ужасен. Кажется, нам удалось спасти Агамемнона.

И он снова заиграл старинную мелодию, а ветер в снотворных лепестках мака шелестел свое «не помни, не помни».

ДИКИЕ РОЗЫ



Я знаю дорогу, где по обочине необычайно пышно цветет шиповник. Красота удивительная — скромные цветки поражают очень насыщенной розово-красной окраской. Двести поколений тому назад (я говорю о поколениях роз) здесь тянулась сельская улица; для цветов настало время упадка, розы изменили образ жизни и, перестав расти в диком виде, стали жаться к домам людей.

От всех воспоминаний об этом маленьком селении, о домишках, что некогда стояли здесь, о живших в них мужчинах и женщинах не осталось ничего, кроме дивного румянца роз.

Я надеюсь, что когда Лондон исчезнет с лица земли, и разоренные поля вновь вернутся сюда, подобно беженцам, возвращающимся после войны, они найдут здесь нечто прекрасное, что напомнит им обо всем, ведь мы все же любили этот суровый старый город.

ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ СЕРЬГОЙ

озможно, мне это пригрезилось. По крайней мере, достоверно могу утверждать, что однажды я сбежал от городской сутолоки и отправился в гавань, где смотрел на скользкие позелевшие причалы, уходящие в воду, на плавно текущую широкую серую реку и плывшие по ней ненужные предметы, которые крутило течением, думал о жителях дальних стран и неумолимом времени, восхищался величественными кораблями, только что прибывшими с моря.

Если не ошибаюсь, именно тогда я и увидел склонившегося над перилами и глядящего на корабли мужчину с золотым кольцом в ухе. Он был смуглолиц, как южанин, смоляные усы чуть припорошены солью, одет в темно-синий бушлат и высокие сапоги, какие носят моряки; взгляд его был устремлен дальше кораблей, казалось, он созерцает что-то в далеких просторах.

Когда я заговорил с ним, он даже не повернул головы и отвечал мне словно во сне, все так же пристально глядя вдаль, как будто мыслями был в дальних и пустынных морях. Я поинтересовался, на каком из судов он прибыл, поскольку здесь их было много. У причалов стояли парусники с убранными парусами, и их высокие мачты напоминали зимний лес; пароходы и океанские лайнеры, которые вхолостую дымили в сумерках. Он ответил, что ни на одном из них. Я спросил его, на какой линии он работает, поскольку он явно был моряком, перечислил все известные пароходные линии, но они были ему неведомы. Тогда я спросил, где он плавал и кто он. И он сказал: «Я плаваю в Саргассовом море*. Я – последний из оставшихся в живых пиратов». Не помню, как долго я тряс ему руку. Я твердил: «А мы боялись, что вы умерли. Боялись, что вас уже нет на свете». На что он печально заметил: «Нет. Нет. Слишком много грехов совершил я в испанских морях; мне не дано умереть».



ВИДЕНИЕ КОРОЛЯ КАРНА-ВУТРЫ

Король Карна-Вутра, восседая на троне и правя всем, говорил: «Этой ночью я отчетливо видел царственную Вейву-Нерию. Хотя ее окутывало густое клубящееся облако, лицо ее не было скрыто и сияло в лунном свете.

Я сказал ей: “Пойдем со мной по прекрасному цветущему Истракану к заводям, где плавают лилии, навевающие сладостные грёзы, или же, отведя ниспадающую завесу орхидей, проследуем отсюда вместе по тайной тропе через непроходимую чащу, что заполняет единственный путь между гор, которые окружают Истракан. Они оберегают его и с радостью наблюдают утром и вечером сколь живописны пруды, окрашенные лучами зари, и от их веселости порой смягчаются опасные снега на склонах и погребают под завалами путника. Долины в этих горах древнее складок на лунной поверхности.

Пойдем же со мной туда или побудем вместе здесь, достигнем удивительных стран, о которых слагают песни те, кто сопровождает караваны, либо станем бродить по этой прекрасной земле, где порхающие над священными водами бабочки, завидев внизу собственное отражение, пугаются своей красоты, и каждую ночь будем слушать мириады соловьев, самозабвенные трели которых, сливаясь, устремлены к звездам. Сделай так, и я отправлю гонцов далеко отсюда с вестями о твоей красоте, и они помчатся и придут в Сендару, и мужчины, пасущие отары коричневых овец, узнают о том, а из Сендары слух распространится по берегам священной реки Зот и дойдет до людей, возводящих плетеные изгороди на равнинах, и они станут воспевать тебя, а гонцы будут держать путь к северу вдоль холмов, пока не доберутся до Сумы. И в этом золотом городе они поведают царям, что сидят в высоком снежно-белом доме, сколь прекрасна твоя еле заметная улыбка. И часто о тебе будут рассказывать на далеких базарах торговцы из Сумы, привлекая покупателей к своим товарам цветистым слогом.

А посланные мною гонцы достигнут наконец Ингры, где все танцуют. И там они расскажут о тебе, так что имя твое зазвучит далеко отсюда в песнях этого радостного города. Там они наймут вер-

блюдов и продолжат свой путь по пескам, пересекут пустыню и прибудут в далекий Найрид, чтобы рассказать о тебе людям, живущим уединенно в горных монастырях.

Пойдем же со мной по весне”.

И когда я сказал это, она едва заметно покачала головой. И только тут я вспомнил, что молодость моя прошла, а Вейва-Нерия сорок лет как умерла».

БУРА

юди заметили далеко в море маленький корабль, который плыл под именем «Малая Надежда». Глядя на его необычную оснастку, жалкий вид и понимая, что он следовал из чужеземных стран, они сказали: «Не стоит встречать его, переживать за него или спешить на выручку, ведь он во власти стихии».

А море вздымалось, как ему обычно свойственно, и швыряло прибывшее издалека суденышко; совсем хрупкими казались его тонкие мачты с парусами странной формы и незнакомыми стягами. Тут море издало громкий торжествующий возглас, подобающий моменту. Вздыбился огромный водяной вал, девятый сын урагана и морской волны, и скрыл кораблик, загородил все, что происходило вдали. Тогда сказали те, кто находился на суше: «То был маленький никудышный чужеземный корабль, и он затонул в пучине; это правильно и справедливо, что буре достался трофей». Они отвернулись и принялись наблюдать за прибытием торговых судов, груженных серебром и умиротворяющими благовониями; год за годом они приходили в порт встречать их и молились за сохранность товаров и своих кораблей. Так продолжалось много лет.

Но вдруг появились палубы и фальшборты, украшенные золотой парчой; старые попугаи, помнившие еще трубадуров, горланили известные песни и чистили клювами свои золотые перья; усталые иноземные матросы убирали паруса; то плавно приближался к причалу галеон, трюмы которого были заполнены награбленной добычей — изумрудами и рубинами, драгоценными шелками; он заслонил от купцов солнце и наконец замер подобно утесу.



«Кто вы? — изумились они. — Что за прибывший издалека удивительный корабль?»

«Малая Надежда», — услышали они в ответ.

«О, — воскликнули люди на берегу, — а мы думали, вы затонули».

«Затонули? — раздались певучие голоса. — Мы не могли затонуть, ведь с нами на борту боги».

ОШИБКА



Слава, шествуя как-то вечером по городу, увидела разукрашенное лицо Популярности, выставляющей себя напоказ в свете газового фонаря, и толпы падающих перед ней ниц в дорожной пыли.

«Кто ты?» — спросила ее Слава.

«Я Слава», — отвечала Популярность.

И тогда Слава потихоньку удалилась.

А Популярность продолжила свой путь, и все ее обожатели поднялись с колен и последовали за ней, и она привела их, как и следовало ожидать, в тот Ад, откуда вышла сама.

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ЗАЙЦА И ЧЕРЕПАХИ



Долгое время среди зверей язвительно обсуждалось, кто — Заяц или Черепаха — быстрее бегает. Одни говорили, что самый быстрый — Заяц, потому что у него длинные уши, а другие говорили, что Черепаха быстрее, поскольку всякий обладатель сильного панциря должен иметь столько же силы для бега. Так или иначе, силы раздора и беспорядка постоянно откладывали решающий поединок.

А когда разногласия между зверями приобрели характер войны, был, наконец, назначен срок, и решено было, что Заяц и Черепаха должны пробежать пятьсот ярдов, дабы все увидели, кто прав.

«Какая вопиющая чушь!» — сказал Заяц, и у его сторонников не осталось надежды на то, что он побежит.



«Это соревнование – большая честь для меня, – сказала Черепаха. – Я не буду увиливать от него».

О, как воодушевились ее сторонники!

Ко дню состязания страсти накалились; гусь налетел на лису и едва не заклевал ее. Обе стороны громко претендовали на победу вплоть до самого момента старта.

«Я абсолютно уверена в успехе», – заявила Черепаха. Однако Заяц не произнес ни слова, казалось, он скучает и злится. Некоторые из его сторонников, заметив это, перешли в стан соперников, громко скандирующих в поддержку Черепахи. Но многие остались болеть за Заяца.

«Мы не должны разочаровываться в нем, – говорили они. – Зверь с такими длинными ушами обязательно победит».

«Беги что есть сил», – напутствовали болельщики Черепаху.

И это «беги что есть сил» превратилось в ключевую фразу, передаваемую из уст в уста. «Сильный панцирь и сильная воля к жизни. Вот что нужно родине. Беги что есть сил», – повторяли они. И эти слова не просто произносили, а выкрикивали от всего сердца многие и многие.

Но вот все стихло, и внезапно воцарилась тишина.

Заяц рванулся и ушел на сто ярдов вперед, а потом оглянулся, чтобы посмотреть, где его соперник.

«Это какой-то абсурд, – сказал он, – бежать наперегонки с Черепахой».

Он сел и почесался.

«Беги что есть сил! Беги что есть сил!» – закричали одни.

«Пусть отдохнет», – закричали другие.

И «пусть отдохнет» тоже стало ключевой фразой.

И через некоторое время соперник дополз до того места, где остановился Заяц.

«А, вот и проклятая Черепаха», – сказал Заяц, вскочил и помчался изо всех сил, не позволяя Черепахе обогнать себя.

«Эти уши победят, – сказали его друзья. – Эти уши победят; и водрузят на непоколебимом пьедестале знамя истины, которую мы предсказывали».



А некоторые из них, обратившись к сторонникам Черепахи, сказали: «А что же ваш зверь?»

«Беги что есть сил, — они ответили. — Беги что есть сил».

Заяц пробежал еще около трехсот ярдов, фактически почти до самого финиша, как вдруг его поразила мысль о том, каким дураком он выглядит, соревнуясь с Черепахой, которая осталась далеко позади, и он снова сел и почесался.

«Беги что есть сил. Беги что есть сил», — кричала толпа, и еще они кричали: «Пусть отдохнет».

«Какой в этом прок?» — спросил Заяц, и на этот раз он застрял надолго. Говорят, он даже заснул.

В течение часа или двух все бесновались, а потом Черепаха победила.

«Беги что есть сил. Беги что есть сил», — кричали болельщики. «Сильный панцирь и сильная воля к жизни: вот что помогло». И потом Черепаху спросили, что знаменует собой ее достижение, и она обратилась за помощью к Морской Черепахе. И Морская Черепаха сказала: «Это славная победа во имя сил стремительности». И Черепаха повторила эту фразу своим друзьям. И все звери долгие годы повторяли эти слова. И даже в наши дни лозунг «Славная победа во имя сил стремительности» прибит на дверях улитки.

А причина того, что этот поединок не стал широко известен, заключается в том, что очень мало кто из его очевидцев выжил после большого лесного пожара, разгоревшегося вскоре после соревнования. Он охватил лесную чащу в ночи, когда поднялся великий ветер. Заяц и Черепаха с горсткой зверей наблюдали пожар изда- лека, с высокого пустынного холма на краю леса, и спешно созвали совет, чтобы решить, кому быть гонцом и предупредить о пожаре зверей в лесу.

И послали они Черепаху.

ИСТИННО БЕССМЕРТНЫЕ



слыхал, как рассказывали, что очень далеко отсюда, на той стороне пустыни Катай, в стране, навсегда отданной Зиме, хранятся все те годы, что уже умерли. И есть там долина, что зато-



чила их и прячет, по слухам, ото всего остального мира, но не от взгляда луны и не от тех, кто предается мечтаниям в ее лучах.

И я сказал: я пойду отсюда дорогами снов, и я приду в эту долину, и войду в нее и буду скорбеть по тем прекрасным годам, что уже умерли. И я сказал: я возьму венок, венок скорби, и положу его к их ногам в знак сожаления об их судьбе.

И когда я искал среди цветов нужные для венка моей скорби, лилия показалась мне слишком большой, а лавр – слишком торжественным, и не нашел я ничего такого хрупкого и изящного, чтобы преподнести в дар годам, что уже умерли. И сплел я скромный венок из маргариток, такой, как видел я, плели в один из тех годов, что уже умерли.

«Этот венок, – сказал я, – едва ли менее непрочен или хрупок, чем один из тех нежных забытых годов». И когда я пришел тропами тайны в те романтические края, где долина, по слухам, подходит к громадной луне, я искал среди травы эти бедные, мимолетные годы, для которых я принес свою скорбь и свой венок. И, не найдя ничего в траве, я сказал: «Время рассеяло их, и вымело прочь, и не оставило даже призрачных останков».

Но обратив свой взор к сияющей луне, я вдруг увидел колоссов, сидящих рядом с луной, возвышающихся, затмевающих собой звезды и наполняющих ночь чернотой; и у ног этих идолов я увидел молящихся и приносящих почести королей, и все дни, что есть, и все времена, и все города, и все народы и всех их богов. Ни дым благовоний, ни гарь от сжигаемых жертвоприношений не достигали голов колоссов, они сидели там, неизмеримые, несвергаемые, нестираемые.

Я спросил: «Кто это?»

И услышал ответ: «Единственные Бессмертные».

И я сказал печально: «Я пришел не для того, чтобы увидеть грозных богов, я пришел, чтобы пролить слезы и возложить цветы к ногам тех недолгих лет, что умерли и никогда более не вернуться».

Ответом мне было: «Это И ЕСТЬ те годы, что уже умерли, Единственные Бессмертные; все годы, которые будут, – это ИХ дети – они сотворили их улыбки и смех; Они короновали всех земных королей, Они создали всех богов; всем событиям суждено стечь с их стоп, как рекам, миры – всего лишь пролетающие камушки, которые они уже



бросили, а само Время и все столетия за ним стоят здесь на коленях, склонившись в знак повиновения у их всемогущих стоп».

И когда я услышал это, я пошел прочь, и унес свой венок, и вернулся в свою землю успокоенный.

ПРАВОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Рыл-был однажды честный пуританин, который полагал, что танцевать неприлично. И он в поте лица защищал свои принципы и трудился усердно. И благоволили к нему все, кто ненавидел танцы; а те, кто любил танцевать, тоже его уважали; эти рассуждали так: «Он хороший, честный человек и действует сообразно своему разумению».

Много усилий прилагал он, дабы разоблачить танцы, и содействовал в закрытии нескольких воскресных танцплощадок. Некоторые виды стихов, пояснял он, ему нравятся, но не те, затейливые, что способны смутить самые юные души. Одевался он всегда в черное.

Он в самом деле был заинтересован в морали, был в самом деле искренен, и в миру пользовались растущим уважением его честное лицо и гладкая борода.

Однажды ночью явился во сне ему дьявол и сказал: «Молодец. «Изыди», – сказал честный человек.

«Нет, нет, дружище», – сказал дьявол.

«Не смей называть меня “дружище”!» – храбро ответил пуританин.

«Ну полно, полно, дружище, – сказал дьявол. – Не ты ли разлучил танцевальные пары? Не ты ли обуздал их смех и их ненавистную радость? Не ты ли носил мой черный наряд? О дружище, дружище, тебе неизвестно, сколь отвратительно сидеть в аду и слышать, как люди веселятся, и поют в театрах, и поют в полях, и шепчутся после танцев под луной», и он разразился ужасными проклятьями.

«Нет, это ты, – отвечивал пуританин, – вложил в их сердца дьявольское желание танцевать; а черные одежды – наряд Бога, а не твой».



А дьявол презрительно расхохотался и заговорил.

«Он сотворил лишь глупые цвета радуги, — сказал он, — и бесполезные рассветы на склонах холмов, обращенных к югу, и бабочек, порхающих среди них, когда солнце всходит на небо, и глупых дев, спешащих на танцы, и безумный и теплый западный ветер, и худшую из всего — эту вредную Любовь».

И когда дьявол сказал, что Бог создал Любовь, тот честный человек сел в кровати и закричал «Богохульство! Богохульство!»

«Так и есть, — сказал дьявол. — Не я посылаю деревенских дураков бормотать и шептаться вдвоем в лесных кущах, когда сияет полная луна, по мне лучше б они танцевали».

«Тогда, — ответил пуританин, — я спутал правое с неправым; но как только я проснусь, я с тобой потягуюсь».

«Нет, не потягнешься, — сказал дьявол. — От этого сна ты не восстановишься».

И в тот же миг где-то далеко открылись черные стальные ворота ада, и рука об руку в них вошли два наших недавних собеседника, и ворота захлопнулись за ними, а они так и прошествовали рука об руку, уходя все дальше и дальше в глубины ада, и таково было наказание для нашего пуританина — узнать, что те, о ком он заботился на земле, будут, как и он, совершать зло.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЕСНИ



«Лебеди снова запели», — сказал один из богов другому. И взглянув вниз, поскольку мечты унесли меня в некую прекрасную и далекую Валгаллу, я увидел под собой радужный пузырь, немногим более звезды, искрящийся прекрасным, но слабым светом, и от него подымалась выше и выше, все увеличиваясь в размерах, несчетная стая белых лебедей, поющих и поющих и поющих, пока не начало казаться, что даже боги, как обезумевшие корабли, плывут посреди музыки.

«Что это?» — спросил я того, кто слыл самым скромным из богов.

«Всего лишь погиб мир, — ответил он мне, — и лебеди прилетают к богам, возвращая божественный дар пения».

«Весь мир погиб!» – сказал я.

«Погиб, – сказал тот, кто слыл самым скромным из богов. – Мирам не суждена вечность; только песня бессмертна».

«Смотри! Смотри! – сказал он. – Скоро возникнет новый мир».

И я посмотрел и увидел жаворонков, отлетающих от богов.

ВЕСНА В ГОРОДЕ

На углу улицы сидела и играла с ветром унылая Зима.

У прохожих еще мерзли пальцы, еще вырывались облачка пара от их дыхания, они привычно втягивали подбородки в воротники пальто, когда за углом их встречал новый порыв ветра, освещенные окна все также вызывали мысль о домашнем уюте и тепле от горящего камина; все было, как прежде, однако трон Зимы шатался, и каждый легкий ветерок приносил вести о сдаче дальних крепостей на озерах и северных склонах холмов. Уж больше не царствовать Зиме на этих улицах, а ведь некогда город, искрившийся белизной, приветствовал ее как победительницу, и она вступила в него в венце из сверкающих сосуллек, с величественной свитой гарцующих ветров, теперь же она сидела здесь, на углу улицы с маленьким ветром, подобно старой слепой нищенке с голодным псом. И когда к такой старой слепой нищенке приближается смерть, чуткое ухо незрячей еще издали слышит ее поступь, так и сейчас, из расположенного поблизости сада до Зимы внезапно донесся звук шагов Весны, идущей по расцветшим маргариткам. А приближающаяся Весна смотрела на съжившуюся жалкую Зиму.

– Убирайся отсюда, – сказала Весна.

– Тебе здесь нечего делать, – огрызнулась Зима. Однако она набросила на себя свою серую обветшавшую накидку, подозвала маленький злой ветер и зашагала прочь по ведущей на север улице.

Обрывки бумаги и тучи пыли следовали за ней до городских ворот. Здесь Зима обернулась и заявила Весне: «Ты ничего не сможешь сделать в этом городе», а потом направилась домой по равнинам и морю, слушая, как завывают старые ветры при ее появлении. Позади нее трескался лед и шел ко дну, подобно тонущим кораблям.



Слева и справа от нее летели стаи морских птиц, а далеко впереди, словно победный звук трубы, раздавался ликующий крик гусей. Продвигаясь на север, Зима становилась все выше ростом и приобретала все более царственный вид. По пути она захватывала все больше владений и шествовала к снежно-белым холодным землям, где ее выходили встречать волки, и наконец в серых облачных покровах она вступила в ворота своего неприступного дома, то были два массивных ледяных бруса, подвешенных на ледяных столбах, которым было неведомо, что такое солнце.

Так город достался Весне. Она осматривалась вокруг, прикидывая, что можно сделать. Вскоре она увидела трусящего по улице понурого пса, тогда она запела для него, и он весело запрыгал. Я видел на следующий день, как он прогуливался с важным видом. Она подходила к деревьям и разговаривала с ними шепотом, и они запевали свою песню, которая слышна только им, и зеленые почки незаметно, одна за другой, появлялись, как звезды в наступающих сумерках. Она пришла в сады и пробудила от сна теплую материнскую землю. На маленьких клочках земли, пустых и заброшенных, она призвала наверх золотые крокусы, похожие на язычки пламени, или их пурпурных собратьев, словно облаченных в императорскую мантию. Она разукрасила неприглядные задворки неопрятных домов где сорняками, а где маленькой травкой. Она повелела воздуху наполниться радостью.

Дети проводили, что в потаенных местах растут маргаритки. В петлицах у молодых людей стали появляться цветы. Весна выполнила свою работу.

КАК ВРАГ ПРИШЕЛ В ТЛУНРАНУ



Заревле было предсказано и предречено, что враг придет в Тлунрану. Известны были и день ее гибели, и ворота, которыми тот войдет, но о самом враге пророчества молчали – говорилось лишь, что он послан богами, но живет среди людей. А между тем Тлунрана, эта тайная цитадель, верховный храм чернокниж-



ников, наводила ужас на долину и все окрестные земли. Казалось, ее высокие стрельчатые окна, странно светящиеся по ночам, глядят на людей недобрым дьявольским взглядом, скрывая мрачную тайну. Никто не знал, кем были маги и помощники магов, и сам верховный маг загадочной обители, ибо их лица и фигуры скрывало черное облачение – длинные черные плащи и черные капюшоны.

Хотя час гибели Тлунраны неотвратимо близился, и этой ночью враг, о котором твердили пророчества, должен был войти через открытые южные ворота, названные Вратами Судьбы, ее темная каменная громада оставалась на удивление спокойной, неколебимой и внушающей трепет даже в грозном венце своего проклятья. И раньше немногие отваживались бродить близ Тлунраны ночью, когда из внутренних покоев, вспугивая нетопырей, еле слышно доносились стоны магов, вызывающих к Неизвестному. Но в самую последнюю ночь к ее стенам пришел человек из хижины у пяти сосен с черной соломенной крышей: ему захотелось взглянуть на Тлунрану в последний раз, прежде чем нагрянет и уничтожит ее божественный враг, живущий среди людей. Человек вступил в долину, окутанную мраком, как храбрец, но на него навалились страхи, и под их тяжестью храбрости у него поубавилось. Он вошел через южные ворота, названные Вратами Судьбы. Проник в темный холл и поднялся по мраморным ступеням, чтоб увидеть конец Тлунраны. Отдернул черный бархатный занавес и оказался в задрапированной тяжелыми тканями комнате, где царил непроглядный мрак. Сквозь сводчатый проем он увидел другую темную комнату, в которой черно книжки с зажженными свечами свершали магические обряды и шептали заклинания. Все крысы, жившие во дворце, с писком бежали вниз по мраморной лестнице. Человек из хижины с черной соломенной крышей пересек вторую комнату, но маги шептали заклинания и даже не взглянули на него. Тогда он откинул тяжелый занавес из черного бархата и очутился в черной мраморной комнате, где царила тишина.

В третьей комнате без окон горела одна свеча. На гладком полу у гладкой стены возвышался шелковый шатер с плотно задернутым входом – самое святое, самое тайное этого зловещего места. По обе

стороны от входа застыли, скорчившись, две темные фигуры — то ли мужчины, то ли женщины, то ли накрытые тканью камни, то ли звери, приученные хранить молчание. Не в силах более выносить зловещее безмолвие тайны, человек из хижины с черной соломенной крышей приблизился к шелковому шатру, одним отважным и испуганным рывком отдернул занавес, увидел тайное тайных и рассмеялся. И исполнилось пророчество, и Тлунрана больше никогда не наводила ужас на долину, а маги покинули грозные стены и бежали в поля, стеная и бия себя в грудь, ибо врагом, погубившим Тлунрану и пришедшим через южные ворота (названные Вратами Судьбы), оказался смех, что послан богами, но живет среди людей.

ПРОИГРАННАЯ ИГРА



ак-то в таверне Человек — лицом к черепу — столкнулся со Смертью. Человек весело поздоровался, но Смерть не ответила на приветствие — подперев челюсть, мрачно сидела над зловещим вином.

— Ну, ну, — сказал Человек. — Мы так долго были противниками, что если бы я проиграл, я бы так не злился.

Но Смерть оставалась враждебной — уткнулась в чашу с вином и не сказала ни слова в ответ.

Тогда Человек заботливо придвинулся к ней и все так же ласково сказал:

— Ну, ну, не стоит так сердиться из-за проигрыша.

Смерть, все так же угрюмо кривясь, отхлебнула своего отвратительного пойла, даже не взглянув на него.

Но Человек ненавидел мрачность даже в зверях и богах; ему неприятно было видеть противника несчастным, особенно если причиной был он сам; и он снова попытался развеселить Смерть.

— Не ты ли погубила дейнотериев? — сказал он. — Не ты ли погасила Луну? Так ты меня еще настигнешь!

Смерть ничего не сказала, только взрыднула сухо и лающе. И тогда Человек встал и ушел в чрезвычайном удивлении. Ибо не знал он, что если Смерть заплачет — от жалости ли к противнику, или



оттого, что больше такой забавы у нее не будет, раз игра закончена и Человек ушел, или еще по каким-то причинам — ей никогда уже не удастся повторить на Земле свою победу над Луной.

НА ПИКАДИЛЛИ

уляя по Пикадилли и, если память мне не изменяет, приближаясь к Гровенор-Плейс, я увидел рабочих с ломиками в руках. Кажется, они были без пальто, в вельветовых штанах, перехваченных под коленом кожаным ремешком, который почему-то называется «Йорк-Лондон».

Они трудились с таким увлечением, что я остановился и спросил, чем они заняты.

- Разбираем мостовую, — ответил один.
- В это время года? — удивился я. — Обычно это делается в июне.
- Мы — не те, кем кажемся, — сказал он.
- Понятно: вы так шутите.
- Ну, не вполне.
- Значит, на пари?
- Не совсем.

Тут я заглянул под уже поднятые ими плиты и увидел тьму, густо усеянную южными звездами, хотя над моей головой светило солнце.

— Здесь так шумно и плохо, что нам это надоело, — сказал тот, что в вельветовых штанах. — Мы ведь не те, кем кажемся.

Они действительно разбирали Пикадилли.

НА ПЕПЕЛИЩЕ

огда произошло то, чему было суждено, и мир столкнулся с черной, неведомой астрономам звездой, огромные твари из какого-то иного мира явились порыскать среди пепелищ, разыскивая что-нибудь, что стоило бы запомнить. Они рассуждали о величайших явлениях погибшего мира и упомянули мамонта. И в этот

момент они узрели святилища, построенные людьми, — безмолвные, с темными окнами, похожими на пустые глазницы черепа.

— Здесь, в этих огромных домах было что-то великое, — произнес один.

— Это и был мамонт, — сказал другой.

— Нет, что-то большее, — сказал третий.

А потом они поняли, что величайшим явлением в мире были мечты человека.

ГОРОД



Фантазия уносит меня далеко во времени и пространстве. Однажды она завела меня на край невысокого красноватого утеса, что возвышался над пустынной местностью, недалеко виднелся город. Был вечер, я уселся и стал смотреть на город.

Вскоре я заметил, что из городских ворот украдкой выходят люди по трое, четверо, всего их было человек двадцать. В вечерней тишине до меня доносились голоса.

— Хорошо, что они ушли, — говорили жители. — Просто замечательно. Теперь можно заняться прибыльным делом. Очень хорошо, что они убрались прочь.

А люди, покинувшие город, быстро шли по песку и вскоре исчезли в сумерках.

— Кто они? — спросил я у той, что завела меня сюда.

— Поэты, — ответила моя фантазия. — Поэты и художники.

— Отчего они покинули город? — недоумевал я. — И почему жители радуются, что они ушли?

— Должно быть, город обречен на гибель, что-то подсказало им это, вот они и скрылись. А жители ничего не подозревают.

Я слушал звучащие над городом оживленные голоса, радующиеся открывшимся перспективам. А потом я тоже ушел, поскольку небо угрожающе мрачнело.

Лишь через тысячу лет я снова оказался в тех местах, но от города не осталось и следа, ничего, кроме бурьяна.



ПИЩА СМЕРТИ

 смерть была больна. Но ей принесли хлеба, отбеленного квасцами, какой теперь пекут булочки, и мясных консервов из Чикаго со щепоткой теперешнего заменителя соли. Ее вкатили в столовую большого отеля (там, в затхлой атмосфере Смерти сразу стало легче дышать) и напоили дешевым индийским чаем. Принесли ей бутылку вина, которое именовалось шампанским. Смерть выпила его. Купили газету с рекламой патентованных лекарств и накормили едой, какую газета рекомендовала инвалидам, и дали легкое лекарство, разрекламированное газетой. Дали молока с содой, точно так, как дают в Англии детям.

И Смерть встала, сильная, голодная, как волк, и снова принялась шагать по городам.

ЗАБЫТЫЙ ИДОЛ

 т друга мне достался древний диковинный камень — маленький идол, которому давно никто не молился, с лицом, похожим на свиное рыльце.

И когда я заметил, с каким унылым видом он сидел, поджав под себя скрещенные ноги, ожидая поклонения и сжимая батожок, который укоротили годы (а никто не обращал внимания на его батог, не возносил молитв, не приносил в дар кровавой жертвы, а ведь он — божество), то испытал жалость к этому маленькому, всеми забытому истукану, и помолился ему, как, быть может, молились в давние времена, до прибытия странных чужеземных кораблей, преисполнился смирения и сказал:

— О идол, изваянный из твердого блеклого камня, грозный судья, которого не смогли победить годы, выслушай меня, я к тебе обращаюсь.

О бледно-зеленый божок, совершивший долгое странствие, знай, что здесь, в Европе, и других близлежащих странах слишком



быстро уходят от нас радости жизни, угасает сила молодости и удаль. Слишком быстро увядают щеки любимых женщин, покрываются сединой их волосы, и они умирают. Слишком непрочно красота, хрупка и преходяща слава. Слишком быстро настигает нас старость. Листья, осыпающиеся листья, они – повсюду; люди знают – подошла осень, пора увядания, время жатвы. Это – приближение конца, сопротивление, умирание, оплакивание; не остается и следа бывлой красоты, она исчезает, как великолепие занимающейся над водой зари.

Наша память переполнена звуками давно смолкнувших голосов, дорогих нам голосов, которые больше не коснутся нашего слуха; увядают восхитительные сады нашего детства, и с течением времени затуманивается наш взор.

Ты не должен быть другом Времени, ибо тверда его неслышная и стремительная поступь, и это непреложная истина; я словно слышу скулеж лет, бегущих за ним, как свора гончих; еще немного – и они растерзают нас.

Оно безжалостно уничтожает все прекрасное, как взрослый человек, равнодушно вминающий в землю маргаритки, ему нет до них дела. Насколько же лучше маленькие дети. Всё в мире настигает осень, и звезды плачут, видя это.

Ты не можешь оставаться другом Времени, которое обрекает нас на исчезновение, не можешь питать к нему добрых чувств; будь милостив к нам, позволь существовать всему тому, что нам дорого, ради наших слез.

Так молился я ветреным днем, пожалев большеносого идола, пред которым никто больше не преклонял колени.

СФИНКС В ФИВАХ (МАССАЧУСЕТС)



В городе с высокими зданиями жила женщина, у которой было все, что можно купить за деньги, у нее было золото, и дивиденды, и поезда, и дома, у нее были домашние животные, с которыми она играла, ей не хватало только сфинкс.



И она попросила найти ей живую сфинкс; но ни в бродячих зверинцах, ни в лесах, ни в пустынях не было сфинкс.

Возможно, эта женщина удовольствовалась бы львенком, но львенок уже был у одной ее знакомой; поэтому поиски по всему миру продолжались.

А сфинкс все не попадалась.

Но люди, которые занимались поисками, были не из тех, кто опускает руки, в конце концов, они обнаружили сфинкс в пустыне. Она созерцала на закате руины храма, боги которого были съедены ею сотни лет назад, когда она проголодалась. На сфинкс набросили цепи — она перенесла это с обманчивой кротостью — и повезли ее на запад, и доставили домой.

Так сфинкс появилась в городе с высокими зданиями.

Женщина очень обрадовалась, что у нее теперь есть сфинкс, но однажды сфинкс пристально поглядела ей в глаза и тихим голосом загадала ей загадку.

Женщина не сумела ответить, и ей пришлось умереть.

А сфинкс снова замолчала, и неизвестно, что она еще захочет сделать.

ВОЗМЕЗДИЕ



о сне человеческая душа уносится дальше, чем днем. Однажды ночью и я, отправившись в странствие, покинул пределы индустриального городка и достиг границ Ада.

Все здесь было завалено шлаком и мусором; из земли торчали наполовину засыпанные предметы неопределенной формы и с зазубренными краями, и огромный ангел с молотом в руках сооружал что-то из стали и гипса. Мне стало любопытно, что он делает в этом ужасном месте. Немного поколебавшись, я спросил, что это он строит.

— Мы расширяем Ад, — ответил ангел. — Приходится идти в ногу со временем.

— Прошу вас, не будьте так суровы, — сказал я, потому что только что явился из века компромиссов, из страны упадка.



Но ангел ничего не ответил.

– Надеюсь, – сказал я, – эта пристройка не будет такой ужасной, как прежний Ад?

– Она будет еще хуже, – сказал ангел.

– Но как увязать столь тяжкое наказание с вашей природой, – сказал я, – ведь вы – Служитель Добра! – (Так выражались в городе, откуда я прибыл, и мне нелегко было справиться с давней привычкой.)

– Люди изобрели новые, дешевые дрожжи, – объяснил ангел.

Я взглянул на рекламу на стенах ада, которые возводил ангел; она была начертана огненными буквами и каждые пятнадцать секунд меняла цвет. «Дрожжи, великолепные новые дрожжи, которые укрепляют тело, мозг и кое-что другое», – прочел я.

– Им суждено смотреть на это до скончания веков, – сказал ангел.

– Но ведь они занимались совершенно законным бизнесом, – возразил я, – и не совершили никакого преступления.

Но ангел продолжал забивать в землю огромные стальные опоры.

– Вы очень мстительны, – сказал я. – Неужели вы никогда не отдыхаете от своей страшной работы?

– Однажды в Рождество я отдыхал, – ответил ангел, – но, взглянув на Землю, увидел детей, которые умирали от рака. Нет, я должен продолжать, пока адский огонь еще горит.

– Трудно доказать, – сказал я, – что новые дрожжи действительно так плохи, как вам кажется.

– В конце концов, – сказал я, – люди как-то должны жить.

Но ангел ничего не ответил и продолжал строить свой ад.

БЕДА НА УЛИЦЕ ЗЕЛЕННЫХ ЛИСТЬЕВ



Однажды она пошла в лавку идолов на Кротовую Горку, где торгует беззубый старик, и сказала:

– Мне нужен бог, чтобы поклоняться ему в сырую погоду.



Старик напомнил ей о тяжких карах, которые, как справедливо утверждают, ожидают всякого, кто поклоняется идолам, и когда он перечислил их все, она, как и следовало ожидать, повторила:

– Дайте мне бога, которому можно было бы поклоняться в дождливый день.

И старик ушел в глубину лавки, и долго там копался, и наконец показал ей бога. Упомянутый бог был вырезан из серого камня; выражение его лица было довольно благожелательным, а звали его, как, шамкая, объяснил старик, Бог Радости в Дождь.

Возможно, долгое сидение в четырех стенах действительно скверно влияет на печень, а возможно, подобные вещи идут из души, но в один дождливый день ее настроение так упало, что она почти узрела Ад; тогда, выкурив без толку несколько сигарет, она вспомнила о беззубом торговце с Кротовой Горки.

И он снова вынес ей серого идола и что-то прошамкал о гарантиях, однако никакого обязательства не написал; и не сходя с места она уплатила ему непомерно высокую цену и забрала покупку с собой.

И в следующий же дождливый день она помолилась идолу из серого камня, помолилась Богу Радости в Дождь (кто знает, что за обряд она совершила или не совершила), и тем самым навлекла на себя, – а жила она на улице Зеленых Листьев, в нелепом домике на углу, – такую судьбу, о которой говорят теперь все мужчины.

ТУМАН



казал сам себе туман:

– Давай поднимемся в Холмы¹. – И, стеная, стал подниматься.

Он затащил вершины и заполнил низины.

И древесные рощи вдали стояли в дымке, как призраки.

¹ В оригинале: *Даунс (Downs)* – невысокие меловые холмы в южной Англии. –

Прим. перевод.



Но я отправился к прорицателю, — к тому, который любил Холмы, — и спросил:

— Почему туман плачет в Холмах, когда заволакивает склоны и собирается в долинах?

И прорицатель ответил:

— Туман — это души множества людей, которые никогда не видели Холмов, а теперь мертвы. Поэтому-то они и плачут в Холмах — те, кто умер и никогда их не видел.

ПАХАРЬ



Он был полностью одет в черное, его друг — в коричневое, и оба принадлежали к двум почтенным семействам.

— Вы по-прежнему строите дома старым, испытанным способом? — спросил черный.

— Разумеется, — отозвался коричневый. — А как насчет вас?

— Мы не меняемся, — сказал его приятель.

Тут вдалеке проехал на велосипеде какой-то человек.

— А вот он постоянно меняется, — сказал тот, что был в черном. — В последнее время он меняется почти каждое столетие. Он не знает покоя. Сплошные перемены!

— Он теперь строит дома по-другому? — поинтересовался коричневый.

— Так утверждают мои родичи, — ответил черный. — Говорят, в последнее время Человек сильно изменился.

— Я слышал, он полюбил города, — заметил черный.

— Мой кузен, который живет на колокольнях, говорит, что да, — кивнул черный. — Он утверждает, в города теперь перебрались многие.

— И там люди худеют?

— Да, там они становятся совсем худыми, прямо-таки тощими.

— А это правда? — уточнил коричневый.

— Ка-рр! — сказал черный.

— А верно, что человек не может жить несколько столетий?



– Нет, нет, – быстро отозвался черный, – пахарь никогда не вымрет. Мы не можем себе позволить его потерять. В последнее время он наделал много глупостей, он играл с дымом и заболел. Машины и механизмы ослабили Человека, а его города – это само зло. Да, он очень болен. Но через несколько столетий он забудет свои глупые причуды, и мы не потеряем нашего пахаря. С незапамятных времен он прокладывал свои борозды, а мои родичи добывали себе пищу из разрытой земли. Нет, он не вымрет!

– Но ведь говорят же, – возразил коричневый, – что в городах чересчур шумно, что человек там становится болезненным и слабым и что он долго не протянет, ибо с ним происходит то же, что и с нами, когда нас становится слишком много; в дождливое лето трава горька, так и наша молодежь хиреет и умирает.

– Кто это говорит? – уточнил черный.

– Голубь, – сказал коричневый. – Он побывал в городе и вернулся грязным с головы до ног. И Заяц как-то раз тоже бегал к границам городов. Он утверждает то же самое. Он сказал, что Человек чересчур слаб, чтобы гоняться за ним. Заяц думает, что он скоро вымрет, и вместе с ним исчезнет его страшный друг Пес. Пес тоже вымрет. Этот негодный, отвратительный Пес... Он тоже перестанет существовать, это мерзкое отродье.

– Голубь и Заяц!.. – пробормотал черный. – Нет, мы не потеряем нашего пахаря.

– Но кто вам сказал, что он не исчезнет? – удивился его коричневый приятель.

– Кто мне сказал?! – воскликнул черный. – Мои родичи и Человек знают друг друга испокон века. И нам, и ему хорошо известно, что может погубить другого, а что мы в состоянии пережить, поэтому я и говорю – пахарь никогда не исчезнет.

– Он вымрет, – сказал коричневый.

– Кар! – возразил черный.

А Человек думал: «Еще только одно изобретение! Вот придумаю что-нибудь с этим бензином, а потом брошу все и вернусь в лес...»

АРАБЕСКА

 карабкался вдоль опасной наружной стены дворца Колькиноброс. Внизу подо мной – так далеко, что я едва мог разглядеть их в мягких сумерках и чистом прозрачном воздухе этой страны – шерились скалистые горные вершины.

Я пробирался не по зубцам бастиона и не вдоль балкона или террасы, а лез прямо по отвесной стене, нащупывая ногами малейшие выбоины и швы каменной кладки.

Будь я босиком, и со мной было бы покончено, но хоть я и был в одной ночной рубашке, на мне оказались надеты крепкие кожаные башмаки, ранты которых как-то держались в этих узких щелях. Мои пальцы и запястья ныли от усилий.

Если б было возможно на мгновение остановиться, я бы, наверное, не удержался и бросил еще один взгляд на тонущие в сумерках вершины внизу – и этот взгляд, несомненно, стал бы для меня роковым.

Разумеется, все это происходило со мной во сне. Нам всем не раз случалось куда-то проваливаться, падать в наших ночных кошмарах; общеизвестно, однако: тот, кто, падая во сне, достигнет дна – умрет. И, глядя на опасные скалы внизу, я понимал: грозящее мне падение может иметь именно такой конец. Поэтому я продолжал карабкаться дальше.

Удивительно, как несхожи между собой камни стены (а ведь каждый из них мерцает одинаковым бледным светом, каждый подобран слугами древних королей так, чтобы как можно меньше отличаться от остальных), если твоя жизнь зависит от того, за какой край ты ухватишься. Кромки камней казались на ощупь совершенно разными. Не стоило, впрочем, слишком долго раздумывать о надежности попавшегося под руку камня, так как соседний мог дать тебе лучшую опору – или подвести и предать смерти. Края одних камней были слишком острые, чтобы за них можно было схватиться; другие были утоплены в стену слишком глубоко; камни, держаться за которые было удобнее всего, крошились и осыпались первыми...



Услыхав слово «милость», Каи расхохотался



иными словами, каждый таил в себе ту или иную опасность. Кроме того, были еще твари, которые преследовали меня.

Наконец я достиг широкого пролома в стене, проделанного давным-давно землетрясением, ударом молнии или войной; чтобы обогнуть его, мне пришлось бы спуститься на тысячу футов вниз, и тогда твари несомненно настигли бы меня, ибо некие черные приматы, о которых я еще не упоминал, — существа с клыками, как у тигров, которые родились и выросли на этой стене, — преследовали меня на протяжении всего вечера. Как бы там ни было, двигаться дальше было невозможно; не знал я и того, как встретит меня король, по чьей стене я взбирался. Оставалось либо разжать руки и покончить с этим, либо дождаться, пока твари нагонят меня.

И тогда я вспомнил о булавке, которая в другом мире случайно выскользнула из вечернего галстука и попала в мир, где высилась мерцающая стена, и которая — если не вмешался никакой злой случай — должна была валяться на комодке подле моей кровати. Чудовища были уже совсем близко, они торопились, зная, что мои пальцы вот-вот соскользнут с узкой каменной кромки; впрочем, острые вершины дьявольских скал внизу выглядели так, словно были уверены — добыча достанется им, а не обезьянам.

И отчаянным усилием воли я потянулся туда, где на комодке лежала булавка. Несколько мгновений я нащупывал ее. Наконец я нашел ее... и вонзил себе в руку.

Спасен!..

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗГНАННИКОВ



Когда я поднялся на холм, при дороге сидели старик с молотом и другой, одноглазый с копьем, и разговаривали.

— Не то, чтобы нас не приглашали... — говорил тот, который был с молотом.

— Об этом известно всего-то двадцати, не больше, — отвечал второй.

— Двадцать есть двадцать, — заметил первый.



— После всех этих лет... — вздохнул одноглазый с копьем. — После стольких лет!.. Мы могли бы побывать там хоть разок!

— Конечно, могли, — согласился другой.

Их одежда была слишком старой даже для работников. На том, кто держал молот, был обгорелый, продырявленный во многих местах фартук кузнеца, а их руки и лица походили на старую, потрескавшуюся кожу. Но кем бы они ни были, они, по крайней мере, были англичанами, и встретить их мне было приятно, ибо на протяжении всего дня меня то и дело обгоняли автомобили, в которых сидели какие-то многочисленные личности неопределенной национальности.

Когда старики заметили меня, тот, что был с молотом, притронулся к своему засаленному картузу.

— Не будет ли слишком дерзко с нашей стороны, — сказал он, — спросить у вас, как добраться до Стоунхенджа?*

— Нам вообще не следовало туда ходить, — жалобно пробормотал второй. — Об этом знает не больше двадцати, но...

Я сам направлялся в Стоунхендж, поэтому я указал им дорогу и нажал на педали велосипеда, ибо в манерах этих двоих было что-то слишком подобострастное, чтобы мне хотелось иметь таких попутчиков. Судя по жалкому выражению их лиц, они много страдали и совершенно махнули на себя рукой, и я решил, что у обоих за плечами долгий срок каторжных работ.

Когда я приехал в Стоунхендж, то увидел человек двадцать, стоявших меж камней. Они довольно церемонно осведомились, ожидаю ли я кого-нибудь, и когда я ответил — «нет», больше со мной не разговаривали. Я думал, что оставил странных стариков милях в трех позади, но после того, как я немного побродил внутри каменного круга, они появились на дороге, широко и быстро шагая. Завидев их, все двадцать человек обнажили головы и стали вести себя очень странно, а я заметил, что у них с собой была коза, которую они подвели к древнему каменному алтарю. Два старика — один с молотом, другой с копьем, — стали плаксиво извиняться за ту вольность, которую себе позволили, вернувшись на это место, и все двадцать опустились перед ними на колени в траву. Не вставая с колен, они убили козу



перед алтарем, и, увидев это, два старика со многими извинениями и оправданиями приблизились и стали с жадностью нюхать кровь. И поначалу оба выглядели вполне довольными, но очень скоро тот, что был с копьём, снова принялся жаловаться и причитать.

— Когда-то это были люди, — приговаривал он. — Когда-то это были люди!..

И двадцать человек смущенно переглянулись, а одноглазый все причитал и причитал на одной плаксивой ноте, и вдруг все они посмотрели на меня.

Я не знаю, ни кто были эти два старика, ни чем они занимались, однако мне вдруг стало ясно, что мне пора откланяться — и я поспешил их оставить. И когда я вскочил на велосипед, до меня снова донесся жалобный голос старика с молотом, который извинялся за дерзость, которую он позволил себе, вернувшись в Стоунхендж.

— Но после стольких лет... — услышал я его всхлипывание. — После стольких лет!..

А тот, что был с копьём, добавил:

— Да, после трех тысяч лет...

ПРИРОДА И ВРЕМЯ



Однажды зимней ночью по улицам Ковентри шагал ликующий дух. За ним, — сутулая, неряшливая, одетая в лохмотья, с лицом, какие бывают только у бродяг и бездомных, — хныча, всхлипывая и жалуясь, торопилась несчастная душа. Она все норовила схватить духа за рукав, и, отдуваясь на ходу, осыпала его упреками, но он продолжал шагать дальше и не останавливался.

Ночь была морозной, но, похоже, вовсе не холода страшилась душа, хотя и была она скверно одета; гораздо больше пугали ее трамваи, ужасные магазины и огни фабрик, от которых она то и дело шарахалась, ранив ноги о камни мостовой.

А тот, кто шел впереди, казалось, ничего не замечал; ему было как будто все равно, жарко вокруг или холодно, тихо или шумно,



травы у него под ногами или мостовая, словно только и забот было у него, что шагать да шагать.

Наконец душа нагнала его, схватила за локоть, и я услышал, как она заговорила печальным голосом, едва слышным за шумом уличного движения.

— Ты забыл меня,— жаловалась она. — Ты бросил меня здесь.

И широким жестом она указала вокруг, словно имела в виду не только Ковентри, но и все близкие и далекие города. А дух грубо приказал ей не отставать и добавил, что он ее вовсе не бросал. Но она продолжала причитать на ходу:

— Уже на милях вокруг не увидишь ни одной анемоны, мои леса вырублены, а города все растут. Мое дитя — Человек — несчастен, остальные мои дети умирают, а города продолжают расти, и ты забыл меня!

И тогда дух сердито повернулся к ней, едва не остановив свой бег, который начался, когда были созданы звезды.

— Разве я когда-нибудь забывал про тебя? — спросил он. — Разве когда-нибудь оставлял тебя? Не для тебя ли разрушил я Вавилон? Разве не исчезла Ниневия? Где Персеполис, который так тебе не нравился? Где Тир и Фарсис? И ты утверждаешь, будто я о тебе забыл!

Но и это, похоже, нисколько не утешило душу. Я услышал, как она снова заговорила, с тоской глядя на своего спутника:

— Когда же мои дети снова увидят поля и траву?

— Скоро, скоро, — ответил дух, и оба замолчали. Потом дух зашагал прочь, душа повлеклась следом, и, когда он проходил мимо, все часы на башнях начинали бить.

ПЕСНЯ ДРОЗДА



Когда поэт проходил мимо тернового куста, в ветвях запел дрозд.

— Как это у тебя получается? — спросил поэт, ибо он знал птичий язык.

— Все очень просто, — ответил дрозд. — Хотя, с другой стороны, случай поистине удивительный. Я придумал эту песню прошлой



весной, вернее – она сама внезапно пришла ко мне. Все дело было в самой прекрасной самочке дрозда, какую когда-либо видел свет. Ее глаза были темнее, чем ночные озера, перья были чернее, чем сама ночь, и ничто не могло быть желтее ее клюва; летала же она быстрее молнии. Иными словами, она выделялась среди прочих самок буквально всем, и другой такой никогда не было. Я не осмеливался даже приблизиться к ней – так прекрасна она была. Но однажды прошлой весной, когда снова потеплело, – а до этого было холодно, мы питались оставшимися на ветвях ягодами, и все обстояло совершенно иначе, но настала весна, и опять стало тепло, – я размышлял о том, как она хороша и как чудесно, что мне довелось лицезреть ее – самую прекрасную самочку в мире, и в конце концов я раскрыл клюв, чтобы прокричать об этом; вот тогда ко мне и пришла песня, какой еще не бывало, и я, к счастью, сумел ее запомнить; ее-то я и пою сейчас. Но что самое поразительное, – и самое чудесное, что случилось со мной в тот волшебный день, – это то, что как только я запел, самая лучшая и самая прекрасная самочка в мире слетела ко мне и села совсем рядом на том же дереве. И более счастливого времени я не могу и припомнить.

Да, песня сложилась почти мгновенно, и когда я пел о...

Но мимо проходил старый бродяга с палкой, и дрозд улетел, а поэт рассказал страннику эту удивительную историю.

– Новая песня? – переспросил старик. – Как бы не так!.. Бог придумал ее много лет назад. Когда я был молод, ее пели все дрозды – вот тогда она была новой.

ВЕСТНИКИ



дин человек, скитаясь около Парнаса и преследуя зайцев, слышал великих Муз.

«Передай наше послание в Золотой Город».

Так возвестили Музы.

Но человек сказал: «Они зовут не меня. Я не из тех, с кем говорят Музы».



И Музы обратились к нему по имени.

«Передай нашу весть, — сказали они, — в Золотой Город».

А человек потупил взор, ибо преследовал зайцев.

А Музы снова воззвали к нему.

И когда в долинах ли или на высоких утесах он вновь услышал Муз, он наконец приблизился к ним и выслушал их послание, хотя с радостью уступил бы эту честь другим людям, а сам продолжал бы преследовать быстроногих зайцев в прекрасных долинах.

И они вручили ему венок из лавров, вырезанных из изумрудов — так искусно, как только Музы способны это сделать. «По этому венку, — сказали они, — люди поймут, что ты — вестник Муз».

И тот человек отправился прочь и облачился в алые шелка, как подобает вестнику Муз. И вбежал он в ворота Золотого Города и провозгласил весть, и плащ развевался за его спиной. Безмолвно встретили его мудрецы и старейшины Золотого Города; скрестив ноги, сидели они перед своими домами и читали со свитков послание Муз, которое пришло к ним задолго до этого дня.

И юноша прокричал послание Муз.

И они поднялись и сказали: «Ты не посланник Муз. Они бы дали нам знать». И они забили его камнями до смерти.

А потом они запечатлели его послание на золоте; и в святые дни читали его в своих храмах.

Когда Музы успокоятся? Когда они устанут? Они вновь послали вестника в Золотой Город. И вручили ему посох из слоновой кости с искусно вырезанными на нем самыми прекрасными сказаниями. Ведь только Музы могут так украсить посох. «По этому посоху, — напутствовали они, — люди узнают, что ты посланник Муз».

И он вошел в ворота Золотого Города с вестью для его жителей. И они снова выстроились на Золотой улице, прервав чтение послания, вырезанного на золоте. «Тот последний, что приходил, — сказали они, — принес венок из изумрудных лавров, какой под силу изготовить лишь Музам. Ты не посланник Муз».

И точно так же, как и предыдущего вестника, они забили его камнями. А потом вырезали его послание на золоте и поместили в свои храмы.

Когда Музы успокоятся? Когда они устанут? Даже после этого они снова прислали вестника к воротам Золотого Города. И по этому случаю он был увенчан золотым венком, что вручили ему великие Музы, венком из калужницы, желтой и нежной, и сделанной из чистого золота, и не кем иным, как Музами, и все же он был побит камнями в Золотом Городе. Но послание было получено, и что до этого Музам?

И нет им покоя, потому что недавно я услышал, как они зывают ко мне.

«Передай нашу весть, – попросили они, – в Золотой Город».

Но я не хотел отправляться в путь. И они вновь воззвали ко мне. «Передай нашу весть», – сказали они.

И я вновь не откликнулся, и они выкрикнули в третий раз: «Передай нашу весть».

И хотя они зывали уже трижды, я не желал отправляться. Но и утром и ночью и долгими вечерами они зывали.

Когда они успокоятся? Когда они устанут? И слыша их несмолкаемые просьбы, я приблизился к ним и сказал: «Золотой Город больше не Золотой Город. Они променяли свои столпы на латунь, а храмы – на деньги, а из золотых ворот начеканили монет. Их город стал темным обиталищем, исполненным порока, на его улицах нет покоя, красота покинула его, и старые песни ушли».

«Передай нашу весть!» – закричали они.

И я сказал великим Музам: «Вы не понимаете. Вам нечего передавать в Золотой Город, это место более не свято».

«Передай нашу весть!» – закричали они.

«В чем ваша весть?» – спросил я великих Муз.

И когда я услышал их весть, я извинился за то, что не рискнул бы говорить о таких вещах в Золотом Городе; и вновь предложили они мне отправиться туда.

И я сказал: «Я не пойду. Никто мне не поверит».

Но Музы всю ночь продолжали зывать ко мне.

Они не понимали. Откуда им знать?

ТРИ РОСЛЫХ СЫНА

И вот Человек воздвиг гордость своей цивилизации, высочайшее сооружение величайшего города.

Где-то в глубинах земли бесшумно мурчали машины, удовлетворяя все его нужды, отпала необходимость в тяжелом труде. Так сидел он и непринужденно обсуждал Проблему Пола.

И время от времени, из позабытых просторов к его подъезду, к самому дальнему бастиону наивысшей славы Человека, с трудом приходила бедная старуха, прося подаяния. И всегда ее прогоняли. Ведь это торжество свершений Человека, этот город был не для нее.

То сама Природа приходила попрошайничать из позабытых полей, и именно ее всегда гнали прочь.

И неизменно возвращалась она в свои поля.

И вот она явилась вновь, и вновь ее погнали прочь. Но с ней пришли три ее сына.

«Их следует выпустить, — сказала она. — Вот уж их, моих сыновей, нельзя не выпустить в твой город».

И три рослых сына вошли.

И были это сыновья Природы, ужасные дети этой отринутой, — Война, Голод и Чума.

И вот вошли они внутрь и застали Человека в его городе врасплох, все еще занятого своими проблемами, озабоченного своей цивилизацией, не слышащего шагов этих троих, что подошли сзади.

КОМПРОМИСС

И выстроили они свой великолепный дом, свой город славы, прямо над логовом землетрясения. Они выстроили его из мрамора и золота в сияющей юности мира. И там они пировали и боролись друг с другом, и называли свой город бессмертным, и танцевали, и пели песни богам. Обитателей этих счастливых улиц не заботило землетрясение. А в недрах земли, у черного подножия про-



пасти те, что поработят Человека, безостановочно бубнили и бормотали во тьме, бормотали и подстрекали землетрясение испробовать свою силу на этом городе, бесстрастно подкравшись в ночи, и раскрошить их столпы, как кости. И снизу, из закопченных глубин, землетрясение отвечало им, но не собиралось им потакать и потому не мешало, ибо — кто знает, кем были те, что танцевали целыми днями под грохот стихии, может стать даже, правители того города, что не страшился гнева землетрясения, были богами!

И так брели мимо столетия, обходя весь свет, и однажды те, что танцевали, те, что пели в том городе, вспомнили, что прямо под их ногами, в глубинах, таится в своем логове землетрясение. И они начали строить планы, один за другим, и искать способы избежать опасности, искать пути умиротворить землетрясение и унять его гнев.

Они посылали в недра земли поющих дев и жрецов с овсом и вином. Они посылали вниз гирлянды и ягоды в надежде на благосклонность. Вниз, по черным ступеням к черным глубинам земли они посылали только что зарезанных павлинов, и мальчиков со жгучими специями, и священных белых изящных кошек в ожерельях из жемчуга, только что добытого из моря. Они посылали в недра огромные бриллианты в кофрах из тика, и притирания, и диковинные точные краски, стрелы и доспехи, и кольца своей королевы.

«Ага, — сказала землетрясение в холоде земных глубин, — так они вовсе не боги».

ДО ЧЕГО МЫ ДОШЛИ



огда рекламодатель узрел в рассветной дымке силуэты церковных шпилей, он глядел на них и рыдал.

«О если бы так, — говорил он, — выглядела реклама тефтелек “Бифо”, таких вкусных, таких питательных, кладите их в суп, они так нравятся дамам».



ГРОБНИЦА ПАНА

ринимая во внимание тот факт, что древний Пан мертв, пришло время сделать ему усыпальницу и воздвигнуть памятник, дабы ужасный культ стародавних веков не забывался и никогда не возвращался к нам».

Так решили народы просвещенных земель. И возвели они белый величественный монумент из мрамора. Он постепенно вырастал из рук ваятелей и каждый вечер все дольше блистал в лучах закатного солнца.

И одни скорбели по Пану, пока ваятели ваяли; другие поносили его. Одни призывали ваятелей прервать работу и оплакать Пана, другие призывали вообще прекратить строительство памятника божеству столь дурной славы. Но ваятели упорно ваяли.

И однажды все было окончено, и усыпальница походила на пологий морской утес. И в камне был изваян Пан, с покорно склоненной головой, попираемой ангелами. И когда мемориал был окончен, солнце уже зашло, но от массивного монумента Пана еще долго исходило розовое свечение.

И в наши дни многие просвещенные люди приходят, и, глядя на изваяние, вспоминают Пана, что уже опочил, и все сожалеют о нем и о его нечестивой эпохе. А иные втихомолку оплакивают кончину Пана.

А по вечерам, тихонько выйдя из леса и проскользнув неуловимой тенью к холмам, Пан видит памятник и хохочет.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЪЕЛ ФЕНИКСА



Посвящается леди Мэри Клайв

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЪЕЛ ФЕНИКСА

ГЛАВА I КАК СЪЕЛИ ФЕНИКСА



Одну из этих историй я услышал непосредственно от человека, который съел феникса, несколько мне поведали люди, которые в разное время с ним разговаривали, остальные же широко известны всем, кто живет с ним бок о бок; и в целом эти истории как бы растворены в воздухе и висят над нашими полями и тропинками подобно знакомому нам туману, что встает над топиями, ибо человек, съевший феникса, живет среди нас. Истории эти родились благодаря его влиянию, и именно его волшебное присутствие притягивает вещи странные и удивительные; вот почему я решил отдать должное человеку, съевшему феникса, поместив его изображение на обложке этой книги.

Порой вы видите, как он, – весьма аккуратно одетый (совсем не так он одевался раньше!) – проезжает мимо на своем велосипеде с сознанием того, что все, кто видит его сейчас, относятся к нему как к настоящему волшебнику.

А вот как это начиналось – начиналось много-много лет назад. Однажды ясным весенним утром лорд Монаган сказал своему управляющему:



– Говорил я тебе – следи за моим золотым фазаном, чтобы он не удрал!

– Но, милорд, – ответил управляющий О’Махоуни, – я следил за ним, и уж конечно, золотой фазан не улетел бы от меня.

– Как же вышло, что он пропал?

– Он ни за что не улетел бы от меня, – повторил О’Махоуни. – Должно быть, его украли цыгане. Этот фазан знал по именам всех моих детей и брал пищу у них из рук. Нет, сам он ни за что бы не покинул нас.

– Нужно было подрезать ему крылья, – сказал лорд Монаган.

– Подрезать крылья, вот как?! – воскликнул О’Махоуни. – Да если бы я подрезал ему крылья, ваш фазан мигом достался бы браконьерам, ибо не был бы в состоянии от них упорхнуть. Но никогда бы он не удрал от моих детей.

– Как бы там ни было, фазан исчез, – сказал лорд Монаган.

– И все же он никогда не убежал бы по собственному желанию, а вот цыган стало в последнее время в округе что-то слишком много. Впрочем, что пропало – то пропало; такова, стало быть, воля Божья, и прошлого не воротишь.

Тут лорд Монаган понял, что все его упреки, адресованные управляющему, будут и дальше парироваться с отменной ловкостью и интерпретироваться как выпады против Провидения, поэтому он ничего больше не сказал, внутренне примирившись с потерей золотого фазана. На самом деле эта великолепная птица, улетевшая от управляющего одним апрельским утром, находилась теперь на расстоянии восьми или девяти миль от усадьбы лорда Монагана. А другим ясным весенним утром золотого фазана увидел на краю Алленской трясины юный Микки Малинн.

Для человека, у которого не было ружья, Микки Малинн знал о птицах на удивление много: он знал, когда на болота прилетают белолобые гуси, на каком лугу кормятся гуси серые, знал, когда вернутся с далеких морских берегов гонимые штормом белошёртые казарки, хотя в его представлениях они вылуплялись не из яиц, а из морских желудей, что во множестве липнут к прибрежным скалам. Микки знал даже, когда прилетают в леса вальдшнепы, хотя это

знание и не имело для него почти никакой практической пользы, ибо леса хорошо охранялись; впрочем, на вершинах холмов встречались заросли утесника, куда вальдшнепы прилетали тоже, и Микки Малинн ухитрился провести об этом раньше других.

Иногда и фазаны залетали довольно далеко от своих гнезд, и Микки всегда знал, где их можно найти, но увы – у него не было ружья! Вот почему каждый раз, когда ему становилось известно о появлении той или иной дичи, Микки отправлялся к своему другу Пэдди О'Хоуну и рассказывал ему новости, а Пэдди, который в те времена был мало кому известным и, по правде сказать, довольно никчемным молодым человеком и который стал теперь Человеком, Который Съел Феникса, давал ему на денек свое ружье; за это Микки снабжал его сведениями о всех перемещениях дичи, и надо заметить, что это была лучшая информация подобного рода, какую только можно было получить в приходе.

Когда Пэдди О'Хоуну было лет двенадцать или четырнадцать, некоторым он казался немного странным, но врач сказал, что с ним все будет в порядке, – и так оно и вышло.

«Только ему нельзя слишком возбуждаться, – предупредил врач. – И нельзя давать ему ни капли алкоголя. Видите ли, миссис О'Хоун, в вашей семье было слишком много браков между близкими родственниками; вы сами вышли замуж за двоюродного брата, да и в семье вашего супруга подобное тоже нередко случалось, так что...»

«Я получила разрешение на брак с двоюродным братом из самого Рима, – заявила миссис О'Хоун. – Уж не хотите ли вы сказать, что с этим разрешением что-нибудь не так?»

«Вовсе нет, – ответил доктор. – Просто не позволяйте Пэдди чересчур волноваться и следите, чтобы он не пил вина. Этого вполне достаточно, чтобы с ним все было прекрасно.»

«Я рада, что вы не возражаете против моего брака с двоюродным братом», – заключила миссис О'Хоун.

«Что вы, нисколько, нисколько, – заверил врач. – И в мыслях не имел ничего такого.»

Именно к Пэдди О'Хоуну и поспешил Микки Малинн, чтобы сообщить другу, что феникс снова вернулся на землю и что сейчас



он находится на краю болота в том месте, где спускается к топям от задворков фермы Магуайра узкий проселок. И, получив ружье, Микки весь вечер провел там, где подходит к болоту магуайрова дорога, подстерегая феникса. Между тем слух о возвращении чудесной птицы стремительно разнесся по окрестностям, и уже на следующий день каждый молодой человек, который только сумел достать ружье, отправился на болота, чтобы поохотиться на феникса, но никто из них не обладал теми сведениями о его точном местонахождении, какие Микки сообщил Пэдди.

Когда весть о возвращении феникса достигла Раталлена, первым ее услышал отец Рурк. Священник и сам баловался охотой и, будучи в достаточной степени спортсменом, обычно не без внимания выслушивал новости о появлении дичи, которые доставлял ему Микки. Но слухи о появлении феникса не принесли ему радости, ведь как ни суди, а эта странная, бессмертная птица принадлежала к языческому миру. И кто-то может подумать, будто в первую очередь священник поспешил выяснить, насколько достоверны эти слухи, и постарался убедиться, что странная птица – именно феникс, а не что-то иное, однако в действительности он занялся совсем другим. Первым делом отец Рурк убедился в том, что все молодые люди в приходе действительно верят, будто в округе появился самый настоящий феникс, и когда ему стало ясно, что поколебать эту веру он не в силах, он понял, что все эти юноши впали в язычество; вот почему, вместо того чтобы разобраться, откуда этот феникс взялся и что собой представляет, священник был куда больше озабочен вопросом, какое действие эта всеобщая вера в бессмертного феникса может оказать на мысли и поступки его паствы.

В целом отец Рурк не видел в появлении феникса особого вреда. С другой стороны, феникс, по большому счету, был явлением скорее духовным, чем зоологическим; вера в бессмертную, снова и снова возрождающуюся птицу была очень древней, корни этой легенды уходили в глубины веков, и, следовательно, отец Рурк не мог просто отмахнуться от странной идеи, которая вдруг расцвела пышным цветом в головах его прихожан. Как ему было хорошо известно, внезапные приступы опасных болезней были свойственны не только

материальному, но и духовному миру, а посему священник счел необходимым повнимательнее присмотреться к новому врагу, который столь неожиданно вторгся на территорию его прихода. Вот почему когда отец Рурк в следующий раз увидел Микки Малинна, шагавшего по улице крошечного поселка Раталлен, он поспешил позвать его к себе.

– Тс-с, Микки. Подойди-ка сюда, – сказал он.

– Я вас слушаю, святой отец, – отозвался Микки, подходя к священнику.

– Скажи-ка мне, Микки, что разыскивал ты в прошлое воскресенье на болотах лорда Монагана? – спросил отец Рурк.

– Да что попадется, отче, – отвечал Микки.

– И что, как тебе казалось, там может попасться? – спросил отец Рурк.

– Ах, отче, я вам лгать не стану, – сказал Микки. – Феникс вернулся в Ирландию, и теперь это всем известно. Именно эту птицу я выслеживал на болотах в прошлое воскресенье, ведь феникса видели именно на болоте.

– Так вот, значит, что ты там искал! – воскликнул отец Рурк.

– Скажите, отче, а это грех – застрелить феникса? – спросил Микки.

– Я бы не сказал, что это грех, – ответил священник. – Но я не утверждаю, что это не грех. Я даже не говорю, что такая птица вообще существует.

– Но, отче, разве однажды сам папа римский не прислал перо феникса в дар Рыжему Хью О’Нилу? Я слышал, что когда-то давно он это сделал.

– Я знаю об этом случае, – сказал отец Рурк. – И я знаю, почему святой папа послал перо Хью О’Нилу. Но это вовсе не значит, что феникс существует.

– Но, отче, – возразил Микки, – разве феникс не бессмертен?

– А я никогда не утверждал обратное, – ответил отец Рурк. – Кроме того, разве не может бессмертная птица перелетать с одного места на другое, как одна из тех обычных птиц, которых лорд Монаган бьет в августе на болотах или в чаще леса, когда приходит



зима? И разве не мог феникс за три сотни лет улететь очень далеко от Ирландии? Конечно же мог!

— В таком случае, отче, феникс вернулся, — сказал Микки. — Мы все видели его своими собственными глазами.

— Если так, то я советую вам быть очень осторожными, — молвил отец Рурк, — ибо все вы еще слишком молоды, чтобы иметь дело с бессмертными тварями; будьте же очень, очень осторожны!

— Конечно, мы будем очень осторожны, — заверил его Микки.

— В нашем приходе хватает грехов, — вздохнул отец Рурк. — Не стоит без нужды еще больше увеличивать их количество.

И после этого он вернулся в дом и, взяв в руки книгу, которая хранилась в его небольшой библиотеке, нашел в ней несколько древних сказаний о фениксе, которые в последний раз читал, когда был мальчишкой; таким образом, если бы этому легендарному существу действительно вздумалось объявиться в приходе, отец Рурк готов был встретить его во всеоружии.

А на следующий день Пэдди О'Хоун застрелил сказочную птицу именно там, где Микки увидел ее в первый раз — в том месте, где дорога сбегаёт от фермы Магауйра к Алленской трясине и там вдруг останавливается, будто испуганная лошадь.

Золотой фазан оказался на болоте по той простой причине, что стоило ему появиться в лесу в своем великолепном оперении, как все простые фазаньи самцы дружно набрасывались на него и прогоняли; так золотой фазан постоянно передвигался с места на место, все больше удаляясь от деревьев, пока не оказался на открытой местности примерно в девяти милях от своего дома. Пэдди О'Хоун едва не наступил на него, одиноко сидевшего в своем убежище среди вереска; и не успел фазан взлететь, как Пэдди выстрелил, и подбитая птица камнем грянулась на землю, и, медленно кружась, сыпались на траву алые и золотые перья — ярко-золотые перья с головы и хохолка, густо-золотые с голубой каймой перья с шеи и алые перья с груди и с боков.

Это была самая красивая птица из всех, каких он когда-либо видел, что, правда, ни о чем не говорит, поскольку за свою жизнь



Пэдди никогда не удалялся от Раталлена больше чем на несколько миль; с другой стороны, это была самая прекрасная птица, какую он только мог вообразить, что говорит уже гораздо больше, поскольку Пэдди О'Хоун с детства отличался буйной фантазией. И когда он увидел распростертую на траве мертвую птицу, ему на ум вдруг стали приходить странные мысли; прежде Пэдди не колебался, когда ему приходилось убивать из спортивного азарта или следуя охотничьим традициям, но сейчас он задумался, не совершил ли он что-то по-настоящему скверное, ибо разве не считался феникс бессмертным? Это действительно был очень непростой вопрос, и он весьма озадачил Пэдди. Не прикончил ли он только что одну из древнейших легенд Ирландии? Не может ли случиться так, что из-за него больше никогда не будет сказок и историй о фениксе? И внезапно им овладело раскаяние, какое познал старый мореход*, когда застрелил альбатроса из своего арбалета.

И, поспешно покинув болота, Пэдди напрямик отправился к дому священника, не задержавшись даже для того, чтобы рассказать о случившемся Микки. Когда он звонил в колокольчик у двери отца Рурка, птица лежала у него в сумке, и длинные хвостовые перья торчали наружу, и когда женщина, которая вела для отца Рурка хозяйство, ему открыла, Пэдди спросил, нельзя ли ему увидеть священника как можно скорее.

— Дело в том, что... — добавил он, пытаясь объяснить, почему его дело такое срочное.

— Ах, входи же, — перебила женщина. — Отец Рурк дома, я сейчас ему скажу.

И Пэдди с удивлением увидел, что ему вовсе не нужно объяснять, что случилось и почему он так торопится увидеть священника, ибо не сознавал, что женщина эта ежедневно открывала двери людям, приходившим к отцу Рурку со своими тревогами и неразрешимыми вопросами, и поэтому она скорее потребовала бы объяснения от человека, явившегося с каким-нибудь обычным делом, чем от того, кого привели к дому священника беда или несчастье. И, прислонив к стене ружье, Пэдди вошел к отцу Рурку с золотым фазаном в ягдташе.

– Отче! – воскликнул он, едва переступив порог комнаты священника. – Да поможет мне Бог! Я только что застрелил феникса.

– Дай-ка мне на него взглянуть, – сказал отец Рурк, который сразу заметил золотые перья длиной в добрый ярд и понял, что таинственная птица лежит у охотника в сумке.

С лицом, исполненным скорби, которая нарастала в нем с того самого момента, когда он спустил курок, Пэдди вынул из кармана свой золотисто-алый трофей. И отца Рурка вовсе не удивило, что кто-то добыл таинственную птицу, ибо все юноши деревни, кто только мог держать в руках ружье, искали ее уже в течение двух дней, и все это время священник напряженно размышлял о проблеме феникса. В полумраке комнаты отливающие червонным золотом перья казались еще роскошнее, чем при дневном свете; их багряный отлив был гуще и богаче, чем любая вещь, когда-либо виденная в этом доме, и даже позолота на рамах картин, висевших на стенах, не могла сравниться с ярким золотом головы, увенчанной хохолком из окайменных голубым перьев еще более глубокого золотого оттенка, которые в свою очередь оттеняли зеленое с черным оперение грудки; сложенные же крылья были шоколадно-коричневыми с синевой по середине. И все же отец Рурк почти не смотрел на эти сверкающие краски. Он бросил на птицу только один взгляд и сразу перевел глаза на взволнованное лицо Пэдди. В первую очередь, решил он, нужно успокоить охотника, а потом постараться развенчать культ феникса, который мог распространиться среди молодых людей селения и склонить их к языческим вещам и представлениям, отвратив от всего по-настоящему важного.

– Это самая обычная птица, – сказал священник.

– Обычная, отче?! – воскликнул Пэдди.

– Когда-то они часто встречались в некоторых районах Ирландии, – объяснил отец Рурк. – Не пойму, что тебя так смущает.

– Ах, отче, я думал, что убил бессмертное существо, – сказал Пэдди.

– И ошибся. Не думай больше об этом, – сказал священник.

И Пэдди, низко опустив голову, повернулся, чтобы уйти.

— И заberi эту мертвую птицу. Не оставляй ее здесь, — сказал отец Рурк.

— Я думал, может она вам зачем-нибудь нужна, — смиренно объяснил Пэдди.

Но отцу Рурку меньше всего хотелось оставлять у себя птицу. Он отлично знал: о том, что феникс находится у него в доме, сразу станет известно всем, а священник не желал, чтобы его репутация опиралась на языческие вещи и предметы; с тем же успехом он мог бы разобрать свою церковь, стоявшую на холме на каменном фундаменте, и заново отстроить ее на болоте.

— К чему мне лишний мусор? — сказал священник. — Моя экономка и так едва справляется, наводя порядок.

— Как же мне тогда поступить с этой птицей? — спросил Пэдди.

— Лучше всего ее съесть, — посоветовал отец Рурк.

— Съесть? — переспросил Пэдди.

— Ну да, конечно, — кивнул священник. — Попроси мать, пусть она приготовит ее для тебя.

И Пэдди с птицей в руках пошел прочь; захватив свое ружье, он задумчиво шагал по гравийной дорожке перед домом священника, и отец Рурк подумал, что на этом почитанию феникса придет конец.

А Пэдди в самом деле пошел домой и отдал птицу матери.

— Господи помилуй! — вскричала миссис О'Хоун. — Да что же это такое?! Неужто ангел свалился к нам с Небес?

— Отец Рурк сказал, что это самая обыкновенная птица, — объяснил Пэдди.

— Обыкновенная, вот как? — не поверила его мать.

— Да, и еще он сказал, что я должен ее съесть, — добавил Пэдди. — Он велел, чтобы ты ее приготовила.

Миссис О'Хоун знала, что Пэдди всегда говорит правду, поэтому сделала, как велел священник. И она сразу стала готовить волшебную птицу, ибо не знала, что та может навлечь на их дом, если пролежит в нем хотя бы сутки. Миссис О'Хоун даже достала припрятанную бутылку хереса, чтобы приготовить это удивительное чудо самым достойным образом, и пока она ощипывала сыновний трофей, то



приговаривала: «Обыкновенная, вот как?..» И когда наконец птица в вине была готова, миссис О'Хоун подвела итог всем своим мыслям, которые роились в ее голове, с тех пор как она впервые увидела в своем доме эту переливающуюся всеми оттенками золотого и алого красоту, одной фразой:

— Да это же самый настоящий феникс!

И сама она не прикоснулась к птице и даже держала блюдо подальше от себя, когда ставила его перед сыном, но Пэдди миссис О'Хоун не запретила есть феникса, потому что так велел отец Рурк. Вот как получилось, что Пэдди, сидя за столом перед большим очагом, съел волшебную птицу один.

— У нее странный вкус, мама, — сказал Пэдди, потому что никогда прежде не ел фазанов и не пробовал хереса.

— И не удивительно, — отозвалась миссис О'Хоун.

И он съел всю птицу, которая, лишившись своего великолепного оперения, оказалась совсем небольшой, а потом взял ложку, чтобы не потерять ни капли хереса из подливки. Вскоре в глазах Пэдди появилось новое, незнакомое выражение, зрачки расширились, и взгляд его уже не различал сквозь раскрытое окно отдаленные предметы; те же предметы, что находились рядом, представлялись ему расплывчатыми и неясными, и это делало их особенно интересными, тогда как теснившиеся в голове Пэдди фантазии и старинные ирландские легенды становились все более выпуклыми и реальными; и, отложив нож и вилку, он сказал:

— Я съел феникса!

— Так и есть, — подтвердила его мать, — и теперь одному Богу известно, что из этого выйдет, хотя я все сделала, как велел отец Рурк, и приготовила его для тебя.

И в этот момент за окном промелькнула какая-то тень; возможно, это был просто козленок, но Пэдди, чей разум переполнялся старинными сказаниями, заметив его буро-волосатое тело, воскликнул:

— Я только что видел лепрекона!*

— Почему бы нет? — сказала миссис О'Хоун. — Почему бы, в самом деле, и нет, если древние чудеса вновь начали возвращаться на Землю?



ГЛАВА II

ДУХ



дно перо из хвоста феникса Пэдди стал носить за лентой шляпы, а было оно длиной в целый ярд. Слухи, однако, распространились очень быстро, так что в подобном отличительном знаке не было особой нужды: все и так знали, что он – Человек, Который Съел Феникса. И некоторое время спустя возбуждение, в которое пришел Пэдди, отведав удивительное блюдо (вне зависимости от того, была ли эта реакция вызвана волшебным мясом или хересом), почти прошло, однако слава его никуда не исчезла. А в первые час или два после еды наш молодой человек действительно видел странные вещи или, точнее, вещи, которые показались бы странными каждому, кто не был с детства знаком с ирландскими сказками и легендами, поэтому впоследствии Пэдди стали считать непрекрасимым авторитетом по части таких вещей, как лепреконы, призраки и повседневная жизнь маленького народа.

Говорят, что сразу после своей удивительной трапезы Пэдди, все еще взбудораженный горячим хересом, вышел из дома, чтобы отыскать лепрекона, который только что промелькнул мимо окна; никакого лепрекона он, однако, не увидел и, как утверждали поначалу один или двое очевидцев, зашагал по дороге, бормоча что-то себе под нос, однако к тому моменту, когда я услышал эту историю, все свидетельства были уже приведены в соответствие друг с другом и превратились в одну однородную, связную повесть, которую до сих пор рассказывают чужакам, приезжающим в те края; собственно говоря, эта повесть и есть часть традиционного раталленского фольклора.

Как гласит эта история, в тот славный день, когда Пэдди съел феникса, он вышел из дома матери в поисках лепрекона, однако не успел юноша прошагать и двадцати ярдов по дороге, что ведет в Баллинаклар, как встретил духа: маленькое, жалкое, истощенное существо цвета ветра, как описывал его сам Пэдди. Этот дух тоже двигался по дороге, как делал, наверное, на протяжении веков, влекомый



то ли случайными воздушными потоками, то ли прежними страстями и наклонностями (смотря по тому, что больше приличествует духу); и он то слегка мешкал, то вовсе останавливался, а потом вдруг снова начинал скользить вперед. Но до тех пор, пока Пэдди не съел феникса, ни один человек этого духа не видел.

— Что не дает тебе покоя? — спросил у него Пэдди.

— Ах, — ответил дух, — я скитаюсь по этой дороге дольше, чем ты живешь в своем теле, дольше даже, чем прожил на свете твой отец, и за все это время я не выпил ни капельки виски.

— Ну, это мы, пожалуй, исправим, — сказал ему Пэдди. — Но как случилось, что ты осужден ходить по этой дороге?

— Ах, — вздохнул дух, — как это нередко случается, я поспорил с одним человеком по поводу политики, но он придерживался противоположных, нежели я, убеждений, и вот он набросился на меня, чтобы доказать свою правоту — тут мне и пришел конец.

И Пэдди уже собрался было назвать имена двух человек, которые в те времена играли важную роль в политике, и спросить духа, которого из них тот поддерживает, но сообразил, что эти люди вряд ли ему знакомы; и, поразмыслив еще немного, Пэдди осведомился, был ли дух сторонником Кавендиша и Берка* или выступал против них, ибо полагал, что по времени эти двое стоят ближе к знакомой духу эпохе. Но дух отвечал только одно:

— Ах, отстань от меня со своей политикой, я утратил к ней всякий интерес.

— Никогда я не встречал человека, который потерял бы интерес к политике, но сохранил вкус к виски, — заметил Пэдди.

— Так уж обстоят дела, — сказал дух.

— Ничуть не сомневаюсь, — ответил Пэдди и пошел по дороге дальше, направляясь к пабу Гоутана, а дух последовал за ним, то забегая вперед, то, наоборот, отставая, как делают некоторые суетливые собаки. И если судить по этим его перемещениям, то представляется весьма вероятным, что духами управляют именно прежние страсти или какие-то другие капризы, поскольку теперь он шел в направлении, противоположном тому, в котором двигался до того,



как встретился с Пэдди, чего он не мог бы сделать, если бы его нес ветер — если, конечно, за это время ветер внезапно не переменялся.

Как говорится в легенде, которую я слышал в Раталлене, Пэдди и дух добрались до паба Гоугана и вошли внутрь. В это время там сидели пять или шесть молодых людей, но они, конечно, не видели никакого духа, поскольку никто из них не пробовал волшебного мяса феникса. И Пэдди дружески их приветствовал, а потом приблизился к стойке и попросил Гоугана налить ему два стаканчика виски. И прежде чем хозяин спросил, для кого предназначается второй стакан, Пэдди повернулся к духу и сказал:

— Вот, выпей стакан этого доброго виски, ибо у мистера Гоугана другого виски не бывает, к тому же после смертного холода могилы виски покажется тебе особенно приятным.

И не успел Пэдди договорить, как все парни, что сидели в пабе, догадались, что он разговаривает с призраком. Они, конечно, сразу же стали всматриваться в пустое пространство рядом с Пэдди, надеясь что-нибудь разглядеть, но ничего не увидели. Тогда они устремили свои взгляды на самого Пэдди, стараясь угадать, не шутит ли он, но по его торжественному лицу поняли, что он совершенно серьезен. А еще они заметили у него на шляпе перо феникса, которое невозможно было не заметить, поскольку оно было в целый ярд длиной, и хотя тогда никто еще не знал, что Пэдди съел волшебную птицу, молодые люди поняли, что их односельчанин соприкоснулся с волшебством; ну а о том, что по Баллинакларской дороге часто ходят духи, знали в Раталлене многие, хотя никто из тех, кто живет ныне в этом поселке, никогда ни одного не видел. Весьма вероятно также, что если бы Пэдди не получил от феникса способность призывать духов, этот дух сам бы явился к нему, привлеченный видом волшебного пера.

Как бы там ни было, никто из парней не проронил ни слова; все они только сидели и смотрели, что будет делать Пэдди. А наш молодой человек взял свой стакан и начал пить, и чем больше он пил, тем оживленнее становилась его беседа с призраком. И следующим, что Пэдди ему сказал, что тот, мол, наверное, уже давно не пробовал виски. А потом он добавил, что духу, наверное, очень



скучно бродить по дороге туда и сюда и не иметь никакого другого занятия. И снова молодые люди не заметили ничего особенного или странного, но потом Пэдди сделал из своего стакана еще один или два глотка и, повернувшись к духу, спросил:

– Но разве не лучше бродить по Баллинакларской дороге, пусть там порой и бывает довольно одиноко, чем находиться в каком-нибудь другом месте?

И он, разумеется, не сказал, какое это место, ибо и у призрака могли быть такие же чувства, как у любого человека.

Услышав эти слова, молодые люди затихли, потому что коли дело дошло до вопросов, то за ними должны были последовать и ответы. И никто из них не произносил ни слова, не прихлебывал из своих кружек и стаканов; они старались даже не дышать, однако что бы ни сказал дух, он сказал это Пэдди, и парни не услышали ни слова. Они могли бы догадаться, что раз видеть духа можно только с помощью волшебства или магии, следовательно, и для того, чтобы его слышать, тоже необходимо что-нибудь в этом роде, но они не догадались и убедились в этом только потом – после того как целых полминуты напряженно прислушивались в надежде услышать тайны, обычно скрытые от людей.

– Не так ли? – промолвил Пэдди и сделал еще один глоток из своего стакана.

И на мгновение всем показалось, что слова «Да, конечно!» уже дрожат в тишине, готовые вот-вот сорваться с призрачных уст, но когда они наконец прозвучали, услышал их один Пэдди.

– А чем ты обычно занимаешься по вечерам? – снова спросил Пэдди.

И никто так и не узнал, что ответил ему дух, однако спустя какое-то время парни услышали, как Пэдди сказал:

– Я-то думал, что днем ты спишь...

И с этим утверждением дух был категорически не согласен; молодые люди поняли это по лицу Пэдди, хотя единственным, что он сказал, было:

– Клянусь Богом, вечность – это довольно долго!

И юношам показалось, что с этим дух согласился, хотя они снова ничего не услышали и не увидели даже его тени, к тому же

второй стакан так и стоял нетронутым на стойке рядом с Пэдди – на том месте, куда он его и поставил. Но чем меньше виски оставалось в стаканчике самого Пэдди, тем больше, казалось, у него находится, что сказать духу. И Гоутан, протиравший тряпицей свои стаканы вне зависимости от того, нуждались они в этом или нет, тоже косился краешком глаза на место рядом с Пэдди, но ничего не говорил.

– Ну и чем ты обычно занимаешься? – спросил Пэдди у духа.

– Являешься разным людям? – проговорил он после небольшой паузы. – Вот ей-богу, на твоём месте я не стал бы этого делать, потому что тебя могут неправильно понять. То есть, я хочу сказать – некоторым людям это может не понравиться, и они захотят тебя изгнать.

И тогда тем, от кого я слышал эту историю, показалось, что дух что-то возразил, ибо Пэдди принялся извиняться и оправдываться.

– Да, конечно... – бормотал он. – Я только имел в виду, что в наших краях найдется несколько молодых сорвиголов, которые никого и ничего не боятся и которые недавно застрелили полицейского. А тот, кто способен убить человека, не остановится и перед тем, чтобы изгнать духа. Вот ей-богу! Извини, конечно, но так оно и будет. Точно тебе говорю!

Но, дух, похоже, вовсе не был в этом уверен, ибо спустя какое-то время Пэдди сказал:

– Но ведь буквально в прошлом марте один из них сражался в одиночку против целого полка! Это было в соседней деревне. В наших краях об этом всем известно.

И все же Пэдди, похоже, проигрывал свой спор с духом, хотя о чем именно они спорили, оставалось только догадываться.

– Да вся деревня видела этот бой своими собственными глазами! – воскликнул Пэдди, но потом вдруг вовсе перестал спорить.

– Не станешь же ты являться человеку, – проговорил он, – который впервые за сто лет угостил тебя стаканчиком доброго виски, когда тебе было так одиноко на дороге. Уж конечно, ты этого не сделаешь!

А еще немного погодя Пэдди добавил:

– Вот и отлично. Это все, что я хотел знать.



Тут один или два молодых человека, похоже, почувствовали жажду и подошли к стойке, чтобы заказать Гоугану еще по стаканчику виски, но сколько бы их ни толпилось возле Пэдди, с той стороны, где стоял дух, неизменно оставалось свободное место. И Пэдди завел с духом длинный разговор, и порой молодые люди угадывали, что он отвечал, а порой – нет, но в целом, похоже, речь шла о Баллинакларской дороге и о том, кого там можно встретить. И дух, похоже, скитался по ней в компании ветров, сов, звезд и даже комет, которые появлялись в небе примерно раз в сорок лет, что для духа было, конечно, достаточно часто. И Пэдди заметил, что по ночам на дороге происходит много всего, а дух с ним, похоже, согласился и добавил, что иногда он слышал твяканье лисы, и нередко видел барсуков, и знал по именам не только семьи всех цыган, что когда-либо пользовались этой дорогой, но и клички их ослов. А что думает дух об автомобилях, вдруг спросил Пэдди.

И при слове «автомобиль» он внезапно умолк и выпрямился, глядя вокруг в крайнем недоумении.

– Он исчез, – сказал Пэдди через мгновение. И действительно, дверь паба была открыта, и через нее тянуло сквозняком.

Конечно, в любом пабе, двери которого распахнуты настежь, сквозняки гуляют, как хотят, поэтому тот факт, что в какой-то момент сквозняком тянуло в ту или другую сторону, ровным счетом ничего не доказывает; возможно даже, что эта деталь и вовсе была добавлена кем-то из рассказчиков несколько позднее, однако упоминать об этом в Раталлене, право, не стоит, ибо местные жители весьма дорожат этой своей легендой и не позволят кому попало выбросить из нее ни единого слова.

Стаканчик виски, который купил для духа Пэдди, простоял на стойке несколько недель. Никто его не тронул, никто не прикоснулся к виски. Он просто стоял там, пока случайно не разбился.

И это только одна из историй, которые рассказывают в Раталлене о Пэдди О'Хоуне. На самом деле их гораздо больше, нужно только суметь услышать, как их рассказывают под сумрачными тростниковыми крышами поселка.



ГЛАВА III

ЛЕПРЕКОН



ернувшись домой, Пэдди воскликнул:

— Мама, я видел духа!

— Ничего удивительного, — сказала миссис О'Хоун. — Конечно же, дело в волшебной птице, которую ты съел.

— Неужели это из-за нее я могу видеть всякие вещи? — спросил Пэдди.

— А почему нет? — сказал его мать. — Обычно подобные существа прячутся от нас, но после того как съешь одного из них, какой смысл остальным продолжать скрываться и делать вид, будто их не существует? Конечно, теперь ты будешь видеть их везде, где бы ни оказался. В Ирландии волшебных существ больше, чем в любой другой стране, а в Раталлене и окрестностях — больше, чем где-либо в Ирландии, так что я думаю — ты увидишь еще многих и многих.

— А каких именно? — заинтересовался Пэдди.

— Я думаю, всех, какие только есть на свете, — уверенно ответила миссис О'Хоун.

И случилось так, что следующим Пэдди увидел лепрекона. Мне посчастливилось услышать эту историю от одного знакомого — живущего близ Раталлена охотника-спортсмена, который был в этот момент с Пэдди. Мой охотник жил в небольшом коттедже, окруженном несколькими акрами парка, а сразу за границами его угодий начинались леса — не сказать, чтобы совсем дикие, но достаточно густые, чтобы там водились вальдшнепы. Именно в этих лесах он научился охотиться, и со временем его страсть к этому виду спорта сделалась столь сильной, что всю зиму напролет он только этим и занимался. Однажды он зашел в Ратаален и там познакомился с Пэдди. Охотника звали Рисдейл; он попросил молодого человека его сопровождать, ибо только за теми, кто ходил с Пэдди, местные жители признавали право охотиться на болоте. Дело же было так.

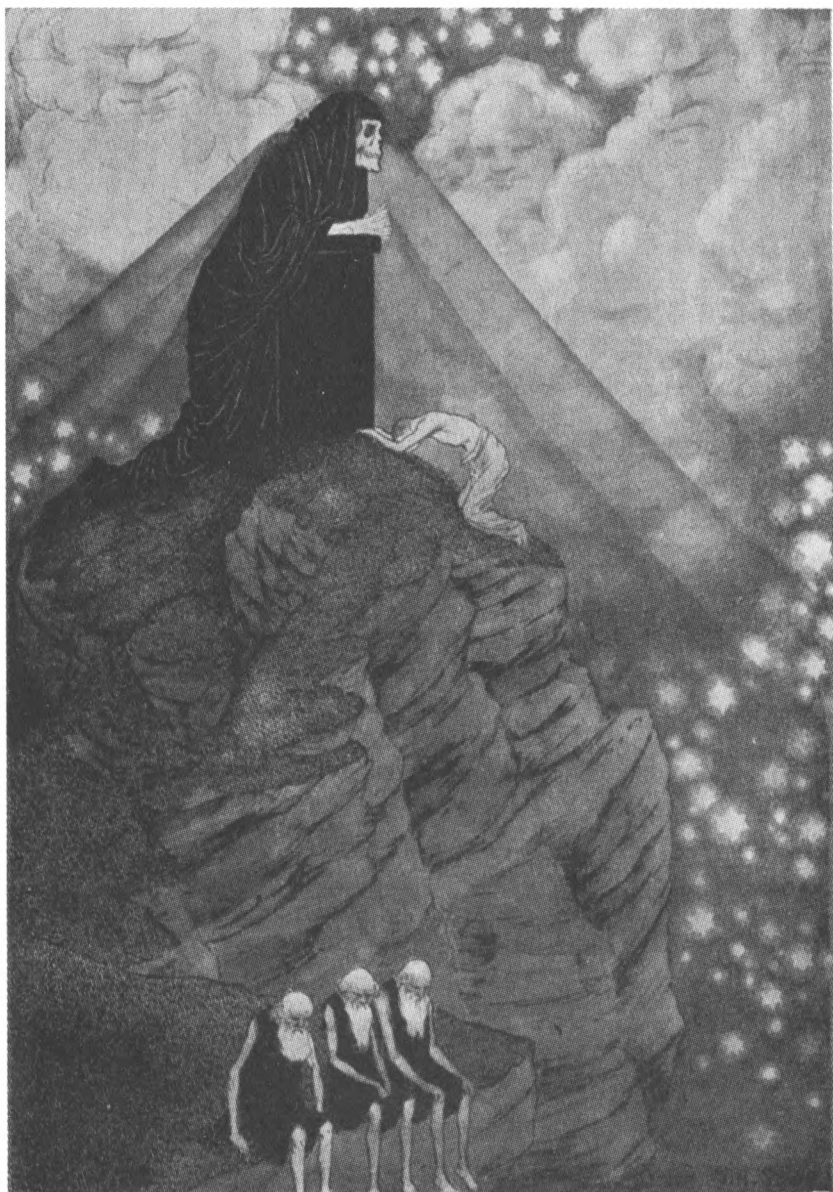


Когда Пэдди вернулся из заведения Гоутана, перо феникса по-прежнему украшало его шляпу; оно оставалось там и весь следующий день, и прошло не слишком много времени, прежде чем его увидели все жители поселка. Очень скоро перо было опознано, а Пэдди – арестован за браконьерство. Его хотели оштрафовать на пять шиллингов за то, что он, во-первых, убил золотого фазана, во-вторых, за то, что он застрелил его на чужой земле, и в-третьих, за то, что он сделал это в то время, когда охота была запрещена. Добрые жители Раталлена не могли, однако, допустить, чтобы такое чудо, как феникс, который вернулся к ним столь неожиданно-негаданно, было отнято у них тиранической силой Закона или заменено каким-либо представителем семейства фазаньих, ибо даже великолепный золотой фазан вряд ли годился, чтобы его можно было по справедливости считать наследием веков. Вот почему Пэдди, чувствуя за собой молчаливую поддержку односельчан, отказался платить штраф и был отправлен в тюрьму за браконьерство.

За решеткой он провел всего неделю – слишком мало, чтобы некоторое время спустя, когда в Ирландии вдруг появилось довольно много самых разных постов, Пэдди мог занять сколько-нибудь важную должность, однако сам факт заключения давал ему в глазах жителей Раталлена право впредь браконьерствовать когда и где ему вздумается – право, которое признавал даже сержант местного полицейского участка, ибо служащие Ирландской королевской полиции были людьми разумными и тактичными и знали, что пренебрежение чувствами и желаниями населения может привести к напрасному кровопролитию.

Одним словом, мой приятель попросил Пэдди пойти с ним на болота, и они тотчас отправились в путь, чтобы охотиться на бекасов. Примерно в час пополудни, когда Рисдейл настрелял около дюжины птиц, они сели пообедать за большим пучком вереска, и там охотник дал Пэдди бутылку виски. Он всегда брал с собой две бутылки виски, даже когда шел охотиться в одиночку – ведь никогда не знаешь, кто может встретиться тебе по дороге.

И вот что впоследствии рассказывал мне Рисдейл. Я не знаю, насколько эта история была его собственной и насколько на нее



Как Шаун нашел величайших богов



повлияло то, что говорил ему Пэдди. Когда двое мужчин отправляются куда-то вместе и с ними случается нечто странное, рассказ каждого об этом происшествии будет, скорее всего, включать все самое волшебное и удивительное, что только можно сыскать в обеих версиях. Однажды я сам, шагая по каменным лондонским мостовым, видел двух полицейских, которые делали какие-то заметки, и как раз тогда, когда я поравнялся с ними, один из них сказал другому: «А теперь давай сравним наши записи». И если сам Закон во всем своем величии считает необходимым делать подобные вещи, то нет ничего удивительного в том, что так же поступают простые смертные; потому-то я и думаю, что рассказ Рисдейла был частично вдохновлен более глубокими откровениями Пэдди О'Хоуна.

Как бы там ни было, оба выпили по несколько глотков виски, и Рисдейл уже приступил к своим сэндвичам, когда Пэдди варут сказал:

– Какой-то странный старик идет к нам через болото.

– Какой старик? – спрашивает Рисдейл.

– Я не знаю, – отвечал Пэдди. – Только он странный.

Он действительно выглядел очень необычно, этот старик в длинном пальто, которое выглядело так, словно когда-то оно было ему очень велико, но от долгой носки обтрепалось и обсело по фигуре. Еще одной удивительной чертой старика были пышные седые бакенбарды на сморщенном личике цвета бурой болотной воды, и только в глазах его сверкали две крохотные искорки.

– Я пойду к нему навстречу, – сказал Пэдди, – узнаю, кто он такой, и велю ему не тревожить вашу милость, ибо он идет сюда.

– Напротив, пусть посидит с нами, – ответил Рисдейл, так как любил поговорить с кем-нибудь после глоточка-другого виски. Виски вроде как развязывало ему язык, а он, естественно, не хотел сотрясать воздух впустую. И пока Пэдди ходил, чтобы позвать старика, Рисдейл глотнул еще виски, и уже очень скоро он как ни в чем не бывало беседовал с лепреконом, ибо загадочный старик оказался вовсе не человеком.

– Ну и каков был в ваших краях прошлогодний урожай? – осведомился Рисдейл.



– Урожай? – переспросил маленький старик. – Мхи в омутах взошли очень хорошо, верещаники прекрасно цвели, и пушица была не хуже, чем всегда.

– А как насчет картофеля? – спросил Рисдейл.

– Картофеля? – переспросил старик. – Я помню дни, когда во всей Ирландии не было ни одной картофелины, а эти топи простирались отсюда до самого горизонта; тогда никто в здешних местах не болтал ни о каких урожаях!

Именно в этот момент Рисдейл догадался, что старик этот, наверное, лепреккон.

– Скажите, как вы обычно проводите время? – спросил он тогда. – Чем занимаетесь?

И лепреккон ответил:

– Обычно я бегаю по болотам туда и сюда.

– А что вы делаете кроме этого? – поинтересовался Рисдейл.

– Если я пересекаю топи с севера на юг, – ответил лепреккон, – и северный ветер дует мне в спину, и если я настолько приближаюсь к краю болота, что могу рассмотреть дома, которые мне не нравятся, и вижу посевы, которые внушают мне отвращение, и слышу лай, крики и другой шум, которые мне тоже не по душе, тогда я...

– Тогда – что? – спросил Рисдейл.

– ...Тогда я разворачиваюсь и пересекаю болота с юга на север. И если я добираюсь до сердца болот и чувствую, что встречный ветер слишком силен, тогда я ненадолго присаживаюсь на кочку поудобнее и вызываю в памяти дни, что давно минули, а также некоторые вещи, которые мне довелось повидать.

– Что же вы повидали? – снова спросил Рисдейл.

– Я видел множество странных вещей, которые нынче с каждым годом встречаются все реже и реже, – проговорил лепреккон. – Ах, какие были дни когда-то! Чудо что за дни!..

– Какие же вещи вы видели? – продолжал допытываться Рисдейл.

– Да самые разные! – сказал лепреккон. – Я встречал и баньши, и сидов*, и заблудших духов, которых гнал через болото ветер, и если я когда-либо добирался до твердой земли, что бывало только по вечерам, то я видел танцующих вокруг данов фейри*, и они тоже



были рады видеть меня, ибо в те времена Народ Холмов почитал жителей великих болот. Да, сэр, они танцевали для меня и водили вокруг меня хороводы, а потом, не переставая петь и плясать, отвели меня к своей царице. Ах, сэр, что за чудесные были деньки когда-то!..

— В те времена, как видно, ваш народ был весьма многочисленным, — заметил Рисдейл.

— Многочисленным, сэр?! — вскричал лепреккон. — Еще каким многочисленным! Да в те времена каждый куст вереска скрывал одного из наших, и буквально под каждой колючей изгородью, что сбегает с холмов к болотам, было закопано по горшку с золотом. А когда мы пели по вечерам, те, кто способен улавливать подобные вещи, могли слышать нас на расстоянии многих миль. Такие были деньки, сэр.

— Но в наши дни мы почти не видим таких, как вы, — сказал Рисдейл.

— Не видите, — подтвердил лепреккон. — И, конечно, на болотах стало очень одиноко и пустынно без лепреконов, особенно когда ветер с воем проносится над топями, и пушистые метелки вереска клонятся в одну сторону, и кричат кроншнепы, и бекасы, блистая крыльями, взмывают в небо, и горят в бочагах красные и зеленые мхи, но нигде, нигде не видно никого из наших. Без лепреконов, мчащихся через болота во всех направлениях, топи уже не те — не такие, какими они были когда-то.

— Но почему, — спросил тогда Рисдейл, — почему на болотах больше нет никого из вашего племени?

— Я скажу почему, — ответил старик. — Мало кто из настоящих джентльменов путешествует теперь по сельской местности, а раньше было не так. В прежние времена они бродили повсюду, и у каждого была с собой заветная фляжка. И в прежние времена было гораздо больше виски, чем теперь. Виски было столько, что хватало всем.

— А разве лепреконы пьют виски? — удивился Рисдейл.

— Они не пьют, — ответил лепреккон. — Но в те времена, когда люди пили больше виски, они встречали нас гораздо чаще. А теперь болота осиротели.

И с этими словами старый лепреккон бросился через болото прочь.



ГЛАВА IV

БАНЬШИ



Огда-то я слышал немало историй о человеке, который съел феникса, и мне стало любопытно, какие еще встречи с удивительными существами, что скитаются в сумерках за стенами человеческих обиталищ, ему довелось пережить. Я, однако, долгое время не мог узнать ничего нового, то ли потому, что лучшие истории уже были рассказаны, то ли потому, что мой интерес вызвал подозрения (которые поразительно быстро расцветают на ирландской почве), что я, мол, не только стремлюсь сунуть нос в чужие дела, но и к тому же сомневаюсь в том, что мне рассказывают. Мне, однако, не верилось, что ничего нового я не услышу, ибо Ирландия полна чудес, а имея под рукой человека, который не раз с ними сталкивался, можно было не сомневаться, что удивительные истории непременно будут, и будет их немало. И вот мне пришло в голову, что самым простым способом узнать что-нибудь новенькое было бы познакомиться с этим человеком поближе. Сделать это можно было довольно просто, и вскоре я уже сидел на скамье из гладкого потемневшего дерева перед большим очагом в доме матери Пэдди, и ветер гудел в трубе, сквозь которую по вечерам, — стояло только немного наклониться, — были видны звезды.

— Мне рассказывали — ты повидал кое-что интересное, — сказал я Пэдди.

— А, это все пустяки, — ответил он.

— Я имею в виду духов и лепреконов, — пояснил я.

— Ну да, конечно, я их видел, — сказал он.

— Мне вот что любопытно, — проговорил я, — видел ли ты кого-нибудь кроме них.

— Только тех, кто живет на болотах, — ответил он, — да по обочинам проселочных дорог или в древних развалинах. В развалинах их особенно много.

— Кого же именно? — спросил я.



– Ну, тех, обыкновенных, которых так много в Ирландии, – ответил он.

– Ты когда-нибудь встречал баньши? – спросил я, думая о том, что о баньши-то слышали все, но никто их не видел. Именно о таких существах мне хотелось расспросить Пэдди О'Хоуна, ибо других я мог видеть и сам.

– Баньши? – переспросил Пэдди. – Конечно, я видел баньши.

– Это интересно, – сказал я. – Не мог бы ты рассказать мне о том, на что она похожа?

– Она выглядела как самый обыкновенный дух, – пожал плечами Пэдди. – Тонкая, серая, немного туманная... Пожалуй, я расскажу, как я с ней встретился. У лорда Монагана, знаете ли, был лут площадью не больше двух акров, который был ему совершенно не нужен. От поля такого размера нет никакой пользы, к тому же оно было сплошь заболочено. Совет самоуправления графства хотел построить на нем коттедж для кого-нибудь из крестьян-арендаторов, но лорд Монаган не позволил. А как раз в это время один из наших парней, – Майк Кинеган его зовут, – собрался жениться, но свадьба могла состояться, только если бы он заполучил этот коттедж. Понятно, что ему очень хотелось, чтобы коттедж построили как можно скорее.

– Почему же совет решил строить коттедж именно на этом луту, если, как ты говоришь, он весь заболочен? – спросил я.

– Вы, видно, не понимаете... – сказал Пэдди. – Люди, которые все это решили, живут в Дублине, а это около пятидесяти миль отсюда; то есть, я не знаю точно, сколько миль от нас до Дублина, но суть в том, что они никогда сюда не приезжали и в глаза не видели лута лорда Монагана, в котором и двух акров-то не будет. Зачем, когда этот лут отмечен у них на большой карте? Правда, на карте не увидишь, что он весь зарос камышом да кутой, но Кинегану это было все равно: он хотел жениться, и ему было наплевать, где будет стоять его коттедж – на болоте или на голой скале. Но, как я уже говорил, лорд Монаган не захотел отдавать лут, хотя для него эти два акра были сущим пустяком. И в конце концов наши деревенские пришли ко мне и спросили, не могу ли я как-то переубедить лорда Монагана, а я ответил: «С тем же успехом можно пытаться сдвинуть Гибралтарскую



скалу». А они сказали: «Ты сумеешь, если только заручишься поддержкой сам-знаешь-кого». И я спросил: «Кого именно вы имеете в виду?» А они ответили: «Может быть, баньши тебе поможет».

«Мне не хотелось бы лишний раз к ним обращаться, — сказал я на это, — потому что негоже людям беспокоить подобных существ по пустякам».

А среди тех людей, которые ко мне пришли, был и Майк Кинеган; он посмотрел на меня очень жалобно, и тогда я сказал: «Ну, хорошо, я попробую».

И Майк Кинеган сказал: «Если ты это сделаешь, я дам тебе столько денег, сколько стоит одна телка».

А я ответил: «Я не возьму никакой платы за обычное дружеское одолжение и тем более не стану брать денег за то, что обращаюсь к потусторонним существам. А вот бутылка виски — дело другое, потому что погода нынче стоит сухая».

Тогда действительно было очень сухо, ибо мы не видели дождя уже целую неделю, и все согласились, что погода стоит ужасно засушливая. И с этим они ушли — Майк Кинеган и трое его друзей, но скоро вернулись и принесли бутылку виски, вернее, две бутылки, ибо я рассказываю вам, как все было, и каждое мое слово — правда.

Потом они выпили свою бутылку, а я стал пить свою и пил до тех пор, пока ощущение сухости в горле не прошло. И пил я не только потому, что во рту у меня пересохло, но еще и потому, что мне предстояло говорить с теми, к кому люди обычно не обращаются; понятно, что мне нужна была поддержка. Да и какому человеку, собравшемуся обратиться с просьбой к одному из них, такая поддержка не понадобилась бы? Есть, есть в них нечто такое, чего нет ни в ком из нас, и поэтому беседовать с ними — все равно что обращаться к горе, к морю или к северному ветру, если вы понимаете, что я хочу сказать. То есть, в обычных обстоятельствах мы им вовсе не ровня, но тогда во мне плескалась целая бутылка виски, и я готов был идти и говорить хоть с самым королем, хоть со старейшей из ведьм. Истинная правда, что бутылка доброго виски позволяет человеку почти сравняться с ними, но, увы — очень ненадолго, и к тому же потом об этом приходится жалеть. С другой стороны, разве можно



сожалеть о том, что ты – пусть и на короткое время – сравнялся с королем или обрел способность беседовать с могущественными духами? После такого опыта жизнь становится интереснее и лучше, и одному Богу известно, что с нами было бы, если бы не виски.

И когда я утолил свою жажду и напился мужеством настолько, что моя разгоревшаяся храбрость готова была без трепета приветствовать вечные существа, я попрощался с Майком и его друзьями и отправился в путь, пообещав сделать все, что только будет в моих силах. И из дома я отправился напрямик к старому монастырю, который находится недалеко отсюда – к ужасному месту, где полным-полно всяких древностей и даже не знаю, чего еще, и когда я шагал по темным проходам меж монастырских зданий, сами стены будто смотрели на меня и говорили «Тс-с-с!», и что-то лепетали листья переливавшегося через их кромки плюща.

Это полное сквозняков древнее и странное место, по всей видимости, служило обиталищем и многочисленным духам старых монахов, которые, наверное, сидели там в каждом углу, и неупокоенным душам, завывавшим в трещинах каменной кладки, но я не видел никого из них, кроме баньши. Она была длинной и тонкой, как свитый жгутом саван – только серой и неясно различимой, и своим тонким концом она едва касалась щебня и травы, которые покрывают теперь пол монастыря, зато другой ее конец приходился почти вровень с верхушками стен. И, увидев меня, баньши наклонила голову и спросила, что мне нужно. А я ответил, что мне нужно как следует напугать лорда Монагана.

«А чего ты захочешь, когда я это сделаю?» – спросила баньши, потому что напугать человека для нее все равно, что для нас – отмахнуться от назойливой мухи. И я ответил ему так:

«Дело в том, что Майк Кинеган задумал жениться, и ему очень нужно, чтобы местный совет построил коттедж для арендаторов на одном из лугов, принадлежащем лорду Монагану. Для лорда это суший пустырь, ибо размер луга не превышает двух акров; он его даже не хватится. Но отдавать его лорд Монаган не хочет – вот почему я хотел узнать, не припутнешь ли ты его».

А баньши сказал:

«Негоже тревожить бессмертное существо ради таких пустяков».

«Но почему бы тебе не отправиться как-нибудь в замок лорда и не повыть на него хорошенько?» – спросил я.

«А потому, – ответила баньши, – что я, как известно, кричу и вою только когда кому-то из рода Монаганов суждено умереть; так было на протяжении многих поколений. И если я стану предвещать смерть одному из лордов задолго до того, как придет его срок, разве не скажут люди, что я утратила остроту зрения и могу провидеть будущее не лучше, чем старая, слепая лошадь? Скажут, конечно!»

«Я отлично тебя понимаю, – сказал я баньши, – и в твоих словах содержится немалая доля истины. Люди именно так и скажут, и никто не может судить, что тебе делать, лучше чем ты сама. Но быть может, ты согласишься как-нибудь вечером пролететь над этим лугом? Это низменный, заболоченный луг, где после заката поднимается густой туман, который составит тебе компанию».

«Нет, против этого я не возражаю», – ответила баньши.

«И тебе не составит труда несколько раз крикнуть, пока ты будешь пролетать над лугом?» – продолжил я.

«В полете я всегда кричу и ухаю по-совиному, – сказала баньши, – чтобы Силы, которые ты и вообразить-то не можешь, знали о моем присутствии».

«Вот и хорошо, – сказал тогда я. – И, кстати, самый короткий путь отсюда до луга лежит мимо фасада замка лорда Монагана».

«Наверное, ты прав», – согласилась баньши.

«Если ты сделаешь это, – сказал я, – и если, как обещал, прокричишь разок, когда будешь лететь, я больше ничего у тебя не попрошу, ибо мне известно – негоже нам приставать к бессмертным существам с разговорами о такой безделице, как заболоченный луг площадью всего в два акра, о котором, строго говоря, не стоило бы беспокоиться и простым смертным, пребывающим в этом мире слишком недолго, не говоря уже о дүхах, которые беседуют со звездами и способны запрячь в одну колесницу все четыре великих ветра. Поэтому я с твоего позволения не стану больше отнимать твое драгоценное



время и поспешу вернуться к бранным вещам и занятиям, но в сердце своем я буду хранить глубокую благодарность за твою доброту».

А баньши сказала:

«Не трудись благодарить меня. Разве не сделала бы я то же самое для любого другого человека?»

И с этим я покинул монастырь и пошел по дороге назад, радуясь, что ничто не следует за мной. Не прошло и двух дней, как баньши, направлявшаяся к заболоченной луговине, с воем и визгом пронеслась в сумерках прямо перед окнами лорда Монагана. И как раз в то же самое время Майк Кинеган подбросил лорду анонимное послание, в котором описывал, что с ним будет, если он не откажется от своего луга. Не знаю точно, в чем было дело – в крике ли баньши или в этом письме, ибо от обеих этих вещей кровь буквально стыла в жилах, и каждая способна была заставить человека крепко задуматься. Как бы там ни было, лорд Монаган все же изменил свое решение, и Майк Кинеган в конце концов построил дом на лугу и женился; там он и живет до сих пор. Несколько раз Майк порывался вспахать луг, но там постоянно стоит глубокая вода, и по правде сказать, его это вполне устраивает, ибо, как он сам часто говорит, это избавляет его от тяжелой работы.

Поблагодарив Пэдди О'Хоуна за рассказ, я покинул его, чтобы тотчас попытаться найти подтверждение услышанному. Сначала я отправился к Майку Кинегану и застал его в небольшом садике, где он сидел с трубкой в зубах и любовался сочными травами и цветами, растущими на заболоченном лугу. Я спросил, не он ли будет мистер Кинеган; мы разговорились, и я постарался исподволь направить беседу к тем временам, когда он получил в свое распоряжение этот луг и дом. И Майк Кинеган рассказал мне то же самое, что Пэдди О'Хоун, и даже некоторые фразы в точности совпадали с тем, что я услышал от Пэдди, так что история эта получила самое полное подтверждение, какого только можно желать.

Уже уезжая из тех мест, я заговорил об этой истории с начальником железнодорожной станции, поскольку все в округе, похоже, были о ней наслышаны. Сам не знаю, зачем мне потребовались



дополнительные подтверждения, ибо я получил их достаточно, однако я все же спросил начальника, слышал ли кто-нибудь еще протяжный вопль баньши.

«Да ведь это кричала старая цапля!» — ответил он.

ГЛАВА V

БЛУЖДАЮЩИЕ ОГНИ



лова начальника станции до некоторой степени поколебали мое доверие к рассказам Пэдди О'Хоуна, и на какое-то время я даже потерял интерес к его необычным способностям. Но однажды мне вновь захотелось увидеть невысокие покатые холмы в краю, где он жил; это желание росло и крепло, каким-то образом вытесняя другие, более рациональные, словно в тех длинных серых холмах скрывалась какая-то сила, до сих пор неизвестная науке. Я явственно чувствовал их притяжение, когда бывал на природе — когда гулял по скромным английским дорогам или любовался заросшими лютиками полями, но в городе это влечение становилось столь сильным, что его невозможно было выразить словами, превращаясь в своего рода наваждение, в колдовство.

И тогда я снова отправился в Ирландию, к полям, где действовали внятные Пэдди О'Хоуну странные силы, и холмы вечно гляделись в воды болот, словно готовые с ними заговорить, но мешкающие десятилетиями и веками, прежде чем произнести хоть слово, ибо и у тех, и у других в запасе вечность. И как только я туда вернулся, мне стало совершенно ясно, что начальник станции, которого прислали в эти места из Дублина, абсолютно не разбирался в том, что происходит вокруг, и был единственным человеком в краю холмов, способным перепутать крик цапли с воплем баньши, которого видел Пэдди О'Хоун. «Видел?.. — переспросил первый же человек, с которым я попытался обсудить этот вопрос. — Да он с ним даже разговаривал! Разве не так?»



И я склонился пред авторитетом общественного мнения, как, наверное, рано или поздно поступают все – и почти во всех случаях.

Потом я подумал, что вместо того чтобы позволить этим рассказанным у камелька историям превратиться в обычные сказки, которые со временем окажутся прочно забыты, мне стоило бы подойти к проблеме с научной точки зрения и, – коль скоро мне представилась такая возможность, – попытаться худо-бедно классифицировать те сверхъестественные существа, которые, как известно, во множестве обитают в Ирландии, но которых обычно никто не видит – кроме, разумеется, Пэдди О'Хоуна. И пока эта идея была еще свежа в моей голове, я вооружился блокнотом и отправился домой к старой миссис О'Хоун. Пэдди как раз был там и работал в саду.

– Могу я поговорить с Пэдди? – спросил я.

И миссис О'Хоун посмотрела на меня со странным выражением, которое я уже замечал у нее прежде. Она гордилась сыном, в этом не могло быть никаких сомнений, и все же в ее глазах сквозила легкая улыбка, какой никто из соседей не осмелился бы адресовать Пэдди. Миссис О'Хоун безусловно признавала, что ее сын знаменит, и знаменит заслуженно, и все же этот взгляд будто говорил, что Пэдди – это всего лишь Пэдди. Я, разумеется, не возьмусь объяснить, как простой взгляд и едва заметная тень улыбки в уголке губ могут передать это «всего лишь» или хотя бы легкий намек на него, и все же эти произнесенные вслух слова звучали так же отчетливо и ясно, как выстрел спрятанного ружья.

– Разумеется, можете, – сказала миссис О'Хоун. – В саду от него все равно мало проку. Хватит, Пэдди, иди сюда! – позвала она.

И Пэдди тотчас оторвался от работы, которая вполне могла быть и важной и полезной и о которой его мать отзывалась столь уничижительно из одного лишь учтивого желания не ставить меня в неловкое положение. Аккуратно воткнув в землю лопату, Пэдди вошел в дом.

– Извини, что помешал тебе заниматься делами, – сказал я, когда мы с Пэдди обменялись рукопожатием.

— Делами можно заниматься всегда, — ответил он, — а вот поговорить с хорошим человеком удается не каждый день.

— Я действительно хотел побеседовать с тобой кое о чем, — признался я. — Похоже, Ирландия населена множеством таинственных существ, которых до сих пор никто не смог как следует классифицировать, а коль скоро ты можешь их видеть, было бы неплохо описать их поподробнее.

— Ну, я-то видел далеко не всех, — сказал Пэдди. — Говорят, во всех уголках нашей страны обитало когда-то немало самых странных существ, но сейчас дела обстоят совсем не так, как в прежние времена; я же вижу только тех, кто еще остался в наших краях, да и появляются они, надо сказать, не так уж часто. Я, однако, буду только рад описать тех тварей, которые вас интересуют.

— Говорят, — сказал я, — ты видел лепрекона.

— Видел, — подтвердил Пэдди.

— А скажи, — продолжал я, — не встречал ли ты на болотах каких-нибудь других странных тварей, которых мы могли бы включить в нашу классификацию сверхъестественных существ?

Пэдди на секунду задумался.

— Помнится, — промолвил он наконец, — я видел блуждающие огоньки. И это было не один раз.

— Можешь рассказать, какие они? — спросил я.

— Это маленькие коричневые тварюшки размером с зайца или, может быть, немного крупнее, которые скачут по болотам с фонариками.

— О чем бы мне хотелось узнать, — сказал я, — так это о повседневной жизни блуждающих огоньков, да и широкую публику это тоже заинтересовало бы. Можешь ты рассказать что-нибудь об этом?

— Об их повседневной жизни? — переспросил Пэдди. — Ну, днем-то они обычно спят.

— А чем они занимаются ночью? — спросил я.

— Ах, — сказал Пэдди, — если судить по их разговорам, то больше всего их интересует заманивание — они водят и заманивают людей, которые оказываются поздним вечером на болотах. Ни о чем другом они при мне не говорили — только об этом заманивании.



– И куда они их заманивают? – спросил я.

– В свои дома, конечно, – сказал Пэдди. – Я имею в виду – туда, где живут сами блуждающие огоньки.

– А где они, их дома? – снова спросил я.

– Среди зеленых и красных мхов, что встречаются только в самых глубоких местах, – объяснил Пэдди. – Там, где на болотах растет самый яркий мох, там живут и болотные огоньки. Мхи для них все равно что крыши из травы и соломы для нас, и если вы встретите на болотах мох ярко-багряного цвета или мох, который зеленее, чем трава, можете не сомневаться – в яме под ним живет болотный огонек.

– И они заманивают людей в эти ямы? – еще раз уточнил я, чтобы окончательно убедиться: я все понял правильно.

– Именно об этом они все время и говорили, – подтвердил Пэдди.

– На что же похожа их речь? – поинтересовался я.

– Она очень мелодичная, но негромкая и странная, – объяснил Пэдди. – Я не смог бы, пожалуй, описать, какие у них голоса, но если вы когда-нибудь услышите, как они разговаривают, вы ни за что не ошибетесь и не примете этот звук за какой-либо другой – разве что иногда его можно спутать с переключкой токующих бекасов.

– Но зачем они заводят людей в самые глубокие места? – спросил я, ибо мне очень хотелось разобраться, как живут болотные огоньки, а понять это довольно трудно, если не знать их основного движущего мотива.

– Они завидуют святым ангелам и другим благословенным существам, – сказал Пэдди. – Вот поэтому-то они не хотят, чтобы человеческие души доставались им; болотные огоньки сохраняют души людей для себя.

– Но какая им польза от человеческих душ?

Думаю, именно в этот момент мне удалось заставить Пэдди открыть секреты повседневной жизни болотных огоньков.

– Они разговаривают с ними долгими-долгими вечерами, из которых соткана вечность, – ответил Пэдди. – Именно этим они обычно заняты, когда хрипло кричит водяной пастушок и в мир входит ночь: болотные огни и души людей, которых они заманили в



топь, вечно беседуют в глубоких бочагах под багряными и изумрудными мхами.

— Но о чем они разговаривают? — спросил я.

— О политике, разумеется, — пожал плечами Пэдди.

ГЛАВА VI

ЗАЧАРОВАННЫЙ ПРИНЦ



Как-то раз я снова разговаривал с Пэдди О'Хоуном и, должно быть, сказал что-то о простоте и безыскусности сельской жизни, о том, как она мне нравится, а так же о том, как бы мне хотелось услышать бытующие в округе легенды и сказания, прежде чем они окончательно забудутся. И внезапно Пэдди сказал мне:

— Мы не так просты, как кажется. Время от времени мы сталкиваемся с весьма интересными людьми, хотя и живем не в городе. Я, к примеру, однажды видел принца.

— Какого принца? — спросил я.

— Обычного, — ответил Пэдди. — Сына короля.

— Какого именно короля? — уточнил я.

— Ах, — сказал Пэдди, — это был не очень знаменитый король, и вы вряд ли о нем слышали. Но сын у него был прекрасный.

И он рассказал мне такую историю.

— Однажды, — начал Пэдди, — я шел к озеру лорда Монагана, чтобы поймать для моей бедной старой матери рыбу-другую или утря. Вокруг озера густо росли желтые козьи ивы — огромные, старые, склонившиеся к самой воде деревья с узловатыми толстыми стволами, согнутыми такими давними бурями, что о них никто и не помнит. Дело было весной, и ивы только недавно покрылись молодой листвой; я пробрался сквозь ветки и увидел озеро, а на нем — огромного белого лебедя, который плавал в воде совсем недалеко от меня. Помнится, я подумал, что этот лебедь что-то подзадержался в наших краях, ибо к этому времени все его собратья должны были быть далеко на севере — на озерах Гебридских островов или



на фиордах у берегов Норвегии. А все это случилось вскоре после того, как я съел феникса, поэтому я взял да и спросил лебедя: «Что ты делаешь здесь так поздно?»

А он ответил: «Я – сын короля; много лет назад меня прокляла одна ведьма. Теперь я вернулся, чтобы снова увидеть Ирландию».

«Какого короля?» – спросил я, совсем как ваша милость, и лебедь ответил:

«Король может быть только один».

«А где он жил?» – спросил я тогда, ибо уже понял, что птица говорит о временах давно прошедших.

«В Таре*, – сказал лебедь. – Где же еще?»

«Как же удалось ведьме, – спросил я, – приблизиться к вашему высочеству и застать вас врасплох?»

«Я купался в этом самом озере, – сказал лебедь. – Выбравшись на берег, я оделся и прилег отдохнуть, вместо того чтобы тотчас отправиться во дворец, ибо ходьба согрела бы меня. Но я довольно неосторожно заснул в тени ив, и тогда ведьма подкралась ко мне и наложила на меня это заклятье».

«Но почему она так поступила?» – спросил я.

«Просто так, я полагаю, – сказал лебедь. – Для того, чтобы не утратить навык, ну и из злобы, конечно... Что за удовольствие быть ведьмой, если не на кого налагать заклятья? Вот она и заколдовала меня, тем более что эта ведьма всегда недолюбливала моего отца, великого короля, который сам был не чужд магии».

«Мне жаль, что с вами случилась такая беда», – сказал я.

«С одной стороны – действительно жаль», – ответил лебедь.

Разумеется, я никогда не смог бы с ним разговаривать, если бы не съел феникса. Благодаря мясу волшебной птицы я слышал и понимал, что он говорит так же ясно, как понимаю, что говорит мне ваша милость. У лебедя, кстати, был довольно странный выговор – казалось, будто каждое его слово эхом отражается от каких-то далеких утесов.

– Что еще он тебе говорил? – поинтересовался я.

– Еще лебедь сказал, что старуха заколдовала его на целую тысячу лет, как это водится между ведьмами, – охотно объяснил Пэдди. –

И я сказал: «Когда-нибудь ваш срок закончится, и вы снова станете человеком. Лучше поздно, чем никогда», — добавил я, ибо мне было хорошо известно, что в Таре уже тысячу лет как нет никаких королей.

«Я знаю», — ответил мне лебедь. — Однажды, — как раз тогда, когда истекла первая тысяча лет, — я вернулся домой с далекого севера, но ведьма уже поджидала меня. Да, коварная старуха подкараулила меня здесь! Я прилетел на это озеро, потому что садиться на воду удобнее всего, подплыл к ивам и вышел на берег. Я уже чувствовал, как слабееет заклятье, как оно отпускает меня и, словно эхо, уносится прочь. Последнее перо упало на землю, и я снова стал принцем... И в этот момент ведьма, словно сгусток мрака, выскользнула из-за ствола ближайшей ивы и подняла свою скрюченную руку, и не успел я отступить хотя бы на несколько шагов, ибо расстояние ослабляет силу магии, как ведьма пробормотала свое варварское заклятье и заколдовала меня еще на тысячу лет. Так я снова стал лебедем, в чем вы можете убедиться собственными глазами».

«Вот это скверно», — сказал я.

«Еще как скверно», — согласилась птица.

«Вы, наверное, скучаете по вашему королевскому дворцу?» — сказал я.

«Скучаю», — признался лебедь.

«И вам, должно быть, очень не хватает привычной обстановки и прочего».

«Да», — сказал лебедь. — Весьма не хватает».

«Вероятно, вам бывает очень одиноко в унылом поднебесье где-нибудь между Норвегией и Ирландией», — продолжал я.

«Вы сказали — “в унылом”?!» — воскликнул лебедь. — Негоже говорить так о величественных и прекрасных небесах! Что на земле может сравниться с ними за исключением моря?»

«Прошу прощения, я вовсе не хотел их хаять», — извинился я, ибо лебедь, похоже, не на шутку рассердился.

«Никто не должен отзываться о небесах уничижительно и с пренебрежением! — твердо сказала птица. — Да и как это возможно? Их красота — волшебство, равного которому нет. Утро, полдень, закат — вот три величайших чуда света. А видели бы вы небеса в пасмурные



дни, когда лучи солнца сверкают на серебристой равнине и заставляют величественные облачные горы вспыхивать золотыми бликами! Тогда и только тогда мы воочию наблюдаем подлинное величие небесного свода».

«Я в этом не сомневаюсь», — сказал я, пытаюсь прервать лебедя, ибо то, что он говорил о солнце в пасмурный день, было мне не совсем понятно; возможно, он имел в виду обратную сторону облаков, которая, насколько я знаю, действительно могла выглядеть так, как лебедь только что описывал. Но птица продолжала вещать так, словно ничего не слышала.

«Что на земле способно сравниться с великолепием сумерек в их естественной обители? И великие ветры тоже живут в небесах подобно четырем могучим коням, пасущимся на предназначенной только для них лужайке. А звезды? Какой земной свет может хотя бы приблизиться к их спокойному, холодному сиянию?»

Потом лебедь стал рассказывать о конях, на которых он ездил, когда был человеком, и при этом насмехался над бедными тварями, потому что они не могли скакать так же быстро и преодолевать такие же расстояния, как ветра, проносящиеся высоко в небе.

«Я добирался сюда из Норвегии за то же время, — говорил лебедь, — какое понадобилось бы, чтобы доехать на одном из этих одров от Тары до той болотистой равнины, где в изобилии водятся птицы». И под равниной он, должно быть, подразумевал долину Керраг в графстве Килдэр, ибо именно так называли ее в те времена древние ирландцы.

И я попытался оправдать нашу Землю и коней графства Мит, и сказал — мол, я сомневаюсь, что даже самый проворный ветер, какой только можно найти в поднебесье, сумеет добраться сюда из Норвегии скорее, чем один из наших скакунов домчится из Тары до Керрага, но тут лебедь принялся упрекать несчастных земных коней в том, что им необходимы и отдых, и еда, тогда как четыре великих ветра, которые он встречал в небе, вовсе не нуждаются в подобных пустяках; среди них был, кстати, один стомильный ураган, рядом



с которым, по словам лебедя, лучшая наша лошадь выглядела бы глупо. И тут я решил, что лебедь, у которого уже больше тысячи лет не было на земле никакого достойного дела, думает об унылых и пустых пространствах холодных небес слишком хорошо.

Вот почему я постарался привлечь его внимание к более серьезным вещам; так, я сказал лебедю, что в мире не найдется ничего такого, чему нельзя было бы противопоставить какой-то другой вещи, и это относится и к футболу, и к скачкам, и ко всему остальному, о чем ему только приходилось слышать, и, безусловно, это правило приложимо и к заклинаниям. Иными словами, сказал я, если одна скверная старая ведьма заколдовала его, другая может снять с него заклятье.

«Это действительно так?» – спросил он.

«Конечно», – ответил я и рассказал лебедю, как я съел феникса и благодаря этому обрел способность видеть существа, обитающие за гранью обыденности, и еще я сказал, что смогу отыскать для него какую-нибудь ведьму быстрее, чем мальчишка в большом городе сумеет вызвать вам такси. И возможно, добавил я, эта ведьма найдет заклинание против той, первой ведьмы, которая превратила вашу милость в лебедя; если я все же не сумею отыскать подходящую колдунью, то попытаюсь составить собственное заклинание против злых чар. Но царственная птица почему-то заинтересовалась моим предложением совсем не так сильно, как можно было ожидать – она только расправила перья и, вместо того, чтобы слушать дальше, изогнула шею и стала любоваться своим отражением в воде.

«Ну что, сделать мне это для вашей милости?» – спросил я довольно резко, чтобы привлечь внимание лебедя.

Увы, он, по-видимому, так долго размышлял о небе и о маленьких озерцах в обрамлении пустынных холмов, что совершенно утратил интерес к нормальным людским делам и заботам; как бы там ни было, лебедь сказал:

«Ах, нет, что вы, мне не хочется вас затруднять. Ведь через тысячу лет заклятье рассеется само собой».



ГЛАВА VII

ВЕДЬМЫ

Помнится, дело было в конце октября. Я охотился на бекасов, но они еще не вернулись из Норвегии или где там они обычно проводят лето, поэтому я настрелял их совсем немного, да и были они совсем не так хороши, как в предзимье; недаром говорят, что по-настоящему вкусны только бекасы, добытые после первых заморозков. И вот как-то раз, когда за весь день я подстрелил всего двух или трех птиц, мне пришла в голову мысль отложить ружье и побеседовать с Пэдди О'Хоуном. Сказано — сделано, и на следующий же день я отправился к домику его матери и спросил, не работает ли Пэдди в саду.

— Даже не знаю, — ответила старая миссис О'Хоун. — Но он в саду, это точно.

— Я хотел бы кое о чем его расспросить, — сказал я.

И, выглянув из дверей, она тотчас позвала сына, а Пэдди откликнулся. И пока он шел к дому, я сказал миссис О'Хоун, о чем я хотел поговорить с Пэдди, ибо мне думалось, что, обладая волшебным зрением, он должен видеть хотя бы некоторых из тех таинственных тварей, которые, как известно всей Ирландии, бродят в ночной темноте в канун Дня Всех Святых. А до этого дня оставалось совсем немного.

— Скажите, — спросил я, — разве после наступления темноты в канун Дня Всех Святых Пэдди не видит множество странных вещей?

— Может, и видел бы, — ответила миссис О'Хоун, — если бы я не запирала его в доме.

— Но зачем вы это делаете? — спросил я. — Разве вам не интересно, что он видит?

— Вечером в канун Дня Всех Святых из своих убежищ выбирают даже такие существа, о которых мы ничего не знаем, — сказала миссис О'Хоун, — А я не хочу, чтобы Пэдди с ними водился.

Тут вошел Пэдди, и мы поздоровались.

– Как жаль, – сказал я, – что ты ни разу не видел, что происходит в округе в канун Дня Всех Святых.

– Это так, – подтвердил Пэдди.

– Очень жаль, – повторил я. – Разве не так, миссис О’Хоун?

– Вот уж не знаю, – проговорила она, и тогда я снова посмотрел на Пэдди. А Пэдди сказал:

– Да я, наверно, все равно ничего не увидел бы!

Тут я понял, что выбрал неверный путь, не соглашаясь, – пусть и не очень резко, – с наставлениями, что давала сыну миссис О’Хоун, ибо теперь оба они прибегли к уклончивым ответам и молчанию, которые были мне слишком хорошо знакомы. Я не сомневался, что скоро они и вовсе начнут утверждать, будто Пэдди не ел никакого феникса, и тогда я не мешкая сменил тактику.

– Похоже, вы совершенно правы, миссис О’Хоун, – сказал я. – Кто знает, что мог бы увидеть Пэдди, если бы вы позволили ему выйти из дома в ночь накануне Дня Всех Святых. И кто знает, как действовало бы на него увиденное. Никто не может сказать это заранее.

– Да уж, лучше поостеречься, – ответила миссис О’Хоун.

– Конечно, – согласился я. – Лучше поостеречься.

– Вот поэтому-то я и не выпускаю его из дома, – сказала она.

– Правильно делаете, – кивнул я.

– Ну а раз он ничего не видел, – добавила миссис О’Хоун, – значит, и расспрашивать его бесполезно.

– Совершенно с вами согласен.

– Я бы не сказал, что я ничего не видел, – вмешался Пэдди. – В канун Дня Всех Святых мимо этого окна пролетает столько всяких существ, что даже трудно поверить, как они все помещаются в небе.

– Каких именно существ? – уточнил я.

– Ведьм, например, – сказал Пэдди. – В прошлом году в канун Дня Всех Святых они летели за окном густо, словно гонимые ветром сухие листья.

– Может быть, лучше оставить их в покое? – вмешалась его мать.



— Но ведь они были за стеклом, мама, — возразил Пэдди. — Здесь, внутри, нам ничто не грозит.

— Может и так, — сказала миссис О'Хоун. — Но разве ведьмы не относятся к тем вещам, о которых отец Рурк не советовал тебе задумываться?

— Я не задумываюсь — я просто говорю, что я видел!

— Так и есть, — поддакнул я и молчал до тех пор, пока миссис О'Хоун не отошла к очагу, чтобы приготовить чай. И пока она им занималась, я спросил Пэдди, что же он видел в прошлом году в канун Дня Всех Святых.

— Я был здесь, в этой самой комнате, — сказал Пэдди. — Как только небо стало темнеть, и в вышине зажглись две-три звездочки, я увидел на западе — на фоне гаснущего заката — ведьм, которые летели верхом на своих метлах, двигаясь со скоростью сильного ветра.

— Ты уверен, что это были ведьмы? — спросил я.

— Я не мог ошибиться, — возразил Пэдди. — С тех пор как я съел феникса, я ясно вижу всякие такие существа.

— В этом я не сомневаюсь, — сказал я.

— Я видел их так же ясно, как вижу вас, — добавил Пэдди.

— Куда же они летели? — спросил я.

— Конечно, они летели на свое особое место, где ведьмы собираются каждый год в канун Дня Всех Святых, — объяснил Пэдди.

— И что же они делают на этих своих ежегодных встречах? — спросил я, ибо именно такие мелкие детали позволяют, порой, проверить подлинность той или иной истории.

Пэдди немного подумал и сказал:

— Я вам расскажу...

Но как раз в этот момент миссис О'Хоун позвала сына, чтобы он помог ей накрыть на стол, и только когда я уже пил ее крепкий чай с изрядной порцией сахара, я услышал рассказ о месте, где встречаются ведьмы. Но прежде мне пришлось пристально посмотреть на Пэдди, чтобы напомнить ему о теме нашей беседы.

— Так вот, насчет ведьм... — проговорил Пэдди, но мать бросила на него предостерегающий взгляд, и он запнулся, словно не желая продолжать разговор. Но я продолжал смотреть на него, и даже пере-

стал откусывать от куска темного хлеба с маслом, который держал в руке. И в конце концов Пэдди сказал матери:

– Я, собственно, собирался рассказать только о старой Кейт Райан. В этом ведь нет ничего плохого, верно?

– Верно, – согласилась миссис О’Хоун. – Но только если ты собираешься говорить об одной лишь Кейт Райан.

– Только о ней я и собирался говорить, – подтвердил Пэдди и повернулся ко мне. – Кейт Райан была одной из них, – сказал он. – Она-то все мне и рассказала.

– Где же ты ее встретил? – удивился я.

– Так она же живет в нашем поселке! – объяснил Пэдди. – Я знал, что старая Кейт – одна из них, потому что видел, как она пролетала мимо нашего окна вместе с остальными. Как-то я пошел к ее старому домику, заглянул в дверь и, видя, что она сидит возле своего крошечного очага, спросил ее о том же самом, о чем сейчас спрашивает ваша милость, ибо я догадывался, что рано или поздно вы снова появитесь в наших краях и захотите узнать что-нибудь новенькое о всяких таких существах. «О чем вы говорите – вы и другие – когда собираетесь все вместе в канун Дня Всех Святых?» – спросил я Кейт.

«Вот не знаю, каких “остальных” ты имеешь в виду, – ответила она. – К тому же в канун Дня Всех Святых я не выхожу из своего маленького старого дома».

Но у меня с собой было перо феникса; достав его из-под куртки, я сказал:

«Смотри: я съел бессмертную птицу и с тех пор обрел способность видеть невидимое. Я видел, как ты пролетала мимо нашего дома – пролетала вот на этой самой метле!»

А ее березовая метла со старым, серо-коричневым черенком стояла в углу за очагом, и я сразу ее узнал. И когда я сказал это, Кейт поглядела на меня с испугом и задумалась. И о чем бы она ни думала, в конце концов она все же решила, что ей вряд ли удастся обмануть человека, который съел феникса, ибо вскоре старая Кейт Райан вынырнула из омута своих древних мыслей и повернулась ко мне со словами: «Коли ты действительно съел бессмертную птицу, – а она часто пела мне, и я узнаю перо из ее хвоста, – я не стану тебе лгать.



Да, в канун Дня Всех Святых мы встречаемся в самом темном уголке неба между двумя звездами, названия которых я тебе не открою. И коли ты видел нас, летящих мимо, знать, это мы и были – все мудрые женщины, что еще остались в нашем мире».

«А для чего вы там встречаетесь?» – спросил я.

«Разумеется, для того, чтобы поговорить, – сказала старая Кейт Райан. – Поговорить раз в году, в канун Дня Всех Святых, в самом темном уголке неба».

«О чем же вы говорите?» – спросил я тогда.

И старая Кейт Райан бросила на меня такой злобный взгляд, что мне показалось – она ни за что не откроет мне тайну мудрых ведьм, но я поднял перо из хвоста феникса, так что она уже не могла дотянуться до своей метлы, и Кейт Райан увидела, что у нее нет другого выхода. И тогда она сказала:

«Хорошо, я расскажу... В простой чашке чая скрыт огромный смысл. Его там намного больше, чем известно миру, особенно если чай заварен по всем правилам и в правильное время...» – Тут она уставилась в огонь и надолго замолчала.

«Так о чем же вы говорите, – промолвил я какое-то время спустя, все еще держа перед ней перо феникса, – когда встречаетесь в самом темном уголке неба в канун Дня Всех Святых?»

«Как о чем? Разумеется, о том, как правильно заваривать чай!» – воскликнула она, и как я ни старался, так и не сумел добиться от нее больше ни слова.

ГЛАВА VIII

МЕРТВЕЦЫ



ажется, в тот же самый вечер, когда Пэдди рассказывал мне о ведьмах, я услышал и о мертвецах. Миссис О'Хоун куда-то вышла; мы остались вдвоем за накрытым к чаю столом, и я спросил, кого еще Пэдди видел ночью в канун Дня Всех Святых.

– Мертвецов, – ответил Пэдди. – В ночь накануне Дня Всех Святых они во множестве выбируются из могил. Только не говорите

маме, что я рассказывал вам о них, потому что она считает – мертвецов лучше оставить в покое. Может, она и права, но, с другой стороны, после того как я съел феникса, я не могу не видеть, как они расхаживают у нас под окнами.

– И они появляются именно в канун Дня Всех Святых? – спросил я.

– Да, тогда их больше всего, – сказал Пэдди. – Наверное, в этот день из могил встанут буквально все умершие.

– И что они делают? – поинтересовался я.

– Просто идут, точнее – плывут над землей, – сказал Пэдди.

– Зачем? – снова спросил я, ибо Пэдди всегда долго раскачивается, и только потом начинает говорить без всякого понукания с моей стороны; тогда любые наводящие вопросы ему только мешают, хотя, с другой стороны, остановить Пэдди не в силах никакие препятствия.

– Они, похоже, считают, что земля все еще принадлежит им, – сказал он, и я спросил Пэдди, откуда он это знает.

– Я догадался об этом по утрюмо-недовольному виду, с каким они плывут над полями, по тому, как они стучатся в окна домов, – объяснил Пэдди. – Сразу видно, что им хочется пробраться внутрь, и они пробрались бы, если бы в такие ночи, когда эти парни гуляют на свободе, моя мать и другие здравомыслящие люди не закрывали окна и двери накрепко.

– Куда же они направляются? – осведомился я.

– Подальше от своих могил, – объяснил Пэдди. – Они встанут на кладбищах и толпами движутся прочь. Мертвецы завидуют тем, кто живет и занимается обычными земными делами, к тому же они считают, что мы все делаем неправильно – не так, как они сами делали когда-то.

И я задал ему много других вопросов, ибо надеялся, что мой интерес к мелким деталям заставит Пэдди придерживаться фактов и обуздает его воображение.

– Откуда ты это знаешь? – снова спросил я, и Пэдди ответил:

– Я ведь слышу, как они говорят. У них тоненькие, едва слышные голоса – совсем как писк летучей мыши, только они произносят



слова, которые хоть и с трудом, но можно разобрать, ибо они, по большей части, повторяют одно и то же: что земля принадлежит им и что люди, которые сейчас на ней живут, не умеют ничего сделать правильно.

– А что еще они говорят? – поинтересовался я.

– Довольно часто мертвецы говорят о вещах, в которых я не разбираюсь, – сказал Пэдди, – да и никто не разберется. О старой политике, о вещах, которые давно не имеют никакого значения, или повторяют имена людей, о которых никто никогда не слышал, но чаще всего они злословят о живых, захвативших, как они считают, их дома. Им не по нутру любые перемены, и если где-то оторвалась петля, если разболталась и стучит на ветру дранка на крыше, они спешат указать на это как на пример того, как скверно мы ведем наши дела. Вот какие они – эти мертвецы: дрейфуют по ветру, бормочут о давно забытых политических новостях да беспрестанно ворчат по поводу того, как все делается в наши дни.

Но мне хотелось вытянуть из Пэдди что-нибудь более определенное.

– Можешь ты припомнить, – сказал я, – что конкретно говорил тот или иной мертвец?

– Да ни один из них не сказал ничего толкового, – повторил Пэдди. – Все та же старая политика и прочие бессмысленные вещи.

– А как они выглядят? – спросил я.

– Их была целая орава, и все они были белыми или, скорее, белесыми, если хотите знать точно. В прошлый канун Дня Всех Святых они двигались от кладбища в нашу сторону, и мама поскорее заперла окно и задернула занавеску, но я все равно смотрел в щелку.

– Значит, миссис О’Хоун тоже может их видеть? – уточнил я.

– Нет, она никого не видит, – сказал Пэдди, – но она все равно знает, когда мертвецы близко. Не спрашивайте меня – как, может быть, просто чувствует... Именно поэтому она заперла окно и закрыла занавески, но я все равно выглянул в щелку между ними и увидел, что мертвецы – как я уже говорил – плотной светло-серой толпой движутся в нашу сторону, и у всех них был очень скорбный

вид, ибо поля, через которые они шли, им больше не принадлежали. И голоса у них тоже были скорбными и печальными.

— И ты так-таки не можешь припомнить ничего, о чем они говорили? — повторил я.

— Не могу, — ответил Пэдди. — Разве я не сказал вам, что в их речах не было никакого смысла?

— Интересно, находят ли они какой-то смысл в наших разговорах, — сказал я.

На этот раз мне посчастливилось услышать от Пэдди нечто конкретное, если, конечно, это действительно был факт, а не вымысел; увы, подтвердить или опровергнуть его вряд ли возможно.

— Именно об этом они и говорили, — сказал Пэдди. — Они утверждают: в том, что говорим мы, нет ни капли смысла — как и в наших поступках, кстати. Вот о чем говорили мертвецы.

— А что они говорили о нас? — поинтересовался я.

— Все то же самое, только хуже, — был ответ.

— Что — «то же самое»? — уточнил я.

— То же самое, что мы обычно говорим о прошедших веках, — пояснил Пэдди. — Вы наверняка слышали, что некоторые высмеивают «викторианцев», как они их называют — какими они были нелепыми и какими невежественными были люди в прежние времена, какими смешными словами пользовались... В общем, мертвецы говорили что-то в этом роде, только еще больше. Некоторые вещи я и вовсе не осмелюсь повторить вашей милости.

— И они говорили все это про нас?

— Да, и да поможет нам Бог.

— Расскажи-ка мне еще что-нибудь о мертвецах, — попросил я.

И Пэдди рассказал, что он видел той странной ночью в канун Дня Всех Святых, когда все ведьмы уже пролетели, а тьма еще больше ступила.

— Мертвецы явились со старого кладбища в Баллахадригане, — сказал Пэдди, — с того самого, которое виднеется вон там, за деревьями. Они шли сплошной серой массой; я видел, как они скользили над полем и спустились вниз к ручью, потому что так им удобнее перемещаться.



– Почему? – спросил я.

– Должно быть, им помогает течение, – объяснил Пэдди. – Мертвецы ведь не ходят, как мы, а движутся по воле ветра, к тому же они совсем легкие и не имеют определенной цели; поток же, напротив, течет в определенном направлении и обладает собственной скоростью; быть может, именно поэтому мертвецам проще двигаться вместе с ним. И внизу у ручья они встретили других, что явились с кладбища в Боррисе*, которое находится на холме на противоположной стороне ручья, и пошли дальше вместе. Я сам видел, как они сошлись внизу, в лощине, и даже подумал, неужто они собираются драться? Но драться никто из них не стал; какие бы разногласия ни существовали между жителями Баллахадрина и Борриса раньше, мертвецы, по-видимому, больше не питают друг к другу враждебных чувств; по-настоящему им не нравятся только те, кто захватил их землю и живет в их домах.

И вот все они двигались сюда – двигались в одном направлении, ковыляя, протягивая вперед длинные бледные руки, показывая на нас и шевеля скрюченными пальцами. И я сказал матери: «Мама, они идут!», и она сразу поняла, кого я имею в виду. И тогда она обошла весь дом и проверила все окна, чтобы не осталось ни малейшей щелочки, и затолкала старую газету в щель под дверь, потому что мертвые способны просочиться где угодно. Дверь она тоже заперла на замок, но вовсе не для того, чтобы не впустить мертвецов, ибо они могут проникать только сквозь пустоту; на то, чтобы сладить с вещественной преградой, у них не хватает сил. И после этого мы стали ждать; снаружи сильно похолодало, и пришлось подложить в очаг дров – несколько толстых поленьев, а поверх навалить торфа; так мы сидели у огня всю ночь, попивая чай и дожидаясь крика петухов.

Время от времени моя мать говорила несколько слов о тех умерших людях, которых когда-то знала, но вообще она говорила очень мало, да и я тоже молчал, чтобы ненароком не привлечь внимания мертвецов, потому что никто из нас не знал, как они поступят теперь – вспомнят ли они давнишних знакомых или примут сторону своих мертвых собратьев. Все щели в доме были надежно заткнуты, а по дымоходу мертвецы спуститься не могли, потому что

даже дым был плотнее них, дым же поднимался вверх. И все же мы немного боялись, потому что стоит мертвецам пробраться в дом — пусть даже они пробудут в нем всего полчаса и исчезнут вместе с петушиным криком — и они оставят за собой разлитое в воздухе холодное и влажное нечто. А люди говорят, что стоит хоть разок вдохнуть Смерть, и от нее уже не избавишься; и какое-то время спустя придется тебе последовать за ней, так что в конце концов ты окажешься на кладбище с остальными.

В нашем поселке немало домов, и я мог бы назвать вашей милости имена тех, к кому Смерть пришла такой же холодной и сырой ночью. Разумеется, она может явиться к человеку в любой день в течение года, и от этого никак не спастись, но в ночь накануне Дня Всех Святых Смерть ведет за собой сонмища мертвецов. Вот почему мы сидели у огня и почти все время молчали, а если и говорили что-то, то очень негромко, чтобы не напоминать мертвым о своем присутствии. Я никогда не видел, чтобы их было так много. Мертвецы были столь многочисленными, что мама почти разглядела их; впрочем, она в любом случае знала, что они близко. В довершение всего, той ночью почти не было ветра, который пронес бы мертвецов мимо; в тихую, безветренную погоду они могли перемещаться лишь благодаря легкому движению воздуха, которое производил водный поток, ибо даже такая малость обладает большей силой, чем есть в мертвецах.

В конце концов я тоже поднялся и, по примеру матери, еще раз обошел на цыпочках весь дом, проверяя, нет ли где-нибудь щели или трещины, через которую мертвецы могли бы проникнуть внутрь, но все лазейки мама надежно заткнула бумагой. Тогда я подбросил в огонь еще несколько поленьев, чтобы густой дым помешал мертвецам пробраться в дом по трубе; увы, занимаясь этим, я, наверное, все-таки нашумел, ибо мертвецы стали лхнуть к окну и царапать стекло скрюченными пальцами с длинными когтями; их холодные глаза были неотрывно устремлены на огонь, и я испугался, что они все же сумеют как-то залезть в дом.

«К утру они исчезнут», — сказала мама.



«Да, но что мы будем делать сейчас?» — ответил я, ибо выражение, которое я видел на лицах мертвецов, ясно говорило, что к полуночи все они будут внутри. И хотя мы были уверены, что двери и окна надежно закрыты и все щели плотно заткнуты, мертвецы, похоже, тоже не сомневались в успехе. Я читал это в их глазах, слышал это в тишине и в мертвящем холоде, залегавших вокруг дома, и тут ко мне внезапно пришел страх, что они могут быть правы, а мы ошибаемся.

Я, конечно, не стал говорить матери о том, что боюсь, и что ее бумажки могут не задержать мертвецов, ибо она постаралась на совесть, а мне не хотелось отзываться о ее трудах с пренебрежением, однако по мере того как ночь становилась все глуше, рос и мой страх, что в конце концов они проберутся в дом, если ничего не предпринять. Мертвецы уже окружали дом со всех сторон, и, казалось, толпа вот-вот захлестнет его, как волна, когда мне вдруг пришла в голову идея, как с ними справиться. И я, как мог, растолковал свою мысль матери, стараясь, однако, ничем не показать, что не доверяю ее бумажкам и газетам, а это было непросто.

Вот каким был мой план — план по спасению бедной старой женщины и ее сына от окруживших их старый дом мертвецов; я и сам удивился, когда он пришел мне на ум. В мире не знают подобных планов, потому что миру наплевать на старую женщину, ее сына и их дом, и все же, несмотря ни на что, это был отличный план, с помощью которого я рассчитывал заставить мертвецов отступить. И если бы я был генералом, я обращал бы в бегство армии и захватывал города, и тогда, быть может, мир услышал бы обо мне.

— Но в чем же заключался этот твой план? — спросил я.

— Терпение, ваша милость, я как раз собирался сказать, — ответил Пэдди. — На самом деле мой план был довольно прост... В курятнике на заднем дворе у нас было два старых петуха, и я собирался выскочить из двери черного хода, перебежать двор и разбудить их. Одного петуха могло оказаться недостаточно, но если бы я разбудил обоих, они бы непременно начали кукарекать, мертвые услышали бы их крик и поспешили вернуться в свои могилы. «Это заставит их убраться восвояси», — сказал я матери.



«Ах, Пэдди, — ответила она, — не стоит тебе дышать ночным воздухом!»

«Но разве это не лучше, — возразил я, — чем сидеть до утра в окруженном мертвецами доме?»

«И ты готов встретиться с мертвецами лицом к лицу?» — сказала мама.

«Конечно, — ответил я. — И я готов обратить их в бегство, и прогнать одних назад в Баллахадринан, а других — в Боррис».

«Ах, Пэдди, не делай этого!» — сказала она.

«Почему же? — спросил я. — Ведь мертвецы обступают наш дом уже со всех сторон! Что, если они сумеют как-нибудь пролезть внутрь и заполучить нас?»

Но, наверное, чем старше становятся люди, тем большее сочувствие они испытывают к мертвым; как бы там ни было, мама положила руку мне на плечо и не позволила даже подняться.

«Пусть немного погуляют в их единственный свободный вечер», — сказала она.

Так она никуда меня и не пустила, и мы всю ночь просидели у огня, пока холодный рассвет сам не разбудил наших старых петухов.

ГЛАВА IX

DE MINIMIS



Вы, далеко не во всех случаях мне удавалось получить от Пэдди О'Хоуна сведения, на которые я рассчитывал, однако поговорить он всегда был не прочь, поэтому даже если я вдруг не слышал от него рассказа о каком-нибудь новом чуде, — или о старом, о котором я ничего не знал, — то, по крайней мере, у меня была возможность познакомиться с его взглядами на деревенскую жизнь, служившую как бы декорацией, на фоне которой происходили упомянутые чудеса. Как-то раз, вскоре после того как я услышал от него историю о лебеде, я снова навестил Пэдди, чтобы расспросить о



рунах, заклинаниях, чарах и прочем колдовстве, с которым он мог сталкиваться.

— Слышал ли ты когда-нибудь о каком-нибудь еще ведьмином заклятье? — спросил я его.

— Не слышал, — ответил Пэдди после непродолжительного раздумья, — но вся наша округа, несомненно, полна волшебства.

— Какого именно? — уточнил я.

— Взять, к примеру, латынь... — ответил Пэдди. — Если подумать, в ней заключена немалая сила.

— Разве ты знаешь латынь? — удивился я.

— Нет, — ответил Пэдди. — Но верю в ее волшебное могущество.

Наш разговор происходил в саду матери Пэдди, и я довольно скоро начал догадываться, что напал на след очередной удивительной истории. И пока мы шли по заросшей тропинке к дому, я задавал Пэдди лишь необходимые вопросы, чтобы не дать ему отклониться от темы; свою же историю он был волен рассказывать, как сам пожелает. Но до дома мы добрались прежде, чем Пэдди начал свою повесть, а там меня приветствовала старая миссис О'Хоун, которая пригласила меня в комнату, ибо снова настало время вечернего чая. И когда Пэдди наконец заговорил, мы уже сидели за накрытым к чаю столом.

— Как-то я занял ружье и несколько патронов, — начал он, — чтобы добыть матери на обед несколько бекасов. Я отправился на болото — на ту его часть, которая считается заповедной и охраняется особенно строго; мне и в голову не могло прийти, что мне кто-то помешает, ибо только человек, обладающий черствым и холодным сердцем, способен запретить другому человеку подстрелить пару бекасов для его старой матери. Да и бекасов-то я не добыл — в тот день они летали как-то особенно хитро и начинали кувыркаться и вертеться в воздухе то туда, то сюда, стоило только взять их на мушку. В тот день я подстрелил только с полдюжины гаршнепов*, которые летают не так затейливо и подпускают охотника куда ближе, чем их более крупные собратья.

Я сказал, что добыл шесть птиц, но видели бы вы, какими они были крошечными и жалкими! Всех вместе было бы слишком мало, чтобы человеку не стыдно было принести их родной матери на обед. Но не успел я отправиться с добычей домой, как вдруг, откуда ни возьмись, появился управляющий лорда Монагана и заявил, что я, дескать, незаконно охотился на чужой земле.

«На кого это я охотился?» — спросил я.

«На бекасов», — ответил он.

«На бекасов, вот как? — переспросил я. — Да я ни за что не стал бы охотиться на бекасов лорда Монагана, потому что знаю, что они нужны ему для себя и для господ, которые иногда у него обедают. Нет, сэр, я бы никогда не причинил никакого урона бекасам лорда Монагана; вот почему я охотился на этих крошечных, никчемных гаршнепов».

И я показал управляющему птиц, которые лежали у меня в сумке. Он, конечно, не видел, как я стрелял по большим, увертливым бекасам — быть может, он и слышал выстрелы, но не мог знать, в кого они были направлены.

«Может, они и маленькие, — сказал тогда управляющий, — но все равно это дичь, а большая или маленькая, для закона безразлично».

«Что такое полдюжины крошечных гаршнепов?» — сказал я.

«Все равно жди вызова в суд», — ответил он.

На этом наш спор и закончился. Я надеялся, что, может быть, управляющий забудет об этом случае, но он ничего не забыл. Даже странно, как он все время помнил о шести крошечных птичках! Но я все равно получил повестку в суд.

Теперь пару слов о том, что я обо всем этом думал. Человек, рассуждал я, который вышел с ружьем пострелять бекасов и который добыл вместо бекасов несколько ничтожных гаршнепов, попадает под суд не чаще, чем раз в десять лет, следовательно, в ближайшие лет десять или даже двадцать ничто подобное мне не грозит. Иначе говоря, если в этот раз мне удастся выйти сухим из воды, впереди меня будут ждать годы и годы, в течение которых я смогу спокойно охотиться на кого пожелаю. Но если меня сочтут виновным и конфискуют ружье, тогда мне не у кого будет взять займы другое, и моя



бедная старая мать может умереть с голода. Вот почему я решил, что должен во что бы то ни стало избежать наказания, и поехал в Драмгул, чтобы подыскать себе адвоката. Адвокат сказал, что его услуги обойдутся мне в пять фунтов, я ответил, что согласен, и рассказал ему о крошечных гаршнепах. Тогда адвокат пожелал узнать точно, какого они были размера, ибо он, похоже, плохо знал болота и обитающих там птиц, и я ответил, что гаршнепы были даже меньше ласточки, а адвокат это тщательно записал.

И вот настал день, когда я предстал перед судьей-магистратом. Мой защитник тоже был там; этого молодого человека звали мистер О'Рурк, и я, признаться, не особенно на него полагался, потому что он не очень хорошо разбирался в болотной живности, к тому же он со мной почти не разговаривал. Судья же бросил на него один беглый взгляд, и я понял, что он тоже не слишком высокого мнения о мистере О'Рурке, ибо после этого он посматривал то на него, то на меня с таким видом, словно мы оба были одинаково виновны. Он был очень самоуверенным парнем, этот судья – сразу было видно, что он много о себе думает.

Мои шесть гаршнепов тоже оказались в суде; они лежали на большом блюде, и казалось, что за прошедшие десять дней они усохли, сделавшись еще меньше, чем были, когда я их застрелил, а Бог свидетель – они уже тогда были совсем крошечными. Но вот началось заседание, судья в очередной раз посмотрел на мистера Рурка, а тот велел приставу поднять блюдо повыше, чтобы все могли видеть, насколько малы добытые мною птицы.

«Аргументация моего клиента, – сказал мистер О'Рурк, – опирается на один из основополагающих принципов Закона, и на этом основании он должен быть освобожден от ответственности».

Но судья, если бы захотел, мог и сам говорить всякими юридическими терминами, поэтому доводы моего защитника не произвели на него никакого впечатления; я понял это по тому, как он искоса взглянул на мистера О'Рурка уголком глаза, и подумал, что мои дела, похоже, плохи. Мне интересно было только, о какой именно аргументации говорил защитник, да и судья, похоже, тоже был не прочь это узнать, хотя он ничего такого не сказал и только смотрел на



мистера Рурка. И по тому, как судья на него смотрел, я догадался: он не позволит, чтобы какой-то молодой адвокатишка из Драмгула освобождал от ответственности опасных преступников. Словом, я почти почувствовал себя виноватым, когда мистер О'Рурк снова заговорил. И на этот раз он говорил только на латыни, и я заметил, как выражение самодовольства исчезло с лица судьи, да и сам он сдулся, как воздушный шарик, который напоролся на гвоздь. Он, правда, открыл какую-то книгу и перевернул в ней несколько страниц, но по всему было видно, что возразить ему нечего. Одной фразы на латыни оказалось достаточно, чтобы судья сдался, словно на него наложили заклятье.

Похоже, латынь — замечательный язык! Судья долго сидел вроде как в задумчивости, словно пытаясь найти способ побороть заклятье, но такого способа не было, и он некоторое время довольно сердито смотрел на меня, а потом сказал: «Свободен».

И никто не пошевелился, чтобы убрать маленьких птичек; никто, похоже, даже не знал, что с ними теперь делать, поэтому пристав взял блюдо и подал судье, а тот протянул руку и уже собирался их взять, но тут мистер О'Рурк еще раз повторил те же самые латинские слова-заклинания, и судья отдернул руку. Потом все, кто был в зале суда, ушли, а шесть маленьких птичек так и остались лежать на блюде, поэтому я забрал их сам, так что моя старая мать в конце концов получила свой обед. Видите теперь, на что способна латынь?

— Да, — кивнул я. — Интересно, что же сказал твой защитник?

— Я знаю, что он сказал, — ответил Пэдди. — Ведь он при мне повторил эти слова дважды. После заседания я подошел к нему, чтобы убедиться — я все правильно расслышал, а также чтобы поблагодарить за то, что он сделал, и заплатить ему пять фунтов, что было, конечно, достаточно дешево за его услугу. Теперь я выучил это заклинание наизусть.

— Зачем, Пэдди? — спросил я.

— Как зачем? — ответил он. — Такое заклинание, как это, обладает, конечно же, большой силой. Я произношу его вслух каждый раз, когда в поздний час оказываюсь на болотах, от которых подни-



мается густой серый туман – и кто знает, что может в нем таиться? Но как только я начинаю громко выкликать слова, с помощью которых мистер О’Рурк избавил меня от наказания и совладал с гордостью и тщеславием судьи, ночь сразу становится тихой и безопасной, ибо никто не знает точно, что за сила заключена в этом заклинании.

– Но, Пэдди, – перебил я, – что это были за слова? Можешь ты повторить их для меня?

– Конечно, могу, – кивнул Пэдди. – Я же сказал, что выучил их наизусть. Вот они: *De minimis non curat lex*¹.

ГЛАВА X

ЦАРИЦА ФЕЙРИ

ое намерение как можно чаще видаться с Пэдди О’Хоуном преследовало цели, главным образом, зоологического плана. Возможно, основные интересы Пэдди зоологией не исчерпались, однако не стоит забывать и о том, что были времена, когда к сведениям о существовании некоторых животных, считающихся ныне самыми обыкновенными, большинство людей относилось с таким же скепсисом, с каким мы теперь говорим о фениксе. Как бы там ни было, мне хотелось классифицировать как можно больше образчиков волшебной фауны (если подобное слово здесь уместно), которых Пэдди обладал способностью видеть, прежде чем они окончательно исчезнут из людской памяти, как это, увы, происходит сейчас – и довольно быстро – во многих ирландских графствах.

И вот однажды, ближе к вечернему чаю, я снова отправился к домику матери Пэдди и спросил у нее, не позовет ли она из сада своего сына, чтобы он мог рассказать мне о других существах, которых ему довелось видеть. Я заранее знал, что в этот час застану старую миссис О’Хоун дома, а Пэдди – в саду, ибо, несмотря на то что в мире най-

¹ *De minimis non curat lex* (лат.) – Закон не заботится о мелочах (правовой принцип). –

Примеч. переводчика



дется несколько миллионов неутомонных людей, которые вечно суетятся и поступки которых невозможно предсказать, их на самом деле гораздо меньше, чем людей выдержанных и спокойных, поведение которых отличает методическая регулярность, свойственная, например, грачам и другим здравомыслящим созданиям. Они не ищут перемен, ибо то, что они делали в прошлом году, продолжает устраивать их и в нынешнем, и поэтому их всегда можно застать в определенный час в определенном месте. Вот почему я нисколько не удивился, видя, что — как я и ожидал — миссис О'Хоун сидит перед своим очагом, а Пэдди работает в саду.

— Конечно, сейчас позову, — тотчас сказала миссис О'Хоун и, подойдя к двери, окликнула сына. И Пэдди вернулся в дом, а его мать предложила мне своего крепкого и сладкого чаю, за чашечкой которого я услышал еще одну удивительную историю. Правда, вышло так, что тему рассказа задал я, ибо уже давно размышлял о еще одной разновидности странных существ, которые, по слухам, часто встречаются в Ирландии, но о которых Пэдди до сих пор не упоминал.

Начать разговор на эту тему было не особенно легко, ибо, несмотря на то что существа, о которых я хотел услышать, слыли в Ирландии (как гласили легенды) одними из самых обычных, насчет них всегда существовало и до сих пор существует неписанное правило: никогда не называть их по имени. А поскольку они продолжают служить излюбленной темой разговоров, что ведутся у бесчисленных ирландских очагов, как только падут на землю сумерки, для именования этого неназываемого народа существует немало синонимов, так что каждый, кто захочет поговорить об этих существах, может либо воспользоваться одним из них, либо изобрести что-то, свое, не рискуя при этом остаться непонятым. И вот, сидя за чашкой чая в доме миссис О'Хоун, я сказал Пэдди:

— Скажи, ты никогда не встречал тех, кто танцует в звездном свете?

— Может, встречал, — ответил Пэдди. — А с другой стороны, может быть, и нет.



Когда человек говорит о фейри, подобная неуверенность – самое обычное дело, и я не придаю ей никакого значения.

– И как давно ты видел их в последний раз? – спросил я.

– Да вроде бы не очень давно, – сказал он.

– Они танцуют где-нибудь поблизости?

– Да как будто не очень далеко, – ответил Пэдди.

И история, которую я от него услышал, была весьма необычной и странной. «Может быть, мне просто почудилось», – сказал Пэдди раз или два. Один раз он сказал: «Быть может, на самом деле я видел кроликов или кого-то из их породы. Может, зайцев». Когда история была рассказана уже больше чем наполовину, Пэдди вдруг спросил: «Я вас не утомляю?», а потом произнес слова, показавшиеся мне весьма необычными. «Никто не может знать наверняка, что творится в этом мире, – сказал он. – Только в потустороннем мы можем быть уверены». Думаю, впрочем, он заговорил об этом только для того, чтобы подстраховаться на случай, если высказал слишком много языческих взглядов и мнений, многие из которых могли оказаться запретными. Все эти неловкие полуотрицания собственного рассказа, все запинки и высказанные Пэдди сомнения я, однако, решительно выбрасываю и передаю его историю своими словами. Дело было приблизительно так:

На землях лорда Монагана развелось слишком много кроликов; он понятия не имел, что ему с ними делать, и, хотя он не обращался к соседям с просьбой о помощи, все они понимали: лорд будет не в претензии, если время от времени кто-нибудь поймает несколько штук. Кроме того, миссис О'Хоун захотелось крольчатины, а человек, который не поможет родной матери, когда она голодна, недостойн называться ирландцем.

И вот однажды, когда стемнело и управляющий лорда Монагана должен был сидеть с трубкой у себя дома перед камином, Пэдди отправился на промысел, имея в кармане несколько кроличьих силков. Он нарочно не стал ставить ловушки днем, пока управляющий занимался исполнением своих обязанностей, ибо подобное могло выглядеть так, как если бы Пэдди исполнял его работу за него, а это, в свою очередь, могло выставить управляющего в дурном свете.



Сумерки давно сгустились, и только над самым горизонтом еще дрожали слабые отсветы заката, на фоне которых чернел древний холм Баллахабури, на вершине которого росли кружком несколько берез. И там Пэдди вдруг заметил танцующих фейри.

Этот холм Пэдди знал всю свою жизнь, но никогда не видел на нем ничего необычного или странного, хотя и чувствовал, что в нем есть что-то странное, — а особенно отчетливо это ощущалось в сумерках. Парни из поселка ни за что не соглашались ходить мимо холма после наступления темноты, хотя никого из маленького народца не видели на его вершине со времен деда Пэдди, и даже он видел фейри, когда был совсем молодым, ибо с тех пор слишком многое изменилось и сделалось совсем не таким, как в старину.

В тот раз Пэдди впервые подошел к холму ночью после того, как съел феникса; свежее волшебство бурлило в его крови, а зрение приобрело магическую остроту, которая с тех пор не оставляла Пэдди, и с помощью этого-то зрения он и увидел танец народа ши*.

Но не только Пэдди заметил фейри, но и они тоже увидели его и поманили к себе. И Пэдди поднялся к ним на холм так спокойно, как если бы они были его рода, ибо различал фейри совершенно отчетливо и ясно, а вовсе не в виде туманных силуэтов или теней, как обычно видят их люди в тех случаях, когда вообще замечают маленький народец. И фейри пригласили Пэдди в круг, заговорив с ним на ирландском языке — на том древнем наречии, которого Пэдди не знал, пока не съел феникса, но сейчас он понял их очень хорошо.

И тогда Пэдди сказал, что не знает их волшебного танца и что ему известны только современные танцы — те, что популярны в городах. И один из фейри шагнул к нему и попросил ни в коем случае не исполнять эти танцы, ибо царица маленького народца весьма строга на сей счет, и подобные пляски означают смерть. Пэдди обещал, что не станет танцевать городские танцы; вместо этого он занял место в хороводе фейри, и все необходимые движения давались ему так же легко и естественно, как умение ходить, и в этом не было ничего удивительного, потому что он съел феникса.



Рассказывая мне об этом, Пэдди упомянул также о поразительной красоте народа холмов – о красоте, которую он все равно не смог бы описать, а я – вообразить, ибо она вовсе не напоминала красоту смертных женщин, а была сродни очарованию синих сумерек, блистающему серебру планет, последнему отсвету заката высоко в небе, матовой белизне совиных крыл в ночном сумраке, оранжево-голубому взблеску зимородка в лучах солнца или мерцанию цветов, когда свет дня уже погас, задержавшись лишь на их нежных лепестках.

Еще Пэдди сказал, что их голоса тоже были прекрасны, но опять же не по-человечески, ибо напоминали доносящееся издали пение флейт, перезвон овечьих колокольцев на дальнем склоне холма или трель дрозда в апрельском лесу, когда рассвет едва касается верхушек деревьев. И, говоря с Пэдди этими своими голосами и глядя на него сияющими, будто звезды, глазами, фейри пригласили его войти в холм, под которым они обитали веками. И вход в него был таким низким и маленьким, что Пэдди разглядел его среди стеблей папоротника только после того, как ему долго на него показывали.

Ему пришлось долго ползти на четвереньках по подземному ходу, а те, кто танцует в звездном свете, шли следом. Когда он прополз по сырому лазу довольно значительное расстояние, потолок внезапно ушел вверх, и Пэдди смог выпрямиться во весь рост. Пещера или подземный зал, в котором он оказался, был освещен волшебными огоньками; их там оказалось довольно много, и в то же время там была темнота. Этих слов я не понял, но так сказал мне Пэдди. Вероятно, он имел в виду какой-то особый свет, который почти не светил – что-то наподобие светлячков, хотя я думаю, что огоньки фейри были немного больше.

В середине зала, в который Пэдди в конце концов попал, лежала длинная каменная плита, похожая на алтарь, а чуть дальше восседала царица тех, кто много старше людей. Ее окружало неяркое, чуть призрачное сияние, словно позаимствованное у тысяч белых цветов, после того как померкнет дневной свет, и сохраненное с помощью волшебства. И Пэдди подумал, что народ, который по ночам водит свои хоробы на укромных лужайках (где по утрам вырастают

кольца поганок), научился каким-то образом собирать с цветов свет, как пчелы собирают с них сладкий мед.

Если бы я не узнал от Пэдди, как именно все это выглядело, я бы, возможно, так ничего и не понял, ибо попытался бы взглянуть на происходившее с научной точки зрения, тогда как он пытался объяснить мне это с точки зрения магии. Царица первой заговорила с ним своим волшебным, мелодичным голосом, спросив, что творится в мире, словно этот самый мир, из которого он только что явился, был невесть как далеко. И Пэдди ответил, что в мире все по-прежнему. Тогда она спросила, как это — по-прежнему, и Пэдди рассказал, что на выборах Мик О'Хегарти боролся с Джимми О'Рурком и обещал, что каждая семья, где есть ребенок, станет получать бесплатное молоко, чем, конечно, сразу завоевал на свою сторону всех женщин, после чего ему понадобилось бы для победы всего несколько десятков мужских голосов, которые он, конечно, получил бы без особого труда. Но буквально накануне голосования Джимми О'Рурк произнес несколько пламенных речей и пообещал всем бесплатную выпивку, — и одобрительные крики избирателей были слышны, наверное, не только у моря, но и за ним. Воодушевление, вызванное этими речами, было столь велико, что поколебало даже женщин, так что Джимми был избран почти единогласно. Больше того, люди до сих пор считают его отличным парнем, хотя бесплатной выпивки они так и не дождались. И когда Пэдди закончил, царица народа, который мы не называем, пришла в восхищение делами мира, ибо во мраке под холмом она, конечно, не слышала ничего подобного. Снова и снова царица расспрашивала Пэдди о Джимми О'Рурке, и чем больше он рассказывал, тем больший восторг она выказывала.

«Все это удивительно и ново, — сказала она. — Удивительно и ново... Чудный земной свет я вижу в твоих глазах».

И как только царица упомянула о его глазах, Пэдди перестал рассказывать о Джимми О'Рурке и поведал кое-что о собственной жизни и о ловких трюках, которые он проделал в свое время, и царица народа холмов слушала, как замороженная, а те, кто околдовывает скот, молча стояли позади него. Наконец царица сделала им какой-то знак, и они, то кланяясь Пэдди, то пританцовывая, повели молодого



Уход Ходрана Дата



человека по низкому коридору в другой зал и там короновали венком из огромных цветов, что растут только в садах богатых людей, а одну гирлянду из белых цветов они надели ему на шею. И Пэдди, похоже, немного заважничал и, тщеславясь, стал расспрашивать фейри, сделали ли они все это по приказу царицы и что царица о нем думает. А фейри отвечали своими тонкими мелодичными голосками, что да, это приказала им царица, которой так понравился мир снаружи, что она решила оказывать великие почести каждому, кто оттуда явится.

Но Пэдди, который знал, что мир очень велик, был несколько разочарован этими словами и пожелал узнать, что думает царица о нем лично, и фейри ответили, что она считает его лучшим из живущих на Земле людей. Этого Пэдди должно было быть достаточно, но он, снова не удовлетворившись их словами, спросил, откуда они знают, что царица считает именно так. Это, однако, ему было суждено узнать достаточно скоро вне зависимости от того, продолжал бы он расспрашивать темный народец или нет.

Фейри объяснили – они знают, что царица считает Пэдди лучшим из людей, ибо она только что приказала принести его в жертву в своем присутствии на длинном каменном алтаре. А между тем узкий проход, по которому Пэдди пришел сюда, был весь заполнен фейри, и бежать ему было некуда.

«Это неслыханно!» – воскликнул Пэдди.

Вовсе нет, ответили фейри и добавили, что он удостоился великой чести. Потом на Пэдди надели еще несколько гирлянд, из чего он заключил, что времени у него осталось совсем мало. Правда, чтобы составить одного Пэдди, потребовалось бы, наверное, два десятка фейри, но вокруг их было и двадцать, и даже намного больше, чем двадцать, к тому же они были намного проворнее и хорошо знали подземные ходы под холмом. И еще Пэдди увидел, что они все вооружены. Их оружие казалось неуклюжим и смешным, сделанным, наверное, еще в каменном веке, когда народ фейри был молод, однако это не мешало ему быть острым и весьма эффективным против безоружного человека.

Как же быть, спросил себя Пэдди.



Он все еще пытался протестовать, говоря, что все это какая-то ошибка, но фейри ответили, что царица никогда не ошибается. Тогда Пэдди сказал, что люди очень рассердятся на фейри, если те посмеют сделать то, что задумали, но ему ответили, что мир слишком далеко, и люди ничего не узнают. Пэдди попытался объяснить, что внешний мир находится в каких-нибудь тридцати ярдах, но фейри не мерили расстояние в ярдах. Все же он продолжал настаивать, что мир все равно обо всем узнает, и ему даже стало казаться, будто он сумел убедить некоторых из них, но тут один фейри сказал, что мнение мира не имеет под холмом никакого значения и никакой ценности, и тогда Пэдди понял, что его дело безнадежно.

Между тем фейри уже надели на него все полагающиеся гирлянды и, окружив тесной толпой, схватили его своими крошечными ручками, чтобы отвести в зал, где восседала над алтарем их царица. И тут, несмотря на охватившее его отчаяние, Пэдди вдруг подумал, что фейри-то собирались принести в жертву обычного человека — бедного труженика, которому нужно кормить старую мать, тогда как на самом деле он вовсе не был обыкновенным — он съел феникса, и теперь в его жилах текла такая же, как у фейри, волшебная кровь, которую, как надеялся Пэдди, они не посмеют пролить.

И пока его вели к царице, Пэдди спросил, не видели ли фейри в последнее время феникса и не имеют ли они каких-нибудь известий о бессмертной птице. И, продолжая тащить его вперед, фейри ответили, что хорошо знают и любят феникса, но, к сожалению, его уже давно не видели в здешних краях.

«Это потому, — сказал им Пэдди, — что я его съел. Я застрелил его из своего ружья и съел, и теперь его волшебство течет в моих жилах; и когда я расскажу об этом вашей царице, она, конечно, не позволит принести меня в жертву!»

«О, презренный! — вскричали фейри. — Он убил вечную птицу! Он съел феникса!»

И Пэдди услышал, как по всем залам и коридорам под холмом тонкие мелодичные голоса повторяют эти слова с ужасом и трепетом. И с тем же кличем фейри сердито толкали его перед собой, пока не оказался Пэдди в зале, где сидела пред длинным алтарем

царица; и одного сказанного ей слова оказалось достаточно, после чего фейри проволокли Пэдди дальше и втокнули в узкий подземный ход, через который он попал под холм из большого мира. И позади он услышал голос царицы, которая выкрикнула «О, презренный!» с такой грозной интонацией, словно оглашала приговор.

Потом фейри протащили его сквозь сырой, темный лаз и выкинули вон из холма – и, как утверждает Пэдди, из мира волшебства тоже, ибо с тех пор сумерки утратили для него всю таинственную прелесть, закат лишился своей неземной красоты, и нет больше колдовского очарования в поднимающихся над рекой вечерних туманах, и переключка белых сов, скользящих над полями в лучах луны, потеряла свой потаенный смысл, а все существа, которых Пэдди так отчетливо видел, с тех пор как съел феникса, являются ему теперь размытыми и неясными промельками – если вообще являются. И Пэдди думает, что заключенная в плоти феникса магия была свойственна и тем, кто обитает в безвременье под холмом, и что теперь они разгневались и отняли у него этот волшебный дар.

ЯБЛОНЯ ВДОВЫ ФЛИНН

Ред перед вами две истории, в которых, впрочем, повествуется об одном и том же событии. Первая из них представляет собой не что иное, как свидетельские показания, которые сержант Райан дал под присягой перед мировым судьей, рассматривавшим дело юного Мики Магуайра – шестнадцатилетнего юноши, обвиненного в том, что он пытался похитить яблоки из сада вдовы Флинн и нанес ей ущерб в размере одного шиллинга и трех пенсов. Вторая история рассказана самим Мики Магуайром. Пожалуй, я все-таки начну с показаний сержанта, но прежде чем я сделаю это, мне хотелось бы обратить внимание читателя, что, взойдя на свидетельское возвышение, блюститель порядка первым делом поклялся говорить только правду и ничего кроме правды. Вот что он показал:

– Первого ноября около девяти часов вечера, действуя согласно полученной информации, я отправился в сад вдовы Флинн, где обнаружил обвиняемого, впоследствии опознанного мною как Мики



Магуайр. Он лежал под деревом без сознания, и в руке у него была зажата сломанная яблонева ветка с восемью яблоками, на основании чего я подсчитал, что причиненный дереву ущерб составляет примерно один шиллинг и три пенса. Я привел обвиняемого в себя с помощью холодной воды, которой брызнул ему в лицо, при этом мне показалось, что он страдает от легкого сотрясения, что и подтвердил впоследствии доктор Мерфи. Миссис Флинн не выдвигала против Магуайра никаких обвинений и не отвечала на мои вопросы; по-видимому, она была весьма озабочена состоянием здоровья обвиняемого. Тем не менее, когда я только его увидел, ветка с восемью яблоками была у него в руке. Было совершенно очевидно, что эти яблоки не принадлежат Магуайру.

Выслушав показания сержанта, судья спросил Мики Магуайра, может ли он что-то сказать в свою защиту и не хочет ли он задать какие-нибудь вопросы свидетелю. От перекрестного допроса молодой человек наотрез отказался; вместо этого он попытался рассказать, как обстояло дело с его точки зрения. Вот его история:

— Я вовсе не крал яблоки миссис Флинн, и в сад мы пошли вместе. Но сначала я постучал в дверь ее дома и спросил, можно ли мне войти. К миссис Флинн я попал только после наступления темноты, потому что днем я работаю и у меня нет времени ходить по гостям; когда же я выполнил всю положенную работу, я выпил дома чаю и отправился повидать миссис Флинн, которая живет в хижине на краю болота; как известно вашей чести, ее дом находится на некотором расстоянии от поселка, поэтому, когда я туда добрался, уже начало темнеть.

Повидаться с миссис Флинн мне хотелось, потому что я прочел много старинных ирландских легенд и узнал, что некоторые люди, обладающие особыми способностями, нередко превращали принцев в диких лебедей. Вот мне и захотелось спросить, остались ли еще где-нибудь такие люди, или прежняя Ирландия, о которой рассказывается в древних легендах, навсегда ушла в прошлое. Мне приходилось слышать, что люди говорят о вдове Флинн, и я подумал: если кто-то до сих пор обладает подобными способностями, то только она. И когда миссис Флинн поинтересовалась, что мне от нее нужно,

я спросил, есть ли еще в нашей стране люди, способные превращать принцев в лебедей. Я, конечно, не имел в виду лично ее — просто мне хотелось знать, существуют ли такие люди или нет. А она ответила, что, быть может, такие люди до сих пор есть, но ей о них слышать не приходилось.

Впрочем, миссис Флинн тут же добавила, что и сама кое-что умеет, и я сказал: «Конечно, миссис Флинн, я нисколько в этом не сомневаюсь», но она ответила, мол, нынешние времена совсем не те, что прежде, и она больше не может превращать принцев в лебедей, но вот превратить одного простого деревенского паренька в гуся ей, пожалуй, удастся. И тогда я ответил: «Меня это вполне устроит, миссис Флинн, потому что если вы это сделаете, я буду твердо знать, что прежние времена не ушли безвозвратно и старая Ирландия жива до сих пор». Тогда она пробормотала несколько магических формул и прочла пару заклинаний; и я бы рассказал вам, что это были за заклинания, потому что я говорю вашей чести чистую правду, да только миссис Флинн заставила меня поклясться самой страшной клятвой, что я никому ничего не скажу, и я никогда не нарушу данного слова.

— Нет-нет, ничего такого я от тебя не требую, — перебил судья. — Просто расскажи нам своими собственными словами, что было дальше.

— Ну, когда вдова Флинн заставила меня поклясться, — сказал Магуайр, — я тоже попросил ее дать слово, что она непременно превратит меня обратно в человека, когда бы я к ней ни явился. «Боюсь только, что это будет непросто, миссис Флинн, — сказал я ей, — потому что в округе хватает молодых ребят, у которых есть ружья. Вдруг кому-то из них придет в голову прогуляться к болотам, чтобы подстрелить гуся? Если же я опущусь на землю перед вашим домом, меня подстрелят, прежде чем вы успеете превратить меня в человека».

«Тебе вовсе не обязательно спускаться на землю и дожидаться меня, — ответила вдова. — Если ты просто подлетишь ко мне хотя бы на тридцать ярдов, этого будет достаточно, чтобы я смогла тебя расколдовать».



Тогда-то я и попросил ее поклясться, что она так и сделает, и вдова дала мне свое обещание. Потом она быстро пробормотала оставшиеся заклинания, и — хотите верьте, хотите нет, — я тотчас превратился в серого гуся. По правде сказать, в первое мгновение я немного испугался и едва не попросил вдову как можно скорее превратить меня обратно в человека, однако почти сразу я понял, что на самом деле мне хочется вовсе не этого; расправив крылья, я взлетел, и тут оказалось, что летать я умею не хуже, чем ходить. Честно говоря, летать мне было даже проще. Прежде чем старая вдова успела повернуться, я взлетел на ее яблоню, чтобы начать полет с какого-то возвышенного места — так посоветовала мне сама миссис Флинн. А потом я оттолкнулся от ветвей и понесся над болотом. Да, ваша честь, я летел! И я был самым настоящим серым гусем. Если б вы только знали, ваша честь, как это удивительно и прекрасно — чувствовать в крыльях упругий ветер и сознавать, что отныне воздух для тебя — прямая и ровная дорога. Правда, в тот первый раз я не улетел далеко, потому что понятия не имел, куда мне нужно двигаться, и решил спросить об этом у кого-нибудь сведущего.

— Кого же ты спросил? — поинтересовался судья. — Можешь ты привести его сюда, чтобы он подтвердил твои слова?

— Я стал спрашивать других гусей, ваша честь, — сказал Мики. — Их стая как раз опустилась на болото. Кого же еще я мог расспрашивать о подобных вещах?

— Да-да, разумеется, — кивнул судья. — Продолжай.

— Дикие гуси сидели на болоте и кормились. Я и сам к тому времени успел немного проголодаться. Сказать по правде, я чувствовал себя голодным все время, которое я провел с ними, потому что гуси не едят два или три раза в день, как люди; они начинают кормиться каждый раз, когда им больше нечего делать, а я теперь сам стал гусем — таким же, как они, и поэтому был здорово голоден.

— Что же ты ел? — спросил судья.

— Это такая малость, ваша честь, вы проглотили бы ее и даже не заметили.

— Вовсе не важно, что я заметил бы, а что нет, — возразил судья. — Мне нужны факты, подтверждающие твои показания. Спрашиваю еще раз: что ты ел?



– Это были такие маленькие луковицы, которые называются бришкаун, – ответил Магуайр. – Они растут на болоте. Стоит только взять такую клювом и... Вы не поверите, ваша честь, до чего они вкусны, эти крошки!

– Какой же вкус у этих лукович? – спросил судья.

– Как у крепкого портера с устрицами, – сказал Мики уверенно. – Не удивительно, что гусям они ужасно нравятся. А поскольку я теперь сам был гусем, мне тоже очень хотелось их отыскать.

– Что же произошло потом? – спросил судья.

– Потом я спросил гусей, как попасть на Север, – продолжал Мики, – потому что я знал, что они вот-вот улетят, а мне хотелось посмотреть мир. Но гуси ответили, что когда настанет пора отправляться в путь, с болот задует подходящий ветер; один гусь даже поднялся в небо, но ветер, который веял тогда над болотами, был не тот, что помог бы стае добраться до Севера, и гуси объяснили мне, что в нужное время ветер будет уже наготове – стоит только взлететь. Так они говорили, и когда это время настало, я понял, что они сказали мне правду, но тогда было еще рано, поскольку едва начался ноябрь, и гусятинная стая только недавно прилетела на Юг. Впрочем, не мне рассказывать вашей чести о повадках диких гусей из Драмагули, о которых ваша честь и без того прекрасно осведомлены.

– Послушай-ка, Мики, – сказал судья, – чем больше ты расскажешь мне о вещах, в которых я разбираюсь, тем лучше будет для тебя, ибо если какие-то подробности твоей истории напомнят мне что-то, что я уже слышал раньше, я, пожалуй, буду склонен тебе поверить. Постарайся, впрочем, рассказывать попроще, как только что сделал сержант Райан.

– Я попробую, ваша честь, – кивнул Мики. – Так вот, днем я и остальные гуси паслись на лугах, что простираются вокруг болот Драмагули, не забывая, впрочем, выставить часовых на случай появления грабителей и убийц. Под грабителями и убийцами я подразумеваю лисиц и, при всем уважении к вам, ваша честь – людей. Когда же начинало темнеть, мы обычно перебирались на болото, далеко облетая большую развесистую иву на его западной окраине, о которой ваша честь, конечно же, хорошо знает, потому что под



ней удобно прятаться человеку с ружьем; именно там устроил бы засаду любой опытный охотник, поэтому мы старались держаться от дерева вне досягаемости выстрела. Кстати, вовсе не я рассказал гусям об иве — они знали о ней раньше; я, казалось, вовсе не мог сообщить им ничего такого, о чем бы они не слышали. Гуси, напротив, поведали мне много такого, о чем я понятия не имел и во что ваша честь никогда не поверили бы, поэтому я не стану сейчас говорить об этом, ибо вряд ли подобные вещи могут свидетельствовать в мою пользу.

Среди гусей была одна дама, которая рассказала мне больше других. Именно от нее я узнал много подробностей о путешествии на Север еще до того, как мы отправились в путь. И столь прекрасным показался мне ее рассказ, что я решил в свою очередь поделиться с ней чем-нибудь неслыханным и удивительным, но когда я признался, что на самом деле я — человек, превращенный в гуся силою колдовства, она ответила: в этом, мол, нет ничего особенного, ибо она сама некогда была принцессой, чей отец правил Ирландией девятьсот лет назад, но потом одна злая колдунья наложила на нее тысячетелное заклятье.

Еще я беседовал с ней о вещах, которые могут показаться вашей чести сущими пустяками; она же в свою очередь много рассказывала о древней истории Ирландии, но если бы я сейчас взялся пересказывать все, что стало мне известно, на это потребовался бы целый день, к тому же и эти факты вряд ли смогут служить мне оправданием. И кроме этого, я узнал от этой дамы-гусыни немало подробностей о старинной птичьей премудрости, и надо признаться откровенно: и о земле, по которой мы ходим, и о небе над нашими головами гуси знают куда больше, чем мы в состоянии представить. Мне, однако, будет нелегко передать услышанное словами, ибо гусиная мудрость похожа, скорее, на обостренную чувствительность ко всем земным и небесным вещам и явлениям и к их взаимной связи тоже, благодаря которой гуси заранее знают, что произойдет: когда выпадет снег, когда взойдет овес и когда случится что-то еще — что-то такое, что мы едва замечаем или просто смотрим на это не так, как они.

Потом наступила зима, и болото замерзло всего за неделю, как ваша честь, наверное, изволит помнить. Почувствовав, что приближаются настоящие холода, мы отправились к ручьям, и о том, где протекают эти ручьи, я вряд ли смогу рассказать вашей чести, ибо это один из секретов диких гусей, однако здесь, в зале, наверняка найдется немало людей, способных подтвердить, что мы и вправду улетели. И по мере того как зима подходила к концу, мы все чаще и чаще заговаривали о Севере; все гуси толковали только об этом, и каждый раз, когда над болотом поднимался ветер, один из стаи непременно взлетал, чтобы проверить, не тот ли это ветер, который унесет нас туда, куда мы так стремились. Увы, каждый раз это оказывался не тот ветер, ибо молодой овес еще не проклюнулся из земли, а у гусей не принято улетать, хотя бы разок не полакомившись нежными молодыми ростками.

Но вот и овес взошел, и когда его ростки поднялись дюйма на два, мы вволю попиروвали на поле к западу от болот, что принадлежит Патрику О'Донахью. А через день над топиями поднялся долгожданный ветер. Он задул внезапно, как раз когда мы были на болоте, и стоило только вожаку приподнять голову, как мы все дружно взмыли в небо. В последнее время и вправду стало чересчур тепло, и воздух над полями сделался неподвижным и ленивым, а Север уже звал нас. И вот мы поднялись в небо и вместе с ветром отправились в путь.

— Какого числа это произошло? — спросил судья.

— В том-то и беда, ваша честь, — сказал Мики. — Гусиный календарь совсем не такой, как у нас, поэтому я вряд ли смогу вам ответить.

— Но ты хотя бы можешь сказать, произошло ли это в тот день, когда, как показывает сержант Райан, он обнаружил тебя в саду миссис Флинн?

— Даже не знаю, ваша честь, — ответил Мики. — Гуси ведут счет времени совершенно иначе.

— В этом зале, — строго перебил судья, — отсчет времени должен вестись только так, как принято у людей. Кстати, почему часы опять не ходят? Финнеган, займитесь, пусть их починят. А ты, Магуайр, продолжай.



И Мики снова заговорил:

— Летя вместе с ветром, мы поднялись очень высоко и оказались среди облаков — таких огромных и плотных, что в первое время мы почти не видели друг друга и могли только слышать голоса соседей. Но потом мы оказались на чистом участке — его раздул ветер, который нес нас на Север. Здесь мы поднялись еще выше и оказались над облаками, которые расстилались теперь внизу, подобно сверкающей равнине. Тут мне пришло в голову нечто такое, о чем я раньше не задумывался: похоже, гуси оказываются куда ближе к Раю, чем человек — я имею в виду, разумеется, тех людей, чья бессмертная душа еще не отделилась от тела. Мне даже подумалось, что Рай находится лишь немногим выше этой облачной страны и что даже если он и прекраснее нее, то ненамного. Пожалуй, он мог бы превзойти ее, только если бы был сделан целиком из золота, да и то металл потребовался бы самой высокой пробы.

— В этом зале, — снова перебил судья, — я не разрешаю говорить ни о религии, ни о политике.

— Прошу прощения, ваша честь, — сказал Мики. — Так вот, как я уже говорил, мы летели над облаками, которые неуловимо отличали золотом, и под собой я то и дело замечал облачные прогалы и ущелья — совсем как горные долины у нас на земле; сквозь эти прогалы мы видели далеко внизу нашу Ирландию, которая с этой высоты казалась совсем маленькой и непривычной: дремучий лес невозможно было отличить от зарослей тростника, а холмы — от куч земли, выброшенных лопатой землекопа и успевших покрыться травой. Впереди стаи летел старый вожак, который показывал нам путь на Север, а мы следовали за ним, выстроившись правильным клином. Так мы летели над холмами, над полями, над болотами и даже над городами, ибо на такой высоте они были для нас ничуть не опасны. И облака под нами то плотно смыкались, и мы не видели ничего, кроме той прекрасной страны, что лежит на полпути между землей и Раем, то снова расходились, и внизу снова проглядывали долины и текущие по ним реки, и — вот странно! — казалось, будто эти реки пробивают себе путь не только по земле, но и сквозь облака.



Я не знаю, ваша честь, как это можно объяснить, но все, что я говорю — истинная правда!

— Гм-гм... — сказал судья. — Пока я слышу от тебя весьма удивительные вещи, и не могу сказать, чтобы какая-то часть твоей истории поразила меня сильнее, чем другая. Тем не менее, мой долг — выслушать все, что ты можешь сказать в свое оправдание. Продолжай же.

— Как я уже говорил вашей чести, все, что было внизу, казалось нам совсем крохотным, будто игрушечным. Потом мы подлетели к морю, и вода в нем была такой прозрачной, что мы видели и дно, где дремлют морские течения, и принесенные ими длинные космы морских водорослей. Водоросли были темными, красновато-лиловыми, а сама вода — зеленой. Над морем нас застала ночь, но мы продолжали наш полет на Север.

— Вы находили дорогу по звездам? — уточнил судья.

— Нет, — ответил Мики Магуайр. — По правильному пути нас вела древняя гусиная мудрость, которой наш вожак научился у звезд, у ветров или у ведьм. Я твердо знаю, что это было именно старинное знание, ибо, когда несколько лет спустя сам стал вожаком, я вел стаю именно благодаря ему; не исключено, что оно включало и знание звездного неба, вот только как я постиг эту премудрость и из чего она складывалась, я сказать не могу.

— Несколько лет, говоришь ты? Несколько лет?! — воскликнул судья. — Боже мой! Когда, какого числа все это началось?

— Я все пытаюсь объяснить вашей чести, — сказал Мики, — что гуси ведут счет времени не так, как люди, и у них совсем другой календарь. Поэтому-то я и не могу назвать вашей чести точную дату.

— То есть, ты хочешь сказать, что сержант Райан неправильно назвал нам число, когда он обнаружил тебя в саду вдовы Флинн?

— Вовсе нет, — возразил Мики. — Я просто хочу сказать, что для меня время шло иначе.

— Ладно, продолжай, — вздохнул судья.

— В конце концов мы подлетели к серым береговым утесам, — сказал Мики, — между которыми врезались в сушу многочисленные заливы и свистел свежий, радостный ветер. Мы были на Севере. Здесь мы начали снижаться, а облака стремительно неслись дальше,



но их тени скользили по одетой яркой зеленью земле медленно и неторопливо.

— Не понимаю, как это может быть! — перебил судья.

— Я думаю, ваша честь, — пояснил Мики, — дело было в нашей собственной скорости: мы так спешили, что казалось, будто облака летят очень быстро, хотя в действительности они вовсе не торопились. Уж не знаю, как там было на самом деле, но тени облаков двигались по земле лениво и не спеша; и в этот-то благословенный край мы опустились. Мне очень неприятно говорить это вашей чести, ибо я ничего не имею против людей, однако вся прелесть этой земли заключается в том, что там нет ни одного человека. Казалось, на этот край снизошла божественная благодать; даже дневной свет не гаснет там так долго, что я поначалу думал: солнце никогда не закатится; можно было подумать, будто мы действительно оказались настолько близко к Раю, что сумели прикоснуться к вечности. Во всяком случае, там дули могучие, чистые ветра, которые не несли в себе ни запаха дыма и ни одного из этих пугающих новых звуков.

— Что ты называешь «новыми звуками»? — спросил судья.

— Я имею в виду звуки, которые оглашают Землю, с тех пор как на ней появился человек, — ответил Мики. — В особенности, с тех пор как были построены города. Этот шум еще больше усилился в последние лет сто — сто пятьдесят или около того, и гуси говорят, что с каждым годом положение становится только хуже. Но эти могучие, свежие ветра, о которых я говорю, дышали только запахами морской соли и несли с собой лишь самые древние звуки, которые были частью Творения и которые не тревожили нас, пока мы спали, и не пугали днем, когда мы бодрствовали. Это была воистину благословенная страна, край мира и покоя, и все же настал день, когда в наших сердцах вновь зазвучал зов Ирландии, как когда-то в них раздался голос Севера. И когда это случилось, мы снова стали дожидаться, пока попутный ветер задует над травянистыми лужайками, где мы паслись. Однажды он поднялся прямо из травы и цветов, и мы взлетели вместе с ним и вернулись на Юг, ведомые древним знанием, состоящим из мудрости ветров, звезд и чего-то такого, чему нет названия в человеческом языке.



Все это продолжалось на протяжении многих лет, из года в год, но я не стану рассказывать об этом подробно, чтобы не отнимать время у вашей чести. Упомяну лишь, что однажды заклятье спало с принцессы ирландского королевского дома, и она покинула нас — то ли тысячелетнее заклинание утратило силу раньше срока, то ли она просто неправильно рассчитала время. Уверен, это была просто ошибка в расчете, ибо она ни разу мне не солгала. Когда это случилось, я сказал себе: «Я тоже вернусь». И как только в самом начале ноября мы прилетели на Юг, я отделился от опускавшейся на болото стаи и спикировал с усыпанного звездами неба прямо туда, где среди полей чернела крыша дома вдовы Флинн. Я помнил, что она мне говорила и в чем поклялась: мол, стоит мне приблизиться к ней на тридцать ярдов, и она тотчас меня расколдует. И я крикнул по-гусиному и стал летать туда и сюда над самой ее крышей.

Не успел я пролететь над домом вдовы Флинн и трех раз, как она поняла, что я вернулся, и, выбежав из дома, прочла заклинание, как и обещала. Увы, старая женщина не учла одной важной вещи, но я нисколько ее не виню, ибо и сам я тоже об этом не подумал: миссис Флинн расколдовала меня еще в воздухе. Как, безусловно, известно вашей чести, люди летать не могут; едва превратившись в человека, я тотчас рухнул вниз, и если бы не яблоня, замедлившая мое падение, я наверняка убился бы насмерть и сейчас не стоял бы здесь и не отнимал время у вашей чести. Вот как все это было.

— А что говорит вдова Флинн? — поинтересовался судья.

— Ничего, разумеется, — ответил сержант Райан. — И, как мне кажется, такую женщину лишний раз лучше не беспокоить.

— Понятно, — кивнул судья. — Что ж, очень хорошо, Магауйр. Я внимательно выслушал все, что ты говорил в свою защиту; с другой стороны, показания, которые дал под присягой сержант Райан, также не вызывают у меня ни малейших сомнений — ты и сам должен это понимать. Учитывая все обстоятельства, я склонен считать, что ты понес достаточное наказание, когда свалился с яблони. Постановляю: признать невиновным!

Так закончились две истории о сломанной яблоне вдовы Флинн.



ТАМ, ГДЕ ВСЕ ПРО ВСЕХ ЗНАЮТ

 тро вставало над небольшим городком близ Ирландского моря во всем своем ярком великолепии, и город, пробудившись от сна, тотчас ожил и засуетился, хотя в глубине страны, вдали от побережья, только в одном-двух домах сонно моргали огоньки, а окна остальных глядели в пространство с безразличием человека, дремлющего с открытыми глазами. Причина же была в том, что с рассветом в гавань пришел корабль, и все, кто имел или мог иметь отношение к его встрече, покинули свои дома и вышли в холодное утро. Но вот все пассажиры сошли на берег, багаж погрузили в автомобили и экипажи; вскоре все новоприбывшие разъехались, и тогда тишина и покой вернулись в городок на берегу Ирландского моря, и в окнах больше не вспыхивал свет, а те, кто только что носились с чемоданами и саквояжами, снова прислонились к каменным стенам пакауза, в глубокой задумчивости глядя в сторону моря, но почти не разговаривая, и единственным, что двигалось в городе, были столбы серого дыма, медленно и плавно поднимавшегося вверх в сонном сером воздухе.

Безмятежное спокойствие раннего утра нарушил незнакомый человек, торопливым шагом приближавшийся к задумавшимся людям. Кто он такой и чем занимается, никто не знал, и только одно было известно о нем наверняка: на судне он припрлыть не мог. Незнакомец был рослым мужчиной лет тридцати, одетым в ботинки на мягкой резиновой подошве, благодаря которой он мог двигаться проворно и совершенно бесшумно. Обратившись к одному из отдыхающих грузчиков, незнакомец спросил:

– Скажите, прибыл ли с этим пароходом мистер О’Коннор?

– Мистер О’Коннор? – переспросил грузчик.

– Да, – кивнул мужчина.

– Насколько я знаю, никакого мистера О’Коннора тут нет, – сказал грузчик.

– Значит, он не приехал? – спросил незнакомец.

– Нет.

– Вы точно знаете? – нахмурился незнакомец.

– Куда уж точнее, – ухмыльнулся грузчик. – Я знаю всех пассажиров по именам, но мистера О’Коннора среди них не было.

Тут к ним не спеша подошел еще один грузчик.

– Вы случайно не мистера Артура О’Коннора ищете, сэр? – осведомился он.

– Нет, мне нужен Патрик О’Коннор, – ответил незнакомец. – Может, он все-таки приехал?

– Нет, – сказал второй грузчик. – Он не приехал.

– Почему вы знаете?

– Сегодня среди пассажиров вообще не было никаких О’Конноров. Ни одного.

– Ну, допустим... Но, быть может, вы видели мужчину в длинном сером пальто? – спросил незнакомец.

– В пальто вообще никого не было, – сказал второй грузчик. – Все пассажиры были в куртках.

– А на голове у него была светло-серая шляпа, – продолжал незнакомец. – Светло-серая шляпа с широкой темной лентой на тулье.

– И ни одного пассажира в шляпе мы не видели, – покачал головой второй грузчик.

– Сегодня все пассажиры были в кепках, – подтвердил первый.

– Еще у него у него в руках должен был быть большой зеленый портплед, – не сдавался незнакомец. – Может, вы заметили такой в багаже?

Тут к ним присоединился еще один грузчик, и все трое клятвенно заверили незнакомца, что среди багажа, который они перетаскали в это утро, никакого зеленого портпледа не было. Все вещи, сказали они, мы складывали на одну тележку, поэтому ошибки быть не может. И еще один мужчина, который не только не был грузчиком, но и вообще не имел работы, тоже подошел к маленькой группе и подтвердил, что пока он стоял здесь, у стены, багаж провозили мимо него, но и он не заметил среди чемоданов и сакvojей зеленого портпледа, как не видел он и мужчину в длинном сером пальто и светло-серой шляпе.



— Очень странно, — сказал тогда незнакомец, — ибо я специально приехал к пароходу, чтобы встретить мистера О'Коннора, но, к несчастью, задержался, оттого что у меня спустило колесо. Но если мистер О'Коннор и вправду не приехал, тогда я даже не знаю, что могло с ним случиться!

— А какое у вас к нему дело, сэр? — полюбопытствовал первый грузчик.

— Мы договорились поохотиться на бекасов, — объяснил незнакомец.

— На бекасов? — переспросил грузчик.

— Простите, сэр, — воскликнул мужчина, у которого не было работы, — но ведь мы же не знали, что вам от него нужно!

— Не знали! — подтвердили два других грузчика.

— Мы подумали, что мистер О'Коннор, возможно, человек горячий, — пояснил свою мысль безработный. — И если такой человек выпьет капельку — или, скажем, две капельки — он может повести себя довольно непредсказуемо, и тогда непременно появятся люди, которые будут задавать о нем всякие вопросы. А по странному совпадению, люди, которые задают неудобные вопросы, довольно часто носят башмаки на резиновой подошве — такие, как у вас.

— Истинно так, — подтвердил третий грузчик.

— Я надел эти ботинки, потому что терпеть не могу каменные мостовые. Я ношу их только когда приезжаю в город. Мои охотничьи сапоги ждут меня в Борисадене, — объяснил мужчина.

— Богом клянусь, — сказал первый грузчик, — если он был в длинном сером пальто, светло-серой шляпе и большой зеленой сумкой в руках, тогда это наверняка был он!

— Кто же еще это мог быть? — отозвался второй грузчик. — Мистера Патрика О'Коннора у нас каждый знает.

— Значит, он все-таки приехал на этом пароходе? — с облегчением проговорил незнакомец.

— Конечно, приехал, — дружно подтвердили грузчики.

— Я расскажу, как все было, — сказал безработный. — Он приплыл на пароходе и, едва сойдя на причал, стал спрашивать у всех, кто там был, не видел ли кто мистера Мак-Гилла. Вы, наверное, он и есть?



– Да, я Мак-Гилл, – подтвердил незнакомец.

– Так вот, – продолжал безработный, – как только он понял, что вашей милости тут нет, он подходит к своей дальней знакомой миссис Мелоун и говорит: «Вас не затруднит немного меня подвезти? Я собирался в Борисаден – поохотиться с мистером Мак-Гиллом, но он почему-то меня не встретил». «Вовсе не затруднит, – отвечает ему миссис Мелоун. – Вас устроит, если я высажу вас на перекрестке у Ахерскейга? Оттуда и полумили не будет до Борисаденских болот, к тому же если мистер Мак-Гилл почему-то задержался, он все равно поедет этой дорогой». «Меня это вполне устроит», – отвечает мистер О'Коннор и садится в машину, шофер пристраивает сзади его большой зеленый портплед, и ваш друг вместе с миссис Мелоун едут в сторону Ахерскейга.

– Давно ли они уехали? – спросил мистер Мак-Гилл.

– Да минут десять, не больше, – ответил первый грузчик.

– Они так и думали, что вы прокололи шину, – сказал второй, – и рассчитывали, что вы примерно в это время и появитесь.

– Вы легко их нагоните, – добавил третий. – Сегодня отличный день для охоты на бекасов: луна будет полная, и все они соберутся в Борисадене на болоте.

РОЗОВЫЙ ОБЪЕЗД



говорят, в конце прошлого столетия в местечке Баллигашел было целых двадцать домов. В восьмидесятых годах пятеро местных жителей отправились искать счастья в Америку, и крыши брошенных домов скоро разрушились, дожди намочили сначала ничем не защищенные верхние кромки стен, а потом пропитали их сверху донизу. Как-то ненастной ночью сильный ветер повалил их, и стены обратились в глину и грязь, из которой некогда вышли, обломки же поглотили трава и сорняки, и спустя несколько лет только наметанный глаз мог бы заметить, что на этом месте когда-то стояли дома.

С того времени и до начала нынешнего столетия провалились крыши еще в пяти-шести домах, хотя там-то как раз еще жили люди, которые могли бы о них позаботиться; они, однако, этого не сде-



лали – скорее всего, потому, что помнили о рухнувших первыми домах. Должно быть, вид чуть возвышавшихся над травой зеленых холмиков, которые, как все знали, было единственным, что от них осталось, вселял в оставшихся жителей Баллигашела весьма сильную уверенность в том, что по воле Божьей все крыши должны рано или поздно разрушиться.

Когда началась Великая война, трое мужчин из Баллигашела ушли на фронт; ни один из них не вернулся, и вскоре их жилища тоже полностью развалились. Местный землевладелец получал с оставшихся домов столь ничтожную арендную плату (к тому же в последние годы его управляющий считал небезопасным для себя собирать даже эту малость), что, по-видимому, не считал нужным затевать хоть какой-то ремонт, поэтому к 1938 году, когда начинается моя история, в местечке Баллигашел остался один-единственный дом; об остальных напоминали только небольшие зеленые холмики, стремящиеся сровняться с плоскими окрестными полями, да воспоминания, понемногу превращавшиеся в легенду.

В этом последнем доме жила некая мисс Финн – женщина, которая была молодой в те годы, когда были молоды уехавшие в Америку мужчины. Один из них, кстати, отправился за океан в большой спешке, потому что как-то утром другой мужчина был найден мертвым, и долгая память то ли о нем, то ли, напротив, об уехавшем молодом человеке (о котором из них – никто точно не знал) стала причиной того, что мисс Финн осталась незамужней, а сейчас ей было около восьмидесяти. Ее беленый дом под тростниковой крышей, последний в Баллигашеле, стоял у обочины, и от самых его дверей тянулась вдоль дороги живая изгородь длиной в добрых шестьдесят ярдов, состоявшая в основном из диких роз – обычных диких роз, которые так украшают своими цветами теплый июнь, но которые происходили от культурных розовых кустов, росших в крохотных палисадниках еще в те времена, когда поселок был в двадцать раз больше.

И вот одним ясным июньским утром 1938 года совет графства решил немного расширить одну из местных дорог, и это оказалось то самое шоссе, что проходило через Баллигашел. Для подобного

решения существовало несколько причин, и не последней из них была та, что местному дорожному инспектору было совершенно нечем заняться; расширение дороги, однако, должно было неминуемо повлечь обрезку живой изгороди на четыре фута, и как раз с того конца, где жила мисс Финн. Когда рабочие приехали на место, живая изгородь, как всегда в это время года, пламенела множеством великолепных цветов, и все же они не мешкая взялись за работу. Но при первом же щелчке секатора из дома вышла мисс Финн.

— Прекратите это, пожалуйста, — сказала она.

— Нам нужно только немного подкоротить живую изгородь, — ответил рабочий, который стоял ближе других.

— Вы режете мои цветы, — сказала мисс Финн.

— А мне кажется, эта изгородь принадлежит совету графства, — возразил рабочий.

— Я знала эти розы еще до того, как они одичали, — ответила старая мисс Финн. — Имейте в виду: на каждого, кто их тронет, падет проклятье.

Рабочий не совсем понял, что она имела в виду, когда сказала, что розы «одичали», однако эти слова каким-то образом сделали мисс Финн еще более таинственной и грозной, хотя в облике этой одетой в лохмотья женщины с развевающимися седыми кудрями, стоявшей на ярко освещенном крыльце на фоне дверного проема, сквозь который виднелась темная и мрачная комната, и так было много такого, чего можно было испугаться. Тут и остальные рабочие опустили инструменты и стали прислушиваться к разговору; впрочем, живая изгородь для них мало что значила, а воспоминания о жителях давно исчезнувшей деревни, с которыми у этой женщины почему-то ассоциировались обреченные цветы, не значили вообще ничего. В этот момент и появился десятник — человек, командовавший дюжиной дорожных рабочих, получивших приказ укоротить живую изгородь.

— В чем дело? — спросил он.

— Эти розы защищены моим проклятьем, — сказала мисс Финн.

— И в чем же оно состоит, это проклятье? — ухмыльнулся десятник.

— Оно состоит в том, — торжественно ответила мисс Финн, — что человек, который посмеет прикоснуться к живой изгороди, начнет



чахнуть; вне зависимости от того, будет ли он есть или голодать, он будет с каждым днем становиться все более худым, силы оставят его, блеск глаз померкнет, волосы выпадут, но он не умрет до тех пор, пока не засохнет последний зеленый листок на розах, которые он срежет в моей живой изгороди.

— И это все? — осведомился десятник, но он сказал так только затем, чтобы придать себе смелости.

— Это не все, — ответила мисс Финн. — Сознание своего преступления будет отягощать его разум и сведет в могилу, быть может, даже раньше, чем могло бы умереть его теряющее силы тело. Преступление же состоит в том, что человек, который посмеет прикоснуться к розам, нанесет жестокое оскорбление маленькому народцу и всем, кто танцует среди колючих кустов боярышника, ибо уничтожит то, чего они не тронули бы и пальцем; кроме того, как бы ни выглядели эти розы благодаря волшебству, при рождении они были наделены католическими душами, и вырубить их означает совершить убийство. И наконец, того, кто причинит вред этим розам, мое проклятие настигнет в любое время, в любой год из той малости, что, возможно, ему еще осталась...

— Вот оно что, — сказал десятник. — Достаточно, больше ничего не объясняйте. Возможно, мы и не тронем ваши розы. Но сперва нам нужно поговорить насчет них с самим советником, с мистером Райаном. Пошли отсюда, ребята, наверное, эту работенку не поздно будет сделать и завтра, но сначала мы посоветуемся с мистером Райаном и посмотрим, что он нам скажет.

— Клянусь Богом, — сказал один из рабочих, — это самое лучшее, что тут можно придумать.

И рабочие дружно побросали свои секаторы и ножницы обратно в грузовик, на котором приехали, и поскорее покинули участок шоссе, на котором лежало проклятье мисс Финн, а розы живой изгороди продолжали цвести, целые и невредимые.

— Ну что, срубили вы эту изгородь? — спросил мистер Райан, когда десятник О'Рурк явился к его дому.



– Нет, – ответил десятник. – Дело в том, что розы защищает страшное проклятье. Его наложила старая Бриджит Финн, и я думаю, что лучше всего будет вовсе не трогать ее изгородь.

– Это невозможно, – заявил мистер Райан. – Вам придется сделать, что вам велено.

– Она, видите ли, довольно опасная женщина, – возразил О’Рурк.

– Даже если так, – сказал мистер Райан, – мы не можем допустить, чтобы какая-то старуха препятствовала работе совета графства. У нее нет никакого права нас проклинять. Разве Ирландия не свободна?

– Так-то оно так... – задумчиво проговорил О’Рурк.

На протяжении нескольких секунд двое мужчин молча стояли на пороге дома мистера Райана.

– Кстати, что это за проклятье? – спросил советник после паузы.

– Ужасное, сэр, – ответил О’Рурк. – По-настоящему ужасное.

– Что ж, – сказал мистер Райан, – времени у нас достаточно. На этой неделе можете не работать, а мы пока... обдумаем ситуацию.

– Сдается мне, это самое разумное, – согласился О’Рурк. – Я никогда не слышал, чтобы Бриджит Финн кого-то проклинала, и если она сделает это теперь, вся ее нерастроченная сила уйдет в первое же проклятье, а мне очень не хочется, чтобы оно обрушилось на меня. Поймите меня правильно, сэр – я думаю не о себе, а о своей старой матери: кто о ней позаботится?..

– Мы все как следует обдумаем, – повторил мистер Райан.

И он действительно долго обо всем размышлял, и чем больше он размышлял, тем меньше ему нравилась мысль о том, что проклятье старой мисс Финн может коснуться и его самого, ибо советник был почему-то уверен – оно падет на голову всякого, кто посмеет угрожать розам, и каждый раз, когда мистер Райан об этом думал, ему начинало казаться, будто вокруг него сгущается тьма, и даже самый воздух становится холоднее. И тем же вечером рабочие, которым предстояло расширять дорогу, собрались на перекрестке близ Баллигашела и негромко, тревожно переговаривались, пока не стемнело окончательно. Но уже на следующий день мистер Райан собрал засе-



дание совета графства, и когда советники собрались, изложил им суть дела.

— Я не позволю никому, будь то мужчина или женщина, диктовать нам, что мы должны или не должны делать, — заявил он.

— И будете совершенно правы, — сказал другой член совета графства.

И все советники единогласно поддержали своего председателя, но потом они стали спрашивать друг друга, что предпримет мисс Финн, кого именно она проклянет и в чем, собственно, заключается проклятье, и чем больше они об этом говорили, тем сильнее становился их страх.

— Я никогда не слышал, чтобы мисс Финн делала что-то в этом роде, — сказал еще один советник, — но у нее бывает такое выражение лица, что всякому ясно: она может быть очень опасной, если захочет.

И такого же мнения придерживались остальные члены совета графства. Наконец один советник поднялся и обратился к мистеру Райану:

— Господин председатель, — начал он, — когда речь заходит о нашем долге, мы, конечно, не станем идти на поводу ни у мужчин, ни у женщин, и — как вы только что сказали — не позволим никому мешать нам осуществить то, что мы решим. С другой стороны, разве не можем мы расширить дорогу так, как нам захочется, никому не мешая и не задевая ничьих интересов?

— Но как это сделать? — с волнением и надеждой спросил мистер Райан, — так утопающий хватается за соломинку.

— Мы могли бы построить вокруг роз объезда, — предложил Герайти.

— В самом деле, почему бы нет? — согласились остальные.

Это и в самом деле было превосходное решение. Совет графства мог продолжать работы по расширению дороги без помех с чьей-либо стороны, нисколько не боясь, что проклятье мисс Финн обрушится на головы его членов.

— Но ведь это означает отчуждение земель слева от шоссе, — сказал председатель. — Для этого нам потребуется разрешение правительства.

– Тогда, черт побери, давайте получим это разрешение! – воскликнул Герайти. – А если правительство не даст нам такое разрешение, мы объединимся и сделаем так, чтобы оно отправилось в отставку.

С этим все согласились, и на несколько часов проблема Розового объезда стала самым животрепещущим и острым политическим вопросом. Депутат от той части графства, где был расположен Баллигашел, получил очень серьезную поддержку, ибо за ним стоял весь совет графства, который в свою очередь побуждал к активным действиям страх перед старой Бриджит Финн.

Сначала, правда, эта инициатива столкнулась с некоторым сопротивлением в нижней палате ирландского парламента, но депутату от округа Баллигашел не дали ни отступить, ни пойти на попятный, и ему пришлось найти способ справиться с оппозицией. Сделал он это следующим образом. В своей весьма выразительной и горячей речи депутат заявил, мол, во всех больших странах есть и объезды, и целые объездные шоссе; такие объездные дороги имеются и в Англии, и если английские туристы, приехав в Ирландию, не обнаружат объездов, они решат, что здесь нет ничего такого, что стоило бы объезжать, и могут даже прийти к ошибочному убеждению, будто их страна красивее, чем наша.

Еще хуже, добавил депутат, что эти хвастливые заявления могут услышать жители других стран; оказавшись в Ирландии и не увидев ни одного объезда, они непременно подумают, что англичане были правы.

Почему объездное шоссе непременно должно идти вокруг города, восклицал депутат. Разве ирландские розы не лучше любого английского города? И разве живущие под соломенными и тростниковыми крышами ирландцы, – пусть их осталось немного, а их крыши обветшали, – чем-то хуже миллионов англичан, чьи дома крыты сланцевой плиткой? И наконец, кто из членов твердолобой и близорукой оппозиции осмелится утверждать, будто ирландская сельская местность заслуживает меньшего уважения, чем шумные английские города?



Естественно, никто из оппозиционеров не решился сделать подобное заявление, поэтому предложение было утверждено незначительным большинством голосов. Розовый объезд был построен, и проклятье мисс Финн так и не подействовало. Буквально на днях я видел эту живую изгородь: она пышно цвела, в чаще ветвей пел дрозд, и из дверей дома зорко следила за своими розами старая мисс Финн.

РАССКАЗ СТАРИКА



Та история относится к тем временам, когда я еще не научился с благодарностью внимать каждому слову О'Ханрахана; вместо этого я частенько сомневался в его речах и пытался его расспрашивать, ибо рассказанные им истории всегда были немного странными и вполне заслуживали того, чтобы ими заинтересовался каждый, кто не чурается нового и необычного. И если в них вдруг обнаруживалось нечто такое, что, как мне казалось, не совсем соответствовало моим тогдашним представлениям об устройстве мира, я долго это обдумывал, мысленно поворачивая то так, то эдак, пока не удавалось мне составить собственное мнение об услышанном. Не сразу я понял, что расспрашивать О'Ханрахана, если какие-то детали вызывали у меня сомнение, ни в коем случае не следовало, ибо в подобных случаях он неизменно впадал в глубочайшее волнение и вместо того, чтобы прояснить в своем рассказе некоторые темные места, был склонен пускаться в такие подробности, что казавшееся всего лишь маловероятным начинало выглядеть попросту невозможным.

О'Ханрахан никогда не казался мне особенно старым, однако были в выражении его лица некие потерянность и тоска, какие можно встретить у человека, прожившего долгую, одинокую жизнь — а насколько долгую, я тогда не мог даже вообразить. Впрочем, довольно праздных рассуждений об О'Ханрахане и его манере рассказывать; перейду лучше к самой истории.

Это было несколько лет назад в Ирландии; я отправился на болота стрелять бекасов, а О'Ханрахан показывал мне дорогу. Собственно говоря, именно он уговорил меня пойти на болота; на самом деле эта земля ему не принадлежала, однако О'Ханрахан всегда отличался гостеприимством: если бы он предложил мне поохотиться на своем крохотном поле, широта его души, требовавшая многих и многих квадратных миль, оказалась бы стеснена физическими границами его собственности. Вот почему О'Ханрахан позвал меня на огромное, площадью в несколько сот акров болото, тянувшееся по обеим сторонам небольшого ручья, что неспешно тек вдоль широкой долины, и надо сказать, что лучшего места для охоты на бекасов трудно было и пожелать.

Для низинного болота оно было на редкость глубоким; не знаю, располагались ли там когда-то старые карьеры или рыбные пруды, или же оно питалось от естественных источников; как бы там ни было, почва под нашими ногами зыбко колебалась, сапоги то и дело проваливались в ил, поэтому ходить здесь было нелегко. Мы почти не разговаривали, обмениваясь в течение часа всего лишь несколькими словами, да и то шепотом, ибо общеизвестно, что людские голоса, к несчастью, являются самым страшным звуком в природе (во всяком случае, бекасы очень их боятся), к тому же человеческий голос слышен гораздо дальше, чем мы предполагаем.

И вдруг О'Ханрахан заговорил со мной довольно громко:

— Не вставайте на эту зеленую кочку, — сказал он.

А я как раз попал на опасный участок и двигался очень осторожно, приближаясь к большой ярко-зеленой кочке.

— Почему? — спросил я, ибо тогда я был моложе и не очень хорошо знал, как надо вести себя на болотах.

— Говорю вам — не наступайте на нее, — повторил О'Ханрахан.

После этого мы оба довольно долго молчали, опасаясь спугнуть бекасов, но какое-то время спустя мы выбрали на твердую землю и сели отдохнуть. Я перекусил бутербродами из своего свертка;



О'Ханрахан тоже позавтракал – из фляжки, которую я ему дал, а потом объяснил свои слова так:

– Если бы вы только ступили на ту зеленую кочку – тотчас провалились бы в самую глубину; трясина сомкнулась бы над вашей головой, а вы погружались бы и погружались в сiumмер, пока...

– Я наверняка сразу бы захлебнулся, – перебил я.

– Вовсе нет, – серьезно возразил он. – В конце концов вы провалились бы очень глубоко и оказались во дворце короля эльфов. Вы когда-нибудь о нем слышали? Король восседает там на троне из вечнозеленого мха, одетый в мантию из сумерек, и, увидев его, вы были бы потрясены его величием. И, быть может, король дал бы вам выпить верескового эля из золотого кубка, зарытого неизвестно кем в незапамятные времена вместе с остальными сокровищами. Чтобы сделать несколько глотков, нужно не более минуты; потом вы стали бы барахтаться, бороться и в конце концов выплыли бы на поверхность, но за это время в мире могло пройти и сто лет, и даже намного больше. Так уж устроено волшебное королевство, и всем об этом известно. Одним словом, никогда не наступайте на зеленые кочки, какими бы надежными они вам ни казались, ибо человеку, над которым за несколько минут пронесли века, бывает в этом мире очень одиноко и неприятно.

Как я уже говорил, эту историю я услышал в дни, когда еще не научился безоговорочно верить каждому слову О'Ханрахана.

– Откуда ты знаешь? – спросил я.

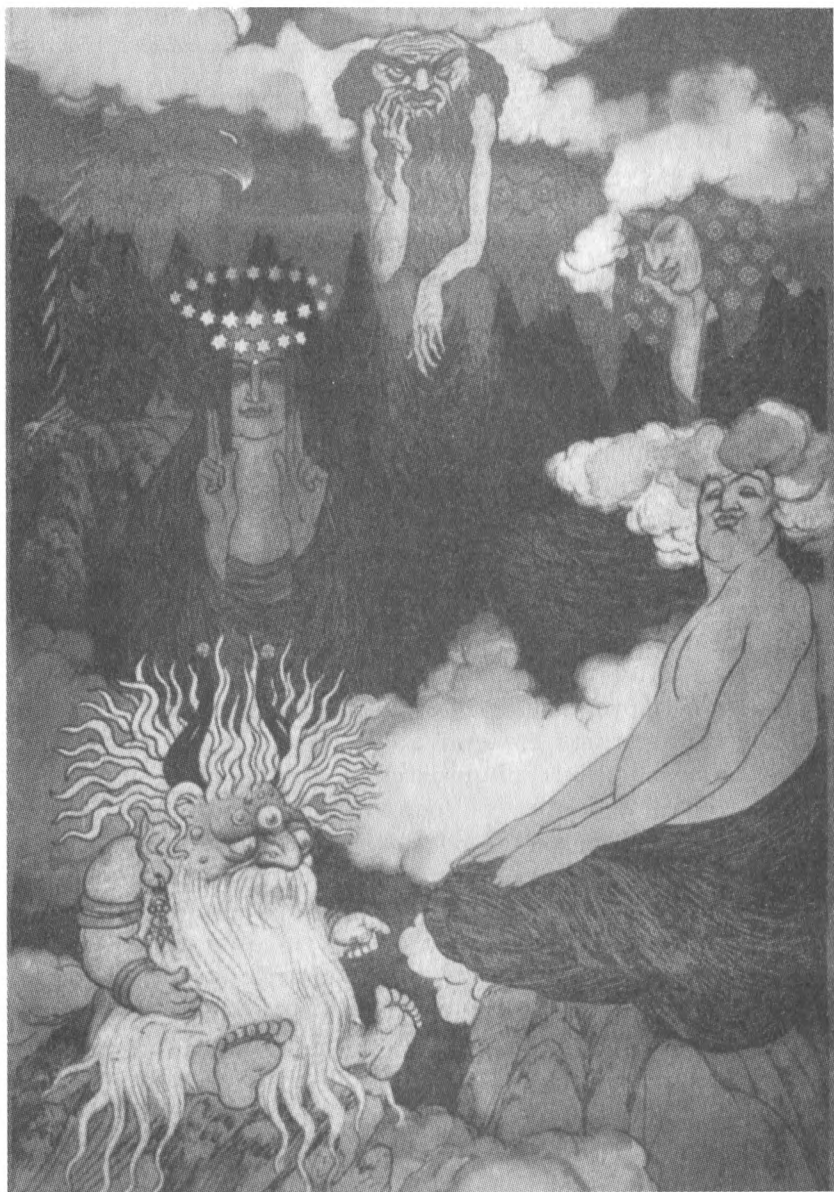
– Однажды я сам наступил на такую кочку, – был ответ.

И он произнес эти слова с таким торжественным и серьезным видом, что я не удержался и отпустил какое-то легкомысленное замечание – мол, удивительно, как человек, так хорошо знающий болота, мог совершить подобный промах.

– Как же ты так опростоволосился? – закончил я.

Его ответ я помню и по сей день.

– Я тогда спасался от Кромвеля*, – сказал мне О'Ханрахан.



О чудо! Это боги!



КАК БРОДЯЧИЙ ТОРГОВЕЦ ВЕРНУЛСЯ В СКАВАНГУР



авным-давно далеко на севере, среди скал Скавангура, где с окончанием зимы снегопады не прекращаются, а лишь отступают за холмы, чтобы вскоре вернуться почти на целый год; там, где земля, как кажется, любит холод и лед и с трудом носит скудную траву, где леса служат приютом для неистовых бурь (и кто знает, для чего еще?), а темнота скрывает столь многое, что приходится гадать, чтобы узнать хоть что-нибудь — в этом-то суровом и диком краю в длинной бревенчатой хижине жили Хаарволд и его жена Идрунга. Однажды они встали на середине своей единственной длинной и мрачной комнаты и стали вполголоса, чтобы не услышали дети, которые кучей лежали в углу на груде мехов, обсуждать что-то важное, но дети все равно поняли: случилось что-то скверное.

И бледный луч света, пробившись сквозь щель в ставне, упал на Хаарволда и Идрунгу, но дети оставались в тени, ибо все это происходило за несколько столетий до того, как стекло впервые проникло так далеко на север. В похожем на амбар доме действительно стряслась большая беда, хотя и состояла она из мелочей. Во-первых, теперь только две коровы были дойными, а ведь когда-то молоко давали все шесть. Во-вторых, их серый волкодав где-то набрался блох, и держать его в доме стало невозможно, а дом без собаки — не дом. И козы плодились не так, как должно, и куры почти перестали нестись, но хуже всего было то, что бродячий торговец из Фордохльма, — города, расположенного намного южнее, — не появлялся уже несколько недель рядом.

Раньше он приходил каждые две недели, хотя для этого ему и приходилось преодолевать горы Скавангура. С собой торговец носил большую корзину, полную разных полезных мелочей: там были ярды и ярды лент всех возможных расцветок, иголки, швейные нитки, ножи, рога для питья с аккуратной железной окантовкой по краю, соль, мед, рыболовные крючки и даже бусы. И это еще далеко не все, что было у торговца в корзине; впрочем, перечислить

все просто невозможно, ибо каждый раз он приносил что-нибудь новенькое. Но вот он пропал и не приходил уже недели четыре или пять.

Хаарволд долго об этом думал и в конце концов пришел к некоему печальному умозаключению. Ни одна из перечисленных неприятностей в отдельности не могла бы заставить его сделать этот невеселый вывод: каждая из них только подводила к нему, но не была решающей. Но всё вместе — блохи, коровы, козы, куры и пропавший торговец — ясно и недвусмысленно указывало на то, что, — как объявил Хаарволд Идрунге, — некоторые звезды были не расположены к Скавангуру и, приблизившись к нему больше, чем было в их обычае, давили всей своей тяжестью на воздух над ним — или же оказывали на него какое-то другое зловерное влияние, какое могут оказывать звезды. И если на небе, добавил Хаарволд, не видно никаких других звезд, кроме обычных, находящихся на своих привычных местах, это может означать только одно: во всем виноваты другие, темные звезды, чей тусклый свет не может разглядеть никто; в конце концов, должно же что-то удерживать торговца в Фордахольме и мешать курам нестись.

— Что мне нужно сделать, — сказал Хаарволд, — это отправиться далеко на север и идти до тех пор, пока вокруг что-нибудь есть; когда же я доберусь туда, где все кончается...

— До Готтенкрейга? — встала Идрунга.

— Да, — кивнул Хаарволд. — Когда я приближусь к богам, я вызову их и спрошу...

— Помолись им, — снова перебила Идрунга. — Богам полагается молиться.

— Хорошо, — согласился Хаарволд, — я помолюсь им и попрошу, чтобы они вернули темные звезды на подобающие пути — чтобы они двигались по небу, как прочие светила (как и положено им от Начала), и чтобы не висели они над нашим Скавангуром.

— Конечно, было бы хорошо помолиться богам, — сказала Идрунга, — вот только станут ли они тебя слушать?

— А они не станут? — удивился Хаарволд.

— Нет, — ответила Идрунга. — И еще — вдруг они не могут управлять звездами?



— Разве не боги повелевают звездами? — еще больше удивился Хаарволд.

— Нет, — сказала его жена. — Боги охотятся. У них и так есть все — все, что только существует на небе и на земле, принадлежит им. А раз так, почему бы им не заняться охотой на оленей?

— Неужели они охотятся вечно? — спросил Хаарволд.

— Да, — сказала Идрунга. — Ведь вечность для богов — все равно что для нас несколько послеобеденных часов.

— И все боги только и делают, что охотятся?

— Не все, — ответила Идрунга. — Один все-таки должен присматривать за звездами, пока остальные бесконечно охотятся на оленей на склонах гор. Этого-то бога тебе и нужно умиловить.

— Это Хаал, — сказал Хаарволд. — Самый молодой из богов.

— Так говорят люди, — подтвердила Идрунга.

А Хаарволд снова задумался. Чем стал бы заниматься человек, если бы у него было все? Разве стал бы он присматривать за звездами? И тут Хаарволд понял, что жена права.

— Я обдумал то, что ты сказала, — проговорил он. — И считаю, что в главном ты не ошиблась. Я пойду в Готтенкрейг, где младший из богов управляет звездами, и принесу ему в жертву хороший кусок свежего мяса.

— Мясо в жертву одному из богов! — воскликнула Идрунга. — О чем только думают мужчины! Никакого мяса, слышишь?! Ведь боги могут выбрать любого оленя в мире, и уж конечно, после каждой охоты они приносят куски мяса тому, кто правит звездами в Готтенкрейге. Наверное, если понадобится, боги смогут достать и человеческое мясо. Нет, такое жертвоприношение богам ни к чему.

— Что же тогда принести мне Хаалу? — спросил Хаарволд.

— Масло! — заявила Идрунга.

— Но у нас его так мало, — ответил муж.

— Тем дороже оно покажется богам, — отрезала Идрунга, а Хаарволд вздохнул. Возразить ему было нечего. Уж таковы были обычаи богов, и он это прекрасно знал.

И вот они приготовили кусок масла размером с мужскую ладонь, только толще (это было масло от их лучшей коровы Златоликой), и бережно завернули его в кожу козленка; потом Хаарволд поел и

выпил немного меда, бросил в сумку полоску копченой оленины и, взяв масло, отправился на север.

Папа ушел по делам, сказала Идрунга детям, но они догадались, что Хаарволд идет повидаться с богами, ибо к северу от их дома не жил ни один человек, к которому у их отца могло быть скольконибудь важное дело.

Кроме оленины в сумке и масла, которое он держал в руке, Хаарволд взял с собой в дорогу топор, который когда-то давно благословил один тролль. Во всяком случае, как-то с севера появился некто в черном костюме и очень приличной шляпе, однако для Скавангура подобная одежда была чересчур аккуратной (а если говорить откровенно, в тех диких северных краях она выглядела и вовсе нелепо); словом, кто бы это ни был, он явно пытался изменить свой облик, а кто, как не тролли, больше других любят пародировать человеческое стремление к респектабельности, продельывая это с отменной дерзостью и бесстыдством? Словом, как только Хаарволд понял, что перед ним тролль, он тотчас потребовал: «Благослови мой топор!» И тролль благословил его на своем руническом языке, а Хаарволд угостил пришельца медом.

Чтобы взять с собой топор, у Хаарволда имелись веские причины, ибо из дома он вышел уже подвечер; приближалась ночь, и не исключена была встреча с волками. И как только начало темнеть, Хаарволд несколько раз взмахнул над головой топором — не столько для защиты, какую со свистом рассекавшее воздух лезвие могло дать ему против тех, кто крался на четырех ногах вдоль лесной опушки, сколько ради безопасности, которую способны были обеспечить тролличьи заклинания, которые, вращаясь вместе с топором, окружали путника со всех сторон, отгоняя тех обитающих во мраке тварей, каких ни один человек никогда не видел и о чьем существовании мог только догадываться, а защититься от них можно было только с помощью колдовства.

И пока Хаарволд шел, справа от него тянулся лес; с северной же стороны долина постепенно повышалась, и чем дальше он заходил, тем выше становились горы вокруг. Если какие-то звезды и были крайне не расположены к Скавангуру, то этой ночью ни одна из них не появилась, ибо с севера дул пронизывающий ветер, с огромной



скоростью гнавший перед собой причудливой формы темные облака, которые, смыкаясь все теснее, затянули собой все небо.

Уже давно стемнело, когда в крошечном мраке Хаарволд вдруг услышал приближающийся с севера частый стук копыт – такой частый, что сразу было понятно: животное мчится во весь дух. Хаарволд встал как вкопанный, и тут же мимо него – почти вплотную – пронесся обезумевший от страха огромный олень. В том, что оленя кто-то преследует, Хаарволд ни секунды не сомневался. Потом над самыми вершинами утесов он увидел огромные облачные тени, мчавшиеся вслед за оленем под рев ветра, и понял, что это боги вышли на свою вечную охоту.

Разобрать, где были облака, а где – недоступные нашему знанию существа, в такой темноте было немыслимо. И все же страх оленя, его отчаянный галоп и то, что бежал он с севера, были признаками, по которым можно было безошибочно угадать истину. Правда, довольно скоро Хаарволд встретил волка, который, высунув язык, трусил по оленьим следам, однако он ни на миг не усомнился в своих первоначальных выводах, зная, что никакому волку не под силу внушить добыче столь сильный ужас и заставить ее мчаться с такой невероятной скоростью. И кроме этого Хаарволд так толком ничего и не рассмотрел, однако несколько лет спустя он очень подробно и обстоятельно рассказывал, как видел божественную охоту. Должно быть, то, что не разглядел в темноте человеческий глаз, живой ум смог различить даже сквозь дымку лет.

Больше Хаарволд не мешкал. Убедившись, что дела обстоят именно так, как говорила Идрунга, он двинулся дальше, шагая в ту сторону, откуда прискакал олень, так быстро, как только мог, и в руках он крепко держал сверток с маслом. Так, борясь с сильным встречным ветром, Хаарволд шел час или, может быть, два, и когда место, где он повстречался с оленем и волком, осталось далеко позади, он, наконец, добрался туда, где кончалась земля. Ошибки быть не могло, ибо справа от него громоздились высокие, тонущие во тьме скалы; местность слева тоже круто уходила вверх, стремясь сравняться с вершинами справа, а прямо перед Хаарволдом долина упиралась в черный неприступный утес невероятной высоты. Дальше пути не было. Это был Готтенкрейг.



Подойдя к нему вплотную, Хаарволд встал на цыпочки и принялся шарить рукой по холодному камню, пока пальцы его не нащупали на гладком боку Готтенкрейга широкий уступ. Тогда он осторожно положил на него кусок отличного масла, который Идрунга приготовила из молока Златоликой.

И, сделав это, Хаарволд трижды позвал Хаала по имени, а потом рассказал ему и о злых звездах, что висели низко над Скавангуром, и о том, что бродячий торговец со своими бусами вот уже пять недель не приходит из Фордохльма, и о курах, которые перестали нестись, о блохах в шкуре волкодава, о козах, которые не плодятся как должно, а также о том, что из шести коров молоко дают только две.

Закончив свой рассказ, Хаарволд повернулся и, оставив драгоценное масло на каменной полке, зашагал по долине в обратную сторону, и поскольку ветер теперь был попутным, уже к рассвету вступил в Скавангур.

И Хаал наверняка услышал его, ибо пока остальные боги охотились, ему было совершенно нечего делать, кроме как следить за звездами да слушать молитвы людей. Тот, кто правил звездами над Норроуэем, исполнил молитву Хаарволда, ибо в тот же день, когда он вернулся домой, из Фордохльма явился торговец с полной корзиной лент, пуговиц, бус и других важных мелочей, которых не было при нем в прошлый раз, и среди них оказались и куриные яйца — такие крупные, каких никогда прежде не видели в Скавангуре, и даже надежное средство от блох.

ОПАЛОВЫЙ НАКОНЕЧНИК СТРЕЛЫ



— днажды на Янтарной реке... — промолвил Локильтон.

И тотчас все, кто сидел с ним за большим столом, замолчали и затаили дыхание. Кроме Локильтона, нас было пятеро за покрытым пятнами столом в низком зале старой таверны, и очаг за его спиной тоже был старым и таким большим, что, казалось, его можно топить целыми бревнами. Угли в очаге еще тлели, но пламя почти погасло; снаружи уже стемнело, и зал освещали несколько



свечей. Почти все пространство под потолком заполнял серо-голубой сигарный дым. И поныне я как наяву вижу этот серо-голубой дым, темно-синее ночное небо за окнами без занавесок, огромный красновато-коричневый стол и слегка склоненную вперед фигуру Локильтона, и голос его звучит в моих ушах так же отчетливо, как тогда. «Однажды на Янтарной реке...» – сказал он, внезапно прервав молчание.

Мы все знали, каким Локильтон был путешественником; вернее сказать, мы этого не знали – этого вообще не знал никто. Бывало, он отсутствовал по многу лет; мы не видели его очень долго и не получали о нем никаких известий, а потом он вдруг возвращался. Возвращался и молчал. И тогда... тогда мир сам принимался сочинять сказки и легенды о нем – об удивительных реках и неведомых землях, где он побывал. Сам Локильтон никогда ничего не рассказывал; никто не знал, чем он занимается, никто не догадывался, куда он ездит и зачем. И вдруг, когда мы вместе курили в таверне за большим старым столом, он сказал: «Однажды на Янтарной реке...» Эти слова нас просто заворожили. И тут, – а было это довольно давно, – он поведал нам удивительную историю. Никто из нас раньше не слышал, чтобы Локильтон рассказывал о своих приключениях, а вскоре после этого произошли еще кое-какие события, и эта история, насколько всем известно, так и осталась единственной.

Не могу поручиться, насколько эта история правдива, – и никто не может. Я знал Локильтона не лучше, чем другие; знал, что он – человек, начисто лишенный воображения. «Однажды на Янтарной реке...» – из всего его рассказа я запомнил только эти слова, которые он произнес в самом начале. Все остальное, – по прошествии, впрочем, изрядного времени, – представляется мне как сменяющие друг друга картины, которые плыли вместе с сигарным дымом перед нашими внимательными и сосредоточенными лицами и исчезали, утекая через дымоход очага. История эта, кстати, не проливает ни малейшего света на личность самого Локильтона, ибо она столь же необычна, как и он сам; пожалуй, ничего более странного я в жизни не слышал, но об этом, – если я все правильно запомнил, – судить читателю.

Итак, однажды Локильтон плыл по Янтарной реке в длинной лодке, которой управляли тринадцать чернокожих гребцов. Лодку он описывать не стал — у нее, впрочем, было какое-то экзотическое название, которое он пару раз упомянул. Происходило же все это так далеко от цивилизации, что по вечерам Локильтон доставал накрахмаленный полотняный воротничок и подолгу его рассматривал. Я так и вижу, как он с томлением во взоре смотрит на этот воротничок и вспоминает лондонские бальные залы; это, однако, только мои домыслы, ибо понять, о чем думает Локильтон, еще никому не удавалось. Но когда он рассказал про воротничок, эта беглая деталь помогла мне понять, что это было за место, гораздо лучше, чем если бы он назвал его широту и долготу. И еще Локильтон поведал нам, какие песни пели черные гребцы, а были эти песни пристрастными. Сейчас, однако, я не могу припомнить никаких подробностей, зато я и поныне помню, какое выражение стояло в глазах Локильтона, когда он о них рассказывал.

В конце концов его лодка достигла излучины Янтарной, и Локильтон увидел на левом берегу тростниковую хижину и белого человека возле нее. Это был самый настоящий белый, который жил на берегу Янтарной реки один-одинешенек.

Локильтон, конечно, не мог проплыть мимо, он высадился на берег и подошел к хижине; при этом ему показалось, что чернокожие гребцы поглядывают на нее презрительно, но наверняка он сказать не мог, хотя знал этих людей лучше многих; впрочем, по сравнению с жилищами туземцев хижина и в самом деле выглядела убого: она имела не больше шести футов в высоту и была размером с нашу садовую беседку. Белый жил в ней один. Когда Локильтон подошел к нему, этот белый человек с желтой бородой сидел перед своей хижинкой и взирал на воды Янтарной столь безмятежно, словно владел всем миром.

Позади хижинки были как попало свалены какие-то ящики, и оттуда, как сказал Локильтон, белый принес две бутылки лучшего шампанского, какое он когда-либо пробовал. Сам хозяин, впрочем, пить отказался, сказав, что презирает шампанское, и только с выра-



жением снисходительного благодушия смотрел, как Локильтон подносит вино к губам. Говорил этот человек только о горах.

Локильтон мог рассказать ему последние новости, которые в тех местах ценятся лишь немногим дешевле слоновой кости. Он мог поведать, какой новейший танец популярен в Лондоне, какая песня и какой предвыборный лозунг. Он мог бы подробно описать фасон перчаток, которые теперь надевают мужчины, когда идут на светский прием, и возвратить человеку, жившему в одиночестве на берегу Янтарной реки, что-то такое, что тот давным-давно утратил, но этот странный белый желал говорить только о горах.

Казалось, ему хорошо и здесь; он выглядел спокойным, можно сказать, счастливым, и все же, живя на обширных наносных равнинах, рассеченных напополам Янтарной рекой, — в месте, которое отделяли от ближайших гор сотни и сотни миль, — он стремился говорить только о них. По-видимому, горы были для него тем же, чем был для Локильтона Лондон — город балов и ярких огней.

Прежде чем они расстались, этот улыбающийся, довольный собой и своим окружением человек открыл что-то вроде небольшой дверцы в полу и вытащил из тайника старую-престарую бутылку. Со многими предосторожностями он налил в небольшой стакан несколько капель вина (гостю он его не предложил) и, тщательно заткнув бутылку пробкой, убрал ее на место и закрыл люк. Потом белый выпил вино, и дух его тотчас оставил Локильтона, сидевшего здесь же с бокалом шампанского, и унесся куда-то вдаль, и теперь мужчина улыбался райской, неземной улыбкой, словно бранные дела и заботы земли вовсе его не касались.

И после этого, сколько бы Локильтон ни заговаривал с хозяином, его голубые глаза и улыбка оставались обращены куда-то в пространство. Он не отвечал гостю и, казалось, вовсе не замечал Локильтона, а если и замечал, то смотрел на него, как бесконечно счастливый и бесконечно мудрый мужчина смотрит на ссорящихся детей. Насколько мы поняли, Локильтон намеренно говорил хозяину дерзости и даже грубил, но ему так и не удалось вывести его из равновесия. В конце концов Локильтон поднялся и вышел из хижины, думая о том, что никогда прежде не встречал такого странного чело-

века. Спустившись на берег, наш путешественник сел в лодку, и черные гребцы повезли его прочь.

Примерно год спустя Локильтон двигался тем же путем назад и, идя против течения, вновь оказался в том краю. Тростниковая хижина у излучины никуда не делась; она выглядела такой же убогой, и белый мужчина с желтой бородой все так же праздно сидел в тени у входа, и на лице его по-прежнему было такое выражение, словно весь мир принадлежит ему одному. На этот раз, однако, Локильтону удалось узнать его историю. Он добился этого, заговорив о горах, чем доставил хозяину хижины несказанное удовольствие. Этот человек действительно очень любил горы, хотя и жил от них на таком же расстоянии, на каком Локильтон оказался сейчас от городских огней.

Его имя, как он сказал, было Макдональд; в юности он был альпинистом, взбирался на неприступные скалы по всему миру и однажды побывал в Хатнетских горах. Пока Локильтон пил превосходное шампанское, к которому хозяин относился с таким пренебрежением, Макдональд снял свою ветхую куртку и, закатав фланелевую рубашку, показал гостю длинный шрам на левой лопатке. Это след от стрелы, сказал он. Однажды, когда он был в горах, стрела неожиданно вылетела откуда-то из-за камней и едва не попала ему в шею, но вместо этого угодила в лопатку и, скользя по кости, ушла влево.

Когда Макдональд вернулся в лагерь, его друзья отломали древко стрелы, а врач извлек наконечник, для чего ему пришлось разрезать раневой канал по всей длине, ибо из-за зазубрин стрелу невозможно было извлечь другим способом. Потом наконечник отмыли от крови и стали рассматривать... — (В этом месте, как сказал Локильтон, голос Макдональда зазвучал особенно мрачно, хотя события, о которых он рассказывал, несомненно, произошли много лет назад.) — И когда он его увидел, то тотчас поднялся с постели и, хотя был еще очень слаб, уехал так далеко от любых гор, как только возможно. С тех пор Макдональд не видел ни одной горы, а все дело было в том, что наконечник стрелы оказался из опала.

И тут Макдональд достал из жилетного кармана и протянул гостю опал, какой не сыщешь ни в одном ювелирном магазине.



Он был дымчато-голубым, как полночная луна, отражающаяся в озере в ясный полдень (впрочем, как сказал Локильтон, передать эту прозрачную голубизну привычными нам словами было практически невозможно), а в самой середине его виднелась длинная алая полоска, похожая то ли на заключенный во льду язык пламени, то ли на застывшую частицу закатного неба, когда оно предвещает ненастье. Локильтон даже подумал, уж не так ли выглядит Рай, если смотреть на него издалека. Да, этот опал заставлял человека мечтать, но описать его было невозможно.

— Такие опалы используют только гномы, — объяснил Макдональд, и Локильтон посмотрел на злобещий зазубренный наколечник и кивнул.

— Я знал, что оскорбил гномье племя, — добавил хозяин, а Локильтон ответил что-то вроде:

— Вы, должно быть, совершили нечто такое, что не на шутку их разозлило.

После этих его слов Макдональд долго молчал; Локильтон тоже ничего не говорил, спокойно допивая шампанское. Наконец Макдональд вздохнул, и это глубоко поразило Локильтона: он не ожидал, что его постоянно улыбающийся, спокойный, всем довольный хозяин может так вздыхать; его вздох был похож на внезапную бурю на озере.

— Я возвращаюсь в горы, — сказал Макдональд.

Но Локильтон продолжал молчать, и его молчание каким-то образом заставило Макдональда выдать свою тайну, как, впрочем, и ожидал путешественник.

— Я похитил горгонди, — сказал он.

Локильтону не нужно было объяснять нам, сидевшим с ним за потемневшим столом в старой таверне, что такое горгонди: мы все читали «Книгу Чудес» и знали, что это — драгоценное вино, которое хранится в сокровищнице гномов*.

Потом Макдональд сказал, что последняя выкованная из железа бутылка в тайнике под полом почти пуста и что он теперь не может пить ни шампанское, ни какие-либо другие напитки — скорей уж

предпочтет чистую воду. И это действительно было так, объяснил нам Локильтон, ибо человеку, который никогда не пробовал горгонди, жизнь может казаться сносной, но те, кто хоть раз вкусил этого чудесного вина, не могут отыскать под этим небом ничего лучшего, кроме, разве, тех двух вещей, о которых говорил один грек.

— Какой грек? — спросили мы Локильтона.

— Тот, кто сказал, что лучшая вещь на свете — не родиться вовсе*, — объяснил Локильтон, — и что соперничать с ней может только смерть в ранней юности.

— Ах да, — сказали мы. — Но продолжай же...

И после того как Макдональд тяжело вздохнул и сказал, что собирается вернуться в горы, он поведал Локильтону о своих беседах со старыми крестьянами, что живут в горных долинах — с людьми, которые сначала долго отмалчиваются, а потом вдруг начинают рассказывать древние легенды, одну удивительнее другой. Оказывается, они слышали об обитающем в горах гноме, который никогда не промахивается. Крестьяне были убеждены, что живущие в горах серны не умирают естественной смертью, а их убивает гном, который бьет без промаха — смуглый, бородатый, одетый во все коричневое, точь-в-точь под цвет окрестных скал. А Макдональд сразу догадался, что это тот самый гном, который охраняет гномью сокровищницу по ту сторону гор — гном, наконецник чьей стрелы лежал сейчас в его жилетном кармане.

День, когда он похитил горгонди, был очень ветреным, пояснил Макдональд; другого такого он не помнил. Гном, должно быть, целился ему в позвоночник, и хотя, конечно, хорошо знал ветра, дующие в тех горных долинах, внезапно сорвавшийся шквал отнес стрелу на дюйм дальше или ближе, чем он рассчитывал. На повторную ошибку столь замечательного стрелка надеяться, конечно, не приходилось, и все же Макдональд возвращался в Хатнетские горы, ибо без горгонди жизнь была ему не мила, пусть он и вздыхал и бормотал вполголоса, что гном, дескать, «никогда не промахивается».

— По правде сказать, — заметил ему на это Локильтон, — я тоже.



И тогда они составили план, суть которого вкратце была такова: они должны вместе отправиться в Хатнетские горы; там Макдональд отправится за своим вином, если оно так ему необходимо, а Локильтон спрячется поблизости со своим ружьем 275-го калибра, заряженным разрывной пулей, и застрелит гнома, когда тот погонится за похитителем. В конце травянистой долины, что залегала близ гномьей сокровищницы, Макдональд должен был поставить лошадь, чтобы, исполнив свое дело, бежать к ней со всех ног; что касалось Локильтона, то ему предстояло убить гнома, как только тот появится.

Откровенно говоря, это был очень странный договор, но мы объяснили его чувством товарищества, возникшим между Локильтонем и Макдональдом, которого смертельная опасность изгнала из любимых гор, ибо до нас доходили слухи, что и Локильтон оказался в сходном положении и не смел даже на сотню миль приближаться к некоей долине, каковую почитал прекраснейшей в мире, ибо ее обитатели решили, будто он убил священную самку белого слона.

Вот какие мысли роились в наших головах, пока Локильтон, устремив взгляд своих голубых глаз куда-то сквозь сигарный дым, молча размышлял. Наконец он заговорил и рассказал нам, как два года спустя еще раз побывал на Янтарной реке и посетил хижину на левом берегу близ одной из ее излучин. Крыша хижины провалилась, как бывает со всеми тростниковыми крышами, стол во влажном тропическом климате прогнил насквозь, железная бутылка в тайнике под полом была пуста, и только тридцать две бутылки великолепного шампанского нетронутыми лежали в ящиках за хижинной.

И сказав это, Локильтон снова замолчал, став похожим на себя прежнего — на человека, которого мы знали много лет. Он рассказал нам историю; горы его ничуть не интересовали, и его дух, его воображение, его память, — как хотите, так и назовите, — по-прежнему находились на Янтарной реке, в странной, длинной лодке, которой управляли чернокожие гребцы.

Мы все по разу затянулись нашими сигарами и стали ждать. Потом один из нас спросил:

— Что же произошло в горах?



Вздрыгнув, Локильтон очнулся от грёз о Янтарной реке.

— Я первым прибыл на место, — сказал он, — и засел с ружьем на вершине небольшой горы, с которой гномья сокровищница была видна как на ладони. Расстояние до нее составляло около ста ярдов — сто двадцать четыре, если быть точным. Внизу подо мной тянулась травянистая горная долина, которая заканчивалась почти у самой пещеры. Как мы и договаривались, Макдональд привел сюда свою лошадь и привязал ее к колышку, а сам поднялся ярдов на тридцать по бурым скалам и проник в сокровищницу.

Вскоре он снова появился с шестью железными бутылками драгоценного вина, которые висели у него на поясе в специальных веревочных петлях. Он быстро спустился по каменной стене и, вскочив на лошадь, отстегнул карабин повода, которым она была привязана. И тут следом за ним со стены стремительно спустился гном. Он действительно был весь бурый и скатился по скалам, словно поток грязной воды. Я не решился стрелять, пока он спускался; на фоне камней его было не разглядеть; он то скрывался за валунами, то снова появлялся, но и в том, и в другом случае гнома было почти не видно.

А Макдональд уже хлестнул лошадь, и бутылки у него на поясе застучали друг о дружку, напугав животное еще больше; узкая горная долина слегка понижалась к выходу, так что всадник и конь сразу набрали приличную скорость. Гном тем временем тоже спустился в долину и побежал, и я напряг палец на спусковом крючке ружья. Никакого ветра не было. Для бегущего человека упреждение составляет два фута — на ста ярдах, естественно, однако я подумал, что сейчас поправка должна быть меньше, поскольку гном был не больше трех с половиной футов ростом, но потом я увидел, с какой он мчится скоростью, и решил взять большее упреждение. Зрелище было фантастическое! Никогда прежде мне не приходилось видеть существо, которое было бы хуже приспособлено для бега: ноги у гнома были короткими, да и сам он казался приземистым и широким в кости, но видели бы вы, с какой неистовой яростью он мчался за похитителем! Благодаря невероятной силе своих огромных мускулов, гном развил исключительную скорость; его ступни стучали по земле как град, а мощные бедра так и ходили вверх и вниз. В этом стремительном



беге не было ни изящества, ни красоты — одна только голая мощь и гнев, ясно читавшийся в том, с какой силой он опускал на землю свои непропорционально большие ступни. Гном мчался как самум, и его коричневато-бурая фигура ясно выделялась на фоне зеленой травы. Сначала он даже немного сократил расстояние, отделявшее его от Макдональда, но как только лошадь под беглецом понеслась во весь опор (как известно, лошадь способна набрать максимальную скорость лишь яров через сто после старта), он резко остановился и, вскинув лук, пустил стрелу. Я выстрелил за мгновение до этого, но промахнулся: как видно, я неправильно рассчитал упреждение, и моя пуля просвистела у него за спиной. Думаю, что попасть в него не удалось бы никому, ибо ни один человек не в состоянии оценить проворство, с которым двигался неповоротливый с виду гном; поразить его можно было только случайно, — да и то если бы стрелку очень повезло, — и никак иначе. Так я подвел Макдональда.

И, сказав это, Локильтон снова замолчал. Мы почти видели перед собой Хатнетские горы, зеленую долину и гнома, который останавливается на бегу и пускает стрелу, но как только голос Локильтона прервался, мы опять оказались в темной старой таверне, полной сигарного дыма, где в очаге остывали угли и за незашторенными окнами стояла глубокая ночь. Еще долго мы сидели как зачарованные, ожидая его последнего слова и не смея ему не верить.

— В жилетном кармане и в сердце Макдональда, — промолвил наконец Локильтон, — остались два самых прекрасных опала, к которым только прикасался человек.

ДОМАШНИЙ ЛЮБИМЕЦ СУЛТАНА

 прекрасные пальцы!.. — прошептал султан, разглядывая безупречные овалы блестящих ногтей, чуть подкрашенных прозрачным бледно-розовым лаком.

Был вечер, и султан сидел у парящего ограждения на плоской крыше своего дворца Шур-уд-Дулин. Прямо под ним сверкающая стена из светлого гранита отвесно сбегала в воду озера столь безмя-

тежно-спокойного, что казалось — в его глубинах не шевельнет плавником ни одна золотая рыбка. Тишина и покой объяли мир, и на все вокруг снизошло безмолвное оцепенение, какое бывает только в сумерках, хотя лучи недавно закатившегося солнца еще играли на гребне стены и отражались от вкрапленных в гранит частиц слюды, так что сама стена как будто тихо мерцала, оживляя своим прозрачным свечением сгущавшиеся у подножья тени.

А на султана, сидевшего высоко над затихающей землей и поглаживавшего безупречные розовые ногти, вдруг нахлынули воспоминания — давние, но отчетливые и яркие, точно свет луны. Он вспомнил девушку, которую встретил восемь лет назад в такой же вечер, как этот; она пасла коз на горном лугу, а ее деревня лежала глубоко внизу, укутанная прозрачным голубым покрывалом, сотканным из дыма очагов и подступающих сумерек; чуть выше по склону пастбище заканчивалось, и над его краем вздымалась темная гора, над безмятежной вершиной которой реяли отсветы ушедшего дня; и колокол в храме звонил, словно посылая странные сигналы, поднимавшиеся все выше в неподвижном воздухе, и следом за ними стремительно летели ночная прохлада и темнота, и глаза девушки сияли, и белели в сумерках тонкие, изящные руки.

И по мере того как под стенами дворца сгущалась ночная тьма, пробуждались и становились ярче воспоминания султана; так в сумерках становятся особенно густыми и насыщенными краски небесного свода. Он вспоминал день свадьбы, вспоминал качание роскошных паланкинов и звуки музыки. Своим внутренним взором султан видел дом-башню, стоявшую в лесу, видел сверкающую в лучах утреннего солнца крышу, выложенную мрамором, и многочисленных кошек, бесшумно и мягко крадущихся по белоснежной плитке. И как наяву слышались султану и ночные звуки и шорохи, доносившиеся из лесной чащи, и ясные, чистые голоса крестьян, поднявшихся еще до рассвета и перекликавшихся где-то далеко-далеко.

И пока над головой султана легкие облака окрашивались в волшебные, насыщенные цвета, в памяти его сменяли друг друга про-



шедшие годы. Он вспомнил, как появился валлиец. Султан показал ему и свой дом-башню, и лес, где они часто охотились вместе, и не раз он рассказывал гостю легенды о прошлом, об обычаях людей и диковинных тварей, и все эти истории были удивительными и правдивыми, но те истории, что рассказывал валлиец, были еще более странными. Как ни старался султан удивить гостя, тот рассказывал в ответ о вещах еще более поразительных и чудесных, описывая дальние края и земли столь живо и ярко, что не могло быть никакого сомнения в том, что так оно и есть на самом деле, хотя многие подробности в его историях казались совершенно фантастическими.

И вспомнил султан день, когда они расстались, вспомнил, как он и валлиец долго прощались у ворот и как померкло в тот день даже сияние погожего утра.

И еще вспомнил султан, как он обнаружил, что девушка с прекрасными, тонкими руками тоже пропала.

Султан проскакал восемьдесят миль, прежде чем нагнал беглецов. Он нашел их в придорожной харчевне, в маленькой и темной комнате с низким потолком. Валлиец выхватил револьвер и тем самым лишил себя единственного шанса — ему нужно было стрелять прямо сквозь карман. Султан ринулся на него с обнаженным мечом — с тем самым, что когда-то хорошо послужил и его деду, и другим, более отдаленным предкам, и многие считали, что еще раньше этим клинком владели сами боги; впрочем, кто может знать это наверняка?

И вот теперь султан снова гладил эти изящные пальцы, эти блестящие ногти и перстень с бриллиантом, который он когда-то подарил возлюбленной и который сверкал сейчас ярче, чем последний отблеск заката. Крокодил в озере был совершенно неподвижен, — просто темная полоса лишь на полтона темнее сумерек, — и когда по вечерам султан кормил своего любимца лакомствами, падающие в воду кусочки пищи вызывали на поверхности озера рябь даже бо́льшую, чем его могучее тело.

— О прекрасные пальцы, дивные пальцы!.. — вздохнул султан, бросая последний из них вместе с перстнем в озеро.



РОДОСЛОВНАЯ СУЛТАНА



а всем ныне лежит печать модернизма, — со вздохом промолвил Главный Церемониймейстер.

Их было четверо в комнате, деревянные стены которой сверху донизу покрывала искусная резьба. Комната была маленькой, с высоким потолком, и в ней было всего два окна; общее мрачное впечатление несколько смягчали лишь яркие голубые краски и позолота, кое-где сохранившиеся на резных стенах. Кроме Главного Церемониймейстера в комнате сидели Хранитель Сокровищ, Верховный Воевода и Государственный Скупщик Коней; все четверо были высшими сановниками доминиона Хаш.

Сегодня они собрались здесь потому что султан Хаша назначил их членами полномочной комиссии, вменив им в обязанность установить, действительно ли сей высочайший владыка ведет свой род от Бога-Луны (как считали жители страны), и представить соответствующий отчет.

— Его Прозрачность побывал в Париже, — заметил Верховный Воевода.

— Да осуществляются его мечты, — машинально отозвался Главный Церемониймейстер, но привычная невыразительность его голоса ясно свидетельствовала, что эта фраза, подобно многим другим формулам придворной вежливости, давно затерлась от частого употребления и утратила первоначальный смысл. Ответные слова остальных вельмож, произнесенные быстрой скороговоркой, и вовсе не было никакой возможности разобрать.

Потом все четверо обратились к документам, разложенным перед ними на столе, и, передавая их друг другу, складывали страницы по порядку, вздыхая, как люди, только что закончившие долгую, кропотливую работу. Теперь им оставалось только приложить к документам большие печати и подписаться, проставив свои имена и звания.

Вот что было написано в бумагах, отосланных султану и помещенных им в Железный Ящик:



«По повелению Его Незамутненной Прозрачности, прекрасного, как заря, и могучего, как слон, султана Хаша, изволившего приказать своим ничтожным и неразумным слугам Главному Церемониймейстеру Шри Кагану, Верховному Воеводе Ло Хатару, Поставщику Лошадей Ло Хи и Хранителю Казны Хата Дундару создать геральдическую комиссию, четверо упомянутых слуг Его Прозрачности тотчас приступили к надлежащим исследованиям, дабы подтвердить истинность широко известного факта, что Его Безмятежная Прозрачность великий султан Хаша ведет свой род от Бога-Луны.

С этой целью мы, четверо недостойных, исследовали хранящиеся в сокровищнице древние свитки и скрижали, на которых записана родовая история королевского Дома Хаша от первого осиянного зарею султана, Его Некогда Незамутненной Прозрачности владыки Ло Лин То, и собрали все свидетельства и документальные подтверждения тому, что нынешний султан является его прямым потомком, не обнаружив при этом никаких указаний или намеков, противоречащих сему утверждению. Затем мы с великим тщанием и добросовестно исследовали обстоятельства рождения Его Некогда Незамутненной Прозрачности владыки Ло Лин То и установили, что, — как подтверждают все древние хроники и ни одна не опровергает, — его матерью была Ла Лин Тин, дочь хозяина леса, что в давние времена высился близ Тана-о. Также нам удалось отыскать не подлежащие сомнению письменные указания на то, что за общеизвестный срок до появления на свет Его Некогда Незамутненной Прозрачности владыки Ло Лин То его мать отправилась в этот лес одна, а случилось это как раз в тот день, когда, как записано в хрониках и как могут без труда рассчитать нынешние астрологи, Бог-Луна изволил воссиять над миром во всей своей полноте.

Хроники свидетельствуют, что в те дни Бог-Луна светил по-особенному ярко, так что лес владыки даже издали казался золотым. Мы склонны считать полностью несостоятельными и не имеющими под собой никаких оснований некоторые легенды, если только можно назвать легендами те праздные и безответственные сплетни, в которых утверждается, будто бы в ту же самую ночь в лесу Тана-о охотился с луком и стрелами юный принц, известный под именем Владыки Долины Лилий. У нас имеется целых семь причин



утверждать, что подобное событие не могло иметь места — причин достаточно веских как по отдельности, так и в совокупности, ибо их сила многократно умножается действием магического числа “семь”.

Во-первых, — как говорят люди и как совершенно ясно записано в семейных хрониках Лесного Князя, — примерно за год до этого упомянутый Князь решительно отказал Владыке Долины Лилий, просящему руки его дочери.

Во-вторых, мы выяснили, что основание для отказа было и веским, и справедливым — как раз таким, какое обычно принимают во внимание обе стороны, а заключалось оно в том, что в последний раз страны Князя и Владыки воевали друг с другом каких-нибудь сто лет назад.

В третьих, нам удалось установить, что лес тот был окружен весьма высокой оградой, и колья, из которых она состояла, были столь остры, что за все время не было случая, чтобы кто-то через них перебрался; кроме того, по ночам вдоль ограды ходили сторожа, — каждый по своему участку, — и смотрели, нет ли где дыры или пролома; сторожей было четверо, и каждому досталось по четверти ограды. Что же касается получивших значительное распространение безответственных домыслов и грубых базарных шуток, согласно которым юный Владыка подкопался под ограду, мы со всей ответственностью заявляем, что столь изысканный и утонченный молодой человек (о чем можно судить по многим сохранившимся до наших дней портретным изображениям), служивший примером и образцом для подражания всей тогдашней аристократической молодежи, вряд ли унизился бы до того, чтобы уподобиться роющему норы презренному кролику.

В четвертых, мы убедились, что кроме внешней ограды в лесу имелась еще и внутренняя стена, колья которой были заглублены в камень, так что под них не смог бы подкопаться и настоящий кролик. Разумеется, в ограде имелись ворота, но их охранял страж, один вид бороды которого повергал человека в трепет; дух же его был столь же неподкупен, сколь неуязвимой для гребня и расчески была его спутанная борода.

В пятых же, мысленно отступив от этой внушающей ужас бороды, (как поступали наяву многие из тех, кто желал проник-



нуть вглубь охраняемого леса), мы обнаружили бы, что по ночам на между двумя изгородами пространстве свободно разгуливают самые свирепые леопарды, о чем также написано во многих книгах. Добавочным свидетельством истинности этих сведений могут служить многочисленные искусные иллюстрации.

Наконец, в шестых, мы можем полагаться на слово самого принца Долины Лилий, который клятвенно заверил своего отца, что ту ночь он провел в храме.

В качестве же седьмого и самого важного – учитывая магический и священный характер числа “семь”, – доказательства мы решили прибегнуть к истории прабабки Вашей Незамутненной Прозрачности в тринадцатом колене, записанной ею на куске пергамента и помещенной Главным Церемониймейстером той эпохи среди священных книг. В этой истории рассказывается, что в ту самую ночь она ускользнула от своих камеристок и, покинув дворец, отправилась в лес, ибо, как пишет сама принцесса, она испытывала некое томление и тоску, о природе которых, впрочем, в рукописи ничего не сказано. Когда она уже была в лесу, с востока вдруг прилетел легкий ветерок – он беззвучно пронесся над лесом, лишь слегка касаясь листвы на деревьях. Потом самые маленькие и легкие листочки начали чуть слышно шуршать; они словно перешептывались, и этот шепот понемногу становился все громче, пока не стало казаться, будто деревья то ли вздыхают, то ли негромко напевают какую-то песню, но это было не обычное птичье разноголосье, какое можно услышать в чаще по утрам – нет, то была песнь всего леса, в которой каждый листок исполнял свою партию, и доносилась она с востока.

Все громче, все слитнее становилась песнь листвы, и вот где-то на границе между звуком и тишиной возникла мелодия, похожая на музыку флейт, в которые едва дуют зачарованные музыканты. И тогда принцесса Ла Лин Тин на мгновение (но не долее) вообразила или, скорее, просто предположила, что музыка эта рождена флейтой юного Владыки Долины Лилий, на которой он имел обыкновенение играть.

Звучавшая над лесом мелодия была, однако, намного тише, чем человеческое дыхание, и намного прекраснее, чем любая музыка,

которую способен исполнить человек, и тогда принцесса Ла Лин Тин, обратившись от фантазий к здравому смыслу, поняла, что это играет какой-то бог, и что он нарочно играет так тихо, чтобы при звуках его божественной флейты слабые сердца смертных не остановились и не унеслись на волнах музыки прочь, как улетают с ветром пожухлые осенние листья, что несомненно случилось бы, если бы этот чарующий напев был хоть на полтона громче, чем самый слабый шепот.

Далее принцесса пишет, как небо на востоке озарилось безмятежным сиянием, словно залитое расплавленным золотом и серебром, и как она увидела Луну и проступающее на ней лицо бога. Луна возшла с необычной быстротой; она заморозила лес своей величественной красотой, и вскоре каждый листок в нем сделался золотым, не по виду, а на самом деле превратившись на одну ночь в маленькое чудо, отлитое из чистейшего светло-желтого сверкающего металла. И это чудесное явление Луны, ее великолепие, а также волшебство чуть слышной музыки, предвостывшей ее восход, действовали на принцессу с такой силой, что она тотчас заснула там где стояла, но и во сне она продолжала видеть Бога-Луну, который величественно и плавно двигался сквозь ее грёзы, легко узнаваемый благодаря своей красоте, намного превосходящей человеческую.

И сначала Ла Лин Тин никому не рассказывала о своем приключении, ибо не понимала всего значения происшедшего, но впоследствии она по некоторым признакам догадалась о некоем грядущем событии и поведала эту историю, и сей факт был зафиксирован в генеалогических хрониках, а также записан на пергамент и помещен в сокровищницу.

В своей работе мы также сочли необходимым проверить некоторые слухи, которые порой проникают в нашу счастливую страну из чужих городов, согласно которым луна якобы представляет собой самостоятельный мир или страну, и, следовательно, не способна к отцовству или материнству. Предположение, будто столь значительная каменная масса способна плавать в небе без всякой поддержки или опоры, мы находим как совершенно неправдоподобным,



так и абсолютно не доказанным чужеземными магами и астрологами, которые, с одной стороны, утверждают, будто земля обладает способностью притягивать массивные предметы к своему центру, а с другой, уверяют, что сделанная из камня луна может свободно парить в воздухе. Мы же продолжаем единодушно придерживаться мнения, что способность подниматься на небо или двигаться под землей является чудом и присуща только богам.

Покончив, таким образом, с сетями сомнений и прахом праздных домыслов, и еще раз установив на основании точных и достоверных записей непреложную истинность того факта, то Его Незамутненная Прозрачность, божественно мудрый, прекрасный, как заря, и могучий, как слон, султан Хаша является прямым и законным потомком Бога-Луны, мы рекомендуем в целях окончательного прекращения слухов и посрамления сомневающихся подрезать языки всем, кто усомнится в божественном происхождении Его Прозрачности, а в раны насыпать белые споры проказы, заливать слюну бешеных собак и гнойные выделения больных оспой или любой другой болезнью, которых больше всего боятся люди, дабы естественным образом отделить колеблющихся от здорового большинства и таким образом предотвратить распространение смуты.

Да будут наши глаза четкими в руке Его Незамутненной Прозрачности, сердца – его пищей, и да продлится его род до той поры, когда горы Чин Ли Лин станут втрое выше, чем сейчас».

Эти последние слова были, однако, пустой формальностью, что стало совершенно очевидно несколько лет спустя, когда все четверо членов султанской комиссии приняли самое активное участие в восстании, в результате которого Его Незамутненная Прозрачность лишился трона. Впрочем, бывший султан Хаша все еще хранит у себя эти бумаги с большими государственными печатями и часто показывает их друзьям, когда они шумной компанией приезжают на машинах к нему на виллу, стоящую на живописных склонах над Каннами, чтобы сыграть партию в гольф.

ПРОРОЧЕСТВО ПОЛИСМЕНА

Вы утробите и себя, и всех вокруг, если будете ездить через перекресток на такой скорости, да еще когда я поднял руку, — сказал полисмен везшему меня таксисту.

Станным образом эти слова надолго задержались у меня в памяти, и в конце концов я всерьез задумался, каким станет наш мир, если таксист действительно убьет всех людей.

Понятно, что ему не обойтись без помощи водителей автобусов и частных автомобилей, и вскоре движение на дорогах станет менее напряженным, а потом вовсе сойдет на нет. И конечно, ежевика и выюнки, что растут по обочинам почти всех дорог, тотчас узнают об этом, и однажды тихим вечером их усики и плети осторожно выползут на опустевший гудрон загородных шоссе. Но как все будет в Лондоне — в городе, где силы Природы выглядят такими слабыми и малочисленными?

Нет и не может быть сомнений в том, что о случившемся узнают цветы, что растут в ящиках под окнами. Их ростки начнут переливаться через края деревянных коробов, чтобы осмотреться и поприветствовать садовую траву, которая вытянется к ним навстречу снизу. И настанет момент, когда созревшие семена платанов ринутся через городские границы, рассеются по мостовым, как пыль, и в конце концов обретут пристанище в трещинах и выбоинах тротуаров, а крылатые семена лип, которые умеют путешествовать дальше, чем думают многие, найдут сначала одну лишь твердую поверхность, но с каждым дуновением ветерка они, шурша, будут перелетать на новое место до тех пор, пока и они не отыщут себе приют на участках рыхлой земли, как бы мало их ни было в городе.

Весть о том, что совершил таксист, достигнет мушиного племени так быстро, как только сумеет доставить ее самый быстрый из ветров, и мухи не только слетятся в Лондон издалека и опустятся на город огромной ликующей тучей, но и произведут на свет миллиарды и миллиарды новых мух, и тогда во всех наших опустевших



соборах и на наших безлюдных улицах их жужжание зазвучит, как гимн, как величественный хорал, первым прославивший исчезновение человека. Мне кажется, что мухам выпадет очень важная задача прибраться за таксистом и сделать долину Темзы пригодной для жизни любых существ, которые придут сюда следом за ними.

А вслед за мухами в город слетятся птицы и, конечно, убьют миллионы и миллионы насекомых, но не смогут положить конец их торжеству. Все лето в небе над городом будут носиться ласточки и реять стрижи, и крошечные серо-коричневые мухоловки рядами рассядутся на покинутых заборах, и время от времени то одна, то другая будут вспархивать, чтобы схватить добычу и вернуться на свой насест; и хищные птицы в дальних лесах скоро прознают о том, что в городе можно приятно провести время, и тоже явятся в сюда, чтобы в свой черед охотиться на маленьких охотников.

Городские запасы продовольствия станут вотчиной стольких крыс, сколько их нет сейчас во всей долине Темзы; крысы будут плодиться до тех пор, пока им будет хватать еды, и никакие кошки не сумеют этому помешать, и хотя некоторые из них вообразят, будто людские дома теперь принадлежат им и они могут безнаказанно валяться на мягких креслах в лучших комнатах, вскоре они убедятся, что в каждом из домов обитает весьма многочисленное крысиное племя, которое ни во что не ставит ни их самих, ни их утонченные обычаи и привычки.

С кем заключит союз пес, когда исчезнет его прежний хозяин? Быть может, он истребит шакалов и станет прислуживать львам? В Африке, возможно, так и случилось бы, но что станут делать псы Лондона? Поначалу собаки будут чувствовать себя очень одиноко, но вскоре они начнут сбиваться в стаи, чтобы без помех обрыскивать парки и скверы, забегать в двери, заскакивать в окна и охотиться на улицах, где будет в изобилии встречаться самая разная живность — за исключением человека. Впрочем, какое-то воспоминание о нас и наших обычаях (я, впрочем, даже представить себе не могу, что это может быть) будет некоторое время жить в собачьих душах, ибо так бывает всегда: когда исчезает что-то великое, его след сохраняется еще очень долго, накладывая свой отпечаток на образ жизни и обычаи низших существ. Как будут жить стаи псов, которым ничто



больше не мешает следовать усвоенным за целую геологическую эпоху инстинктам, но которые будут то и дело вспоминать дружбу, которая, хотя и родилась незадолго до того, как началась история, все же оказалась достаточно тесной и трогательной.

А травы будут расти и расти, и ветры станут приносить новые семена, а дожди — увлажнять для них почву; потом с далеких холмов прилетят ураганы и доставят в Лондон семена цветов, каких здесь не было прежде. Пройдет, пожалуй, совсем немного времени, прежде чем следы человеческого могущества станут едва различимы, а очертания его воплощенных в камне и металле трудов утонут в зелени и станут такими же расплывчатыми и неясными, как след ноги на сухом песке. Трава скроет прямые линии и углы, смягчит абрисы фасадов и стен, и любое дикое существо сразу поймет — сюда оно может войти без опаски.

Какими обиталищами станут наши дома для тех, кто не похож на нас? Некоторые из этих существ — к примеру, кошки, мыши и пауки — с ними хорошо знакомы, да и галки тоже давно облюбовали наши дымоходы. Станут ли они нашими наследниками, когда таксист закончит свою работу, или их прогонят другие? Нельзя не задать и еще один вопрос: а станет ли мир после этого хуже? Мы на этот вопрос ответить не можем — слишком уж мы уверовали в непогрешимость собственных суждений, чтобы решить, будут ли заросли травы, мхов и плюща, населенные многочисленными существами, коим больше не угрожает человек, лучше или хуже, чем каменные мостовые, по которым ежедневно шагают сотни и тысячи ног. Но зеленые джунгли будут подниматься все выше, будто морской прилив; они принесут забвение, и с каждым распустившимся цветком лютика, с каждой пушистой головкой одуванчика страх перед человеком и память о нем станут чуточку слабее.

О, сколько от нас было шума! Все это будет забыто. Во что превратили мы город, обклеив его рекламами, какое зарево устроили в небесах! Но подует чистый ветер, сорвет рекламные объявления, и небо над Лондоном вернется к своим звездам, как больной приходит в себя после горячки и бреда.

Кто вспомнит о нас, когда наши дела прочно забудутся? И вспомнит ли вообще? Кто, глядя на отлогие, буйно зелене-



ющие холмы, припомнит наши угловатые дома и нас, живших в них когда-то? Только собаки. Они вспомнят. Быть может, в одну из ночей какой-нибудь пес не отправится на охоту со стаей, а придет на поляну в молодой липовой роще, что во множестве поднимутся по берегам Темзы. Внезапно он увидит своего старинного врага — полную луну, встающую над заросшими травой развалинами, и тотчас вскинет голову и завоет, предупреждая человека об опасности. Но никто не ответит ему, и не раздастся в ночи знакомый по прежним временам раздраженный, сердитый окрик, на который пес никогда не обижался, ибо не искал человеческой благодарности; для него было довольно того, что он предупреждает и охраняет людей совершенно безвозмездно.

Но никто не ответит ему теперь, ни один голос не прозвучит в ответ, за исключением, быть может, воя другой собаки на далеких болотах, которая передаст предупреждение дальше, да тихого гогота потревоженных гусей. И тогда пес вдруг вспомнит, что уже много лет не видел людей. Ему станет жаль нас, и он попытается размышлять обо всем, что мы совершили, — разумеется, в меру своего понимания, — и будет гадать о наших побудительных мотивах и восхищаться ими, но только это будут вовсе не те мотивы, которые мы знаем; это будут те божественные цели и причины — причины таинственные и необъяснимые (даже историки в большинстве своем склонны не понимать и не замечать их), которые пес попытается угадать, которые он припишет нашему уму и которые станет смиренно почитать. Не стоит нам, однако, слишком радоваться этому поклонению, которое, возможно, надолго переживет нас, ибо оно объясняется вовсе не нашими заслугами и достижениями, а питается той глубочайшей преданностью, что живет в сердце пса.

Мышь будет помнить дома, кошка — мягкие половики у камина, галка будет много лет вспоминать наши дымоходы, но только пес вспомнит самого человека. Что за странные это будут воспоминания, едва теплящиеся на просторах болот и лесов близ Темзы — воспоминания о тех, кто когда-то жил здесь; о существах столь мудрых, могущественных и дальновидных, что они могли изменить лик земли, и вместе с тем настолько слепых, что они ничего не видели при

звездном свете, о существах настолько тихих на ухо, что они не различали шагов за спиной, пока не становилось слишком поздно, и почти напрочь лишенных такого важного чувства, как обоняние.

Эти существа даже не знали, кто их настоящие враги, не догадывались о коварных замыслах диких животных, о вероломстве кошащих, о непримиримой враждебности полной луны. Увы, в конце концов лик земли, как ни старался человек его изменить, снова стал таким, как прежде. И по-прежнему обитали на земле крысы, кошки и лисы, и вставала над миром полная луна, безмолвно празднующая конец загадочных существ, что были намного могущественнее, мудрее и добрее прочих. Но как раз тогда, когда мысли, чересчур глубокие даже для слез, осенят собачий разум, бдительный пес, сидящий на болоте под полной луной, вдруг переключится на соображения совершенно иного плана, сделав это гораздо быстрее, чем мы (я-то хорошо знаю, каковы обычаи и привычки собак), и, задрав заднюю лапу, примется с остервенением чесать себя за ухом. Увы, в эти мгновения ничтожная блоха будет занимать его в гораздо большей степени, чем судьба человечества.

Я хочу сказать только одно: мы должны быть довольны любыми воспоминаниями, что останутся от нас, когда нас не станет. Пока природа будет напрягать все силы, скрывая плоды наших трудов (все равно, будут ли это фабрики или колокольни) под каскадами ползучего клематиса, даже такие воспоминания — уже неплохо, пусть они окажутся весьма непродолжительными и редкими, оживая лишь в полнолуние.

Наконец, полицейский мог и преувеличить, хотя говорил он взвешенно и спокойно, и, казалось, вовсе не сомневается в своих словах. С другой стороны, я и сам задумывался о чем-то подобном — во всяком случае, я никогда не считал, что машины будут существовать вечно. Мне всегда казалось, что в конечном итоге одни механизмы победят другие, бомбардировщики уравновесят пульмановские вагоны, а Природа рано или поздно возьмет свое. Вот почему, едва услышав пророчество полисмена и увидев его уверенное лицо, я поначалу ни на секунду не усомнился, что так и будет.



Но по зрелом размышлении, когда полисмена уже не было поблизости и он не мог меня отвлечь, я решил, что у моего таксиста куда больше шансов убиться самому, прежде чем он убьет остальных, и быть похороненным людьми нашей расы, которые и не подозревают о той опасности, которую он для нас представлял. Что будет написано на его могильном камне? Лично мне не приходит в голову ничего более подходящего (при условии, конечно, что мы в конце концов его переживем), чем те слова, которые в наши дни чаще всего произносятся в Лондоне над покойником: «С водителя сняты все обвинения».

1 и 2 ноября 1929 г.

ВЕТЕР В ЛЕСУ



В хижине сборщиков грибов на окраине Сонного леса жила девочка по имени Эмили Энн. Когда у ее родителей не было работы (и было много свободного времени), они обычно звали ее Эмили, когда же они куда-то торопились, то звали дочь коротко — Энн. Однажды отец и мать Эмили Энн отправились за грибами в глубь леса, а дочь оставили в хижине одну, наказав ей перед уходом опасаться волков и не отходить далеко от дома.

Волки не появлялись у хижины уже лет сто, но родители Эмили Энн знали о лесе и о мире по рассказам своих дедов и прадедов и считали, что те были осведомлены о том и о другом куда лучше, чем большинство живущих ныне людей, а так как деды всегда предостерегали их насчет волков, они учили свою дочь тому же. Но когда отец и мать ушли, Эмили, которая отлично знала, что никаких волков поблизости нет, тотчас отправилась в лес.

Голод гнал родителей Эмили Энн как можно дальше, девочку же подстегивало любопытство, и они поспешно шагали каждый своим путем. В конце концов Эмили оказалась в самой чаще леса, но не успела она зайти достаточно глубоко в царящий там сумрак, как наткнулась на какую-то темно-голубую фигуру пятидесяти футов вышиной, которая, сгорбясь, сидела на лесной подстилке из мха;



фигура эта была наполовину прозрачной, и сквозь нее просвечивали древесные стволы.

— Ты кто? — спросила Эмили, хотя она сразу догадалась, что перед ней — ветер.

И ветер не стал ничего скрывать и с готовностью признался, что он такой, и громкий, пронзительный голос его прозвучал взволнованно и радостно.

— А чем ты занимаешься? — снова спросила девочка.

И при этих словах ветер замялся, словно не знал, что ответить. С одной стороны, ему очень хотелось рассказать Эмили о своих намерениях, с другой стороны, его план представлял собой настолько большой и замечательный секрет, что ветру было жаль испортить его, поделившись своей тайной с кем бы то ни было. План был столь великолепен, что он просто не мог о нем не говорить, но все же продолжал колебаться. Наконец ветер решил, что в конце концов ему все равно придется кому-то сказать о своем плане. И вот он огляделся по сторонам, чтобы убедиться, не подслушивает ли кто, а заодно — подчеркнуть, какая это великая тайна; потом ветер наклонился вперед, потер ладони и сказал:

— Я дую.

— Как интересно! — сказала Эмили.

— Дую! — повторил ветер.

— Я так и думала, — кивнула девочка.

А в лесной глуши не шевельнулась ни одна травинка и на ветках не качнулся ни один листок.

— Как ты догадалась? — удивился ветер.

— Для этого достаточно посмотреть на небо, — объяснила Эмили.

И ветер поднял голову и быстро взглянул на небо; он был удивлен и разочарован тем, что там могут найтись какие-то признаки или приметы, по которым можно узнать его тайну. На небе ветер увидел несколько небольших, довольно растрепанных облаков, и отвернулся от них с презрением.

— Да, я буду дуть, — снова сказал он.

— А как? — спросила Эмили.

— Я стану играть листвою, — заявил ветер.



– И надувать паруса? – уточнила девочка.

Но ветер только потер рукой огромные тени под подбородком, а рука у него была цвета зимнего неба. Вопрос ему не понравился. С тех пор как были изобретены паруса, ветру постоянно казалось, что люди пытаются его использовать, хотя он и не мог бы объяснить, как именно.

– Нет, я буду дуть только на листья, – сказал ветер. – Вот увидишь, как они помчатся!

– А в какую сторону? – заинтересовалась девочка.

И тут ветер заговорил таким важным тоном, словно был намного умнее Эмили и в его словах была заключена мудрость веков.

– Это будет зависеть от того, с какой стороны я буду дуть, – сказал он.

– А с какой? – спросила Эмили.

– Ну... – протянул ветер.

– Оттуда? – Девочка показала рукой справа от него.

– Если я буду дуть оттуда, – сказал ветер, – я буду северным ветром.

– А может, оттуда?.. – Эмили показала себе за спину.

– В этом случае я буду западным ветром, – ответил ветер.

– Будь западным ветром, – попросила она.

– Почему? – удивился ветер.

– Потому что западный ветер самый веселый, – объяснила девочка. – Северный ветер очень сердитый, а восточный ветер никому не нравится. Будь лучше западным ветром, ладно?

– Ну, я подумаю...

– Или южным.

– Там видно будет, – важно сказал ветер.

– А ты будешь сильно дуть?

– Фью! Еще как!

– И погонишь листья прочь?

– Сначала я сделаю так, чтобы они кружились и танцевали в воздухе, – сказал ветер. – А потом, когда я вырвусь из леса, я заставлю их лететь очень быстро.



– А что еще ты можешь? – спросила Эмили.

– Ха-ха! – ответил ветер, и весь лес зазвенел от его ликующего возгласа.

– А ветки ты можешь заставить летать? – поинтересовалась Эмили.

– Что ветки! Я могу швырять целые деревья, – сказал ветер. – Но и это еще не все!

И тут весь лес понял, что его тайна гораздо больше.

– Ты, наверное, можешь отнести на юг всех диких гусей? – попыталась догадаться Эмили.

– Не только.

– И прогнать айсберги далеко в море?

– Ха-ха! – сказал ветер. – Еще лучше.

И пока Эмили сидела и думала, сквозь огромную тускло-синюю фигуру проскочила снизу вверх какая-то мерцающая искра, похожая то ли на звездный свет, то ли на смех. Лес притих. Впрочем, ветер казался Эмили довольно веселым... и тут ей на ум пришла восхитительная мысль. Правда, она не была уверена, что ее догадка верна, и решила, что лучше спросить.

– Что же еще ты можешь делать? – медленно проговорила она.

– Я отправлюсь в города! – торжественно сказал ветер.

– И чем ты там займешься? – спросила Эмили, чьи веселые подозрения еще больше окрепли.

Мерцающие искры снова пробежали по огромной фигуре ветра, и как раз тогда, когда казалось, что он больше не в силах хранить свою тайну, девочка снова спросила:

– Что ты будешь делать в городе?

И в глубокой лесной тишине прозвучал громкий ответ ветра:

– Я буду срывать с людей шляпы! – воскликнул он во все горло.

– Я так и думала, – сказала Эмили.

– Срывать шляпы и катать их по улицам! – прокричал ветер.

– Вот будет весело! – согласилась Эмили, и оба вприпрыжку побежали к западной окраине леса.



ТИГРОВАЯ ШКУРА

Мистер Альфред Джерк работает в магазине, слишком большом, чтобы назваться просто «магазином». Говорят, там продается все, и я почти уверен, что так оно и есть. Как-то раз, рассказывает Джерк, приходит покупатель, хочет приобрести стол. Это было уже почти два года назад, но Джерк запомнил все до мелочей, так как уж очень необычный стол понадобился покупателю. Допустим, звали его Тейверс. Искал он стол вроде бильярдного. «Пожалуй, — сказал он, — мне подойдет бильярдный стол». Но у стола должны были быть определенные параметры.

Джерк, полагая, что у покупателя дома все равно недостаточно места, чтобы поставить полноразмерный бильярдный стол, показал ему несколько маленьких бильярдных столов, но ни один из них не подошел. Оказалось, что он хотел бы стол чуть короче обычного бильярдного, а может быть, даже и такой же длины, разве что он должен быть на фут шире. Ширина бильярдных столов обычно шесть футов, и, само собой, Джерк пообещал ему стол шириной ровно шесть футов. Но покупателя это не устроило, стол должен был быть непременно семи футов шириной. И мало-помалу Джерк склонился к мысли, что магазину Хэтби и Гейтера понадобится сделать специальный заказ.

Понятно, что намного проще продать что-то, что производится на фабрике сотнями, нежели заказывать что-то специально, и Джерк пытался убедить покупателя приобрести обычный готовый стол. Но ничего не вышло. Выяснилось, что тот вовсе не собирается играть на нем в бильярд, и это окончательно истощило запас доводов мистера Джерка, которые были основаны на убеждении, что стол предназначен для бильярда. Нет, клиент хотел стол, чтобы постелить на него шкуру.

Какую шкуру, спросил мистер Джерк. Тигровую шкуру. А каковы ее точные размеры? Тут мистер Тейверс замешкался. Где-то десять—одиннадцать футов в длину и почти семь футов в ширину. Он намеревался держать шкуру на столе, чтобы по ней никто не ходил, не топтал ее и не портил. А затем выяснилось, что и тигра-то у него



пока нет, но вскоре он отправится в Индию, чтобы такового подстрелить.

Они еще обсудили различия между Англией и Индией и как далеко до Индии, а потом вернулись к теме тигровых шкур и как люди по ним ходят и вытаптывают их. В итоге был заказан стол в семь футов шириной в одиннадцать с половиной длиной, с обычными шарами и лунками. И мистер Джерк также принял заказ на высокую и низкую стойки для киев, на это потребовался весь арсенал его талантов продавца, ибо клиент явно не собирался вообще играть в бильярд.

В Индии Тейверс обнаружил, что гораздо чаще тигров попадают олени. И действительно, то место в Тераи, где Тейверсу было позволено охотиться и где он разбил свой лагерь, находилось в пятидесяти милях от ближайшей точки, где в последний год видели тигров. Поэтому он охотился на черных антилоп и иногда на болотных оленей, и один раз на антилопу нильгау, он добыл несколько отличных голов в качестве трофеев и вскоре совершенно этим удовлетворился и почти забыл про своего тигра.

Тем временем фабрика в Лидсе завершила выполнение заказа для магазина Хэтби и Гейтера, изготовив очень сложный бильярдный стол, семь футов на одиннадцать с половиной.

И вот тут-то миру было явлено любопытное вкусовое пристрастие. Никто не знает, как формируются вкусы, неизвестно, отчего нам вдруг хочется сыра, баранины или ананаса. Сам я считаю, что такие внезапные желания служат для нас путеводными нитями, думаю, что когда у нас вдруг возникают такие желания, значит, нам полезны сыр, баранина или ананас, и вкусовые предпочтения — лишь провозвестники каких-то глубоких внутренних потребностей.

Как бы то ни было, всем нам знакомы, в здравии и в немощи, такого рода любопытные вкусовые капризы, часто вполне тривиальные, но от этого не менее навязчивые. И вот именно такое навязчивое желание внезапно одолело тигра в глубине джунглей вдали от холмов — внезапное желание кусить плоти белого человека, и он в мгновение ока покинул свое логово. И ведомый случайностью или тем самым инстинктом, что внушил ему потребность в человеческой плоти, он направился прямо в Тераи.



Ночью огромный зверь почти неслышно крался сквозь джунгли. Он проходил через индийские деревни, не обращая на них внимания, а когда наступал рассвет, видел совсем близко от себя индусов, рубящих деревья в джунглях, или женщин, моющих медные чаны в ручьях, и ни разу не вздумал напасть. Голодный, он все же шел мимо.

Такие вкусовые пристрастия, такие внезапные желания попробовать какую-либо конкретную еду, и никакую иную, не продиктованы никакой причиной, — и когда они касаются нас с вами, и уж тем более если речь идет о тигре. Зверь добрался до поросших тростником равнин с множеством болотных оленей, миновал стада черных антилоп, все такой же голодный, так никого и не убив, по-прежнему охваченный необыкновенной жаждой вкусить мяса европейца, великолепный тигр, от носа до кончика хвоста одиннадцати футов длиной.

Вот уже более года в магазине Хэтби и Гейтера так и хранился пресловутый стол. И вот однажды к ним явился покупатель, который показался мистеру Джерку вполне подходящим. Он хотел купить бильярдный стол, и мистер Джерк взялся его обслужить.

— Сэр, вам нужен обычный узкий бильярдный стол? — спросил он.

Покупатель задумался.

— У нас есть замечательный стол семи футов шириной, — сообщил мистер Джерк.

Покупатель склонялся к тому, чтобы купить его.

— А вы уверены, что ваша комната достаточно для него велика? — спросил мистер Джерк.

О, вот это был хитрый ход! Потому что как раз у этого клиента был новый и очень просторный дом, которым он гордился. И все же он никак не мог решиться.

— Мы уступим вам его за сорок фунтов, сэр, — сказал мистер Джерк.

И дело было в шляпе. А затем, поскольку в искусстве продавать честность иногда бывает полезна, клиент услышал:

— Стол совершенно новый, сэр. На нем никогда не играли. Его заказал джентльмен, который отправился в Индию и был съеден тигром.



КАК БЫЛ ОБНАРУЖЕН МИСТЕР ДЖАПКЕНС

Приметив мистера Джапкенса на улице между Пикадилли и Стрэндом*, мистер Мерблтуайт сразу понял по некоему признаку, что это именно тот, кто ему нужен.

Ибо он искал его уже на протяжении сорока инкарнаций, и, будучи по природе долгожителем, искал его вот уже три с половиной тысячи лет. Это вошло у мистера Мерблтуайта в привычку — выбрать страну и тщательно ее исследовать, странствуя по ней, тратя на это далеко не один день, пока зрение не начинало его подводить, но даже после этого он продолжал поиски, понимая, что по определенному признаку сразу его узнает, несмотря на то, что взор затуманен, а когда подступала слепота, он взял за правило умирать и реинкарнировать чуть западнее. Так, в течение девяти инкарнаций он исследовал Китай.

Количество жизней мистера Мерблтуайта было ограничено — а поскольку и для богов, и для людей все зависело от успеха его поисков, — он, как правило, старался насколько можно дольше протянуть последние крупницы жизни, только бы сберечь следующую инкарнацию. Вы только вообразите себе его облегчение, когда после всех этих исканий он вдруг увидел мистера Джапкенса!

Теперь что касается богов. Они раскачивают планеты в целях, которые здесь не к месту обсуждать, и в совершенстве баланса планет находят некую гармонию, которая доставляет им удовольствие, настолько превосходящее любые реальные или воображаемые нами удовольствия, что я также не возьмусь здесь их описывать. И хотя данное удовольствие, испытываемое богами в результате совершенного равновесия сфер, должно оставаться вовеки неопишуемым, само это равновесие земному разуму доступно, хотя лишь частично и очень немногим — лишь тем, кто преклоняется вовсе не перед точностью математических расчетов.

Именно этим избранным открывается истина о том, что притягивание одной планеты к другой и постепенное смещение соседней



планеты с ее орбиты оказывается всегда сбалансированным другими смещениями, возвращающими их на круги своя. И все именно так и должно быть. Но было одно странствующее небесное тело, комета или астероид, назовите, как хотите, которое не подчинялось данному закону и не было приведено в безупречный баланс, в котором обращались все остальные планеты, более того: несмотря на свой малый размер, оно вошло в противовес с остальными планетами, неумолимо разгоняя их, и продолжалось это в течение более трех тысяч лет. И воздействие данного странствующего тела ничем не компенсировалось, как следовало бы по закону движения остальных планет.

Пришло время узнать, что «Мерблтуайт» – это псевдоним, также как и «Джапкенс». Знайте также, что с незапамятных времен на земле существуют принципы, или силы, именуемые «Риммон»* и «Ариммон»*, первый – со стороны богов, в то время как второй – против них. Итак, мистер Мерблтуайт являлся Риммоном и всегда им пребывал, хотя и скрывался под многочисленными псевдонимами с самого начала своих изысканий, а мистер Джапкенс был Ариммоном, один – за богов, другой – против них и против любой гармонии – будь то среди сфер, будь то в мире людей.

А с Джапкенсом дело обстояло таким образом, что если вдруг на протяжении семи дней он был бы лишен возможности колдовать, тогда восторжествовала бы справедливость и боги справились бы с той кометой и установили бы гармонию сфер, которая мало-помалу приходила в упадок. Таким образом, Риммон восторжествовал бы над Ариммоном, и свершилось бы пророчество. Но более чем три с половиной тысячи лет духи Справедливости не могли отыскать Джапкенса.

Подобное упущение можно было бы счесть следствием недостаточной сообразительности. Как бы то ни было, дух Риммона, обретающийся в Мерблтуайте, яростно ополчился против Джапкенса. А в интересах Джапкенса было бы упечь Мерблтуайта в темницу, ведь тогда Джапкенс мог бы без ущерба для себя реинкарнировать. Однако все складывалось иначе. Ибо Мерблтуайт в процессе сорока предыдущих инкарнаций набрался мудрости и вдобавок постиг все премудрости Англии.



Вот почему он ждал своего часа и наблюдал, пока не увидал, что Джапкенс оказался недалеко от полисмена, туда-то Мерблтуайт и направился. И вкрадчивыми речами и улыбками, в спокойной и доброжелательной манере он заявил полицейскому о том, что Джапкенс совершил преступление. Он обвинил его в утоне своего автомобиля. Потому что опыт его многочисленных инкарнаций подсказал ему, что, судя по телу, которое Ариммон выбрал в качестве своего местожительства, это тело скорее всего купило бы определенный автомобиль, поэтому он описал этот автомобиль, и довольно верно его описал, именно такая машина и была у Джапкенса. И когда автомобиль обнаружили и он оказался именно таким, каким описал его Мерблтуайт, Джапкенса засадили в тюрьму на время разбирательства.

И прошло семь дней, и еще немного, и Джапкенс не прибегнул к заклинаниям, ведь для этого ему нужно было находиться на возвышении, у него должны были быть благовония и непосредственный вид на звезды, а всего этого он как раз был лишен. Тем временем боги вернули на место комету. И когда с утоном разобрались, Мерблтуайта посадили в тюрьму, где он пребывает и поныне. Но что ему за дело, если планеты благополучно вернулись на круги своя?! А если тюрьма ему наскучит, ему требуется всего лишь умереть и перейти в свою сорок первую инкарнацию или отбросить все это, как ненужные игрушки, и вернуться торжествующим, исполнив свой долг, к богам.

НОЧНОЙ КОШМАР



Когда я зашел навестить сэра Джефкоута Инлэя, он был уже на полпути к выздоровлению. Его болезнь, по счастью, оказалась недолгой, хотя и мучительной, и весьма интересной. Если можно так сказать о болезни, поразившей известного человека и лишившей его возможности заниматься очень важным делом. Но даже если в данном случае слово «интересный» не вполне подходящее, эта болезнь достойна внимания специалистов по необычным расстройствам, поскольку это один из тех редчайших примеров, когда недуг вызван сном.



Нет совершенно никаких оснований предполагать, что все было наоборот и что сам сон был вызван каким-то лихорадочным расстройством, ведь сэр Джефкоут дал на этот счет подробнейшие разъяснения: он лег спать совершенно здоровым, ему приснился сон, и этот сон поверг его в такой шок, что он не мог оправиться почти две недели. Сон был очень реальным, и, разумеется, у сэра Джефкоута не было ни тени подозрения, что все это ему снится.

Он даже подумал, что еще не ложился и что свет в спальне горит по какой-то определенной причине, о которой ему не пришлось в голову спросить. Обнаружив на прикроватном столике телеграмму, он и не подумал поинтересоваться, каким образом она туда попала, скорее всего, — если он вообще об этом подумал, — он ее просто до этого не замечал, и ее туда положили еще до того, как он лег. Он развернул телеграмму и увидел три подписи — Министра внутренних дел, шефа Скотланд-Ярда и епископа Билчестерского, Уильяма. Телеграмма сообщала о том, что в течение по крайней мере пяти лет не будет совершаться никаких преступлений.

Это было изложено в манере, еще более ясной, нежели обычно в телеграммах, поэтому истолковать эти слова превратно было невозможно. Однако, хотя сэр Джефкоут и не мог истолковать эти слова неверно, он не сразу уловил всю значимость сообщения и все его вредоносные последствия.

Надо сказать, что на поприще адвоката сэру Джефкоуту, можно сказать, не было равных. Он был мастером своего дела. И сколько бы ни критиковали витиеватую манеру его выступлений, среди убийц многие испытывали к нему более чем благодарность.

Как раз в этих кругах те самые фразы, на которые набрасывались критики, а обвинитель подвергал осмеянию, и которые в итоге влияли на мнение суда, — эти фразы вспоминали с тихим хохотком благодарного удовлетворения. И вдруг эта телеграмма — да еще от Епископа, из Министерства внутренних дел и из Скотланд-Ярда, объявляющая о том, что преступность на пять лет прекратится!

Ему было пятьдесят пять, и целых пять лет его жизни у него хотели отнять — к концу этого срока в суде будут толпиться юнцы, овладевшие всеми приемами, наработанными им за тридцать пять лет, а ему будет уже шестьдесят. Он отчетливо увидел, какую работу

ему придется проделать, чтобы вообще удержаться на своем месте в свои шестьдесят, и еще более отчетливо он понял свое будущее финансовое положение, поскольку вообще терял источник средств к существованию.

Он зарабатывал тридцать тысяч в год, однако достаток в Англии облагается налогами еще более высокими, чем алкоголь, лишь кокаин может с ним соперничать, так что сэр Джефкоут так ничего и не скопил. Это был ужасающий сон. Но и в этот момент слабая вспышка сомнения, должно быть, озарила его разум и вселила в него надежду, подобную лучику солнца в пасмурный день, и он поспешил позвонить Епископу Билчестера.

— Это в самом деле так?

Ответ на заставил себя ждать. Звонящий голос Епископа отчеканил каждый слог со всем великолепием ораторского искусства.

— Боюсь, что да, — было сказано.

— Я не совсем это имел в виду, — позднее пояснил Епископ, и все же не осталось ни тени сомнения в том, что грядет длительный период, лишенный преступлений.

Затем сэр Джефкоут набрал Скотланд-Ярд и узнал, что у них творилось, когда они об этом узнали. Идея изначально пошла от Церкви, в процессе истолкования Священного Писания, хоть и не от самого Епископа, вот уже неделю она проверялась лучшими умами Скотланд-Ярда, и была признана безошибочно верной. Сэр Джефкоут воспринял эту новость без удивления и даже без сомнения, разве что, беспокоясь о воздействии данной проблемы на свое будущее, позвонил для пушей уверенности в Министерство внутренних дел и услышал оттуда такую единодушную поддержку, что лишился последней надежды.

Он повесил трубку и вернулся в постель в мрачных раздумьях, тем более мрачных, что все это происходило во сне. Он думал о ближайших пяти годах, которые разрушат весь его образ жизни, о том, как он уподобится плотнику, у которого отняли дерево. Тщетные надежды витали в его мозгу, кружась, словно листья в лунном свете, поблескивающие среди деревьев, — напрасные надежды, будто кого-нибудь еще могут обвинить, хоть он и не совершил ничего предо-



судительного, предъявить ему ложные обвинения, и сэр Джефкоут возьмется его защищать, но вскоре все эти надежды канули во тьму.

Защита по ложному обвинению доступна любому безмозглому юнцу, а его, сэра Джефкоута, ораторское искусство, его гибкий ум, его блестящие таланты — они предназначались вовсе не для таких тривиальных случаев, ведь нельзя же рыть землю острой бритвой! Бритва! Это слово осветило все его сознание. Существует нечто, что избавит его от пяти лет нищеты, от крушения юношеских надежд, от долгого сползания в пропасть голода или попрошайничества. Ну, скорее всего, голода, подумал он, но кто знает, как оно все сложится?

Теперь уже слишком поздно начинать что-то новое и соперничать с молодыми за место под солнцем на каком-либо новом поприще. Слишком поздно для всего, кроме бритвы. Только бритва могла бы спасти его от жалости друзей и притворной щедрости врагов, которую он в мгновение ока представил себе с предельной ясностью. Безболезненная и быстрая бритва, или пологий склон нищеты, ведущий прямо к голоду. Разве можно сомневаться в выборе? У него в комнате имелась бритва старого образца, он брился ею еще до того, как изобрели безопасные бритвы, в те дни, когда он зарабатывал себе имя — имя, которое можно обрести лишь раз в жизни. Старинное лезвие было еще вполне острым, — достаточно острым, чтобы достигнуть цели.

Он торопливо заточил бритву, а затем приложил ее к горлу и резанул со всей силы. Впервые он совершал такое тяжкое преступление. Но силы оставили его, рука дрогнула. Он, решивший покончить жизнь самоубийством из-за того, что преступность прекратила свое существование, парадоксальным образом в этот момент забыл, что она и в самом деле прекратилась, и что совершенно невозможно, чтобы наилучший адвокат, специализирующийся на защите преступников, не принял во внимание тот факт, что самоубийство — это тоже преступление. Он сильнее надавил на лезвие, но оно не сдвинулось с места, и бритва выпала из его немощной руки на пол.

И не в силах прибегнуть к единственному избранному им средству спасения от голода и потери своего положения, он взглянул на упавшую бритву и зарыдал. Его так и нашли на следующее утро — все еще рыдающим в постели.



МИССИС МАЛДЖЕР



Когда-то мать миссис Малджер держала пансион. Миссис Малджер тоже сдавала комнаты; как и мать, она жила в том же небольшом северном городке и была вдовой, а время летело быстро и неумолимо. Впрочем, сама миссис Малджер уже не считала, будто время летит; чаще она думала, что оно пролетело, а она и не заметила как, ибо сейчас миссис Малджер было под пятьдесят, и если смотреть с этой точки зрения, ее время действительно ушло. Но сегодня ей вдруг показалось, что, несмотря на прошедшие годы, время вовсе не двинулось с места, ибо подступала весна, а за столом в гостиной сидели два молодых человека (ее жильцы из числа студентов университета) и спорили о поэзии. Миссис Малджер как раз сошла в гостиную, чтобы покормить золотых рыбок, и наткнулась на занятых разговором юношей. И тут ей вдруг показалось, что трех десятков лет как не бывало, а молодой жилец ее матери говорит с ней о тех же самых вещах.

И даже после того как миссис Малджер закончила возиться с рыбками, она не могла справиться с собой и замешкалась, слушая разговор, который так отчетливо и живо напомнил ей прошлое. Никакого особого смысла она в нем не видела; во всяком случае, там его было едва ли больше, чем в словах, которые когда-то давно говорил ей тот, другой человек, однако в голосах обоих юношей миссис Малджер без труда узнавала тот же жар и ту же всепобеждающую уверенность в чем-то неведомом и непонятном – такие интонации слышатся порой в начале апреля в песне черного дрозда, когда он совершенно уверен в приходе весны. Вот почему она стояла и, слегка улыбаясь, прислушивалась к разговору. Да, разумеется, молодые люди спорили о поэзии. Как обычно. Удивительным было то, что каждая произнесенная ими фраза казалась ей бесконечно знакомой, хотя она мало что понимала в их разговоре. Подчас миссис Малджер даже чувствовала, что могла бы закончить за них начатую фразу. Но вот один из молодых людей начал декламировать строфы из какого-то старого



стихотворения. Оба студента хвалили его (хотя и очень странными словами) и превозносили до небес слог и стиль.

– Боюсь, мы здесь говорим о поэзии, миссис Малджер, – сказал один из юношей, заметив ее.

– Ничего страшного, сэр, – ответила она. – В поэзии нет никакого особенного вреда.

Нет, если держаться от нее подальше, подумала про себя миссис Малджер. А ведь в юности она едва не вышла замуж за молодого человека, который писал стихи. Это был тот самый жилец ее матери, студент университета и все такое прочее, но миссис Малджер уже тогда знала, к чему может привести увлечение поэзией. Вот почему, когда настала пора, она вышла замуж за водопроводчика и к тому же секретаря местного отделения профсоюза. В те времена каждая девушка хотела выйти за водопроводчика. После смерти мужа миссис Малджер оказалась очень неплохо обеспечена. Тот, другой молодой человек скончался еще раньше. И сейчас воспоминания об этих двух мужчинах в ее жизни пронеслись в голове миссис Малджер, словно призраки, которые спешат домой, заслышав крик петуха.

А двое молодых людей в гостиной продолжали сыпать учеными фразами и все чаще цитировали строки из стихотворения, и эти строки постепенно складывались в картину, которая была внятна вдове; нет, речь шла не об их смысле, каким бы он ни был, а о знакомых звуках – о голосах и картинах давно прошедших весен, которые странным образом взблескивали и сверкали среди прозвучавших рифм. Миссис Малджер даже стало смешно, какие пустяки могут порой всколыхнуть твою память: никогда не знаешь заранее, что это будет.

– Несравненная красота и поэтическое совершенство «Оды к Розе»... – говорил один из студентов, а миссис Малджер все стояла в гостиной и улыбалась, и, в конце концов, юноша повернулся к ней и довольно резко сказал:

– Мне кажется, что стихотворение, которое мы обсуждаем, вряд ли представляет для вас интерес, миссис Малджер.

И на какое-то мгновение ее мысли сместились в далекое прошлое, но тотчас вернулись.

— А знаете, — задумчиво промолвила миссис Малджер, — ведь меня зовут Розой...

— Вот типичный образчик суждения *non sequitur*¹, — сказал один студент другому.

И миссис Малджер тотчас потребовала, чтобы ей растолковали, что это значит, а выслушав объяснение, сказала:

— Не так уж это нелогично, как вы утверждаете. Дело в том, что... — Тут миссис Малджер неожиданно остановилась. Ей вдруг вспомнилось, как однажды она ушла в лес на добрых пять миль от города, чтобы полюбоваться весной, и как услышала ружейный выстрел, и как все птицы, что на разные голоса пели вокруг, тотчас умолкли. Нет, вовсе не хотелось миссис Малджер прерывать оживленный разговор молодых людей, а то, что едва не сорвалось у нее с языка, наверняка заставило бы их замолчать, хотя она по-прежнему не видела особенного смысла в их болтовне. Пусть они говорят, подумала она. Пусть говорят, и пусть поют птицы.

— Я уверена, — сказала она, — что это действительно хорошее стихотворение.

Дело было в том, что «Ода к Розе» была когда-то написана в ее честь.

ВЫБОР

Веда обрушилась на Арнольфа, как удар грома. Еще вчера он был герцогом Торрес Агилес, рыцарем Ордена Странствующего Сокола, Наследным Оружейным Мастером Святой Артиллерии и владельцем обширных земельных угодий, но после неожиданно разразившегося скандала и короткого суда Арнольф был приговорен к месяцу тюремного заключения.

Тюрьма в Торида была сырой и холодной, к тому же в ней было темно, как в погребке. Еще в Средние века здесь была темница, и герцог Торрес Агилес сидел в ее промозглом мраке наравне с дру-

¹ *Non sequitur* (лат.) — вывод, не соответствующий посылкам; нелогичное заключение.



гими преступниками – ворами и бандитами, которые беспорядочно переходили из камеры в камеру, из коридора в коридор, ибо никто не заботился об охране узников в месте, откуда, как говорили, невозможно бежать. По какой-то причине герцогу было дозволено добровольно уйти в отставку с должности Главного Кучера королевской парадной кареты; всех остальных постов и регалий его лишили.

И пока он размышлял обо всех этих вещах, перебирая в уме все, чего лишился, из стылой, сырой мглы вдруг появился человек, который выглядел намного веселее и жизнерадостнее, чем, – как казалось герцогу, – было возможно в этой обители несчастья и горестных раздумий. То был худой человек с резкими чертами и лицом таким смуглым, что оно казалось темным даже в окружающем мраке, однако оно отнюдь не было угрюмым; напротив, губы прищельца беспрестанно двигались, отпуская насмешливые замечания и шуточки, глаза смеялись, и казалось, что дух его отягощен унылой обстановкой тюрьмы не больше, чем отягощает стремительную ласточку окружающий воздух.

Это был цыган Пульони*, и когда он спросил «Как поживаете, господин?», бывший вельможа поднял голову, и его решимость не вести никаких разговоров с другими преступниками начала таять.

– Скверно, – ответил Арнольф.

– Сколько вам присудили, господин? – сказал Пульони.

– Месяц, – ответил обесчещенный аристократ и тяжело вздохнул.

– Мне тоже, – беспечно проговорил цыган.

Так и было. В некоторых делах, за которые он нес ответственность, Арнольф Торрес Агиллес допустил вещи, которые можно было счесть взяточничеством и подкупом; описание сих деяний, сделанное судом, в точности совпало с соответствующими статьями закона, когда же эти описания легли на бумагу, последняя надежда для герцога исчезла. Правда, приговор мог быть в десять или двадцать раз суровее, но для Арнольфа это уже не имело значения, ибо его жизнь была погублена в любом случае.

А цыган просто украл цыпленка и впервые в жизни попался, хотя на протяжении многих лет имел обыкновение ужинать курия-

тиной. Он, однако, оказался уличен в краже в крайне неблагоприятное время, ибо за короткое время в одной из провинций страны было похищено несколько тысяч цыплят, и деревенские жители в один голос выражали свое раздражение и тревогу, а закон всегда прислушивается к подобным вещам. Вот почему в качестве наказания за свою трапезу Пульони получил целый месяц тюремного заключения.

— Всего-то месяц! — воскликнул цыган. — Это же сущий пустяк!

Он покрутил в воздухе пальцами, и сразу же месячный срок стал казаться Арнольфу ерундой.

— Труд всей моей жизни погиб, — сказал герцог.

— Мы не можем этого знать, — ответил Пульони.

— Чего мы не можем знать? — спросил Арнольф.

— Человеку не дано знать, хорошо или плохо то, что с ним случается, а также как и почему это случается, — пояснил цыган.

И несчастный герцог посмотрел в пол и ничего не ответил.

— Только моя мать умеет видеть вещи такими, каковы они на самом деле, — добавил Пульони.

— Твоя мать ясновидящая?! — воскликнул Арнольф, чье удивление преодолело даже владевшее им отчаяние.

— Ну да, — сказал цыган.

Тут пришел тюремщик, чтобы запереть заключенных каждого в его камере, ибо преступникам разрешалось навещать друг друга только в течение нескольких часов в продолжение дня.

И какое-то время спустя срок заключения цыгана истек, а еще через несколько дней вышел на свободу Арнольф. В том краю как раз кончался последний зимний месяц, и когда поверженный герцог покинул тюрьму, весна уже во всю играла всеми своими красками, и цыган ждал его за огромной аркой тюремных ворот и улыбался солнцу.

— Почему вы печалитесь, господин, когда я весел? — сказал цыган. — Да еще в такой отличный денек!

Арнольф ненадолго поднял глаза к небу, потом снова опустил голову и ничего не ответил.

— Ну ничего, моя мать все нам скажет, — проговорил Пульони.



- Твоя мать? – удивленно переспросил герцог.
- Только вам придется позолотить ей ручку, – сказал цыган.
- Куда идти? – спросил Арнольф.
- В наш табор, – ответил цыган.
- И неожиданно герцог принял решение.
- Идем.

И кто знает, поверил ли он словам цыгана о необычных способностях его матери, или же просто улыбка Пульони направляла его неуверенный шаг, подобно тому, как лучи солнца заставляют плющ карабкаться выше по стене. Как бы там ни было, двое бывших узников вместе пришли в табор цыган.

Казалось, в таборе не было недостатка в цыплятах, как, впрочем, и всегда. Старуха-цыганка как раз готовила одного из них.

– Это мой друг, с которым я познакомился в тюрьме, – сказал Пульони матери, и лицо старой цыганки тотчас расплылось в приветливой улыбке.

– Каждый, кто был в тюрьме вместе с моим сыном, наш дорогой гость, – сказала она. – И может рассчитывать на ужин, когда бы он ни явился.

– Мой друг хочет узнать смысл вещей, – сказал Пульони.

– Ах вот оно что! – проговорила старуха и замерла, задумавшись на мгновение.

Тогда герцог позолотил ей ручку, и старая цыганка велела сыну:

– Принеси порох.

И Пульони тотчас отыскал порох в одном из шатров и высыпал в сгущавшуюся тень под живой изгородью, ибо приближался вечер, и когда старая цыганка подожгла порох с помощью кремня и огнива, в сумеречный воздух поднялся плотный серый дым. Он был хорошо виден на фоне темных кустов, и старуха, глядя на него, подняла вверх руки; и когда глаза герцога и Пульони привыкли к полутьме, они начали различать в дыму какие-то тени.

– Это мы, – шепнул цыган, когда в сумерках задвигались темные фигуры – расплывчатые, но все же ясно различимые среди клубов дыма.

– Да, это вы, – подтвердила цыганка, – но очень давно. Вы оба встретились еще до того, как появилась Земля.

– Что она хочет сказать? – спросил у своего друга Арнольф.

– Смотри!.. – ответила цыганка.

И они увидели, что две дымные фигуры достают что-то из огромных корзин.

– Потерпи немного, она нам все объяснит, – сказал Пульони.

– Но где это происходит? – не успокаивался герцог.

– В пучинах Времени, – ответила цыганка.

– А что они достают из корзин? – снова спросил Арнольф.

– Смотри же!.. – повторила старуха.

И Арнольф увидел звезду Ордена Странствующего Сокола, вожденную награду рыцарского сословия, которой он лишился. Тем временем вторая дымная фигура достала из корзины какой-то предмет, похожий на кастрюлю или котелок. Все туманнее и расплывчатей становились склонившиеся над корзинами зыбкие фигуры, и пороховой дым рассеивался и таял, пока сквозь него не проглянули кусты живой изгороди, а герцог хотя и увидел что-то, по-прежнему ничего не понимал. Вечерние сумерки окончательно стусились, и вот уже какая-то звезда засверкала в небе, где таяла редкая дымная пелена.

– Все это удивительно и странно, – покачал головой герцог. – Но что это означает?

И стоявшая среди вереска старая цыганка, чьи седые волосы развеивал уже совсем по-ночному прохладный ветер, сказала ему так:

– Еще до того, как появилась Земля, вы оба сделали выбор, как и каждый человек. Но кто бы ни делал свой выбор в тот день, – и что бы он ни выбрал, – тому суждено было провести месяц в тюрьме. Он поступил мудрее... – Тут цыганка показала на своего сына. – По мне, так не может быть ничего прекраснее кочевой жизни на вересковых пустошах, из-за сделанного им выбора такая жизнь и впрямь становится лучше всего. Мой сын тоже мог иметь и богатство, и почести, но ему хватило ума отказаться от них из-за того, что неминуемо должно было с ним случиться.

– Но откуда он мог это знать?! – ахнул герцог.



- Вы оба побывали на земле прежде, – сказала старуха.
- Раньше? – переспросил Арнольф.
- И не один раз, – подтвердила старая цыганка.
- Да, теперь я припоминаю, – медленно проговорил Пульони.

Но герцог лишь потрясенно смотрел в пространство, и впоследствии ему так и не удалось припомнить, видел ли он обоих цыган наяву, или эта мудрость открылась ему во сне.

РОЗА ТИББЕТС

Рум набегавших на берег волн напоминал мерное биение могучего сердца Вечности. Это был единственный звук, нарушавший оцепенение раннего утра, но молодой человек, сидевший в одиночестве в своей комнате в пансионе, вовсе не замечал моря. Все его мысли блуждали милях в сорока от побережья, где высились холмы Норт-Даунса и где когда-то распускались груши и одевались цветами фруктовые сады, но теперь сады для него опустели, холмы утратили свою прелесть и очарование, а случилось это около года назад. И тогда молодой человек покинул отцовскую ферму и казавшиеся ему огромными холмы, чьи отлогие увалы обнимали единственные поля, которые он знал, и отправился в путь, чтобы отыскать свое счастье, – если конкретнее, то молодой человек собирался служить репортером в газетке, которая распространялась на южном побережье на территории всего-то в несколько квадратных миль.

Внезапно сквозь мерный пульс Вечности пробился нетерпеливый голос суетной земли – то стучала в дверь хозяйка пансиона. Шум моря убаюкал молодого человека, и он, не без сожаления вернувшись в мир вещей мелких и сиюминутных, крикнул через дверь:

– Да-да, войдите!

И хозяйка – ее звали миссис Меддип – вошла.

– Я подумала, мистер Брок, не поставить ли вам в комнату мой радиоприемник? Мне кажется, он вас немного развлечет.

– Ваш радиоприемник? – рассеянно переспросил юноша. – К сожалению, сейчас у меня совершенно нет времени. Мне, э-э... мне скоро нужно идти в редакцию.



Молодой человек не увидел в предложении миссис Меддип ни доброты, ни участия — он думал только о необходимости обороняться: хозяйка заметила его угнетенное состояние, и тотчас все его инстинкты воспрянули, словно защитники маленького, уединенного лагеря, заметившие врага, крадущегося к невысокой ограде из тонких бревен. А миссис Меддип только ухудшила дело, повторив:

— Но радио в самом деле вас развлечет...

Это была чистая правда — молодому человеку необходимо было развеяться, но он сказал только:

— Благодарю вас, миссис Меддип, но со мной все в полном порядке. Не понимаю, с чего вы взяли, будто мне нужно взбодриться.

— Не нужно? — спросила миссис Меддип.

— Абсолютно, — ответил юный мистер Брок.

— Ну, как хотите, — сказала хозяйка. — Только мне все равно надо куда-то его поставить. Мою лучшую комнату сняла одна женщина — по-видимому, из тех, кто норовит все сделать по-своему. Она приезжает сегодня утром.

— Особа королевской крови или что-нибудь в этом роде? — пробормотал Брок.

— Нет. Просто дама с характером.

— Она что, будет играть в здешнем театре? — предположил юноша.

— Вот уж не знаю, — ответила миссис Меддип, пожимая плечами. — Я вообще ничего о ней не знаю, кроме одного: все вокруг должно быть так, как она хочет, и никак иначе. А хочет она, чтобы я вынесла приемник из ее комнаты. Говорит, что устала от музыки.

— Тогда пусть просто не включает его, — предложил Брок.

— Она говорит, что не желает вспоминать о музыке вовсе.

— Надо будет выяснить о ней все, возможно, это заинтересует публику, — важно сказал юноша, ведь он начал работать репортером совсем недавно.

— Я и то ничего о ней не узнала, — возразила миссис Меддип. — Всеми переговорами занимался ее поверенный. Он даже не назвал ее имени; скорее всего, она пользуется псевдонимом. Вам, репортерам, будет нелегко расколоть такой орешек.



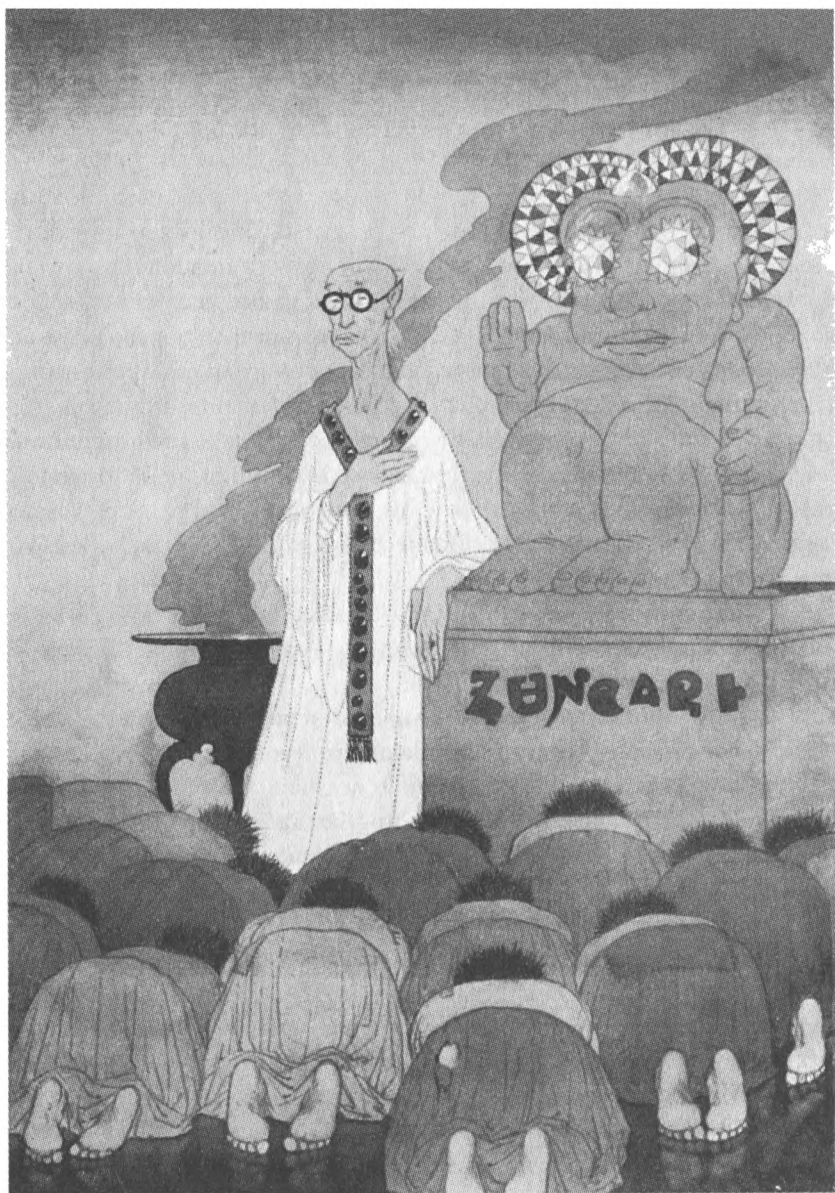
— Напрасно вы так думаете, миссис Меддип, — усмехнулся Брок. — Мы все выясним очень быстро, и чем больше мы узнаём, тем громче будет сенсация.

За этим разговором молодой человек совершенно забыл о необходимости защищаться от доброты миссис Меддип; он забыл даже, правда — лишь на эти короткие минуты, о своей собственной беде, ибо сейчас его разум был полностью захвачен мыслями о работе на благо общества. И когда миссис Меддип повторно спросила, не принести ли к нему в комнату радиоприемник, он поблагодарил и согласился.

— Приемник стоит снаружи, в коридоре, — сказала миссис Меддип. — Новая жилищка будет здесь через полчаса.

И они вышли в коридор, чтобы забрать приемник; Брок внес его в комнату и взгромоздил на стол. И на протяжении минуты или двух миссис Меддип, — как часто бывает, — нахваливала свою собственность, подробно рассказывая о технических характеристиках приемника, и даже когда Брок нажал кнопку включения, хозяйка все не уходила, ожидая услышать от него подтверждение, что-де приемник и впрямь очень хороший. Впрочем, миссис Меддип не преминула предупредить молодого человека, что еще очень рано, что еще не все радиостанции вышли в эфир, поэтому ему следует радоваться, если приемник вообще заговорит.

Когда один человек показывает другому какое-то свое маленькое сокровище, мы все, — если только нам довелось подслушать их разговор, — склонны улыбаться потаенной, но полной сознания собственного превосходства улыбкой; в данном случае, однако, улыбаться совершенно нечему, ибо нет и не может быть радиоприемника, разумеется — исправного, который не мог бы, не опасаясь конфуза, занять достойное место среди тех семи чудес, которыми так бахвалится мир. Его не превзойдут и Великие пирамиды Гизы, Висячие сады Семирамиды на равных поспорят с его красотой, Колосс Родосский не усмехнется, глядя на него с высоты, и даже в храме Артемиды в Эфесе не найдется столь великого чуда; гробница Мавзола не сравнится с ним своей торжественной тишиной, Александрийский маяк не затмит своим светом, и статуя Зевса* не посмотрит на



Йазун наш бог



него с насмешкой и презрением, ибо все эти вещи, существа и боги признают его таким же как они – одним из объектов почтительного восхищения людей.

В общем, когда Брок включил радио, оно заработало, потому что день уже начался: оно хрипело, булькало, бормотало или принималось петь, по мере того как молодой человек поворачивал ручки. Далекие люди говорили на неведомых языках, пел орган, голос которого куда величественнее человеческого, звучали обрывки песен. Миссис Меддип оказалась права: молодой репортер ободрился, гнетущее одиночество отступило, и она с удовлетворением увидела, что он улыбается. Брок все крутил ручки, пока замечательный приемник был ему внове, и каждая зарубежная радиостанция, чей позывной раздавался в эфире, дарил миссис Меддип такую же радость, какую дарит матери каждое слово, произнесенное ее двухлетним ребенком при гостях.

– Хороший приемник, правда? – сказала она.

– Просто чудесный, миссис Меддип! – ответил Брок. – Честное слово, замечательный.

И тут в приемнике прозвучали позывные варшавского радио. И Брок, и миссис Меддип слышали его совершенно отчетливо. «Радио Польска», – сказал приемник и добавил: «Варшава». Сначала молодой человек повернул ручку настройки дальше, но когда миссис Меддип объяснила ему, что это была за станция, Брок снова настроился на нее просто потому, что это было самое настоящее чудо – слышать голоса из столь удаленного города. Но к тому моменту, когда ему удалось вернуться на нужную волну, там уже пела какая-то женщина. И тут улыбка вдруг исчезла с лица молодого человека; казалось, он потерял всякое желание слушать передачу из далекой Варшавы. Хуже того, он больше не притворялся, будто у него все отлично, и миссис Меддип поняла, что ее постигла неудача, даже несмотря на чудесный приемник. А ведь песня, которую пела молодая женщина, была английская.

«Она заставила его о чем-то вспомнить», – сказала себе миссис Меддип.

Мистер Брок тем временем наклонился к приемнику, прислушался, кивнул сам себе – и нажал кнопку «выключить». Несколько мгновений после этого он сидел неподвижно, но в душе у него происходило короткое и яростное столкновение между решимостью ни в коем случае не показывать своей слабости и своей потребности в утешении, и другим, более простым чувством, которому эта решимость довольно быстро уступила. А миссис Меддип, каким-то образом догадавшись, что происходит с молодым человеком, сказала:

– Что стряслось, мистер Брок?

И что-то в ее голосе заставило молодого человека рассказать свою историю.

– Это случилось очень давно, миссис Меддип.

«Очень давно? А ведь мальчику-то не больше двадцати двух», – подумала миссис Меддип.

– То есть, на самом деле примерно год назад, – уточнил молодой человек. – Но началось все намного раньше... – (Можно подумать, будто начало всех историй не уходит в глубины веков.) – Я был совсем молод, когда впервые увидел ее... Я имею в виду, моложе, чем сейчас, – добавил он. И сочувствие миссис Меддип, невидимое, как радиоволны, пролилось на него и помогло взять себя в руки, так что молодой человек почти перестал запинаться и рассказал о том, как в графстве Кент распускались после зимы вишневые деревья, как покрывались бело-розовой кипенью фруктовые сады, как выбрасывали молодые побеги бледно-желтые примулы, как в ореховых зарослях появились многочисленные анемоны, а следом за ними расцвели пролески, ковром покрывая землю в лесу, пока она не начинала соперничать голубизной с лазурью небес.

Молодой человек так долго рассказывал о своем доме на холмах, где цвели эти фруктовые сады и росли светлые ореховые леса, что миссис Меддип даже задумалась, когда же он подойдет к главному в своем рассказе – к тому главному, о котором Брок пока умалчивал то ли из стеснительности, то ли нарочно, желая ее заинтриговать, к



тому, о чем миссис Меддип, как ни странно, могла бы поведать ему сама, хотя о молодом жильце ей было почти ничего не известно.

Это началось с приходом весны, объяснил юноша. Весной на него всегда нападало желание бродить по окрестностям, и каждая птичья трель, казалось, звала его в холмы, и каждый листок на ветвях, едва колеблемых слабым теплым ветром, манил куда-то. Тогда весь мир был прекрасен (как, вероятно, было известно и миссис Меддип), и казалось, будто за каждой рощицей отливающих медью буков, за каждым горизонтом скрываются картины еще более удивительные и захватывающие.

Юноша открывал для себя весну, как когда-то Кортес* открыл Тихий океан; по берегам его было немало человеческих поселений, и все же для Кортеса он был совершенно новым и неизведанным. Именно так и следовало исследовать весну. И все же по-настоящему молодой человек открыл ее для себя только в тот момент, когда после одного из своих «бродячих приступов», продолжавшегося почти весь день, вышел из леса и оказался в приютившемся у опушки саду — довольно далеко от дома, в краю, где он еще никогда не бывал и не знал о его существовании; там он увидел девушку, которая шла ему навстречу. И либо она действительно была так прекрасна, как он рассказывал, либо отражавшиеся в ее лице и волосах сумерки (настоящие сумерки, когда закат и полная луна светят одновременно) так волшебным образом изменили ее черты и заставили глаза искриться и мерцать, что казалось, будто дивный вечер поделился с нею своей неземной магией.

Встреча с этой девушкой и была главным в истории мистера Брока. Как она выглядела, миссис Меддип по-прежнему могла только догадываться, ибо молодой человек, похоже, не находил слов, чтобы описать ее красоту; он без конца твердил лишь о весне над меловыми холмами, о цветении вишен, о благоухании распустившегося вслед за ними боярышника, о ковре чабреца на склонах холмов, о золотившейся на солнце молодой траве, и в конце концов до того запутал миссис Меддип этими описаниями природных явлений, что ей стало казаться, будто молодой человек наделяет девушку шест-



надцати или семнадцати лет от роду свойствами, которыми обладает только время.

Миссис Меддип, впрочем, было совершенно очевидно, что любовь к величавым меловым холмам, к растущим на косогорах травам и цветам, к мягкому вечернему освещению, в котором они мерцали и переливались, странным образом переплеталась в его душе с любовью к встреченной в цветущем саду девушке. И он говорил то о последних отблесках зари, что до последнего мешкали средь покрытых цветами яблоневых ветвей, осеняя своим мерцанием ее чело, то вдруг принимался описывать звезды, что медленно кружились над кентскими холмистыми горизонтами, но и в том, и в другом случае молодой человек был, по-видимому, совершенно уверен, что рассказывает историю своей любви. Миссис Меддип слышала немало о весне и лете, что ярко горят на склонах южных холмов, о протяженных меловых откосах, с глинистым слоем поверху, о глубокой тишине и таких же глубоких красках, в которые были окрашены вечера, когда они встречались на тропинках, протянувшихся через поля, еще не слыхавших о том, что такое город. Но если бы, выслушав эту историю, она отправилась туда, то вряд ли нашла бы дорогу, ибо осиявшая эти холмы волшебная краса, о которой рассказывал молодой человек, хотя и делала его историю достаточно искренней, одновременно превращала ее в повесть о холмах и долинах, которых не бывает в нашем мире, и уж во всяком случае не бывает в мире, где живут миссис Меддип и другие люди ее возраста.

И еще это была повесть о множестве встреч, когда вечером, закончив работу на ферме, юноша спешил на свидание с девушкой, ожидавшей его в лесу, в небольшой роще или на склоне какого-нибудь холма, все еще озаренного теплым золотым светом предзакатного солнца, и будь миссис Меддип на три десятка лет моложе, рассказ молодого человека мог бы показаться ей свежим и оригинальным.

А вот безутешному юноше, который, сгорбясь на стуле, вел сейчас этот рассказ, каждое произнесенное им слово странным образом казалось сказанным впервые, словно и не было той случайной встречи на краю утопающего в цвету фруктового сада. Она



была дочерью еще одного фермера, говорил он, который жил в нескольких милях от дома его отца, и звали ее Роза Тиббетс. У нее был чистый и сильный голос; бывало, он звал ее издалека, звал во весь голос, и ответ прилетал к нему без малейшего напряжения; так мы подчас слышим голоса птиц, которые, пролетая над нашими полями или поселками, беспечно роняют одну-две звонких ноты и летят дальше своим неведомым путем. Порой теплым летом, сидя средь зарослей чабреца, девушка пела ему простые английские песни, и никогда она не пела никому другому.

— Такие же песни, как мы только что слышали? — уточнила миссис Меддип.

— Да, такие, — подтвердил юноша.

— Неудивительно, — сказала миссис Меддип, — что эта песня напомнила вам о ней.

— Да, — кивнул молодой человек и продолжил повесть о своей любви, повесть, которая могла бы быть историей двух мотыльков, ибо они много бродили по заросшим цветами холмам, или, — поскольку чаще всего они встречались вечером, — историей двух сумеречных бабочек, которые вылетают перед самым заходом солнца и, трепеща крыльями, надолго зависают над самыми крупными цветочными чашечками.

И из его рассказа миссис Меддип многое узнала о холмах Норт-Даунс, ибо места, куда он забредал с Розой Тиббетс, молодой человек описывал так подробно, словно девушка каким-то образом их заколдовала, и стройная красота расцветающей в июне наперстянки, таинственная сень тисов, отдаленный звон овечьих колокольчиков, заросли орляка на вершинах холмов и хмельники в долинах были частью ее собственного волшебного очарования. Брок рассказывал, как она шла ему навстречу мимо дивных грушевых деревьев, сплошь покрытых нежными цветами, и не упустил ни одной краски, ни одного оттенка, когда описывал, как они сидели на гребне холма средь вереска, столь редкого в Кенте, и как на мгновение оторвав взгляд от ее лица, он вдруг увидел, что грудка пролетавшего высоко в небе голубя все еще отликает розовым в лучах уже закатившегося солнца.



Для художника-портретиста фон картины чаще всего служит лишь для того, чтобы яснее выразить особенности характера модели, но никто его за это не упрекает; точно так же и для Брока безбрежная живая красота, которую, глядя с холмов на тонущие в сумерках долины, он наблюдал во время этих прогулок, служила лишь продолжением очарования юной темноволосой девушки с красивым голосом – продолжением, которое, как море, разливалось во все стороны и достигало звезд. И если оба замечали изящную красоту гибких плетей вьюнка и роскошную щедрость его крупных цветов, это становилось их общим сокровищем, их общей тайной, словно никто из людей никогда этого не замечал и не паслись на этих склонах травоядные животные, которые так любят ощипывать молодые побеги.

Окажись миссис Меддип человеком хоть в какой-то мере поверхностным и неглубоким, она могла бы высмеять юношу; и если бы обладала она философским складом ума, она могла бы понять, что дважды в своей жизни молодому человеку удалось узреть проблески той великой гармонии, которая, – если бы мы только способны были об этом догадаться, – управляет звездами на их небесных путях; и первый из этих проблесков явился юноше, когда он любовался протяженной панорамой укрытых сумерками холмов, второй же он разглядел в чертах Розы Тиббетс. И сумей миссис Меддип подметить хоть какую-то, пусть неясную, связь между одним и другим, ей открылось бы многое в сидевшем перед ней юноше, но, повторюсь, это было возможно только в случае, если бы хозяйка пансиона была философом. Она же, не обладая умом ни философским, ни поверхностным, выбрала средний путь, и лишь глубоко сочувствовала молодому человеку, не понимая и не постигая ничего сверх того, что для этого необходимо – если для этого вообще необходимо что-то понимать.

А юноша продолжал говорить, и его история могла бы быть наполненной счастьем идиллией июльского вечера, где в благоухающих зарослях шиповника раздаются короткие, похожие на неуверенное журчание фонтанов трели пробующих голос соловьев, где стоит в цвету боярышник, а вершины холмов озарены ясным светом



сумерек, тогда как их подножия уже погружены в белесый туман (так с наступлением вечера старые люди натягивают повыше на колени теплые пледы), однако Брок неожиданно замолчал, словно соловьи о чем-то ему напомнили, и вновь согнулся под бременем неведомой печали, и единственным звуком, что раздавался теперь в комнате, был древний шум моря, которое билось о берега и, будто голос самой вечности, шептало что-то неразличимое.

– Что же было потом? – спросила миссис Меддип.

И в ее интонациях было что-то такое, что заставило юношу вернуться к своей повести.

– Роза брала уроки пения, – выдавил он. – В Лондоне. Она ездила туда время от времени... Я знал об этом, но не придавал значения. Мне казалось – она и Лондон настолько не подходят друг к другу, что из этого все равно ничего не выйдет. Мне и в голову не могло прийти, что Лондон способен научить чему-то такую девушку, вот почему я не обращал на эти поездки никакого внимания.

Молодой человек верил, что его Роза была плоть от плоти меловых холмов и мягких вечерних сумерек – тех составляющих великой гармонии, о существовании которой молодой человек, разумеется, не подозревал; он не мог и помыслить, что Лондон способен повлиять на ее будущее больше, чем сам он умел влиять на движение звезд. Играет ли Лондон какую-то роль в этой великой гармонии или воюет против нее, для нашей истории не существенно. Важно то, что юноша полностью игнорировал своего соперника – Великий Лондон, ибо слишком верил своим союзникам: величественным и молчаливым холмам, весне, лету, светлым, нетронутым лесам и очарованию юности. Но в конечном итоге Лондон победил. Город отнял у него Розу. Огромное торжище, что втягивает в себя все самое лучшее, что только найдется на тысячах разбросанных по всей стране ферм, отыскало Розу Тиббетс, натренировало ее голос, придало ему правильный тембр и звучание. И однажды вечером, когда цветки вероники светились у них под ногами, подобно упавшему наземь небу, когда птицы уже вернулись в гнезда, а летучие мыши только покидали свои дупла, Роза неожиданно сказала ему, что будет петь в Лондоне, а потом отправится выступать на континент.

И ее слова настолько противоречили всему, о чем они вместе мечтали, и как представляли свое будущее здесь, на ферме среди холмов, — и столь чуждыми были Лондон и континентальные города густому, сладкому воздуху и тишине окружающих полей, где даже редкие звуки были хорошо знакомыми и безопасными, что ее план показался ему изменой и очаровательному миру, где они так долго бродили рука об руку (если, конечно, он действительно был таким, как его описывал Брок) — и миру, созданному их мечтами. Разумеется, большие города и огромные концертные залы ничуть не напоминают дремлющие в сумерках холмистые равнины, и когда Брок впервые подумал об этом, то пришел в самое настоящее смятение. Он не стал требовать от подруги никаких объяснений; единственное, о чем юноша снова и снова спрашивал ее, это о том, правду ли она только что ему сказала, и, убедившись, что не ослышался, принялся осыпать возлюбленную упреками, которые были такими же горькими, какой казалась ему его неожиданная потеря. Роза вовсе не бросала и не отвергала его, но он вообразил, будто дело обстоит именно так, и эти исполненные глубокой обиды слова были последними, которыми они обменялись.

— И что же, она действительно стала петь? — поинтересовалась миссис Меддип. Ей казалось, что от этого зависит очень многое. Если бы Розе Тиббетс не удалось добиться желаемого, она довольно скоро должна была вернуться к юноше — больше того, была бы рада это сделать. А миссис Меддип была убеждена, что девушка, живущая в каких-нибудь сорока милях от ее дома, вряд ли могла стать известной певицей, ибо настоящие знаменитости всегда происходили из каких-то отдаленных краев.

— Она и сейчас поет, — сказал Брок.

— Сейчас? — не поняла миссис Меддип.

— Да. В Варшаве, — пояснил он.

— Не может же быть, чтобы вы имели в виду!.. — ахнула миссис Меддип. — Роза Тибетская — неужели это она и есть?.. — Это имя она успела услышать по радио.

— Да, так она теперь себя называет, — печально ответил Брок.

— И... вы ее только что слышали?



Он кивнул.

Да, подумала тогда миссис Меддип, это все объясняет. Узнать, что твоя девушка находится в нескольких тысячах миль от тебя и поет какие-то веселые песенки — от такого немудрено впасть в уныние. Ей действительно стало все понятно; разъяснилась и история, которую рассказал жилец, и его подавленное настроение. Что касалось Розы Тибетской, то это имя было ей знакомо — правда, довольно смутно, совсем как нам известны имена Юлия Цезаря и Вордсворта*, и все же не узнать его миссис Меддип не могла; весь последний год оно часто звучало по радио вместе с песнями, которые ей нравились и которые напоминали удивительные раковины, которые приносил к ее дому морской прилив.

А Брок снова включил радиоприемник, и поскольку он все еще был настроен на Варшаву, оба снова услышали имя Розы Тибетской, стоило ему только нажать кнопку. Потом Роза стала исполнять другую песню, но молодому человеку вовсе не нужно было слышать имя, — или сценический псевдоним, которым она себя называла, — чтобы узнать, кто это поет, ибо каждая нота, каждый обертон ее голоса был ему хорошо знаком. И для юноши, который никогда не путешествовал, тысячи миль, что пролегли сейчас между ним и голосом, который, казалось, звучал совсем рядом, представлялись непреодолимой пропастью одиночества и разлуки. Роза пела старую английскую песню «Дом, милый дом», и ее голос разносился сейчас над всей Европой; эта песня миссис Меддип тоже нравилась, однако ради бедного мистера Брока она предпочла бы, чтобы радио скорее замолчало. Она даже жалела, что решила перенести к нему приемник, чтобы угодить какой-то женщине, которая, видите ли, «устала от музыки». Потом миссис Меддип пришло в голову, что она может попытаться уговорить мистера Брока выключить радио.

— Хорошо ли, — заметила она, — когда что-то будит в нас чересчур много воспоминаний?

— Это все, что у меня осталось, — ответил молодой человек, подавшись вперед и вслушиваясь в доносящиеся из приемника звуки. Какое-то время он молчал, потом снова стал вслух перебирать воспоминания, которые вызвал в нем прилетевший из Варшавы голос. Он говорил о плетеных оградах овечьих загонов, о стрижах, что с

недоступной словам грацией проносятся по вечерам над сутулыми крышами старых деревень, об огромных соцветиях коровяка, поднимающиеся выше самой высокой травы и о множестве других вещей, которые, как ему казалось, предал этот голос – голос, без которого они утратили все свое очарование; так наутро бесследно исчезает мельком замеченный вечером лагерь каких-нибудь таинственных скитальцев. Именно так обстоит дело со всякой тайной, с любым волшебством: оно исчезает и появляется совершенно неожиданно, когда само пожелает; в дни, когда у Брока была Роза, холмы и луга казались ему напоенными магией, когда же девушка исчезла, все окружающее тотчас лишилось всякого налета волшебства. Некая колдовская сила оставалась только в ее голосе; эта сила продолжала манить юношу, словно прикосновением волшебной палочки пробуждая воспоминания.

А миссис Меддип все ломала голову, как бы помочь Броку. Она и сама когда-то была молода и видела, как приходит в холмы задумчивая весна и как с каждой распутившейся в лесу фиалкой приближается звонкое лето. Ни одно стихотворение нельзя перевести на другой язык с точностью до запятой, и точно так же жизнь одного человека не повторяет жизнь другого, однако после вынужденных поправок на непривычные обороты и строй фраз, стихи все же перелетают из страны в страну; поэтому – опять же с поправкой на многочисленные мелкие подробности и детали – история Брока была не так уж непохожа на ту идиллию, которую знала когда-то миссис Меддип. Вот почему она жалела его больше, чем он был в состоянии предположить, сочувствуя ему по причинам, о которых он не мог догадаться.

Песня о доме, милом английском доме продолжала лететь к ним из Варшавы, неся с собой забытые весны. И как только отзвучали последнее слово и последний такт, от дверей донесся звон дверного колокольчика, и миссис Меддип тотчас вскочила. Она готова была отдать молодому человеку все свое сочувствие, но сейчас ее призывали дела: прибыл новый жилец, с которого миссис Меддип запросила самую высокую арендную плату, о чем юный Брок и не подозревал (она сделала это просто в качестве основания для дальнейшего торга, однако совершенно неожиданно ее предложение было



принято без возражений). Вот почему она так быстро вышла из комнаты, оставив Брока с напряженным вниманием вслушиваться в речь польского диктора, из которой он понимал только два слова — «Роза» и «Тибетская». И несколько раз ему подумалось, что последние слова, которые он сказал девушке, были произнесены, пожалуй, чересчур поспешно, но эти мысли сверкнули у него в голове, как яркие искры в кромешном мраке, и ничего не осветили. Молодой человек так и не понял, что на самом деле его обида была направлена против Известности, а не против Розы. Слава подхватила ее, словно вихрь, и унесла в далекую Варшаву и, кто знает, в какие другие, еще более отдаленные места.

Тем временем диктор перестал говорить по-польски, и Брок снова услышал дорогой голос, узнав его по первой же ноте, донесшейся до него через бесконечные мили радиоэфира. Потом какие-то голоса раздались в коридоре и, повинувшись непонятному порыву, который впоследствии он и сам не мог объяснить, Брок торопливо выключил приемник и напряг слух, но голоса уже стихли, словно все необходимое и важное было уже сказано, и он услышал только мерный шум волн. Их могучий ритм баюкал молодого человека, как когда-то баюкали его холмы, чьи голоса столь безмерно далеки от наших суетных забот и волнений, и юноша сидел неподвижно, пока его не вернул к нашей мимолетной, постоянно меняющейся действительности раздавшийся в коридоре подле его двери голос миссис Меддип, которая сказала кому-то весьма решительным тоном:

— У меня тут живет один человек, с которым, как мне кажется, вам непременно нужно увидеться!

И прежде чем Брок успел удивиться, миссис Меддип отворила дверь с торжествующим видом хозяйки пансиона, наконец-то заполучившей такого жильца, какому позавидовали бы не только все ее конкурентки, но и владельцы крупных отелей, и кроме этого в ее улыбке было нечто большее, но что — юноша не успел разобрать, потому что в комнату вошла Роза.

— Привет, Билл, — сказала она.

— Но ведь ты только что пела в Варшаве! — воскликнул молодой человек.

— Я устала от песен, — сказала Роза, — и решила вернуться.



– Но ведь ты поешь в Варшаве сейчас, – горячо возразил юноша.

– Сейчас? – Она улыбнулась, и миссис Меддип, которая стояла и молча слушала, тоже слегка улыбнулась уголками глаз.

– Вот послушай, – не успокаивался Брок, и с этими словами он снова включил приемник, и из динамика тотчас донесся нежный, как флейта, голос, исполненный такого же волшебного очарования, каким полнится для каждого, кто ее услышит, песнь первого дрозда, который в начале апреля – ранним английским утром, перед самым рассветом, – будит звонкое птичье многоголосье.

– Ах, это просто фонограф, – сказала Роза.

– Что-что? – не понял Брок, потому что вместо «патефон» Роза сказала «фонограф», как говорили в заграничных концерт-холлах.

– Запись. Патефонная пластинка, – пояснила она. – Но я устала от всех этих вещей.

– И ты вернулась? – спросил Брок.

– Разве ты не видишь? – рассмеялась Роза. – Вот же я, смотри!..

И миссис Меддип потихоньку отступила в коридор – правда, не настолько далеко, чтобы ничего не слышать (ожидать подобного от хозяйки пансиона было бы, пожалуй, чересчур), но, по крайней мере, юноша и девушка больше не могли ее видеть.

НОВАЯ ИСТОРИЯ БЕЛОСНЕЖКИ

С почтением к памяти братьев Гримм



Многие, разумеется, помнят, что после своего бракосочетания лорд и леди Клинк (для его светлости, кстати, это был второй брак) нередко устраивали в особняке на Гросвенор-сквер* пышные приемы и праздники. Считалось, что бесчисленные вечеринки должны развлекать дочь лорда от первого брака Бланш, однако девочка ложилась гораздо раньше, чем они начинались, поэтому нашлись злые языки, объяснявшие неумеренное увлечение леди Клинк суаре и балами ее легкомыслием – или же извращенным стремлением поглумиться над налогами, которые так характерны для нашей страны. Едва ли стоит напоминать читателю об этих шумных



празднествах, кульминацией которых стал грандиозный прием в честь первого выхода в свет Бланш Клинк – событие, которое в обозримом будущем вряд ли будет забыто как в силу гостеприимства леди Клинк, граничащего с расточительством, так и благодаря тому не совсем обычному обстоятельству, что первый бал Бланш состоялся, когда ей исполнилось всего семнадцать*. Впрочем, я немного забегаю вперед, ибо по-настоящему моя история началась за несколько лет до этого события, когда леди Клинк купила граммофон.

Граммофоны год от года становились все лучше, все совершеннее, однако важнейшее для подавляющего большинства людей усовершенствование состояло в том, что эти аппараты понемногу дешевели, так что к 1930 году лучший граммофон, который только можно было достать за деньги году этак в 1920-м, начал стоить столько, сколько десять лет назад стоил самый дешевый образец. А это, собственно, и есть главное для большинства из нас. Но если не слишком увлекаться падением цен на хорошие граммофоны, стремящихся сравняться с ценами на заурядные модели, и обратить внимание на противоположный сегмент рынка, мы обнаружим по-настоящему замечательные машины. Один из таких аппаратов и приобрела леди Клинк. Сомнительно, чтобы кто-либо из домохозяек и слуг леди заметил в граммофоне что-то странное; пожалуй, единственное, что они о нем знали, это то, что леди Клинк частенько бормочет себе под нос:

*– Граммофон, дружок, расскажи скорее,
Кто из нас двоих красивей и нежнее?*

Но никто не обращал внимания на эти слова, ошибочно принимая их за поэзию. А леди Клинк включала граммофон, и он негромко говорил или, лучше сказать, выпевал:

*– Красивее леди
нету на свете!*

И это было все.



Все горничные в разное время слышали эти слова, поэтому когда – примерно в то время, когда Бланш начала выезжать в свет, – слова внезапно стали другими, они решили, что леди купила, наконец, новую пластинку.

Вот что услышали горничные в ответ на привычное бормотание леди:

*– Самой красивой миледи была,
Но теперь ее Бланш превзошла.*

И ничуть не удивительно, что у Глэдис появились веские основания сказать другой горничной: «Похоже, госпоже не слишком нравится новая пластинка».

А несколько дней спустя леди Клинк послала за одним из своих шоферов. Когда он явился, леди приняла его одна в библиотеке.

– Закрой-ка дверь, Клатч, – сказала она и добавила: – Я хочу, чтобы ты отвез мисс Бланш на прогулку.

– Хорошо, миледи, – ответил Клатч.

– Только не привози ее обратно, – добавила леди Клинк.

– Не привозить? – уточнил шофер. Ему и раньше приходилось исполнять некоторые деликатные поручения хозяйки, и он хотел быть уверен, что все понял правильно.

– Нет, – сказала леди Клинк. – Ведь может же произойти с ней несчастный случай...

Клатч не ответил.

– Разве ты не хочешь получить более высокое жалованье? – проговорила леди. Это, однако, был вовсе не вопрос, а просто язвительное замечание. Шофер леди Клинк и без того получал непомерно высокое жалование, поэтому предложение увеличить его еще больше звучало абсурдно.

– Это будет непросто, миледи, – промолвил наконец Клатч. – Я имею в виду работу...

– Ерунда, – сказала леди Клинк. – Тебе ли не знать, сколько людей гибнет на дорогах каждую неделю? Ничего не случится, если на улицах Лондона найдут еще одно мертвое тело.



– Но начнется расследование... – начал было Клатч.

– *«С водителя сняты все обвинения»*, – решительно произнесла леди Клинк.

– Хорошо, миледи, – ответил Клатч и кивнул.

– Попроси ее ненадолго выйти и...

– Предоставьте это мне, миледи, – сказал шофер.

– И кстати, – добавила леди Клинк, – привези мне ее сердце и язык.

Вопрос таким образом был решен, и вскоре мачеха отправила Бланш в своем «даймлере» за какими-то покупками.

Девушка и шофер поехали на Оксфорд-стрит; там Бланш вышла и направилась в магазин, а Клатч под каким-то наскоро придуманным предлогом перегнал машину на противоположную сторону улицы. Вскоре девушка появилась из магазина и, прижимая покупки к груди, стала переходить улицу. Клатч тотчас ее увидел и, сурово сдвинув брови, устремил тяжелый «даймлер» прямо на нее. Лишь в последний момент Бланш догадалась о его намерениях и вскричала:

– Ах, милый шофер, не убивай меня! Я убегу, затерюсь и никогда, никогда не вернусь домой!

Эти слова смягчили жестокое сердце шофера, а красота девушки настолько его тронула, что он сжалился над ней и сказал:

– Что ж, беги, бедное дитя!

Про себя же Клатч подумал: «На улицах Лондона такое движение, что тебя очень скоро сшибет какой-нибудь другой автомобиль». И все же при мысли о том, что девушка умрет не от его руки, у него камень с души свалился. Как раз в этот момент какой-то юный пешеход неосторожно сошел с тротуара на мостовую; шофер сразу это заметил и мигом раздавил его в лепешку, а потом извлек из кровавого месива сердце и язык, чтобы отнести леди Клинк в подтверждение того, что ее поручение исполнено. Бланш была спасена, но увы, она осталась совершенно одна и, к тому же, была основательно сбита с толку зрелищем многочисленных фонарных столбов – куда идти, она совершенно не представляла. Девушка мчалась то по тротуарам, то по мостовым, а слева и справа от нее проносились

рычащие автомобили, но ни один из них не причинил Бланш вреда. Все дальше и дальше на север бежала она, и в конце концов затерялась в спугавшейся темноте.

Тем же вечером, в довольно поздний час, леди Клинк беседовала со своей кухаркой, хотя все распоряжения относительно меню она обычно отдавала сразу после завтрака.

— Хиззард, — сказала она, — завтра его светлость обедает в гостях, поэтому я перекушу у себя в гостиной.

— Хорошо, миледи, — кивнула кухарка и уже собиралась предложить госпоже несколько блюд на выбор, но леди Клинк перебила ее: — Приготовь мне язык и сердце орикса*, — сказала она. — Клатч только что привез их от мясника. Да, кстати, мисс Бланш уехала на несколько дней, так что некоторое время ее не будет.

Об ориксе леди Клинк узнала из кроссвордов — этим словом составители называли африканского оленя; на самом деле она имела весьма смутное представление о том, что это за зверь. Впрочем, кухарка, черпавшая сведения из того же источника, спокойно взяла завернутые в газетную бумагу деликатесы; никаких вопросов она задавать не стала, и только осведомилась, как их лучше приготовить.

— *Au gratin*¹, — ответила леди Клинк, и на этом разговор закончился.

К тому моменту, когда леди подали к столу заказанное блюдо, Бланш добралась до небольшого горняцкого поселка, состоявшего из нескольких стоящих в ряд домишек, и вошла в один из них, чтобы немного отдохнуть. Внутри она увидела накрытый стол, на котором стояло семь тарелок. На каждой тарелке лежали ломтики бекона, а рядом стояло по бутылке; как поняла Бланш, это было пиво «Гиннесс», поэтому она отпила несколько глотков из каждой бутылки, ибо слышала, что «Гиннесс» для нее полезен, а также съела немного бекона. Бекон она брала по кусочку с каждой тарелки, чтобы никого не обездолить. Вдоль стены дома стояли в ряд семь кроватей; Бланш полежала на каждой, пока не нашла самую удобную, а поскольку она ужасно устала, то очень скоро уснула. А спустя какое-то время в дом вошли семеро шахтеров, которые здесь жили — просто сегодня они

¹ *Au gratin* (фр.) — обжаренный в сухарях или тертом сыре.

работали сверхурочно. Шахтеры сразу заметили, что кто-то ел их бекон, потом они поняли, что кто-то пил их пиво, и наконец самый внимательный из них заметил Бланш, которая мирно спала в одной из кроватей.

Тут все семеро шахтеров дружно ахнули от удивления, хотя и не настолько громко, чтобы Бланш проснулась. Будить незнакомую девушку они не стали, решив, что тот шахтер, чью кровать она заняла, будет в течение ночи спать по одному часу с каждым из товарищей.

Проснувшись утром, Бланш увидела шахтеров и испугалась, но они держались с ней очень дружелюбно и только спросили, как ее зовут и зачем она забралась к ним в дом. И Бланш рассказала им свою историю – как злая мачеха хотела ее погубить, как шофер сжался над ней и как она бежала и бежала, пока не попала в этот шахтерский поселок. Когда она закончила, шахтеры сказали:

– Не согласишься ли ты следить за нашим хозяйством – стряпать, постилать постели, мыть посуду, шить, вязать и следить за порядком? В этом случае ты сможешь остаться у нас надолго и ни в чем не будешь нуждаться.

А Бланш ответила:

– С радостью и удовольствием.

Так она стала жить у шахтеров и поддерживать порядок в доме. По утрам все семеро отправлялись в шахту добывать уголь, а когда возвращались, горячий ужин уже ждал их на столе. Правда, весь день девушка оставалась одна, поэтому добрые шахтеры сказали ей так:

– Берегись своей мачехи, ибо она скоро узнает, где ты прячешься. Никого не впускай в дом, пока нас нет.

Так проходили дни, и вот однажды леди Клинок снова подошла к своему граммофону, который, как я, кажется, уже упоминал, был самым лучшим, какой можно достать за деньги, и всегда говорил только чистую правду. И, встав перед аппаратом, леди с торжеством продекламировала:

*– Граммофон, дружочек, расскажи скорее,
Кто из нас двоих красивей и нежнее?*



Потом она включила граммофон, и он ответил:

*– Самой красивой ты, леди, была,
Но теперь Бланш тебя превзошла.
Рядом с темною шахтой в холмах
У шахтеров свой дом обрела.*

Тут леди Клинк поняла, что шофер ее обманул и Бланш жива.

Тот, кто никогда не стремился занять сколь возможно более высокое положение в обществе, вряд ли способен понять, до чего это важно – быть безоговорочно признанным самым обаятельным и привлекательным в мире или, по крайней мере, в его цивилизованной части; для леди Клинк это было жизненно важно. Положение, в котором она теперь очутилась, казалось ей крайне неприятным по множеству причин – и не в последнюю очередь из-за того, что внушительная сумма, заплаченная ею за чудесный граммофон, была фактически потрачена впустую. В таком-то мрачном настроении она и отправилась на поиски Бланш.

Прошло не так много времени, прежде чем леди Клинк, переодетая бродячей торговкой, добралась до шахты в холмах. Здесь она принялась кричать во все горло, как это обычно делают торговцы:

– Та-а-а, ра-а-а, да-а-а, а-а-а! – что означало: «Товары различные, дешевые, отличные!»

И Бланш не утерпела и выглянула в окно.

– Здравствуй, добрая женщина, что продаешь? – спросила она.

– Хороший товар наипервейшего сорта, – отвечала леди Клинк и показала девушке несколько корсетов, окрашенных в яркие цвета.

«Ну, эту честную женщину я, конечно, могу впустить», – подумала Бланш и, отодвинув засов на двери, стала торговаться с незнакомкой из-за корсета, который приглянулся ей больше остальных. Когда корсет был куплен, Бланш взглянула на него и воскликнула:

– Как же их надевают?! – Ибо она никогда раньше не видела корсетов.



А леди Клинк сказала:

— Их надо шнуровать вот так... Давай-ка я тебе покажу. — И с этими словами она стала затягивать шнуровку.

Было бы несправедливо описывать злодея хуже, чем он есть, поэтому мне хотелось бы, чтобы читатель понял: леди Клинк затянула корсет на Бланш ненамного туже, чем привыкла затягивать его на себе; в конце концов, в то время корсеты носили буквально все, кроме, быть может, самых бедных, да и самые бедные пренебрегали ими разве что в Африке. Но Бланш, которая не привыкла к корсетам, упала на пол бездыханной.

Так ее и нашли шахтеры, которые вернулись со смены, во время которой добывали уголь. Они подняли девушку и, увидев, что корсет на ней затянут чересчур туго, разрезали шнурки, и Бланш тотчас задышала вновь. Вскоре она ожила и смогла рассказать, что случилось. Услышав ее историю, шахтеры сказали:

— Эта старая торговка была не кто иная, как твоя злая мачеха. Впредь будь осторожнее и не впускай в дом никого, если нас нет рядом.

Тем временем леди Клинк вернулась домой и, включив граммофон, повторила свои обычные слова, но граммофон ответил на них, как и прежде:

*— Самой красивой миледи была,
Но теперь ее Бланш превзошла.
Рядом с темною шахтой в холмах
У шахтеров свой дом обрела...*

И леди Клинк ужаснулась, ибо она лучше других знала, что это был один из тех граммофонов, которые говорят только правду. Тотчас она решила повторить попытку, но так, чтобы наверняка погубить Бланш. Переодевшись вдовой, она снова отправилась в холмы, где добывали уголь. Там она постучала в окно дома, где жили семеро шахтеров и кричала: «Хороший товар! Дешевый товар!» до тех пор, пока Бланш не выглянула. На этот раз, однако, девушка сразу сказала, что не смеет впустить пожилую женщину в дом, на что переодетая леди Клинк ответила:



– Но взглянуть-то на мой товар ты можешь.

И с этими словами она продемонстрировала Бланш различные средства для ухода за волосами и набор для химической завивки. Все эти вещицы до того понравились Бланш, что она дала себя уговорить и открыла мнимой вдовиче дверь. И тогда леди Клинк сказала:

– Давай-ка я причешу тебя как следует.

И она вымыла Бланш голову специальным шампунем, а потом спросила:

– Хочешь, я высушу и уложу тебе волосы новым, особенным способом?

И Бланш сказала «да», как отвечает в подобных случаях большинство женщин, хотя почти ничего не знают о том, что это за «особенный» способ. А леди Клинк включила газ и направила тепло на мокрые волосы Бланш; и конечно, газ высушил их очень быстро, вот только девушка скоро угорела, как часто случается при подобном способе сушки волос, и упала замертво.

К счастью, до вечера было совсем недалеко; когда семеро шахтеров вернулись домой и увидели, что Бланш лежит на полу, как мертвая, они сразу заподозрили, что здесь снова побывала леди Клинк, а почуяв запах газа, поспешили открыть окно. Вскоре Бланш задышала и, очнувшись, рассказала, что произошло. Тогда шахтеры еще раз предупредили ее насчет леди Клинк, строго наказав:

– Никого не впускай, когда нас нет!

А леди Клинк, вернувшись в свой особняк на Гросвенор-сквер, тотчас подошла к граммофону с ощущением, что она наконец-то стоит одна на самой верхней ступеньке той лестницы, на которую взбиралась всю жизнь.

– Граммофон, дружок, – молвила она, – Расскажи скорее, кто из нас красивей и нежнее?

– Хозяйка снова слушает новую пластинку, – заметила одна из горничных.

– Но она все равно не особенно ей нравится, – ответила на это уже упомянутая мною Глэдис, ибо граммофон дал леди Клинк тот же ответ, что и в прошлый раз. Неудивительно, что леди тотчас покля-



лась самой страшной клятвой, что Бланш непременно умрет, даже если для этого ей придется отдать собственную жизнь. И после этого леди Клинк отправилась в комнату, где в сундуке хранились под замком несколько яблок из сада, который был опрыскан раствором мышьяка, чтобы предохранить его от вредителей. Все яблоки были спелыми и очень красивыми на вид, к тому же ветер и дожди давно смыли яд с их бочков, однако леди Клинк точно знала, что некоторое количество раствора, достаточное для ее целей, осталось в углублении возле черенка. И, переодевшись крестьянкой, она в третий раз отправилась в шахтерский поселок и постучалась у дверей дома, где жила Бланш. Девушка выглянула на стук, но сказала:

– Я не могу вас впустить – семеро шахтеров строго-настрого запретили мне это делать.

– Очень жаль, – сказала переодетая леди Клинк. – Кому же я теперь продам мои яблочки? Впрочем, одно я, пожалуй, тебе подарю.

– Нет, – покачала головой Бланш, – я не могу его взять.

Но леди Клинк достала самое большое и красивое яблоко и принялась есть его сама, правда, только с боков; когда же от яблока осталась одна сердцевина, Бланш не утерпела и протянула к нему руку, ибо яблоко было очень красивым, а ей уже казалось, что от него вот-вот ничего не останется. На свою беду она откусила именно тот кусок, где в углублении у черенка сохранился ядовитый мышьяк – и тотчас упала мертвой.

– Ага, – пробормотала леди Клинк, – теперь-то тебя не сможет разбудить и весь профсоюз горняков!

И она поспешила обратно на Гросвенор-сквер, чтобы послушать, что скажет ей граммофон.

– Хозяйка снова слушает ту, старую пластинку, – заметила Глэдис, ибо на вопрос леди Клинк аппарат пропел, как раньше:

*– Красивее леди
нету на свете.*

А леди Клинк вышла из комнаты с таким сияющим, счастливым лицом, что все горничные говорили:



— Я бы никогда так не радовалась какой-то дурацкой пластинке. Впрочем, у каждого свой вкус.

Когда шахтеры вернулись домой и нашли Бланш, они увидели, что ничего не могут для нее сделать, и очень опечалились. И после некоторого молчания первый шахтер сказал второму:

— Как же нам теперь быть?

И второй шахтер ответил:

— Честное слово, не знаю.

А третий сказал:

— Наверняка будет расследование...

— И приедет полиция, — добавил четвертый.

— И нас всех вызовут в суд, — промолвил пятый.

— И кто знает, что еще они там придумают! — вздохнул шестой.

И только седьмой шахтер, будучи человеком немногословным, ничего не сказал и только долго смотрел на Бланш.

И в конце концов они решили оставить девушку там, где она умерла, и никому ничего не говорить. Один из шахтеров, у которого был приятель в профсоюзе стекольщиков, добыл шесть листов стекла, сделал из них гроб и положил в него Бланш, ибо даже после смерти она выглядела слишком свежо (как это всегда бывает при отравлении мышьяком), чтобы предать ее земле. На стекле шахтеры написали золотой краской, что Бланш была дочерью лорда Клинки, поставили гроб в дальнем конце комнаты и всегда запирали дверь, когда уходили на работу, так что о происшествии никто не знал, и они считали, что это только к лучшему.

Случилось так, что за некоторое время до этих событий некий мистер Муч предпринял попытку превзойти «Селфриджес»*, и его сын Гарольд Муч как раз путешествовал по угледобывающим районам страны в поисках шахт, которые мог бы купить. К дому семерых шахтеров он пришел просить ночлега, который те ему с радостью предоставили; будучи же весьма наблюдательным молодым человеком, Гарольд Муч довольно скоро заметил в дальнем конце комнаты стеклянный гроб и сделанную золотом надпись, гласившую, что Бланш приходится дочерью лорду Клинку. И едва увидев гроб, он сказал шахтерам:

— Мы готовы приобрести его у вас за хорошие деньги; стоимость упаковки и перевозки мы также возьмем на себя.

Но шахтеры не захотели продавать свою юную служанку. И тогда Гарольд сказал:

— В таком случае просто отдайте ее мне, потому что я не могу без нее жить.

И когда шахтеры убедились, что он говорит совершенно искренне, они отдали ему гроб, и Гарольд позвал своего шофера и слугу, и приказал им тотчас перенести гроб в машину. А наутро молодой человек уехал из дома семерых шахтеров и увез гроб с собой.

Шофер Гарольда Муча от природы был человеком осторожным и водил машину очень аккуратно, но поскольку ему редко позволяли ездить со скоростью меньше шестидесяти миль в час, эта аккуратность была заметна только на хорошей дороге. Сейчас же он ехал по дороге, разбитой тяжелыми грузовиками; на ней то и дело попадались глубокие рытвины и ухабы, что на скорости в шестьдесят миль не могло не привести к резким толчкам. Во время одного такого толчка кусочек отравленного яблока, — тот самый, где в углублении у черенка собрался раствор мышьяка, — выскочил у Бланш изо рта. И вследствие этого (а что такое возможно, подтвердит вам каждый, кто разбирается в ядах) девушка тотчас ожила. Она откинула крышку и, сев в гробу, спросила Гарольда Муча, что происходит.

Молодой человек ужасно обрадовался.

— Со мной ты в безопасности, — ответил он и стал рассказывать Бланш о том, что с ней случилось, и добавил, что хочет на ней жениться, а под конец попросил ее поехать с ним в новый, большой магазин, который его отец строил на Пиккадилли и который должен был занять одну сторону улицы целиком. Бланш ответила согласием, и я, наверное, несколько не преувеличу, если скажу, что их бракосочетание стало самым пышным за весь лондонский светский сезон. Перья более умелые, чем мое, описывали наряды невестиних подружек, и в каждом случае эти описания публиковались целиком на первых полосах газет; если же я скажу вам, какого размера были заголовки, вы вряд ли мне поверите.

Было бы просто невероятно, если бы на столь выдающееся светское мероприятие не пригласили леди Клинк — ее и пригласили. В полном соответствии с характером роскошного приема приглашительная открытка тоже была верхом совершенства — за исключением, правда, одной мелкой детали, на которую леди Клинк, замороженная великолепием открытки, не обратила внимания; состояла же она в том, что коль скоро речь шла о бракосочетании столь блестящего молодого человека, как Гарольд Муч, упоминать в приглашении имя невесты сочли излишним. Таким образом, леди Клинк знала лишь, что идет на свадьбу, которая обещала стать главным событием года, тогда как имя будущей супруги Муча-младшего оставалось для нее тайной. Впрочем, для человека настолько известного, как леди Клинк, куда важнее было соответствующим образом одеться, и тут уж она постаралась.

Поверх алого *chiffon*¹, соблазнительного и волнующего одновременно, леди Клинк надела изысканнейшее *je-ne-sais-quoi*², присланное фирмой «Пусиль» из Парижа специальным самолетом. Кружевные оборки сменялись мелкими складками оливково-зеленой ткани. Сверху леди Клинк набросила нечто очень светлое в китайском стиле, принадлежавшее еще Марии-Антуанетте*, позволив себе немного смягчить его стильным *svelte*³ от «Джулии Лимитед», изящно отделанным бирюзово-голубым. В этом-то изысканном наряде, увешанном самыми черными жемчугами, леди Клинк предстала перед своим граммофоном и, задав свой привычный вопрос «Граммофон, дружок, расскажи скорее, кто на белом свете красивей и нежнее?», включила машину.

А граммофон ответил:

— Самой красивой миледи была,
Но Муча невеста ее превзошла.

¹ Chiffon (фр.) — шифон (прозрачная или полупрозрачная ткань и изделия из нее).

² Je-ne-sais-quoi (фр.) — здесь: не-пойми-что.

³ Svelte (англ. «стройный») — разновидность жилета.



Только вообразите, как леди Клинк стоит, разряженная в пух и прах, раздраемая самыми низменными чувствами, и едва ли не самым недостойным из них была гневная решимость больше не покупать для граммофона новые иглы; другим же была мстительная готовность вовсе не ходить на эту свадьбу, однако ему противостояли мелочное любопытство и желание все-таки посмотреть на таинственную невесту молодого Муча, а также страх пропустить выдающееся светское событие. Эти-то два последних чувства в конце концов пересилили, и леди Клинк отправилась на свадьбу.

Но когда она увидела, что это Бланш заполучила юного Муча, ярость ее не имела пределов. От гнева леди Клинк буквально остолбенела; она не преклоняла колен и не садилась, даже когда это требовалось по правилам этикета, и никто не мог заставить ее взять себя в руки и вести себя как следует. Именно поэтому свадьба Гарольда и Бланш оказалась, в конечном итоге, последним светским мероприятием, на котором побывала леди Клинк; уже на следующий день о недостойном поведении сей дамы стало известно столь высокопоставленным особам, что лорд-камергер* тотчас исключил ее из числа лиц, допущенных ко двору; говорят, он собственноручно вычеркнул ее имя из списков придворных красными чернилами, а страницу, на которой оно было написано, вырвал серебряными щипцами. С тех пор о леди Клинк никто никогда не слышал. Что касается Гарольда и Бланш, то они стали жить-поживать да добра наживать.

Кстати, впоследствии Бланш часто видели в залах большого магазина на Пиккадилли, где она живо интересовалась условиями контрактов и изучала организацию современного обслуживания.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

(Рассказ для радиостанции «BBC»)



И, вы здесь? Я говорю с вами по радио. Надеюсь, вам хорошо меня слышно?

Вы, наверное, хотите, услышать историю о привидениях, о духах. Настоящую историю из личного опыта, а не какой-нибудь

пересказ пересказа... Эта история приключилась со мной, так что, возможно, это самая личная история, какую вы когда-либо слышали.

Начну, пожалуй, с того, что я был очень далеко, когда меня вдруг охватило непреодолимое желание вновь побывать в тех местах, которые я знал очень, очень давно. Я сказал «начну» потому что должен же я с чего-то начать; что касается моих скитаний в отдаленных краях, где я оказался по воле рока, то они не имеют почти никакого отношения к моей истории. Достаточно будет сказать, что я тотчас отправился в путь, двигаясь на крыльях желания столь сильного, что оно, казалось, не оставляло мне никакого выбора, и спустя какое-то время вернулся в деревню, где мне был знаком каждый дымоход. Я знал здесь и каждую тропку, и даже отходящие от них узкие стѣжки шириной в полшага, по которым дети убегают в свои собственные зачарованные сады, отысканные или устроенные ими среди трав; впрочем, многие из этих узких дорожек сильно изменились за время моего отсутствия. А отсутствовал я очень, очень долго.

Впрочем, старая пивная «Лесничий», стоящая на углу, осталась прежней. Именно туда я направился в первую очередь; никакой особой цели у меня при этом не было, просто я чувствовал, что там я смогу узнать, чем живет и чем дышит старая деревня, так же верно, как в любом другом месте. И когда я шел через поля к «Лесничему», я впервые услышал, как люди говорят о призраке. Я шагал по скошенному пшеничному полю, по жесткой стерне, мимо вытянувшихся в ряд снопов, когда двое работавших в поле мужчин внезапно упомянули о нем.

— Говорят, — сказал один, — он появляется каждые сто лет.

И я сразу понял, что этот человек имеет в виду духа.

— Да, — согласился другой мужчина и, подняв голову, поглядел на листву деревьев, которая только-только подернулась первой патиной осени. — И это может случиться буквально со дня на день.

— Верно, — сказал первый мужчина. Больше они ничего не прибавили, и я прошел мимо в уверенности, что в таверне услышу еще что-то. Увы, в «Лесничем» я не увидел ни одного знакомого лица, когда же мне почудилось, будто я узнаю одного человека, оказалось, что это просто очень дальний родственник прежних владельцев.



Поэтому я тихо сел в углу рядом с занавеской и стал слушать, что говорят вокруг. И не успел я войти, как в зале упомянули о том же, о чем беседовали двое на сжатом поле. Насколько я понял, некий призрак или дух появлялся в деревне каждые сто лет, и эта сотня лет почти истекла.

— Должно быть, он скоро появится, — сказал мужчина, похожий на лесного объездчика.

— Да, если только все, что про него рассказывают, правда, — отозвался фермер.

— Все говорят, что это истинная правда, — сказал кто-то.

— В последнее время даже тени в лесу стали необычными — такими, как рассказывала мне еще моя бабка, — вставил объездчик.

— Твоя бабка? — удивился один из собеседников.

— Ну да, — ответил тот. — Она его видела.

— Она, должно быть, очень стара, — заметил какой-то мужчина, отвернувшись от барной стойки, на которую он опирался.

— Она видела его еще в детстве, — пояснил объездчик.

— В любом случае, сегодня вечером я бы не стал приближаться к ручью, — сказал еще кто-то. — Особенно когда поднимется туман. Стоит оказаться там вечером, а он тут как тут — выйдет из тумана, холодный, скользкий...

Я молчал и, скрываясь в тени занавески, жадно прислушивался к разговорам.

— Хотел бы я знать, откуда он приходит, — промолвил фермер.

— Ах!.. — дружно воскликнули остальные, качая головами, но никто не осмелился сделать никакого предположения.

— Наверное, он пролетит над полями, где когда-то гулял, прямо к старому дому на холме, — проговорил после паузы бармен. — Но откуда он приходит — увы...

И после этого разговор увял, словно на него пахнуло ледяным дыханием вечности. Вскоре я убедился, что больше ничего здесь не узнаю и потихоньку выскользнул за дверь.

Когда я миновал соседний дом, то услышал, как на крыльце разговаривают две женщины. Сначала мне показалось, что они обсуждают цены на чай, но одна из них внезапно сказала:



— Сто лет вот-вот закончатся.

— Ну да, — согласилась другая. — И я не удивлюсь, если он все-таки появится.

И с этими словами она вошла в дом, ее собеседница двинулась дальше по улице, и я снова остался один.

Потом на дороге я увидел стайку мальчишек, и по тому, какими необычно сдержанными и тихими были их игры, по тому, как некоторые из них то и дело склонялись друг к другу и бросали украдкой короткие взгляды в направлении старого дома на холме, я догадался, что и они тоже говорят о призраке. После этого у меня не осталось уже никаких сомнений в том, что этот дом и был средоточием тайны и что именно на него указывали и в нем должны были обрести свое завершение все истории и сказки, которые можно было услышать в деревне. Но когда это будет? Действительно ли столетний срок скоро закончится? Мне казалось, что это маловероятно. Каким-то образом я чувствовал, что в воздухе разлито недостаточно волшебства... Впрочем, вряд ли стоит упоминать о том, что вполне могло оказаться плодом моей прихотливой фантазии.

И вот, отчасти для того, чтобы как следует рассмотреть старую деревню, отчасти для того, чтобы собрать больше сведений об интересующем меня предмете, я принялся бродить по улицам и в конце концов забрел на деревенский лут. Мне было приятно снова увидеть это спокойное старое местечко; разумеется, за прошедшие годы оно тоже изменилось, но его все еще можно было узнать, и, как встарь, на нем паслись гуси. Потом по тропинке, которая наискось пересекала лут — по той самой тропинке, что существовала и в мое время, прошли парень и девушка. По странному стечению обстоятельств, стоило им оказаться в пределах слышимости, оба тотчас заговорили о конце столетнего ожидания и о странном пришельце, появления которого боялась вся деревня. Так, наполовину не веря, наполовину надеясь, они прошли мимо, и вскоре я перестал различать их голоса.

Когда человек возвращается в места, которые хорошо знал когда-то давно, он больше склонен руководствоваться порывами собственной души, нежели здравым смыслом. Так было и со мной. Если бы мною руководил один лишь здравый смысл, мне следо-



вало бы поспешить в старый дом на холме за деревней и там удовлетворить свое любопытство. Но сильнее любопытства, сильнее всех остальных моих эмоций и чувств было манящее очарование огромных раkit, что стояли, погрузившись то ли в глубокую задумчивость, то ли в дрему близ памятного мне ручья. К ним я и направился, когда начали сгущаться сумерки.

И пока я шел к ним, над полями поднялся белый туман и тоже начал сползать к ручью. Я двигался вместе с его молочно-белой пеленой, радуясь такому спутнику и нарочно мешкая в полях, границы которых не изменились ни на ярд с тех пор, как я видел их в последний раз. Даже сырые, темные стога стояли на тех же местах, словно к ним никто не прикасался с той поры, когда я покинул этот край, и на моих глазах туман затопил их, так что они возвышались над ним, словно неоткрытые острова, но каждый был мне знаком не только по местоположению, но и по размеру, ибо за годы, что я провел вдалеке отсюда, не случилось ровным счетом ничего, что могло бы заставить то или иное поле давать больше или меньше травы, да и найти на каждом из них более удобное место для стога вряд ли было возможно.

Именно эта картина окончательно убедила меня в том, что я глубоко и со всей полнотой чувствовал с самого начала – в том, что я все еще принадлежу этому краю, остаюсь плотью от плоти его. Разумеется, многое изменилось, но главное осталось прежним – таким же, как и всегда, и, наверное, иначе просто не могло быть. Должно быть, это обстоятельство и заставило меня испытывать еще более теплое чувство к туману, вместе с которым я не спеша заглядывал в дорогие сердцу укромные уголки и который, как мне представлялось, сам был одной из тех неизменных вещей, которые вечно пребудут в дорогой мне долине. Быть может, думал я, когда-нибудь теплая погода или шальной ветер унесут туман прочь, но он непременно вернется – совсем как я.

Припозднившиеся парочки и одинокие прохожие старались теперь держаться подальше от границ тумана, словно им чудилось что-то зловещее в его колышущейся, ползущей белизне. Все они поворачивали и шли вверх по склону, и вскоре я и туман оста-

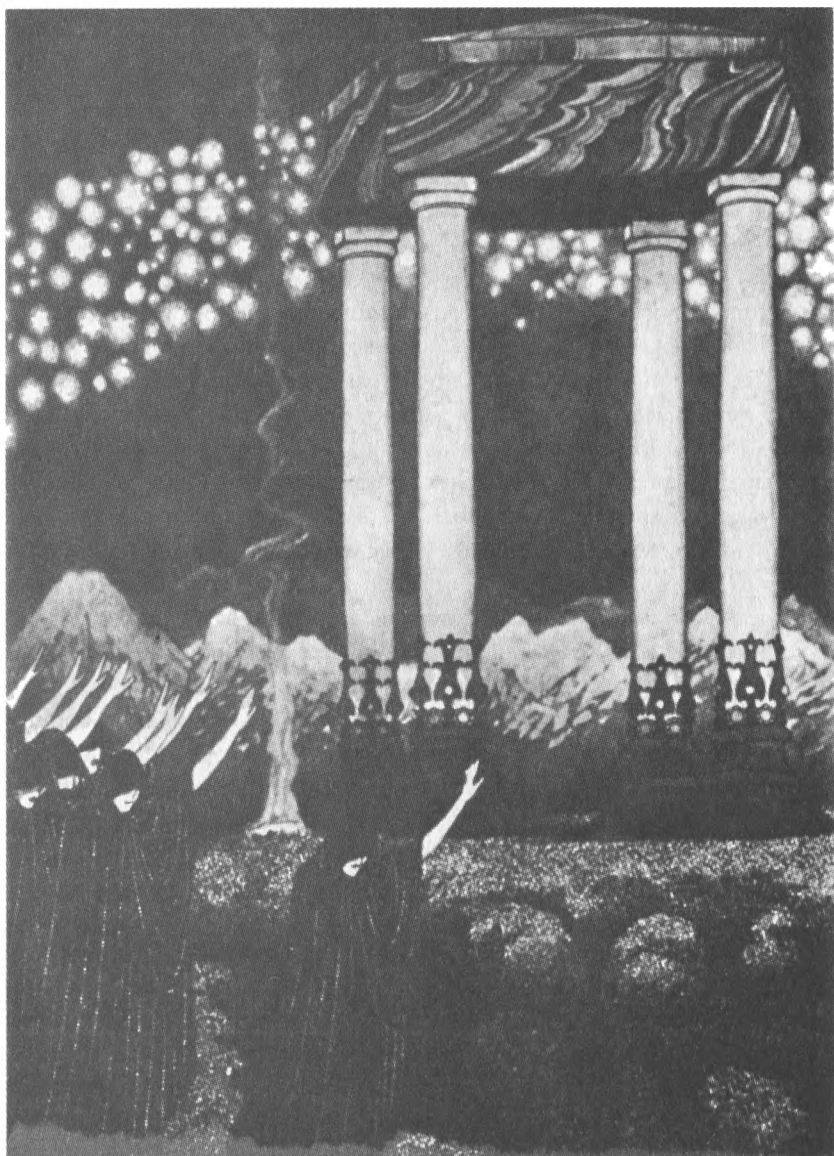


лись одни. Я знал, что люди совершенно правильно стараются не приближаться к ручью в этот час, ибо теперь в нем действительно было нечто колдовское, и по мере того как затихал и темнел вечер, это ощущение только усиливалось. Замолкли грачи, и все певчие птицы тоже уснули в гнездах, несколько диких уток пронеслись в небе; сделав круг, они опустились рядом со мной в заросли желтых ирисов, где был их дом, и казалось, будто их одних не беспокоит то неуловимое, что делало туман столь таинственным и странным.

Потом на землю упала тишина, которую не нарушал ни один звук, ни один шорох, и лишь ощущение сверхъестественного страха перед неведомым продолжало расти и усиливаться. Так продолжалось до тех пор, пока не взошла луна. Но когда огромный, почти полный волшебного-желтый диск буквально выскочил из-за крутого увала, видневшегося за ивами, я вдруг понял, что сто лет действительно истекли, и что бы ни появлялось в доме над полями, на который теперь глядела луна, оно теперь наверняка движется туда, если, конечно, все рассказы о нем — не суеверная выдумка.

И тогда я, не мешкая, покинул ручей и направился к холму, чтобы своими глазами увидеть то, что должно было произойти. Я шел через поля, каждое из которых я много лет бережно хранил в памяти и поэтому безошибочно отыскивал дорогу. Правда, они порой отличались от того мысленного образа, которым я дорожил столь долгое время, но разница состояла лишь в том, что эти поля выглядели скучнее и сияли в лунном свете не так ярко, как я ожидал — так бывает всегда, когда реально существующую землю сравнивают с воспоминанием о ней.

Меж тем со стороны оставшейся за моей спиной деревни слышались громкие голоса, словно поднявшееся над гребнями холмов светило или конец столетнего срока разбудили всех ее обитателей, наполнив их сердца внезапными предчувствиями, и среди этого шума я различал не только человеческие голоса, но и протяжный вой собак, которые, несомненно, разделяли беспокойство, посетившее хозяев. По мере того как я удалялся от деревни, гул голосов становился тише, и все же он продолжал наполнять ночь тревогой и страхом. Я не знал, в какой именно момент закончатся сто лет, но,



Гробница Праотца Зея



следа за поднимавшейся все выше луной, я был уверен, что истекают последние часы или даже минуты этого долгого века.

Потом я пересек дорогу, и запоздалая парочка, торопившаяся в деревню, вдруг остановилась, чтобы бросить взгляд в сторону дома на холме. Я хорошо видел его — он был темен; ни в одном окне не горел свет, и только лунные лучи изредка взблескивали в стеклах. И как-то сразу я понял, что этот массивный дом с отражениями лунного света в рамках и есть конечная цель моего путешествия. В этом доме началась моя жизнь, и к нему я вернулся. Именно он звал меня во время моих долгих скитаний, и я ощущал его притяжение, как намагниченная иголка чувствует притяжение полюса. Больше я не обращал внимания на хор испуганных голосов, который продолжал доноситься из деревни; оставив людей наедине с тем, что пугало их в тумане, я устремился к дому.

Далеко подо мною лежали туман и страхи, которые он, вероятно, скрывал, и склон холма становился все круче. Я преодолел его одним рывком, и как раз тогда, когда я достиг лужайки перед домом и понял, что знаю ее, как ни одну другую лужайку, я наткнулся на высокую каменную стену. Очевидно, ее построили уже после того, как я покинул этот дом. Что-то в облике луны или, быть может, обострившееся чувство времени подсказало мне, что не стоит слишком задерживаться перед этой преградой, поэтому я поскорее двинулся дальше к дому. Лужайки выглядели в точности так же, как когда-то: капли росы сверкали в свете луны, и над травой повисали глубокая тишина и умиротворение; казалось, и сам дом тоже погружен в глубокий сон. Ни звука не доносилось со стороны массивного темного здания; не скрипели двери, не хлопали отворяемые окна, хотя я и вернулся сюда после долгого отсутствия и очень издалека. Дом стоял передо мной почерневший и молчаливый, но ни тишина, ни холод и мрак не задержали меня дольше, чем града.

Я вернулся, вернулся издалека к этим тихим лужайкам и к этому дому. Обогнув угол, я приблизился к застекленной парадной двери и увидел, что она слепо таращится на меня всеми своими стеклами, словно не узнает; жалюзи за ними были спущены, замки — заперты.



Тут меня заметила какая-то собака. Она лежала в опрокинутой бочке, словно охраняя двери, но, увидев меня, не залаяла, а завывала. Из дома по-прежнему не доносилось ни звука, ни движения, и все равно я знал, чувствовал, что мое долгое путешествие почти закончено; старые дубовые панели на верхней площадке лестницы второго этажа с любопытством глядели на меня почерневшими от времени резными головами древних королей, и убегал вглубь дома темный коридор, ведущий к двери комнаты, которая когда-то была моей детской. Да, эти старые стенные панели резного дуба означали конец пути.

Я вошел в дом, и пес в бочке снова завыл.

В темноте прямо передо мной начиналась лестница, которую я хорошо знал. Свет мне был не нужен. Я помнил каждую ее ступеньку и каждый поворот и давно выучил наизусть ту музыкальную фразу, которую выпевало эхо, рожденное скрипом разошедшихся балясин. Я поспешил вверх по лестнице, и пес снаружи отозвался протяжным, вибрирующим воем. Вот и площадка, вот и старый, темный коридор и резные головы со странными лицами, которые впервые за все мое долгое путешествие доброжелательно улыбались. Между тем вой собаки снаружи сделался громче и наконец-то разбудил дом, ибо где-то вдали я расслышал глухой звук шагов. Шаги приближались.

Эй, вы меня хорошо слышите? Я чувствую, что да. Мне даже кажется, что я теперь рядом с вами. Вот где-то отворилась дверь. Шаги раздались ближе. Потом в коридоре показалась фигура женщины, которая, недоуменно, тревожно озираясь, медленно шла ко мне со свечой в руке. И как раз в эту минуту на колокольне старой деревенской церквушки пробило полночь; звонкие удары колокола летели над сплошной пеленой тумана, и я почувствовал, что сто лет действительно прошли. Внезапно женщина со свечой заметила меня. Похоже, она видела меня гораздо отчетливей и яснее, чем любой из жителей деревни — я понял это по ее глазам, когда ее рот медленно и широко открылся.

А потом женщина закричала.

Вот вам история, что называется, из первых рук. Все это я пережил сам. Никакого пересказа, как часто бывает в подобных слу-



чаях. Отвернувшись от побелевшего лица женщины, я оказался перед почерневшей дубовой стеной, каждая панель, каждая резная завитушка которой были мне хорошо знакомы. И погружаясь в глубину древнего, источенного червями дерева, в самую плоть старого дуба, я наконец-то понял, что долгожданный призрак — это я.

БЕЗУМНЫЙ ПРИЗРАК

Никогда я не видел ничего более одинокого и унылого, чем Богерлаун. Я, впрочем, имею в виду только облик этой крошечной деревни; не исключено, что там, как и во всех местах, где селятся люди, идет какая-то работа, и все же при одном взгляде на немногочисленные домики, выстроившиеся вдоль бегущей через болота дороги — на домики с белеными стенами и ветхими крышами из почерневшей соломы, с высоким, будто до самого неба вереском впереди и бескрайними торфяными выработками позади, невольно начинает казаться, будто вы оказались в местах, где заканчиваются людские дела и где совсем рядом, — рукой подать, — кипит таинственная и странная жизнь существ, что населяют ночной мрак в краю, о котором мы ничего не знаем.

Это история молодого человека, который, будучи в отпуске, случайно заметил большой рекламный плакат и, не сумев сдержать разыгравшееся воображение, отправился «посмотреть Ирландию», как, собственно, и предлагала ему реклама. Я воспроизвожу здесь его рассказ (насколько я его запомнил), потому что в нем есть кое-что весьма необычное; похоже, что во время своего непродолжительного отпуска этому молодому человеку посчастливилось наткнуться на сведения об одном из тех событий, рассказа о которых приходится порой ждать годами.

Вот эта история:

«Взяв билет до неизвестной станции только потому, что мне понравилось, как звучит ее название, я проехал на поезде около сотни миль, а потом двинулся пешком на запад в надежде “увидеть Ирландию”. Но, как, похоже, нередко бывает в подобных случаях,



то, что я так хотел увидеть, словно пряталось от меня, а поскольку я не знал точно, что именно ищу, моя задача усложнялась еще больше. Иными словами, мне все время казалось: то, что мне нужно, находится вон за тем холмом, вон за этим поворотом дороги, но стоило мне добраться туда — и оно исчезало. Так продолжалось довольно долго, пока, наконец, я не увидел Богерлаун. И мне тотчас стало ясно, что я забрел в самую настоящую глушь, дошел почти до самого Края Света, и что на единственной улице Богерлауна, между мерцающими стенами его одноэтажных домов с темными соломенными крышами, как раз и находится то, что я так хотел посмотреть. И еще мне показалось — тайна, которая обычно прячется от нас где-то за горизонтом, стала ощутимо ближе.

И я продолжал шагать, пока не приблизился к домам вплотную, но то неосязаемое, что я чувствовал или воображал, нисколько не отдалилось и никуда не исчезло. Должно быть, в тот день был какой-то праздник, поскольку все мужчины были в деревне; их, впрочем, я насчитал не больше двух десятков. Помимо необычного вида самой деревни, в ней была еще одна странность, которая сразу бросалась в глаза; она заключалась в том, что буквально у первого же дома я увидел мужчину лет тридцати или около того, который сидел на деревянном стуле у дверей, на самом припеке, и, сложив на коленях руки, спокойно и неподвижно глядел на солнце. Насколько я мог видеть, он даже не моргал. Я заговорил с ним, но он не ответил; кажется, он меня даже не заметил, точнее — не заметил меня самого, однако как только на него упала моя тень, мужчина едва заметно вздрогнул.

И я поспешно шагнул в сторону, чтобы не загоразивать от него солнце, ибо по какой-то непонятной причине от одного вида этого человека меня пробрал озноб. Потом я заметил еще одного мужчину, который сидел совершенно неподвижно перед дверью своего дома, глядя в сторону болот, и солнце заливало светом его лицо. Я поспешил дальше, на всякий случай обойдя его по широкой дуге, боясь, как бы моя тень не побеспокоила или не напугала его, но уже через несколько шагов наткнулся на третьего такого же мужчину. Всего их было четверо, и, похоже, все они были безумны. Станные

мужчины неподвижно сидели на самом солнце, и что бы ни происходило у них в головах, лица их оставались пустыми и безучастными. Одного их вида было достаточно, чтобы напугать меня до дрожи, и, должно быть, это было заметно, ибо вскоре ко мне, улыбаясь, подошел высокий крестьянин.

— Кто вы такой?! — почти выкрикнул я, ибо после зрелища этих четырех неподвижных фигур увидеть нормального человека было для меня настоящим потрясением.

— Я Ларри, — ответил он.

— Что, черт возьми, у вас здесь происходит? — воскликнул я. Должно быть, в моем голосе прозвучало сильное волнение, поскольку Ларри проговорил успокаивающим тоном:

— Да ничего, все в порядке. Просто эти четверо ребят немного с приветом, вот и все.

— Их место в приюте для душевнобольных, — резко сказал я.

— Вы имеете в виду — в Маллингаре?.. — переспросил Ларри. — Может быть и так, только я слышал, что у этих ребят есть связи в правительстве.

— Какие связи? — удивился я.

— Видать, достаточно хорошие, — ответил он, — чтобы их не отправили в Маллингар.

Эти слова настолько меня удивили, что я замолчал, не зная, что сказать.

— Хотите узнать, что с ними стряслось? — спросил Ларри после небольшой паузы.

— Да, конечно, хотел бы, — сказал я.

— Что ж, — промолвил Ларри, — чтобы рассказывать разные истории, нужна хорошая память, а я знаю поблизости местечко, где мы сможем ее освежить.

С этими словами он показал на паб, который стоял в конце деревенской улицы, и я с радостью отправился туда за своим провозжатым, ибо мне хотелось отказаться подальше от четырех безмолвных мужчин. В пабе я спросил Ларри, что он будет пить. До сих пор помню его странный ответ:

— Разве здесь бывает какое-то другое питье, кроме виски?



Мы сели за столик в углу. Кроме нас в маленьком зале было всего два-три человека, и Ларри сказал им:

– Я собираюсь рассказать моему приятелю, как наши четверо парней стали такими...

Но они продолжали свой разговор, обсуждая достоинства какой-то собаки, и я понял, что эта история им давно известна.

– Несколько лет назад, – начал Ларри, – в наших краях шла англо-ирландская война, о которой вы вряд ли слышали, но я не стану ничего вам о ней рассказывать, потому что терпеть не могу говорить о политике даже с друзьями – даже с таким другом, как вы.

Я забыл сказать, что угостил Ларри полстаканчиком виски, но когда я спросил, не взять ли ему воды, на лице его появилась улыбка (как вскоре выяснилось – частая гостья); и сейчас этот стакан стоял перед Ларри на маленьком столике.

– Не скажу ни слова о политике, – продолжал он, – однако у нас тут был один полицейский, которого пришлось убить, и эти четверо парней тащили труп по нашей дороге, чтобы под покровом темноты похоронить его в топах.

– Что?! – воскликнул я.

– Да, эти четверо ребят несли труп, – подтвердил Ларри. – Они шли по этой самой дороге и не желали никому зла; тогда они были несколько моложе – никому из них не исполнилось еще и двадцати, и путь им освещал только звездный свет и, может быть, тонкая ущербная луна. И кого бы вы думали они варут увидели? Священника, который шел им навстречу! Во всяком случае, сначала они решили, что это именно священник, ибо он был одет как священник и выглядел в темноте как священник. Но как только они сошлись, священник круто развернулся и двинулся по дороге впереди них, явно приноравливаясь к их шагу, а они передвигались не слишком быстро из-за того полисмена, которого пришлось прикончить. При этом священник не сказал ни слова, пока они сами не заговорили с ним, а это случилось не сразу. Эту историю, кстати, я слышал от всех четверых, и их рассказы в основном совпадали, ибо сначала они вовсе не были глупыми или странными – просто молодыми деревенскими парнями, которые исполняли полученный приказ. Только



потом они стали чудными, и чем дольше ребята раздумывали обо всем, что случилось той ночью, тем чуднее они становились.

Мик Тернан, к примеру, говорил мне: первым, что он заметил в этом одетом как священник человеке, было то, что он носил ботинки на резиновой подошве. То есть, он совершенно не слышал его шагов, вот и решил, что на нем туфли на резине. В этом, однако, не было ничего странного – Мик Тернан знал, что многие господа носят такие ботинки, и даже несколько раз их видел. Но потом он заметил, что святой отец наступил в лужу, и это его удивило.

– Что же тут удивительного? – поинтересовался я.

– Дело было в том, что он наступил не в лужу, а на нее, – пояснил Ларри. – Я хочу сказать – он ступил на поверхность воды, словно это было что-то твердое; следующий его шаг тоже попал в воду, и снова Мики не услышал ни плеска, ни хлюпанья.

– О, Боже! – ахнул я.

– На самом деле парней смутило вовсе не это, – небрежно сказал Ларри. – Встретить на наших болотах призрака или духа обычное дело, особенно в такую глухую, темную ночь, как была тогда. На болотах, знаете ли, обитают самые разные твари.

Я спросил Ларри, каких именно тварей он имеет в виду, но он сказал только: “Их там больше, чем вы или я успеем увидеть по эту сторону вечного покоя”.

– Видите ли, – продолжал Ларри после паузы, – болота полны чудес. И по-настоящему священник удивил парней только когда внезапно свернул с дороги и двинулся наискосок прямо через трясины. А самым странным было то, что он направлялся как раз в ту сторону, куда собирались пойти ребята, хотя об этом никто не знал, кроме них самих и человека, который отдавал им приказы. Полисмена они собирались похоронить в месте, которое у нас называется “длинные кочки”; добраться туда ночью нелегко даже коренным жителям Богерлауна, для посторонних же это дело вовсе невозможное. Именно тогда они заговорили с призраком и спросили:

“Уж не собираетесь ли вы идти через болота, ваше преподобие?”

“Да, – ответил он, – через болота, прямо к длинным кочкам”.



“А зачем вашему преподобию нужно к длинным кочкам, да еще в такую ненастную ночь?” – спросил тогда Мики Тернан, ибо на западе собиралась гроза, и звезды то и дело заслоняли небольшие сердитые облака.

“Я пришел, чтобы совершить заупокойную службу, – сказал мнимый священник, – и такая ночь очень подходит к моему настроению – как и к тому, что я делаю”.

– И когда он заговорил о своем настроении, парни догадались, что он такое, ибо священник повернулся к ним, и они увидели его глаза. Им и в голову не приходило, что внутри него может гореть свет, ибо он с самого начала шел впереди них и был одет во все черное – в черный плащ, в странные черные гетры и широкополую черную шляпу, и казался чернее самой ночи. Но сейчас четверо парней увидели страшный свет, пылающий в его глазницах; глаза у него были синими, как ночное небо перед появлением первой звезды, а в маленьких зрачках (точнее, там, где должны были быть зрачки) пылало яркое пламя, в котором каждому из четверых, возможно, было суждено гореть вечно – пламя не красное, а цвета молнии, и оно моргало, прыгало и разгоралось все ярче. Тут они догадались, о каком настроении он говорил, и что ненастная, бурная ночь действительно подходит к этому настроению лучше всего, – и я даже думаю, что дело, которое он исполнял, тоже ему нравилось.

И парни поняли, что перед ними никакой не священник, а просто ряженный протестант. Он сам подтвердил это, когда они заклинали его Святым Духом сказать, что он такое. “Я – настоятель собора Святого Патрика, – сказал дух, – и мое тело покоится там в усыпальнице в подтверждение того, что мои слова – правда”. И, обнаружив, что перед ними не настоящий священник, парни немного успокоились. А призрак снова зашагал через болота, преодолевая самые опасные места с такой легкостью, словно шагал по вересковому полю, и парням не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ним, хотя все они знали болота с раннего детства. Меж тем стало совсем темно, и им пришлось поднажать, чтобы не упустить из вида его черную шляпу, с трудом различимую на фоне того, что осталось от звезд. А священник – или призрак – начал к тому же подтанцовы-



вать на ходу, делая это легко и изящно, словно обдумывал какую-то шутку, которая была у него на уме.

Тут надо сказать, что поначалу лицо убитого полисмена и ощущение его мертвого веса немного пугало парней, ибо они все-таки были еще очень молоды, но это пританцовывание напугало их гораздо сильнее, и страх их рос, по мере того как юноши чувствовали в себе желание пуститься в пляс вместе с настоятелем, что было довольно непросто, особенно если учесть, что им приходилось тащить обмякший, податливый труп. Так они двигались к длинным кочкам, и всю дорогу мертвый настоятель танцевал во главе процессии, а молодые люди делали все, чтобы идти как подобает на похоронах, однако с каждым шагом им становилось все труднее контролировать свою походку. Когда же они, наконец, добрались до места, где, согласно полученному приказанию, им следовало опустить мертвое тело в глубокую бочагу, покойный настоятель и вовсе пустился впрыскаду, исполнив самую настоящую джигу, и тогда они снова увидели его лицо и пылающий в глазах огонь, и подумали о его настроении...

– Что вы разумеете под его настроением? – перебил я Ларри, ибо он уже несколько раз употребил это не вполне понятное слово.

– Я разумею, – ответил он, – танец Гнева и Безумия, которые прыгают и кружатся в приливе чистой радости от того, что наконец-то встретились. Во всяком случае, я думаю, что так и было, хотя я, конечно, никогда не видел этих глаз. Парни описывали их мне еще до того, как стали такими, как сейчас, и я думаю, что покойный настоятель был самым безумным из всех духов, что когда-либо вырывались из Преисподней, чтобы бродить по земле в часы между полуночью и криком петуха. Впрочем, наверняка я, конечно, сказать не могу, ибо ребята утверждали: в том, что он им говорил, хватало здравого смысла, хотя никто из них так и не смог припомнить, что именно дух сказал им после погребальной службы.

А он действительно отслужил что-то вроде панихиды над мягкими, колышущимися мхами, в которые юноши опустили мертвое тело. Он сделал все, что мог, хотя и был всего лишь протестантом. Никогда не наступайте на такие мхи, сэр. Они ярко-зелены или



багряны, или окрашены в другие сочные цвета, так что вам будет легко их распознать. Но если вы все-таки наступите на них, вы будете столетие за столетием лежать в глубине болот, совершенно не тронуты тлением, и ваши друзья без труда опознают вас, даже если пройдет целая тысяча лет. Я уверен, что и на Страшном суде этот полисмен будет как новенький – уцелеют и его форма, и пуговицы, и это станет веской уликой против кое-кого из наших, если Божественный взгляд на политику хоть в чем-то отличается от того, что мы здесь думаем. Конечно, не мне судить, какие политические взгляды исповедуют на Небесах – как, впрочем, и на земле. Я всегда старался держаться подальше от политики.

Короче говоря, призрак отслужил над болотными мхами протестантскую панихиду и при этом не переставал отплясывать, и огонь в его глазах тоже танцевал и метался. Вот и все, что рассказали мне четверо наших парней о той ночи на болотах; потом они понемногу сделались странными, так что теперь мы вряд ли узнаем, как было на самом деле. Я, впрочем, не сомневаюсь: дух действительно говорил с ними после заупокойной службы и произнес целую речь. Ночь к тому времени стала еще темнее, и в конце концов дух растворился во мраке, так что они больше его не видели. Это была именно речь, почти проповедь, хотя каждый из четверых уверял меня, что дух не сказал ничего особенного. Я, однако, думаю, что он сообщил им многое и о многом, и они так глубоко задумались над услышанным, что в течение всего лишь года сделались такими, как сейчас. Но что конкретно говорил дух, ведает теперь один лишь Бог, к тому же все это было довольно давно.

– Это ужасно, просто ужасно! – сказал я Ларри. – Должно быть, дух обличал их в убийстве полицейского, и в конце концов их совесть не выдержала. Думаю, он был вполне способен на что-то в этом роде – особенно если он действительно был настоятелем церкви Святого Патрика, в чем лично я почти не сомневаюсь.

– Ничего подобного, – возразил Ларри. – Простите мне мои слова, но англичанин именно так и подумал бы, однако на самом деле было не так. Мне кажется, дух был нашим сторонником, поэтому как только он узнал о происходящем, – особенно если ночь



была подходящая (Бог весть, как они узнают подобные вещи), — он ненадолго вырвался из Ада, чтобы подбодрить наших парней и преподать им соответствующие наставления.

— Тогда почему же они сошли с ума? — спросил я.

— Потому что остались одни, — уверенно ответил Ларри. — Без его помощи они просто не знали, что делать».

ПРИЧИНА

Рипящий звук, не лишенный музыкальности — словно Смерть точит свою косу — слышался ночью в комнате, освещенной одной лишь свечой. Этот звук раздавался три столетия назад в Испанском королевстве. Резкое, пронзительное шипение со звоном, одно за другим. Теперь фантазия того, кто подслушивал в ночи, — если он обладал воображением, — могла бы представить Смерть, взмахивающую косой. Но здесь не было никого, кто бы мог подслушать: два молодых человека были совсем одни в комнате, где перед этим ужинало человек двенадцать.

Кувшины с вином и беспорядок на столе свидетельствовали о том, что вечер проходил весело, но теперь ничего от всего этого веселья не осталось, лишь некоторая нетвердость в ногах молодых людей, если ее можно было по каким-то причинам счесть веселой. Друзья покинули их, ни один из них не знал, почему, и, одни в этой плохо освещенной комнате, они сражались на шпагах. Никакого иного звука, кроме быстрых вздохов танцующих лезвий, сталкивающихся друг с другом в густых тенях сумеречной комнаты, будя спящее эхо по всему дому.

Смутный молодой человек в синем бархатном плаще сражался со светловолосым юношей, одетым в красное. Синий плащ теснил противника, устремлялся вперед, но безрезультатно — тот отступал при каждом выпаде, отбивая удары, которые едва достигали цели. Синий плащ горел желанием отплатить за обиду, ответить на оскорбление, жаждал этого так яростно, что не мог ни подумать, ни сделать что-либо, только наносить удары шпагой, пока не отомстит.



В разгар веселого вечера, под воздействием выпитого вина вряд ли он разобрался бы с нанесенной ему обидой, даже если бы задумался над ней. Этой обиды хватило, чтобы он стал сражаться, сражаться за справедливость. То, что противник постоянно оборонялся, отпрыгивал назад, наверное, убедило бы наблюдателя, если бы таковой оказался здесь в ночи, что он ничего не отстаивает, что правота не на его стороне, а он только защищает свою жизнь. Кто может судить об этом? В комнате было темно, и никто не наблюдал, а все, кому могла быть известна причина ссоры, ушли.

Тяжелые занавеси заглушали лязг шпага, а сумеречная комната постепенно погружалась в темноту, свеча мерцала все слабее. Синий плащ продолжал наступать, и, по мере того как схватка продолжалась, руке его вернулся навык, а ногам — твердость; хотя ясное представление о нанесенной обиде окончательно померкло. Достаточно того, что обида была нанесена, а была ли она справедлива, сейчас не имело значения, и он продолжал сражаться.

Черными, как сама ночь, казались ему высокие панели старого дуба, которые теперь виднелись сразу же за его отступающим противником. Он снова сделал выпад, человек в красном плаще снова отпрыгнул и оказался меньше чем в футах от стены. Молодой человек в синем плаще снова быстро сделал выпад, еще быстрее, чем только что. Человек в красном отступил, ударился о стену, и шпага противника прошла сквозь его тело как раз там, где расходятся ребра, и воткнулась в дуб, но человек еще был жив.

Молодой человек в синем поднял оружие своего врага с пола и пошел к выходу, отомстив за обиду. Но, дойдя до двери, обнаружил, что эта шпага плохо подходит к его ножнам, и вернулся за своей. Не сказав ни слова тому, другому, он вытянул свою шпагу, его противник упал на пол, стукнувшись головой о дубовые доски, и теперь наверняка был мертв. Когда человек в красном упал, свеча вспыхнула, тени запрыгали по углам, и в комнате стало еще темнее; но последние винные пары и вся ночная неразбериха выветрились из головы победителя. Он стоял молча, в раздумье, а лужа крови ширилась, в голове у него прояснилось, но вспомнить причину, по которой они сражались, он так и не смог*.



ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ

(Рассказ для радиостанции «ВВС»)

Некоторое время назад в Кенте произошла одна любопытная штука, а на прошлой неделе она как-то вдруг мне припомнилась. Было это в деревушке, настолько затерянной в складках холмов юго-восточной Англии, что не имеет смысла даже ее называть, потому что вы о ней никогда и не слыхали. Так, несколько домов вокруг самой крошечной из известных мне церквушек, к которой неминуемо сходились все тропинки с пологого склона, в знойные денечки всегда покрытого розово-лиловыми заплатками тимьяна с торчащими поверх цветками мяты. Кое-где там голубел огуречник, и крошечные колокольчики разбредались там и сям, словно заблудившиеся феи. По весне эти склоны расцветивались синей вероникой и желтым подмаренником. Вершины холмов покрывали перелески, которые у нас в Кенте называют рощами, а в них полно было лис, барсуков, сов и всякой друтой дичи, прячущейся от людей среди берез, орешника, тисов и шиповника. В общем, местечко, о котором я толкую, — полнейшая глушь.

Так вот, неподалеку от этой деревеньки жил-был человек по имени Уичерс, а у него была обычная, довольно-таки умная собака, и он обучал ее всяким трюкам. Один из трюков был такой: каждое утро добежать до деревни, в трехстах-четырехстах ярдах от дома, держа в зубах пенни, вбежать в магазинчик и положить лапы на стойку, и тогда старый Джеггинс, владелец магазина, вынимал пенни из собачьей пасти и давал ей «Дейли Мейл», которую собака относил хозяину. Ну, в общем, не бог весть что, и ничего такого особенного. Но с этого все и началось.

Затем Уичерс научил собаку относить шестипенсовик местному фермеру, жившему в двухстах ярдах, и приносить корзинку с дюжиной яиц. Он все время обучал пса трюкам. Вначале это был трюк с пенни и с газетой, чтобы самому не ходить. «В конце концов, — говаривал он, — на что нам вообще собаки?» Но когда пес усвоил второй трюк, Уичерс начал испытывать от демонстрации своих преподавательских талантов некое тщеславное удовольствие. Поэ-



тому он обучил собаку еще одному трюку – с шиллингом, и с этого момента пес, как и многие собаки, гораздо более сметливый, нежели предполагал хозяин, начал разбираться в ценности денег.

И вот здесь-то и начинается моя история, потому что до этого собака просто выполняла трюки, не особо чем отличавшиеся от обычных собачьих трюков. То есть, на месте пенни запросто мог быть кусочек сахара. Но с какого-то момента пес начал понимать разницу между возможностями монет различного достоинства, и тут все изменилось. С этого момента, мне кажется, – если вы понимаете, о чем это я, – собака начала думать.

Звали пса Тим. И в один прекрасный день ему надоело выполнять все эти трюки, он улизнул из хозяйского дома и отправился в длительную прогулку; вот тут-то и начались всякие неприятности. Ибо отправился он в Севеноукс, проник в один приличный дом на окраине городка и продал сам себя мистеру Мерченсу за пять фунтов. Именно так он и поступил. Он вбежал прямо в дом, сел и начал «служить», а когда ему дали за это какую-то еду, он есть ее не стал и продолжал ходить на задних лапах, пока мистер Мерченс не понял, чего ему надо. Потому что учерсово хвастовство разошлось по всей округе, и все уж знали, что этой собаке нужны деньги.

Так вот, пес отказался от медяков, а потом и от серебра, так же как и от еды, и продолжал клянчить, и тогда мистер Мерченс предложил ему фунтовую банкноту, которую Тим немедленно схватил, положил возле себя на пол и продолжил «служить», не забывая при этом рычать, если кто-то приближался к купюре. Тогда мистер Мерченс протянул ему еще одну фунтовую банкноту, и Тим схватил ее и аккуратно положил рядом с первой. Мистер Мерченс был крайне удивлен и повел себя несколько легкомысленно, в итоге отдав псу пять фунтов, и когда Тим сложил их все аккуратной стопочкой на полу, мистер Мерченс сказал: «Ну, пожалуй, хватит». И пес словно согласился с ним и перестал выпрашивать.

– Ты же не собираешься отдать псу все эти деньги? – спросила миссис Мерченс.



— А интересно, что он будет делать дальше? — только и сказал мистер Мерченс.

Некоторое время пес сидел и рычал, если кто-нибудь приближался к пяти фунтам. Затем он вдруг схватил зубами все деньги, выскочил из дома, побежал прочь и вложил все эти деньги. Только не подумайте, что я говорю, будто он вложил их в банк, отнюдь нет, — на краю городка был пригорочек с кустарником, где по вечерам сновали тучи кроликов, пес вырыл там ямку, вложил в нее пять фунтов, точно так же, как собаки прячут кости, и закопал. А потом вернулся к мистеру Мерченсу, свернулся калачиком на каминном коврикe, да там и остался. Видите ли, он ведь себя продал. По сути, он продал собаку Уичерса. Но ведь он и был этой самой собакой.

Имел ли он на то право, сказать не могу, ведь поскольку никто до него так не поступал, в данном случае не понятно, чем руководствоваться. Здесь столкнулись традиция и прецедент, сделав всю эту ситуацию, — в деталях труднообъяснимую, — предельно очевидной. Не будь данного прецедента, уж не знаю, как разобрался бы закон. Ведь никто понятия не имел, под каким углом следовало бы трактовать данный конкретный случай в Севеноуксе. Само собой, Уичерс попытался вернуть было собаку, но собака стояла на своем, и когда Уичерс в конце концов захотел его увести, пес отказался покинуть каминный коврик, который теперь считал своим новым местожительством.

А Мерчерс как будто бы смотрел на вещи глазами Тима, и как бы критично мои слушатели ни воспринимали его мнение, следует помнить, что за этого пса он хорошо заплатил, он заплатил столько, сколько, как сам признался, никакая собака не стоит, в любом раскладе — с налогами, без налогов, не говоря уже о текущей налоговой ставке. Тут я слышу, некоторые засмеялись, хотя, как я услышал этот смех, трудно сказать, но радио порой творит чудеса. Однако особого повода для смеха я тут не вижу, и миссис Мерченс абсолютно права: и так в наши дни тяжело вести домашнее хозяйство, а если все начнут раздавать направо-налево по пять фунтов, да еще столь бездумно, тут уж и вовсе руки опускаются.



Мерченс стоял на своем — а именно на том, что он эту собаку купил, а Уичерс гнул свою линию — а именно, что никто не волен продавать его собаку, кроме него самого, и в итоге пришлось обратиться к мировому судье. Много было аргументов «за» и «против» Мерченса, не буду вас ими утомлять, однако мировой судья так и не принял в этом споре ничьей стороны, как следовало бы сделать, и решение по этому делу было принято простое — как обычно и делается в случаях с собственностью на собак, это решение принял непосредственно сам пес, радостно подбежав к Мерченсу и даже не взглянув на Уичерса, и мировой судья решил, что Тим совершенно очевидно является собакой Мерченсов.

Пока в нашей истории не наметилось ничего, потрясшего сами жизненные устои Севеноукса, хотя именно это вскоре и произошло. Пока это лишь странноватая история, ибо до сего момента собаки обычно выпрашивали палки, камни, кости, мячики и еду, но уж никак не фунтовые банкноты, а уж хозяев собаки меняли и до этого. Но с этого момента моя история, несомненно, приобретает необычный оборот, и чем дальше, тем больше даже само определение «необычный» перестает быть адекватным.

Пес побежал в свой «банк» на пригорке, откопал один фунт из своего «вклада», аккуратно закопал все обратно, и с этими деньгами явился в магазин, где продавались воротнички — не собачьи ошейники, в том-то все и дело. Он купил обычный воротничок, накрахмаленный льняной воротничок, с отворотами, — не такой, конечно, как я выбрал бы для себя, но вполне себе нормальный воротничок. Он купил его, вбежав в магазин с банкнотой в зубах и положив лапы на стойку, так же, как делал с «Дейли Мейл», а потом подошел к витрине с воротничками и начал тявкать.

Сперва ему дали не тот воротничок, как бывает, когда покупаешь с витрины, но он продолжал тявкать, пока ему не дали тот, что он просил, и когда это случилось, пес выразил свою радость настолько недвусмысленно, насколько способны только собаки, так что не было и тени сомнения, что это и есть желаемый воротничок. Один из продавцов надел на пса воротничок, скрепив его при помощи

такой крохотной шпилечки, которые обычно используют прачечные. Затем старший продавец отсчитал псу всю сдачу до копейки, а что делать, если все его помощники за этим наблюдали и проявляли к собаке недюжинный интерес? Ну, он в любом случае бы так поступил. Я хорошо его знаю, он честный малый.

Сам факт получения сдачи оказался собаке в новинку и пополнил его опыт в искусстве шоппинга. Он ринулся к своему «банку» и закопал в него сдачу. А на следующий день выкопал из «банка» полкроны* и опять явился в магазин. На сей раз он приобрел галстук в розово-зеленую полоску, который обошелся ему в шиллинг и шесть пенсов, получил свою сдачу в шиллинг, и при этом еще пуще поднаторел в денежных вопросах. Продавец повязал ему галстук – так аккуратно, словно на банковский праздник самому себе повязывал ярчайший галстук, и пес отправился восвояси, закопал шиллинг в свой «банк», шуганул кролика, который прогуливался слишком близко от «банка», и вернулся на свое местожительство к мистеру Мерченсу.

Несмотря на все эти перемены, он все равно выглядел как обычный пес, над которым кто-то подшутил, ну, или слегка о нем «перезаботился», и пока никто не обращал на него особого внимания. Разумеется, воротничок и галстук у многих вызывали смех, но никого не заставляли серьезно задуматься. А потом он приобрел в магазине игрушек небольшую тросточку. Он углядел ее на витрине, вошел, выполнил свои обычные трюки и купил эту вещьцу за шиллинг, – такую маленькую тросточку примерно в полтора фута длиной, и с довольно симпатичным набалдашником. Тим взял ее в зубы и отправился на Хай-стрит при полном параде – в воротничке и галстуке. И вот тут-то люди стали замечать, что здесь что-то неладно.

«А что это за собака такая, – стали все интересоваться, – гуляет сама по себе, с тросточкой, и в таком аккуратненьком воротничке и франтоватом галстуке?»

Дело тут, конечно, не в зависти, это было бы чересчур сильно сказано. О зависти пока речь не шла. Но люди начали спрашивать, а подобает ли псу расхаживать в таком виде и в таком наряде? Он ведь и в самом деле уделял большое внимание своему внешнему



виду, в этом не было сомнения, и каждая его покупка соответствовала его стилю. И вот, наконец, в очередной витрине он присмотрел детское пальто, ну или что-то подобное. И он его купил.

Теперь не осталось сомнений, что собака сознательно заботится о своем внешнем виде, шаг за шагом стирая подобающие и незыблемые различия между нами и созданиями безусловно ниже нас. И продавцы во всех магазинах охотно содействовали исполнению его прихотей. Над ним перестали потешаться на улицах, и лишь по вечерам кое-кто неодобрительно пушукался за закрытыми дверями. Одни полагали, что это пустяк, но ведь нормы поведения и составлены из подобных «пустяков». Другие считали, что нормы поведения – это средоточие снобизма, а третьи утверждали, что они-то и есть столпы нашей цивилизации.

С каждый днем претенциозность собачьего стиля становилась все более и более прискорбной, а мистер Мерченс ничего не предпринимал. Его не трогали даже насмешки. «Решат еще, что он член вашего семейства», – сказал ему кто-то. Но даже это не сподвигло мистера Мерчерса ни на какие меры. Казалось, он гордится своим псом. Но однажды произошел инцидент, который довел все до предела.

Как-то раз мистер Слегтер в послеобеденный час разнежился было на солнышке в своем саду, да пришлось ему срочно пойти в свою контору уладить кое-какие дела. Должно быть, посыльный из конторы сообщил, что ему был телефонный звонок, но в этом я не уверен. Мистер Слегтер надел пальто и шляпу, но что важно в данном случае – не надел воротничка. В таком виде он появился на Хай-стрит, где как раз прогуливался Тим. И пес сделал вид, что не признал его.

На деле Тим был хорошо знаком со Слегтером и часто приветственно вилял хвостом в ответ на его неизменное приветствие: «Как делишки, Тим?» Однако на этот раз Тим пробежал мимо Слегтера, как мимо пустого места.

Новость разнеслась по городку со скоростью горящей в овине соломы, люди встречались и обсуждали все это, возникла гипотеза,



будто это сам пес оплошал, но гипотеза сия была немедленно опробована и развенчана, поскольку, встретив на улице другого человека без воротничка, Тим повел себя точно так же. Он придерживается подобной линии поведения на всей территории Севеноукса, и не случись все именно на Хай-стрит, никто бы и не заметил, но поскольку это было на Хай-стрит, стало понятно, чем это нам грозит.

Мы у себя в Севеноуксе и во всех его окрестностях абсолютно убеждены, что мы выше всего этого, что нет и не может быть никакого равенства между нами и созданиями нижестоящими, и уж тем более нет и речи о превосходстве какого-либо из этих нижестоящих созданий над любым из нас, будь на нем хоть сотня воротничков, а у нас — лишь немытая шея.

Вы можете подумать, что в городке не одобрили поведение Слегтера, вне зависимости от своего знакомства или незнакомства с ним. Вы можете подумать, что нашлись и такие, кто предпочел бы над ним посмеяться, но это был вовсе не тот случай, ибо надо всеми до единого в Севеноуксе отныне нависла опасность, что в любой момент он может сам себя не признать, и, по всей видимости, лишь очевидцы того, как собака пренебрегла человеком, могут в полной мере оценить, насколько это болезненный укол для человеческого достоинства. Поношенный и удобный, но неопрятный пиджак, незастегнутое пальто, плохо подобранный галстук могут в любую минуту послужить причиной унижения человека.

Меж тем пес продолжает пижонить напропалую, вид у него при этом еще более снобистский, и это наводит нас на мысль, что в конце концов он, наверное, прав, ибо если некие нормы поведения оказываются ниспровергнутыми, как это случилось, когда пес проигнорировал Слегтера, их довольно трудно потом восстановить, основываясь при этом только лишь на логике. Если нас судят по одежке, и мы против этого возражаем, но в то же время не оспариваем такую несомненную вещь, как респектабельность, да еще в сочетании с положительным банковским счетом, то, может быть, следует задуматься и о своем внешнем виде? Ведь если мы станем этим пренебрегать, кто знает, куда это нас может привести. Хай-стрит охвачена



сомнениями и растущей напряженностью, и в этой обстановке, и без того тяжелой и накаленной из-за всех наших дурных предчувствий, по улице по крайней мере дважды в день взад-вперед фланирует этот самонадеянный пес. И ведь никто не знает, что еще взбредет ему в голову. Недавно видели, как он глазел на витрины шляпного магазина.

А Мерченсы бездействуют. Быть может, по крайней мере в этот раз мои слова заставят его что-либо предпринять, если у меня есть малейший шанс быть им услышанным. Не помешало бы эту собаку приструнить. Однако эта собака принадлежит Мерченсу, как поставил мировой судья, и здесь все зависит от самого Мерченса. Но пусть хотя бы будут восстановлены наши нормы поведения. Справедливости ради, должен сказать в защиту мистера Мерченса, что это неправда, будто он так ничего и не предпринимал, ибо я слышал, что, по крайней мере, он пообещал утихомирить пса. Пусть он сдержит свое обещание, и тогда Хай-стрит вновь станет тем, чем она всегда и была, — а именно, местом, где любой может прогуливаться, не опасаясь за свое достоинство. И это можно считать окончанием моей истории.

Надеюсь, подобное не повторится. Ведь этого всего, включая всевозможные унижительные последствия, легко можно было бы избежать, достаточно всего лишь прилюдно признать, что ни при каких обстоятельствах нельзя покупать собаку ни у кого, кроме ее хозяина. А что касается достоверности произошедшего, вы все можете проверить сами, отправившись в Севеноукс, где, скорее всего, услышите собачий лай, ибо собаки всегда лают, если в течение слишком долгого времени молчали. И вы оцените, если у вас есть дар вынюхивать такого рода вещи, как глубоко данный эпизод повлиял на Хай-стрит. Вы это почувствуете по атмосфере всеобщей сдержанности в отношении данной собаки. Спросите любого про этот случай, — ну, почти любого, — и любой вам скажет, что понятия не имеет, о чем это вы.



Погребальная песнь Шимоно Кани



РАССЛЕДОВАНИЕ ЛИЛИ БОСТУМ

(Рассказ для радиостанции «ВВС»)



Это не полицейское донесение, поскольку точных свидетельств относительно того, где находится мистер Симмонс, нет, так что нельзя с уверенностью утверждать, будто миссис Ваннелт его похитила. И вообще нет оснований предполагать, что она способна на такой порочащий ее поступок. Однако мистер Симмонс вот уже неделя как пропал, и хотя нет никаких указаний на его местопребывание, есть некоторые догадки; вот о них-то я и хотел вам рассказать — в том виде, в каком они существуют на сегодняшний момент.

Мистер Симмонс — продавец птиц; живет и держит магазинчик на улице Догсдич, 34, а пропал он в прошлый понедельник, причем видели его в последний раз накануне вечером, так что об исчезновении было своевременно сообщено в полицию. Розыскных мероприятий тотчас произведено не было, поскольку ничего криминального, что повлекло бы за собой побег, с его стороны не значилось; никаких неприятностей в домашней жизни или в делах, толкнувших бы его к самоубийству, тоже не было и в помине; напротив, дела его вплоть до злосчастного понедельника шли в гору.

Место исчезновения изучили на предмет следов убийства; но поскольку не было обнаружено ни тела, ни каких-либо пятен крови, а также не было выявлено причин для убийства со стороны партнеров, полицейские доложили о завершении расследования начальству и дело передали в Старый Скотланд-Ярд, в руки отставных инспекторов и им подобных, кому поручают дела наименьшей важности, дабы освободить их коллег из Нового Скотланд-Ярда* для вершения дел важнейших. Так исчезновение мистера Симмонса, торговца птицами с улицы Догсдич, 34, кануло в ту пропасть мелких событий, о которых никогда не прочтешь на первой полосе газеты. Лили Бостум о том прослышала и решила, что этот случай как раз для нее.

Лили Бостум, которой несколько месяцев назад сравнялось шестнадцать, с полгода до того поступила на службу в частное детек-



тивное агентство. Всю ту работу, о которой я теперь собираюсь вам рассказать, она выполнила в свободное от службы время, и это не имело ничего общего с ее обычной деятельностью. Она живет в четырнадцати милях от центра Лондона, и с тех пор как взялась за свою внеурочную работу, ни разу не успела домой к чаю; но возвращаясь – обычно к ужину, – выглядит ничуть не уставшей, глаза ее сияют. Она несомненно гордится тем, что обскакала Скотланд-Ярд, хотя никогда не подтвердила бы это в письменном виде, потому что почла бы неподобающим такое самомнение. Лили занялась этим делом по той же причине, по какой пошла работать в розыскное агентство: острое и ненасытное любопытство заставляет ее всюду совать свой носик, и никакой иной, более сильной страсти она в своей жизни еще не испытала. Итак, убедившись на четвертый день, что газеты не сообщат о местонахождении мистера Симмонса, она решила искать его сама. Когда закончился рабочий день в агентстве «Шерлоки» (на самом деле оно такого названия не носило, но так называли его между собой служащие в нем барышни), она села в автобус и, вместо того чтобы ехать домой, отправилась на улицу Догсдич, чтобы заняться расследованием. И вот что она обнаружила.

Прежде всего Лили вникла в дела всех его родственников, потом его друзей, и через пару дней добралась до расходных книг и выписала имена и адреса всех клиентов. Не знаю уж, как ей это удалось, потому что понятия не имею о методах работы детективов, в которых зато сведуща Лили. Она всецело доверяла результатам деятельности сотрудников Скотланд-Ярда, которые первом делом исключили версии убийства и самоубийства, и устремила свои поиски в том направлении, которое было заведомо закрыто для ее уважаемых коллег. Она сразу же предположила, что имеет место похищение, о чем никто и помыслить не мог, потому что считается, будто таковое в Британии невероятно, тем более, если речь идет о корпулентном мужчине почтенного возраста, каким был мистер Симмонс.

За несколько дней Лили прошла по адресам всех его клиентов и убедилась, что ни один из них не держит в заточении пленника. Наконец она добралась до дома миссис Ваннелът, которая отбыла на отдых. Как водится у детективов, она стала опрашивать соседей,



и получила кое-какую информацию. Насколько эти сведения оказались полезными — дело другое.

Лили выяснила, что миссис Ваннелът часто покупала птиц у Симмонса. Брала она только английских певчих птичек, главным образом разных видов дроздов; когда они у нее умирали, она покупала новых. А потом был принят закон, запрещающий более держать в клетках этих птиц, и мистер Симмонс сказал, хоть я и не знаю, что он в точности имел в виду, будто это величайший из принятых в стране законов после Великой хартии вольностей*. И когда миссис Ваннелът пришла к нему за очередной покупкой, он ей это и выложил. Лили Бостум много чего наслушалась от сотрудников его магазина насчет того, что эти двое говорили другу другу в связи с этим событием, и все занесла в записную книжку, которую постоянно носила с собой.

Миссис Ваннелът осведомилась, принимался ли закон под давлением общественного мнения, и мистер Симмонс ответил, что нет; она спросила, существовала ли на то веская причина, и он опять ответил, что вовсе нет. В общем, толковали они долго, и Симмонс сказал ей все, что думал по этому поводу. Свидетели разговора сошлись по меньшей мере в одном: хозяин говорил, что птицы любят постоянный уход, теплое помещение и регулярное питание, и все это получают у Симмонса и его клиентов; что они не любят ястребов, дождь и холод, и когда растения покрываются ледяной коркой, это грозит им голодной смертью. А потому у Симмонса им лучше, чем на воле.

Потом он предложил миссис Ваннелът канареек, но той требовались только певчие птицы из Британской империи. На следующий день миссис Ваннелът пришла снова и опять они беседовали о разных вещах. Миссис Ваннелът спросила, любит ли Симмонс птиц, и он ответил, что да; она сказала, что он, должно быть, скучает по своим певчим птицам и надобно ему самому научиться петь, и она бы научила его петь за свой счет. Мистер Симмонс сначала не придавал значения ее словам, ибо не больно-то любил пение, а думал лишь про свой бизнес. А потом — не уверен, то ли свидетели об этом сказали, то ли сама Лили сделала такой вывод — но только он

решил, что, пожалуй, следует принять ее предложение, раз уж прибыток сам идет в руки, и миссис Ваннелът заплатила ему денежки. Итак, он начал брать уроки пения и через некоторое время пел уже вполне неплохо; а миссис Ваннелът в свою очередь отнеслась к делу весьма серьезно и следила, чтобы он разучивал исключительно старинные английские песни. Она появилась в магазине как раз в день его исчезновения, провела нечто вроде экзамена и удалилась вполне довольная результатом.

Ее последние слова прозвучали примерно так: «Теперь вы сами сможете петь и, я уверена, не станете больше скучать по вашим дорогим птичкам».

Тут Лили почувствовала, что попала в тупик. Нити, которые она нащупала, обрывались, никуда ее не приведя. Никто не знал, почему мистер Симмонс ушел, никто и не видел, как он уходил. Когда магазин открылся, его там уже не было. Но, хоть больше никаких сведений в ее распоряжении не имелось, Лили крепче прежнего держалась за свою версию. Думается, никакая сколь угодно убедительная причина не заставила бы Лили от нее отказаться. Она штучка цепкая, и когда в школе ей во время игры попадал в руки мяч, никто не мог у нее его отнять.

Итак, у Лили больше не было ключей к разгадке, и она, как в таких случаях говорят про гончих, «потеряла след». Но Лили не сдавалась. Вместо того чтобы искать новые доказательства против миссис Ваннелът, она попыталась поставить себя на ее место — при условии, что версия все же верна. Значит, если миссис Ваннелът уехала и, согласно теории Лили, увезла с собой мистера Симмонса, она должна была его куда-то поместить. Конечно, мистер Симмонс мог уехать с ней по собственной воле, но это в ее версию не укладывалось.

И вот Лили стала ломать голову, пытаясь представить себе, куда же миссис Ваннелът упаковала мистера Симмонса. Поскольку, согласно ее теории, мистер Симмонс миссис Ваннелът нравился, даром же именно у него покупала она птиц, а также памятуя о том, что он убеждал ее, будто пернатым в клетке хорошо живется, Лили естественным образом пришла к выводу, что леди поместила



его именно туда. Потом она продолжила свое расследование. Лили обошла несколько крупных магазинов и спрашивала там от имени якобы некоего джентльмена, где можно раздобыть вместительную клетку для гориллы. Пару дней спустя в руках у нее был список фирм, которые могли снабдить ее такой клеткой.

Для кого-то необходимость обойти такое количество этих фирм могла представить значительную трудность, но не для Лили Бостум, которая работала на подхвате у частного детектива и была легка на ногу. И вот стала она обходить их одну за другой, задавая всем один и тот же вопрос про большую клетку, которая была отправлена миссис Ваннелът по такому-то адресу. Отсутствующие ответные взгляды первых пяти опрошенных не обескуражили Лили Бостум, и шестой из тех, к кому она обращалась, сказал: «О да, надеюсь, покупка ей понравилась».

— Вполне, — ответила Лили. — Но миссис Ваннелът хотела заказать еще две штуки, с некоторыми модификациями. Если вы покажете мне картинку той, что она купила, я скажу, что точно исправить.

Слово «модификации» произвело впечатление. Видимо, в нем было нечто завораживающее. Ей показали рекламную фотографию клетки. И, вглядываясь в нее, Лили все больше и больше убеждалась в том, миссис Ваннелът поместила мистера Симмонса в клетку, чтобы он пел для нее вместо птиц. Возможно, она хорошо к нему относится, думала Лили; но такая женщина, по ее словам, нипочем не выпустит мистера Симмонса на волю; довольно циничное замечание для девушки шестнадцати с небольшим лет. На этом реальные улики, добытые Лили Бостум, закончились.

То, что миссис Ваннелът установила клетку в симпатичный фургон с мотором и звуконепроницаемыми ставнями и сидит там, закрывшись и слушая пение мистера Симмонса долгими весенними вечерами, относится к области фантазий. Ежедневно после работы Лили по полчаса или дольше, а также целыми воскресными днями обследует все дороги, ведущие из Лондона в уединенные загородные уголки, но все, что ей удалось пронюхать, едва ли годится в качестве информации для полиции.



Не меньше двадцати дорог проехала она, где ей явственно слышалось пение, доносившееся из фургонов; однако крики о помощи, которые она стремится услышать, ей скорее услужливо подсказывает воображение, и они теряются среди восклицаний, выражающих радость, проклятия или насмешку.

По-моему, версия Лили Бостум достаточно обоснована. Мне кажется, что женщина, обожающая певчих птиц и неспособная понять, почему их нельзя держать в клетках, вполне может от отчаяния переключиться на человеческое пение, а тут все средства хороши, чтобы оно стало частью ее жизни. Она любит птиц и, вероятно, мистера Симмонса тоже, а ежели она не смогла уяснить, почему нельзя держать в неволе птиц, не поймет она и того, почему такая жизнь придется не по вкусу мистеру Симмонсу, коль скоро он сам рассказывал ей о том, как хорошо пернатым живется у него. Он-то, несомненно, с тех пор не раз говорил и обратное, и также несомненно, что миссис Ваннелт с упорством, иной раз присущим женщинам, вновь и вновь повторяла свой довод. У меня даже найдутся аргументы в ее оправдание; но как бы то ни было, она не имеет права держать в клетке мистера Симмонса, причем еще в большей степени, чем сажать в клетку певчих птиц, потому что закон, под защитой которого находится мистер Симмонс, гораздо старше закона, защищающего птиц.

Это не детективная история, повествующая о подвигах Лили Бостум, потому что она никого так и не поймала, и дело еще не кончено. Так что это вообще не история. Она выскользнула из рук Лили Бостум, которая не может продвинуться дальше в своем расследовании; и теперь весь этот волнующий рассказ с возможным романтическим финалом в руках слушающих. Если только Лили Бостум в ближайшее время не нападет на след, или если загадку не решит Старый Скотланд-Ярд, найти решение сможет любой житель лондонских предместий, который даст себе труд навести уши в вечерние часы.

Важно иметь в виду, что песни, которые могут донестись до его слуха из фургона в каком-нибудь укромном местечке, непременно

должны быть старинными английскими песнопениями, а исполнение должно быть искусным, ибо, как довелось узнать Лили, миссис Ваннелът неплохо обучила мистера Симмонса за собственный счет; к тому же в этом пении должна слышаться нотка меланхолии. Тут, конечно, был бы незаменим профессиональный музыкальный слух, потому что вообще-то в старинных песнях всегда есть немного грусти, и они не на любой вкус, обладая едва уловимыми особенностями, которые лично я не рискнул бы определить; а тут, может быть, звучит и чуточку раздражения. Так или иначе, следует тщательно фиксировать любое пение, доносящееся из фургонов.

Если версия Лили Бостум о том, что миссис Ваннелът находится в фургоне, вообще верна, отсюда необходимо следует, что в нем достаточно провизии, и нужды в пополнении запасов нет. Те, у кого хороший нюх, могут учуять запах табачного дыма, потому что мистер Симмонс любит выкурить сигару, а миссис Ваннелът никогда не отказывалась потрафить своим пернатым друзьям.

Теперь о том, как выглядит сам фургон. Лили Бостум предполагает, что он удобный, чистенький, может быть, покрашен в зеленый цвет, и, конечно, с муслиновыми занавесками на окнах. Это все-таки дамский фургон, а Лили Бостум острым глазом сыщика заметила, что миссис Ваннелът аккуратистка. Вот такой фургон обязательно надо взять под наблюдение. Боюсь, это доставит неудобство многим обитателям фургонов, но ведь такие люди, как Лили Бостум, всегда доставляют другим массу хлопот.

Следует помнить, однако, что вся эта история держится на чистых домыслах; но если кто-то из тех, в чьи руки она теперь попадет, каким-нибудь вечерком где-нибудь в укромном месте найдет доказательства в пользу версии Лили Бостум, пусть его не затруднит незамедлительно связаться с инспектором отдела похищений Старого Скотланда-Ярда по телефону: *Блэкфрайрс 00-00*.

Повторяю: *Блэкфрайрс 00-00*.



ВЕРОЯТНОСТЬ ЖИЗНИ НА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЕ



бумагах, оставшихся после смерти Альфреда Смукена, мне нечего сказать, за исключением, разве что, одного документа. Архив этого джентльмена свидетельствует о том, что он был довольно эгоистичным; должно быть, метил в великие мужи, но без всяких на то оснований. Кто нынче помнит Альфреда Смукена? У него, впрочем, была возможность прославиться, и проживи он на несколько месяцев дольше, так бы и случилось, но только благодаря счастливой случайности, а не личным его заслугам.

Счастливый случай произошел тогда, когда он, настроив приемник на волну «ВВС», оставил его включенным, лег спать, но проснувшись в два ночи, вспомнил об этом и спустился, чтобы выключить радио, и тут-то услышал голос странной станции, вещавшей на неизвестном языке. Оказалось, шла передача с Марса. Конечно, передай Смукен сведения об этом специалистам немедленно, его имя не было бы забыто, и за год сделано было бы больше, нежели он смог сделать за десять лет; но этому человеку хотелось присвоить себе всю славу без остатка.

Конечно, он широко развернулся, и смекалки ему было не занимать. Достаточно сказать, что он догадался о том, что послание, принятое его приемником, посылалось с другой планеты. Он взял в аренду дорогостоящий инструментарий, с помощью которого установил, из какой области космического пространства исходит сигнал, и обнаружил, что неизвестный источник находится в постоянном движении.

Поначалу он предположил, что передача ведется с морского судна, но со временем понял, что передающее устройство движется слишком медленно для корабля, плывущего в далеких водах. Тогда он своими силами стал нацеливать прибор на просторы Вселенной и обнаружил, что получает сигналы с Марса.

В течение следующих десяти лет он пытался расшифровать неведомый язык. С помощью филологов он справился бы с этой



задачей в десять раз быстрее, но боялся упустить хоть частицу своей будущей славы, которой в итоге так и не получил, потому что его жизни хватило на запись всего одной передачи с соседней планеты. И эта передача — единственная вещь, представляющая интерес в том ворохе его бумаг, что попали мне в руки.

В этих бумагах содержались тысячи предположений о природе странных звуков; слово за слово, предложение за предложением, не имеющие ни малейшего смысла, и все это на сотнях и сотнях страниц, пока наконец он не набрел на некое разумное зерно, из которого за восемь или девять лет составилось несколько связных фраз. Все это время стрелка шкалы стояла на одном и том же месте; Смукен не позволял даже стирать с приемника пыль, дышать на него, боясь, потому что знал, что сдвиг с найденной волны всего лишь на волос будет роковым — вновь ее не найти. Да что там волос — слишком грубый измеритель для определения счастливого случая, который представился Смукену, иначе бы люди сотнями попадали на удачную волну, несмотря на то, что вещание на ней идет глубокой ночью, и что у Смукена очень мощный радиоприемник. Так вот, в течение следующих двух лет Смукен все свободное время посвящал изучению нового языка — об этом говорят сотни исписанных им страниц; по истечении этого срока он уже писал на том языке целые эссе. А пока не овладел им в совершенстве, не записал ни единой передачи с Марса. Или, возможно, записал, но не сохранил. Он намеревался поразить мир окончательно оформленным посланием, которое засвидетельствует его единоличный контакт с Марсом.

К сожалению, то единственное послание, которое он зафиксировал, само по себе значительного интереса не представляет; это, по-видимому, всего лишь лекция по астрономии, прочитанная в каком-то марсианском университете и переданная с какого-то тамошнего мощного передатчика. Новых сигналов никому получить не удалось; после смерти Смукена кое-кто получил доступ в его апартаменты, один человек признался, что повертел ручку настройки, сняв с приемника предохранительное устройство, чтобы узнать точное время. Да и не он один крутился возле аппарата.

Таким образом, на сегодняшний день это единственное донесение с Марса, или, точнее, единственное разборчивое послание,



поскольку я не беру во внимание все те маловразумительные звуки, которые мы обычно списываем на атмосферные явления. Итак, вот это послание с пометками Альфреда Смукена, и уж если оно вас не взволнует, тогда остается дожидаться другого контакта с Марсом; может, оно окажется более содержательным.

«... третьей планеты».

«На этих словах, — комментирует Смукен, — я понял, что лектор-астроном имеет в виду именно нас, а потому решил записать все на бумагу, потому что это может представлять интерес для всех жителей нашей планеты. Но вообще-то я собирался получить нечто более существенное, с местным колоритом, что можно было бы предъявить в качестве первого послания с Марса».

«Близость третьей планеты к Солнцу не так страшна, чтобы исключить возможность жизни на ней только из-за жары; дело в том, что хотя жизнь на срединных пространствах ее поверхности невозможна, на полюсах существуют обширные покрытые льдом области, вблизи которых может существовать жизнь и есть пригодный для дыхания воздух. Однако похоже, что атмосфера на территориях, где могла бы существовать жизнь, состоит из водяных паров, проливающих такими обильными дождями, что они истребили бы любые проявления жизни, которая могла бы появиться благодаря наличию воздуха».

Сезоны ливневых дождей сопровождаются частыми электрическими разрядами, которые, в свою очередь, тоже способны за недолгий срок уничтожить всю жизнь, ну а жизнь в центральных районах, где нет такой влажности, немыслима из-за жары. По этим причинам какая бы то ни было жизнь на третьей планете исключена, если не считать моря, которым покрыта большая часть планеты, где могут обитать рыбы. Логично предположить, что так оно и есть, ибо поскольку вся Вселенная сотворена ради людей с Марса (Тлекретона, как они называют его, уточняет Смукер), и с нашей точки зрения неприемлемо, как убеждают нас в том Хойс, Хоббук и другие, будто жизнь в той или иной форме существует повсюду, и где-нибудь еще есть кто-то, кто мог бы разделить с нами эту привилегию.

Теория Хойса состоит в том, что разумная раса на третьей планете появилась, но ненадолго, поскольку ее разум по мере своего раз-



вития начинает преследовать разрушительные цели. И, по мнению Хойса, эта раса вскоре сама себя уничтожит. Хоббук, в свою очередь, утверждает, что хотя разумная жизнь на третьей планете существует, но только в зачатке и зрелого состояния достигнет не ранее чем через тысячу лет, потому что наличие устройства, принимающего радиоволны, было зарегистрировано там всего лишь три или четыре года назад. Следовательно, вплоть до недавнего времени там не могло существовать рационального способа передачи мысли от сознания к сознанию за исключением примитивного крика или громоздкого способа общения через письменный текст, передаваемый из рук в руки.

Следовательно, любая мысль, которая могла зародиться внутри данной формы жизни, это индивидуальная, единичная мысль, и представить себе некие коллективные формы жизни на этой планете невозможно. Итак, Хоббук практически исключает существование на третьей планете разумной жизни, а Хойс его признает, но только в очень примитивном виде, лишенном мудрости. С помощью телескопов Хойс увидел разрушительные взрывы на этой планете и сделал вывод о вероятности наличия и других способов самоуничтожения».

Я вовсе не собираюсь приводить все комментарии Смулкера; но одно замечание, касающееся летоисчисления, очень точное. Речь идет о том, что когда марсианский ученый говорит о «годах», следует иметь в виду, что марсианский год длится не наши 365 дней, а дольше.

«Если серьезно отнестись к теориям Хойса и Хоббука, – продолжал лектор, – то надо понимать, что жизнь людей на этой планете обусловлена соответствующими обстоятельствами; начать с того, что Солнце там – гигантский раскаленный диск, низвергающий на них невыносимый жар, последствия чего, судя по всему, и Хойс, и Хоббук недооценили; интересно также то, что у этой планеты только один спутник. Люди, если они там есть, обладают уникальным опытом: они всегда видят только половинку единственного спутника, поскольку период его вращения вокруг своей оси совпадает с периодом обращения вокруг планеты, и потому он всегда обращен к ней одной и той же стороной. Отсюда следует парадокс:



мы больше знаем о географии их спутника, чем они сами — разумеется, если мы разделяем теорию о существовании жизни на этой планете.

С третьей планеты — опять же, если там вообще есть кому наблюдать — не видно ни одного объекта, который сравнился бы по размеру с тем, как эта планета видится нам; хотя вторую от Солнца планету там видно хорошо, но выглядит она далеко не так великолепно, как, наверное, сама видится оттуда. Много теряет в их глазах и пятая планета, которую нам посчастливилось видеть во всем блеске. Однако хватит фантазий; давайте обсудим третью планету со всей серьезностью. Большая часть ее поверхности покрыта водой, и ее обитатели могут дышать только перенасыщенным влагой воздухом — кроме тех территорий, где солнце слишком палит и жизнь вообще невозможна; так удовольствуемся тем, что она льет свой свет с нашего небосклона, и откажемся от допущения, будто там имеется некая низшая форма жизни».

В этом пункте комментарии Смукера очень многословны, и, судя по мелкому почерку, он вновь и вновь добавлял свои замечания по этому поводу, по мере того как чувства его оскорблялись невинным замечанием марсианского лектора. Похоже, и фрагмент самой лекции был утрачен, когда он делал свои первые замечания — ее начало явно отсутствует.

Далее лектор говорит следующее: «Какой бы мы ни представляли себе возможную там низшую форму жизни, необходимо исключить вероятность существования организмов, у которых было бы более двух пар ушей, а также разума, способного понимать предназначение Марса (Тлекретона, как он его называет), или же славу и величие его народа».

Далее следует очередная порция негодующих комментариев Смукера, а затем снова запись лекции; несколько скудных абзацев о химическом составе и геологическом строении Земли, которые я не буду цитировать и которые свидетельствуют о наличии у марсиан достаточно точных инструментов, позволяющих с помощью метода спектрального анализа фиксировать извержение наших вулканов.

«Будем благодарны науке, — продолжает лектор, — вселяющей в нас здесь, в центре Вселенной, уверенность, отвечающую самым



благим нашим упованиям, что нигде более не существует разумная жизнь, которая смогла бы разделить с нами наслаждение созерцания звезд; и что Млечный Путь, открывшийся нашему наблюдению, недоступен более ни для чьих глаз. Отсюда следует, что судьба народа...»

В этом месте разглагольствования лектора вновь прерываются комментариями Смукера. Однако, хотя вряд ли мы утратили нечто, имеющее научную ценность, у меня есть подозрение, что его пренебрежительное отношение к тексту, который он без зазрения совести купировал, лишило мир бесценного свидетельства, которое не только украсило бы собой антологии, но, с небольшими исправлениями, могло бы добавить яркости и возвышенности речам, произносимым с различных трибун, к вящему восторгу публики во всех уголках света.

СТАРАЯ ЭММА



днажды, когда сэр Томас Гарпер выехал на псовую охоту, небо заволокло грозowymi тучами, собаки потеряли след, охота не заладилась. Он приблизился к оврагу, поросшему редкими кустами куманики, за которыми скрывалась самая обыкновенная изгородь, и, не подозревая беды, собрался привязать к ней коня. И вдруг ни с того ни с сего перед глазами его мелькнуло лошадиное копыто, и через секунду он вместе с конем очутился на земле. Должно быть, вдоль изгороди была пропущена проволока. Результатом падения стал вывих плеча, который по причине небольшой трещины кости нельзя было вправить, и Гарперу пришлось перенести операцию. Это и привело к тому, что он приобрел любопытный опыт, хотя в самой операции не было, в сущности, ничего уникального, потому что в наше время таковые поставлены на поток.

Поскольку раньше ему никогда не доводилось получать наркоз, он, наверное, немножко волновался, и это, вдобавок к боли в поврежденном плече, всколыхнуло его воспоминания. Прошрое вставало перед его мысленным взором, уводя его все дальше и дальше, пока

ему не припомнилась Старая Эмма — служанка, которая рассказывала ему в детстве сказки, покупала маленькие подарки, выкраивая деньги из своих скудных сбережений, и вообще делала для него много доброго.

Именно о ней думал он, вдыхая газ; тогда же пришла ему в голову мысль, которая часто приходила ему и раньше. Заключалась она в том, что простая и необразованная Старая Эмма, хоть была невежественна, а к тому же иной раз и груба, наверняка попала на небеса, ибо заслужила это не меньше, чем многие люди, занимающие гораздо более высокое положение. «Она заслужила это больше других», — думал сэр Томас. Может быть, старая привязанность увлекла его мысль так далеко?

Так или иначе, последняя его мысль, обострившаяся перед тем, как он погрузился в сон, была о Старой Эмме, которая, наверное, пребывает на небесах, и он успел решить, что если операция пойдет не так, он станет искать ее, пока не найдет. В уверенности, будто он и сам попадет на небеса, не было ни капли самонадеянности, потому что был он добрым сквайром и сделал немало добрых дел.

Меж тем операция действительно пошла не так.

Не знаю, по какой причине, но прошло чуть больше десяти минут с начала операции на плече сэра Томаса Гарпера, как сердце его остановилось. Дыхание, разумеется, прекратилось тоже, и сэр Томас по всем признакам был мертв. Случись это несколько лет назад, хирурги оставили бы на том свои старания. Но теперь они могли прибегнуть к массажу сердца, который заставил бы его биться снова, а потому продолжили свое дело.

Однако тело оставалось безжизненным, а душа сэра Томаса Гарпера выскользнула из него и вознеслась на небо. Он сразу понял, что случилось, но не знал, что хирурги все еще трудились над его сердцем. Итак, он оказался на небе. Он видел голубые холмы где-то вдали, цветущие сады и многое такое, чего не увидел за всю жизнь на земле; и лужайки с ручьями, по берегам которых росли цветы, и множество людей. Одним из первых, кого он узнал, был его старый приятель, с которым он вместе охотился, покуда тот не напоролся на проволоку в изгороди и сломал себе шею.



Он, очевидно, не чувствовал никакой боли и спокойно подошел к Гарперу, зияя раной. Именно он сообщил ему, что происходит: сейчас состоится парад небесных сил, четыре армии с четырьмя архангелами во главе в качестве подготовки к Армагеддону, что происходит регулярно каждые несколько лет.

– Мне бы хотелось найти Старую Эмму, если она здесь, – начал было Гарпер. – Нашу старую служанку. Я всегда считал, что она должна попасть сюда, несмотря на...

– Сейчас не время, – ответил приятель. – С минуты на минуту начнется марш ангелов.

– Она должна быть где-то в этой толпе, – сказал Гарпер.

– Ладно, поищем потом, – ответил Хорнут, приятель со сло-манной шеей.

– Буду рад, – откликнулся Гарпер. – Хорошо бы она попала сюда.

И пока он произносил эти слова, небо на горизонте посветлело, будто покрывшись облачками, как на исходе летнего дня. Гарпер увидел, что это ангельские силы, приближавшиеся к ним. Чем ближе они подступали, преодолевая пространство, тем волшебнее казалось это зрелище; вся слава дольного мира и все его великолепие не могло с ним сравниться. Поначалу они двигались подобно дыму, или урагану, или стае птиц, потом расслоились на ряды и шествовали по воздуху. Гарпер опять подумал о Старой Эмме.

«Если бы только она могла видеть это», – думал он. И тут же грандиозное зрелище поглотило его внимание без остатка. Ангельские силы с белыми сложенными крыльями оказались вдруг совсем близко, и облачение их сверкало, словно бриллианты, рассыпанные в серебре. Они были похожи на огромных всадников; их очертания по мере приближения становились все более отчетливыми, и легкая рябь лучей света пробегала по их одеждам. Но еще ярче лучились их лица.

Четверо архангелов, возглавлявших шествие, ступали с тем величием, что ощущается в ветре, который иногда внезапно поднимается перед грозой. Гигантская, сверкающая бриллиантами фигура ближайшего из них держала перед собой меч, блистающий, как метеор.

Очи архангела устремились к Гарперу, взглянули ему в глаза и засветились; Гарпер понял, что архангел собирается заговорить с ним. Сияющие уста открылись, и архангел заговорил.

– Что ж, мастер Том, – сказал он, – ты всегда любил смотреть, как маршируют солдаты.

У него был голос, выговор и, чудесным образом преобразившись, даже лицо Старой Эммы. И Гарпер выпалил: «Эмма, дорогая!», что прозвучало довольно необычно для него самого, потому что он никогда раньше так к своей служанке не обращался, а уж потом ему стукнуло в голову, что вряд ли уместно так обращаться к архангелу. Но в блеске глаз Старой Эммы это сомнение исчезло, зато в памяти ярко воскресли воспоминания детства, и они становились все ярче и наконец слились с небесным пейзажем в едином сиянии, сквозь которое шествовала Старая Эмма, воплощение великолепной славы.

Однако бывшие воспоминания и красота открывшейся перед ним картины слегка омрачились недоумением – как может Старая Эмма предстать в образе архангела. До такой степени омрачились, что и пейзаж, и дивный свет над ним заколебались, а голубые холмы и цветение яблоневых садов, задрожав, растворились в воздухе, и даже ангельские силы стали бледнеть, пока не растаяли, как туман, как сон пробуждающегося от сна человека. И, как сон, вся эта картина исчезла с глаз Томаса Гарпера, оставив воспоминания, которые, как бабочки, унесенные ветром с родной земли, теряют яркость на немилосердном земном свете. Дело в том, что хирурги вновь запустили его сердце, и душа своевременно вернулась в его тело. Он очнулся от сна, воспоминания все таяли и таяли, но ярким оставалось одно – тот удивительный факт, что Старая Эмма превратилась в архангела.

– А Старая-то Эмма... – начал было сэр Томас.

– Ну, мы вас починили, – прервал его один из хирургов.

– Были проблемы? – спросил сэр Томас.

– Да уж, кое-какие были, – ответил доктор.

И он вкратце поведал ему о том, что произошло. Но не это занимало сэра Томаса, а удивительное чинопроизводство Старой Эммы, и когда ему выпал случай, он попросил отобедать с ним епископа. За портвейном он начал рассказывать про операцию, епископ тут же



захотел поделиться тем, как ему оперировали щитовидную железу, но сэру Томасу удалось вернуть разговор в нужное русло. И он рассказал про Старую Эмму.

— Я, разумеется, знал, что она может попасть на небо, несмотря на низкое происхождение, — сказал сэр Томас.

— О, конечно, — откликнулся епископ.

— Ну да, я ожидал, что она туда попадет, — продолжил сэр Томас. — В Писании сказано: и последние будут первыми. Но чтобы она стала архангелом... Это, знаете ли...

Тут сэр Томас вновь перечислил все основные моменты случившегося: неоспоримый факт остановки сердца и дыхания, необыкновенно ясную картину надземного мира, встречу со стариной Хорнумом и потом это удивительное вознесение Старой Эммы. А потом он спросил: «И что же все это было?»

— Я думаю, это был всего лишь сон, — ответил епископ.

КАК АБДУЛ ДИН СПАС ПРАВОСУДИЕ

 та история была рассказана молодому офицеру индийского кавалерийского полка старым танадаром, инспектором индийской полиции, пока они сидели у палатки в Тераи. Над ними сияли крупные звезды, и легкий ветерок, преодолевший много миль сухой травы, обвеивал их лица прохладой.

Палатку установили для охоты, для этой же цели из деревни, расположенной в миле отсюда на равнине у границы джунглей, сюда пришел старик и целый час рассказывал о повадках пантеры, из-за которой вокруг деревни разожгли костры, чтобы она не прокралась туда и не напала на корову. И после того, как он рассказал все, что знал о пантере и о том, когда ее легче обнаружить, офицер кавалерии спросил его о службе в годы его юности, так что старику, так много говорившему о своем увлечении, пришлось немного рассказать и о себе, и о работе, на которой он сделался танадаром.



Беседа велась на хиндустани, и старик, оглядываясь на жизнь, говорил о ней так, будто знал ее так же хорошо, как повадки пантеры, притаившейся ночью у деревни; и все свои поступки он считал шагами к должности танадара, своим скромным участием в непогрешимом замысле.

— Танадар, — сказал он. — Ах, сахиб, я пришел к этой должности, как люди приходят ко всем подобным вещам, если они вообще к ним приходят. Я пришел к ней с помощью аллаха, преодолев первое большое препятствие. Я полагаю, сахиб, первое препятствие всегда самое большое, и, думаю, оно подстерегает всех людей. Его зовут невезением или несчастным случаем, но это ни то и ни другое. Оно встает перед вами, как барьер перед лошадьми на скачках. Лошади думают, что барьер появился случайно, не зная, что скачки были подготовлены заранее. Так и с нами. И первое препятствие бывает самым большим, но это не случайность. Нет. Мой барьер был очень высоким, сахиб.

Я был молодым полицейским, я не прослужил и года. И вот однажды пуштун убил свою жену по нашу сторону границы, где это не позволено. Он дал ей мышьяку и умертвил. Это было известно, но сахибы еще его не наказали. Должен был состояться суд, и на суде должны были представить вещественные доказательства и множество других вещей. Одним из этих доказательств были внутренности женщины в стеклянной банке с сургучной печатью. И эту банку мне было поручено доставить на станцию Нашвера и далее следовать с ней на поезде в Пешавар.

До Нашверы было пять миль, и мне дали двуколку. А по дороге, по которой мы ехали, двигалась повозка, запряженная волами, и вол шархнулся от нас, так что задняя часть повозки столкнулась с нашим правым колесом. И некоторые люди назвали бы это случайностью. Мы не перевернулись, но банку я держал некрепко, я подался вперед от толчка, банка выскочила у меня из рук и стукнулась о камень на дороге, оказавшийся здесь не случайно. И банка разбилась вдребезги, а внутренности рассыпались по земле.

Без этого вещественного доказательства суд не мог состояться, а без суда этот человек не мог быть наказан. Правосудие оказалось под угрозой, и я был тем, кто ему воспрепятствовал. Лучше бы мне было



подойти к главнокомандующему и плюнуть ему в бороду, чем совершить такое. Так сильно сахибы любят Правосудие.

— Ну да, — сказал молодой офицер.

— Ах, сахиб, вы молоды, и вам это сказали, — продолжал старик, — а я это знал. Я глядел на кишки, они были все в пыли, печать была сломана, и я не видел, как осуществить Правосудие. И все-таки сейчас я танадар.

Я приказал вознице ждать и сначала помолился, а после сел у дороги и начал думать, и вспомнил о своем друге в Пешаваре, молодом куштуне из нашей деревни, он был студентом-медиком и полгода учился в Пешаваре, а звали его Абдул Дин. И я сказал: Абдул Дин меня спасет и поможет Правосудию.

И вот я поехал в Нашверу, и там сел на поезд и в надлежащее время прибыл в Пешавар. И там на станции я выскользнул из вагона, незамеченный теми, кто, возможно, ждал меня вместе с банкой, хотя я никого и не увидел, и помчался к дому Абдул Дина. И после того как мы обменялись приветствиями, я отвел его в сторону, туда, где нас никто не мог услышать, и сказал: «Я пропащий человек, и Правосудие в опасности. Но ты можешь меня спасти, если спасение возможно».

И рассказал ему все без утайки.

И он сказал: «Это очень легко. Правосудие не пострадает, тебе нечего бояться».

Потом он задал мне несколько вопросов и сказал: «Сколько времени было внутренностям?»

И я ответил: «Со дня смерти не прошло и двух дней».

И он спросил: «Чем ее отравили?»

И я ответил: «Мышьяком».

И он попросил меня сказать, как выглядела печать. И я сказал ему все, что помнил. И он сказал: «Так я и думал».

И потом он сказал: «Если твоя двуколка столкнулась с повозкой, запряженной волами, и если, приехав в Нашверу, ты увидел, что поезд ушел, то когда отправится следующий?»

И я ответил ему, потому что знал. Четыре часа спустя.



«Тогда, — сказал Абдул Дин, — это поезд, на котором ты приедешь из-за несчастного случая с повозкой. Но ты сберет банку и привезешь ее с собой. Приходи ко мне через три или три с половиной часа, и ради нашей старой дружбы ты получишь банку с печатью снаружи и кишками внутри. В них будет то, что и должно там быть».

И, поблагодарив его, я ушел. И вернулся в назначенный час, и он дал мне все, что обещал. И я пришел на станцию ко времени прибытия второго поезда и нашел человека, который меня ждал, и рассказал ему, что двуколка, столкнувшись с повозкой, разлетелась на куски, но я спас банку. И мы пошли в полицейский участок, и в назначенный день состоялся суд, и в зале суда была сломана печать, и банку открыли, и во внутренностях обнаружили более доказательств, чем требовало все это Правосудие.

— Но, знаете ли, такие исследования не могли проводиться прямо в зале суда, — сказал молодой офицер.

— Сахиб, — ответил старик, — свет заходящего солнца не так яркое, и порой моя память не различает мелких вещей. Несомненно, как вы сказали, исследование провели в другом месте. Но на суде я видел своими глазами банку и то, как она была открыта, доказательства были предъявлены, во внутренностях найден мышьяк, а убийца повешен.

— Но во имя неба, — воскликнул молодой офицер, — где Абдул Дин взял внутренности?

— Это были внутренности козла, сахиб, — ответил старик. И когда он оглянулся на свою долгую, полную успеха жизнь, едва не потерпевшую крах в начале его службы, лицо его стало безмятежным. И вдруг в шелестящей траве раздались дикие звуки, повторявшиеся вновь и вновь, так могли бы стенать вампиры в своих гробницах. Это был вой шакалов.

— Вот она, — сказал старик. — Пантера.

Ибо пантера бесшумно проскользнула в темноте, и шакалы завывали ей вслед.

И двое мужчин перестали говорить о защите Правосудия, теперь их занимала лишь пантера и ее шкура, которую они собирались добыть.



ПЕРВЫЙ СТОРОЖЕВОЙ ПЕС



авным-давно, на самом деле очень давно, на одном из центральных плато того региона, который теперь мы называем Азией, настала столь суровая зима, что стае диких собак стало трудно охотиться. Около двадцати из них свернулись на снегу под редкими деревьями на опушке леса, есть им было нечего. Одному псу голод не давал уснуть, а любопытство подняло с места. Всего лишь любопытство, потому что никто из собак не мог добыть пищу в одиночку, это было под силу только стае.

Прежде всего, в тех краях в то время года не было мелкой добычи, чтобы справиться с ней самому; а если бы и была, ее нельзя было загнать без посторонней помощи, для этого требовались усилия всей стаи, все зубы и лапы. Никто не мог от нее ускользнуть, никто не мог избежать расправы. Но этот продрогший и голодный пес все же прилежничал в темноте — из любопытства. И любопытство было вознаграждено, ибо на земле за лесом горела красная звезда, какой он прежде никогда не видел.

Пес начал к ней подкрадываться, и пока он крался, звезда становилась все больше. И вдруг через снежную ночь к нему донесся самый волнующий запах, который он когда-либо чуял, нечто настолько восхитительное, что ни о чем подобном он не мог и мечтать. Описать этот упоительный запах я не в силах. Сказать, что то был запах жареного мяса, значит ничего не сказать о его новизне, о жестоком голоде, терзавшем пса, и трескучем морозе той ночи.

Это на самом деле был запах жареного мяса, но для пса он был чем-то неизмеримо большим. Он подкрался ближе, двигаясь гораздо медленнее, ибо подчинялся всем тем инстинктам, которые необходимы для того, чтобы насытиться и остаться в живых. И хотя это были всего лишь инстинкты, управлявшие важными для него вещами, они были гораздо яснее и точнее любого нашего знания. Один из этих инстинктов сказал ему, что все невообразимо прекрасное всегда хорошо охраняется. Поэтому пес продвигался вперед очень медленно и бесшумно, низко прижимаясь к земле.

На маленьком стойбище, принадлежащем человеку по имени Маан, горел огонь. Маан был прародителем рода человеческого, подобно всем Манам, Макманам, О'Манам, Манли, Маннам и Маннингам. Маан потянулся вперед, оторвал с вертела кусок мяса, который, на его взгляд, достаточно прожарился, съел его и выкинул кость. И кость упала на снег не слишком далеко от пса. Отчаянный голод, несомненно, побуждал его схватить ее, но все инстинкты, свойственные его сородичам, предостерегали его от поспешности; однако голод победил, пес бросился к кости и убежал вместе с ней.

Маан слышал шум и, к великому изумлению пса, думавшего, что похитил у врага сокровище, который тот попытается отбить, бросил ему другую кость и крикнул: «Иди сюда!» Я не хочу сказать, что он употребил именно эти слова или что он говорил по-английски, но он издал звук, который было легко понять, ибо в те времена животные и люди были ближе друг к другу или, точнее, их малочисленные потребности были проще, так что у животных и людей было много общего.

«Нет», – ответил пес, и выразил это очень просто: зарычал. Но все-таки подошел поближе. И главное в этой истории, пожалуй, то, что на второй кости было мясо.

Итак, пес убежал вместе с костью к ближайшему кусту, лег под него и начал ее грызть, не сводя глаз с костра, опасаясь, как бы Маан не пожалел о подарке и не попытался его отнять. В лесу, где осталась его стая, свирепствовал голод. Здесь, рядом со стойбищем, была роскошная еда и, разумеется, опасность. Звезды померкли, наступило морозное утро, и в низких солнечных лучах засверкали кристаллы снега – некоторые красным, некоторые зеленым, а некоторые фиолетовым. И при свете дня Маан, бесспорно, произнес: «Иди сюда».

После долгих размышлений пес решил не возвращаться в холодный лес, но и не слушать Маана, когда он говорит: «Иди сюда». Возможно, «размышление» не слишком подходящее слово, скорее, речь идет о взаимодействии бесчисленных инстинктов, которые в конце концов сошлись на этой средней линии. Так или иначе, пес остался лежать под заснеженным кустом. И хотя куст был недостаточно густым, и под ним было не теплее, чем на снегу, однако куст,



запорошенный снегом, давал убежище от ветра. Время от времени пес выползал из-под куста и очень осторожно подходил немного ближе к Маану.

Не стоит и говорить, что эти осторожные вылазки совпадали с приготовлением пищи. Словами «Иди сюда» можно было пренебречь, но не чарующим ароматом жареного мяса. Запах, приносимый ветром, становился все слаще, и наконец наступал момент, когда ему нельзя было противиться.

Дом Маана, скорее, походил на шалаш и состоял из связанных сверху сосновых жердей, покрытых сухими ветками. Внутри жила его семья, и днем, когда пес сидел под запорошенным кустом, выскакивая во время еды за костью или куском хряща, на него вышли поглядеть трое или четверо ребятишек.

Пес понимал детей гораздо лучше, чем Маана. Похоже, их взгляд на вещи не слишком отличался от его, а мысли двигались в том же направлении. И все же пес не вполне им доверял, несмотря на все замечательные кости, которые ему перепадали. Но как-то раз, когда он грыз большую кость, один из ребятишек засмеялся, и пес вильнул хвостом. Это по-своему важно как первый знак, который представитель собачьего племени послал человеку.

Однажды Маан, когда пес куда-то отлучился, бросил на вершину куста охапку валежника, а позже добавил шкуру, так что псу не пришлось лежать на снегу. Как-то вечером, когда небо и снег стали голубыми, словно бледные сапфиры, и на небе засверкали звезды, кто-то враждебный людскому племени прошел совсем рядом. И хотя пес по-прежнему испытывал недоверие к Маану, он почувствовал, что это абсолютно недопустимо, и бросился вперед, наполнив ночь громким лаем.

Конечно, после этого пес начал понимать, что это его работа, так что почти бессознательно он становился хорошей сторожевой собакой. По ночам он слышал множество вещей, которых Маан не слышал, и не прошло и двух дней, как он понял, что у Манна никудышное чутье. Конечно, какое-то чутье у него было, не в пример современным Маннам, Манли, Маннингсам и всем остальным, но по сравнению с чутьем Ва оно никуда не годилось. Женщина Маана не доверяла псу, опасаясь всего, что могло бы представлять опас-



ность для детей. Но сами дети и, я думаю, пес считали это смешным. И, разумеется, были правы.

Они называли пса Ва, и я тоже буду называть его так. Сначала Маан бросал Ва кости просто так, однако в конце концов пес щедро отплатил за них, с лихвой вернув долг. Пес знал, за какими животными должен охотиться, а когда Маан указывал на некоторых из них, это становилось ясно вдвойне, хотя Ва не сразу согласился отдавать свою законную добычу Маану.

По ночам к стойбищу часто подходили волки, и хотя они всей стаей легко могли бы растерзать Ва, они, похоже, не любили шума и уходили прежде, чем Ва успевал высказать им все, что думает. И Ва недолго бежал за ними, а потом возвращался назад, высоко задрав хвост. Ибо Маан ничего не знал о том, что собакам надо отрезать хвосты.

Ва уже не бегал вместе с собачьей стаей, но когда наступила весна, он порой навещал своих старых друзей, когда они оказывались в этой части леса. Но когда они встречались, Ва обычно отводил глаза в сторону, словно хотел показать, что больше не хранит верность стае, и немного этого стеснялся. И все же ему удалось убедить одну самку покинуть стаю и поселиться вместе с ним в конуре, ибо это, несомненно, была уже настоящая конура. Поначалу подруга Ва сильно робела, однако преимущества сухой конуры были очевидны, не считая приманки – которая раньше соблазнила самого Ва – запаха жареного мяса и множества костей.

В маленьком стойбище ее называли Ви. И еще до конца весны в конуре появились четыре щенка. Щенки не знали робости и обращались с детишками Маана, как с равными. Они непрерывно возились друг с другом. Иногда детишки Маана хлопали щенков по мордочкам, иногда щенки кусали детишек Маана, но между ними никогда не возникало ни малейшей вражды. Однажды, когда между щенками и детьми завязалась особо шумная потасовка, Ва подошел и, внезапно зарывчав, накинулся на одного из щенков, который довольно сильно укусил ребенка за ногу, и отогнал его прочь. Ва многое делал впервые, к примеру, отгонял всех, кто приближался к дому Маана. И вскоре щенки, подражая ему, преследовали всех, кто этого заслуживал, и делали это вполне естественно.



Шли века, люди приручили собак из других стай, но от этих щенков произошли те собаки, которые выскакивают из конуры и облаивают вас, как только вы приблизитесь к дому. Эту черту унаследовали все потомки Ва, которых легко по ней узнать. Весь год они охотились вместе с детьми Маана, и тому пришлось пристроить к своему жилищу маленькую кладовую для мяса. И женщина Маана преодолела свое недоверие к Ва и всей его семье.

Хотя у Маана были свои причуды, его жена отличалась практичностью, и вскоре по достоинству оценила вклад Ва не только в содержимое кладовой, но и в безопасность всего стойбища. Она не замечала блох, которых пес порой приносил на себе, а вой, который он поднимал в полнолуние вместе со своими отпрысками, не только не лишал ее сна, но, напротив, делал его особенно крепким, ибо пробуждал у обитателей маленького стойбища чувство безопасности, словно высокая ограда между ними и лесом, ограда, уходящая к звездам.

В то время ни у одного человеческого стойбища не было такой защиты. Ва лаял на полную Луну, едва она восходила над верхушками деревьев, и все его семейство тут же присоединялось к нему, и они продолжали до тех пор, пока не убеждали Маана, его женщину и детей, что этой ночью нет никакой опасности. Иногда на это уходило много времени, и вой их умолкал лишь тогда, когда небо начинало светлеть.

Конечно, Ва пришлось многому учиться, прежде чем он стал образцовым домашним псом, но он никогда не делал глупостей, которые подчас совершают современные собаки. К примеру, он никогда не облаивал сидящих на дереве белок и вообще не лаял на деревья, если не считал разумным испутать любое взобравшееся на дерево животное и заставить его спуститься. И здесь он редко ошибался, так что многие века дрессировки, похоже, почти ничему не научили собак относительно лесных обычаев, известных Ва задолго до того, как он пришел к Маану. И все же бо́льшая часть работы в стойбище была ему в новинку, как и отдельные эпизоды его досуга.

К примеру, лежать у огня было не только непривычно для Ва, но абсолютно неведомо никому из его сородичей. Поначалу он не доверял огню и так и не сумел полностью преодолеть свое недоверие.



Но пронзительный холод зимних ночей на этом высоком азиатском плато вскоре привел его к теплу, хотя он никогда не спал у костра и всегда поглядывал на него одним глазом. Если сырая ветка выстреливала в него горячим угольком, он никогда не совершал ошибки, лая на огонь, ошибки, которую собаки допускают и поныне, а просто уходил, понимая, что эту силу не схватить зубами и не устрасить рычанием.

Он много узнал об огне и о Маане. Узнал, что огонь может к ночи подниматься, словно полная Луна, что он может придавать мясу удивительные свойства, может ранить и благословлять, что он жарче солнца и подчиняется Маану. Он узнал, что, подобно его собственным зубам и протяжному вою в ночи, огонь способен охранять дом Маана; это знание, незапятнанное ревностью, он хранил про себя. Со временем, выполняя всю привычную работу домашней собаки, он становился все более похожим на известных нам собак, а его щенки уже ничем от них не отличались. Поэтому мне не осталось сказать о Ва ничего такого, чего не знал бы всякий, кто знаком с *Canis Vulgaris*, обыкновенными собаками. Мой рассказ интересен лишь тем, что все это случилось в самый первый раз.

Для обитателей маленького стойбища Ва был интересен лишь тем, что он был Ва, который давным-давно пришел к ним из таинственного леса. И когда он умер восемь лет спустя с того дня, когда впервые почуял запах жареного мяса, все дети Маана, несмотря на то, что стали взрослыми, залились слезами — необычными, дикими слезами, заплакали навзрыд, как теперь уже никто не плачет.

ШАХМАТИСТ, ФИНАНСИСТ И ДРУГОЙ



Выпал мне случай, — сказал финансист, — знать человека самого блестящего ума, которому на роду было написано заниматься финансами. Звали его Смогтс, но имя его, конечно, ничего вам не говорит. Я говорю «конечно», потому что умом своим он так и не воспользовался, а вернее сказать — ни разу не пустил его



себе во благо; надеюсь, улавливаете тонкость. Он направил свой ум по ложному пути, загнал в тупик, из которого не было никуда ходу; а ведь он мог бы стать не менее крупным финансистом, чем некоторые из нас. Знаете ли, чем он занялся? Присядайте-ка и послушайте.

Так вот: он играл в шахматы. Весь свой интеллект, которым можно было бы объять невообразимое, тратил он за шахматной доской. Случилось все поначалу незаметно; в ту пору мы служили вместе с ним, и он во время обеденного перерыва, бывало, играл в шахматы с одним человеком. И вскоре начал обыгрывать противника, а ведь на первых порах всегда ему уступал. Потом он вступил в шахматный клуб, и будто какой-то морок на него навели; это было как пьянство, как стихи или музыка — что именно, точно не скажу, поскольку сам ничему такому подвержен не был.

Так или иначе, эта страсть полностью им овладела, и ко всему остальному он начал терять всякий интерес. Спору нет, игроком он сделался отменным, много выиграл достойных призов. А цена всем этим выигранным за целую жизнь призам была разве что фунтов двадцать пять. Я бы в тысячу раз больше заработал за час. И это было все, что он выжал из шахматной игры.

А ведь этот человек мог бы ворочать миллионами! Вместо этого он столько же мало сил потратил на занятия финансами, сколько я на шахматы; как я уже упоминал, начинали мы вместе в одной и той же фирме, но пути наши разошлись. И его путь вел в никуда. А он мог бы стать большим финансистом. Говорят, нет ничего сложнее шахмат, а только пользы-то от них ни на грош. Жаль, что такой ум столь бездарно был потрачен.

— Ну ладно, — сказал надзиратель, — недосуг мне тут слушать вас целый день; но я понял, что к чему, и согласен с вами. Есть такие люди. Жалко, но есть такие.

И он запер камеру финансиста на ночь и поспешил по своим делам.

ПОЧЕТНЫЙ ЧЛЕН КЛУБА

 неплохо знаю секретаря моего клуба, а потому не преминул выслушать из его уст любопытную историю, которая прежде была достоянием лишь членов нашего попечительского совета.

— Видите того человека? — спросил он меня однажды, указав на входящего в читальный зал мужчину с усталым взглядом. Тот был высок ростом, атлетически сложен и, пожалуй, чересчур изысканно одет, будто зашел сюда с дипломатического приема, чтобы выкурить отравленную сигарету в компании очаровательной шпионки. Хорошо сшитый фрак, отделанный позументом, подчеркивал широкие плечи; шею облегал завязанный пышным бантом шейный платок. Мужчина производил странное двойственное впечатление: тонкий профиль и импозантность намекали на принадлежность к старинной аристократии, а мускулистость, седина в волосах и усталость, сквозившая во взгляде, говорили скорее о том, что перед нами человек, которому пришлось добывать хлеб в поте лица своего.

Я взглянул на его руки и убедился, что так оно и было: то были натруженные руки работяги — полная противоположность утонченности его черт. И вот он проследовал мимо нас с высоко поднятой головой, будто наше присутствие — мое, одного из старейшин клуба, и мистера Хоскена, секретаря, не имело для него никакого значения. Сказанное мною о его высоко поднятой голове не следует понимать слишком буквально; таково было впечатление, которое он произвел на нас, но, по правде говоря, голова у него была поникшей.

— Да, — сказал я мистеру Хоскену, — вижу. Интересно, кто таков.

— Это любопытная история, — ответил секретарь. — Поистине удивительная. Мы приняли его почетным членом клуба. Была причина, заставившая нас так поступить, и неспроста. Особа с известным именем, странствующая по Европе и достигшая наших пределов, подпадает под Правило XII, и мы фактически обязаны были сделать его почетным членом. Хотя тут были свои трудности.

— Кто же он? — спросил я.



– Видите ли, – ответил мистер Хоскен, – этого никто не должен знать, кроме попечительского совета. Мы называем его мистер Мэпп. Но это не настоящее его имя. Нет. В том-то и трудность.

– Так кто же он на самом деле? – настаивал я.

– Так и быть, вам я скажу, – ответил мистер Хоскен, – только вы уж больше никому не говорите, никто не должен этого знать, кроме членов совета.

И, признаюсь, я долго хранил молчание; по крайней мере до тех пор, пока все члены клуба не узнали об этом, а также и вся прислуга, и сама история уж всем прискучила и наконец забылась; так что теперь она опять внове.

– Да, тут возникли значительные трудности, – продолжил Хоскен. – К примеру, с епископом. Пришлось спрашивать его позволения. И, должен сказать, он проявил полное понимание. Не стал возражать.

– А почему он должен был возражать? – спросил я.

– Ну как же, вопрос вероисповедания, – ответил секретарь.

– Он не христианин? – спросил я.

– Отнюдь, – ответил секретарь.

– В нашей империи столько разных вероисповеданий, – заметил я, – не вижу причин, почему епископ мог бы возражать...

– Дело в другом, – сказал секретарь. – Он не обычный верующий.

– А кто же тогда?

– Он, конечно, сейчас удалился от дел, и уже довольно давно. И вреда от него никому нет.

– Да кто же он? – спросил я.

– Видите ли, он бог Атлас*, – ответил секретарь.

– Бог Атлас! – воскликнул я.

– Тише, – шепнул секретарь, – об этом никто не должен знать, кроме попечительского совета.

– Хорошо, – согласился я. – И вы произвели его в почетные члены клуба?

– Да, – ответил секретарь, – приняли почетным членом. В разговоре с епископом мы особо подчеркнули, что даже в уме не держали,

чтобы принять его рядовым членом; и епископ нас понял. Мы называем его мистер Мэпп.

Я снова взглянул на этого человека, если слово тут уместно. Он сидел и читал одну из трагедий древнегреческого автора, которую взял с книжной полки. У нас очень недурная подборка античной литературы, разумеется, все только на языке оригинала. Я смотрел на его точеное надменное лицо, которое странным образом не подверглось воздействию лет, прошедших, по видимости, в тяжких трудах.

— Буду чрезвычайно вам признателен, если вы представите меня ему, — сказал я секретарю.

— Конечно, — ответил он. — Но помните: просто мистер Мэпп.

Мы подошли, и он представил его мне под этим именем. Почетный член бросил на меня быстрый взгляд поверх книги и изящным жестом протянул руку — никогда мне не доводилосьжимать такую крепкую мозолистую руку. Когда секретарь удалился, я без обиняков выпалил:

— Я только что услышал о вас нечто интересное.

— Не уверен, что это действительно интересно, — отозвался Атлас. — Моя история скорее скучна. Не знаю, что может быть любопытного в исполнении бесконечных обязанностей изо дня в день...

— По-моему, это как раз очень интересно, — вставил я.

— Вы ошибаетесь, — сказал Атлас.

— А что же произошло? — спросил я.

— Произошло? — переспросил он.

— Ну да. Почему вы оставили свой пост?

— Слишком большое место в мире заняла наука, — ответил он. — Слишком большое. Никто на моем месте не справился бы в этих условиях. Нельзя сбросить с себя груз ответственности за множество других людей; это просто невозможно. Но когда никто не желает, чтобы ты и впредь нес этот груз, когда никто в целом мире этого не хочет, дело другое. Понимаете, что я имею в виду? Я просто сбросил его с плеч долой и ушел.

— То есть, вы сбросили с плеч мир? — переспросил я.



— Да, — ответил он. — Не без колебаний, не без серьезных раздумий. И когда сделал это, должен признаться, был глубоко поражен; в высшей степени поражен — увидев, что произошло.

— А что же произошло?

— Попросту ничего, — ответил он. — Вообще ничего.

— И как вы это объясняете? — спросил я.

— Наука возобладала в мире, — сказал он. — Вот вы, к примеру, тоже ведь не заметили никакой разницы?

Мне не хотелось говорить, будто я ничего не заметил. Когда низверженный монарх или диктатор спрашивает, заметил ли ты, что изменилось после его падения, не так-то легко мгновенно выпалить, что мол, нет, ничего не заметил. То же самое с богом.

— Я читал, что случилось землетрясение, даже два, — протянул я.

— Очень может быть, — сказал он. Мне показалось, что он воспринял мой ответ с некоторым облегчением.

— Вам, должно быть, грустно, — предположил я, — столько времени вы держали мир на своих плечах...

— Мне было очень холодно, — сказал он.

— Холодно?

— Вот тут, на шее, у меня как раз располагался Южный полюс, — сказал Атлас. — И руки всегда были мокрыми.

Я не понял, при чем тут руки.

— Руки? — повторил я.

— Да, они держали два океана, — пояснил Атлас.

Он умолк. Чтобы продолжить разговор, я сказал первое, что пришло в голову. Реплика моя прервала молчание. Перед моим мысленным взором встали картины, которые я когда-то видел.

— Должно быть, колени у вас очень уставали, — сказал я.

— Колени? — удивился он, пройдясь ладонью по правому колену. — Да нет, не особенно.

— А во что вы опирались коленями? — спросил я.

— Да ни во что, — ответил он. — Особо ни во что.

Он сложил вместе кончики пальцев и задумчиво посмотрел прямо перед собой.

— Да, я просто поднялся и сбросил его с плеч долой, — сказал он.

— Да, понимаю, — кивнул я.



В моих словах не было ничего примечательного, но, видно, что-то в моем тоне заставило его резко обернуться ко мне.

— Скажите честно, — задал он вопрос. — Только честно. На ваш взгляд, я поступил правильно?

— Честно?

— Да, скажите, что вы думаете, — повторил Атлас. — Будьте так добры. Сделайте одолжение.

— Если честно, — ответил я, — мне не очень-то нравится, как обстоят дела в мире. Совсем не нравится. И я не согласен с тем, будто ваш поступок ничего не изменил. Откровенно говоря, я считаю, что вам следует вернуться к своим обязанностям.

Он вздохнул, будто соглашаясь с моим ответом, хотя его слова противоречили тому, что я сказал.

— Слишком для этого много в мире науки.

— Это его, мира, проблемы, — возразил я. — А ваше дело — восстановить порядок.

Он опять вздохнул, и во взгляде его было столько тоски, что я испугался — мне показалось, что я только еще больше расстроил его. Я встал, поклонился и ушел, а поскольку он раньше был богом, то, уходя, я пятился, и лицо мое было обращено к нему.

Больше я никогда не встречал его в клубе; а поскольку вскоре он покинул Лондон, я так и не узнал, как он решил поступить.

ЭКСПЕРИМЕНТ



Впервые зашел у нас в клубе разговор о преступлениях без наказания, и некто по имени Смуэн подытожил все наши истории такими словами:

— Мне известен случай беспримерного убийства, совершенного человеком, оставшимся безнаказанным. Более бесчеловечного преступления и представить себе невозможно, а между тем этот парень даже не предстал перед судом.

— Что же он сделал? — спросил кто-то.

— Он живьем содрал кожу с человека, — сказал Смуэн.

— Невероятно! — воскликнули мы в один голос.



И он поведал нам свою историю.

— Случилось это где-то на Мурманском берегу, — начал Смуэн. — Он снял кожу с живого человека ни за что ни про что. Я услышал про это из первых уст от одного человека, во время плавания на корабле, в курительной комнате.

— И как же сам-то рассказчик впутался в эту историю? — спросил я.

— Это случилось ночью, в глухом месте; пять человек слышали крики, и все пятеро отказались дать свидетельские показания.

— И отказали в помощи человеку, которому грозила неминуемая смерть?

— Да, и это тоже, — ответил Смуэн.

— Да что же они за люди! — наперебой воскликнули мы.

— То были епископ с женой, — ответил Смуэн, — и охотник с женой и дочерью, которые тоже были охотниками.

— И ни один из них не пришел на помощь?

— Ни один, — сказал Смуэн.

— Непорядочно, — заметил кто-то.

— Действительно, непорядочно, — поддакнул другой. А остальные промолчали, ожидая продолжения рассказа.

— Человек в курительной комнате на борту русского корабля сказал, что сделал это один из тех чудаков, которые вечно попадают во всякие переделки. Звали его Салкен. На Поморские кресты его привели слухи о том, будто с морских котиков снимают шкуру живьем. Он познакомился с неким Гоунзом, который промышлял котиков, и спросил, правда ли это. Разговор шел в гостинице, после пары стаканчиков виски. Не знаю, что ответил ему Гоунз; мне известно лишь то, что он потом сказал Гоунзу.

Так вот, не знаю, подтвердил ли Гоунз, будто шкуру с котиков действительно снимают живьем или нет, но что он точно сказал, так это то, будто мех при этом хорошо сохраняется, а котики, конечно, испытывают боль, но не очень сильную. И вот эти слова, должно быть, сильно заинтриговали Салкена, так крепко засели ему в голову, что ни о чем другом он и думать не мог. Знаете, как бывает с одержимыми какой-то одной идеей. Говорят, он то и дело бормотал себе под нос: «Я должен это проверить».

И что же он делает дальше? Нанимает двух головорезов, настоящих бандитов, что за полсотни фунтов, что, как говорили, он им отвалил, пойдут на что угодно, и поджидает, покуда Гоунз появится на побережье.

А дальше, говорят, в гостинице за стаканчиками виски он все допытывался у Гоунза, правда ли, что котики не очень сильно страдают, когда с них сдирают шкуру, и повторял, что хочет в этом убедиться. Каким-то образом он выманил Гоунза на берег, чтобы тот ему показал, как легко снимается шкурка таким способом. По дороге Гоунз будто все повторял свой любимый довод: котики, мол, сравнительно холоднокровные животные, потому что обитают во льдах, а оттого им не так больно, когда их обдирают, как было бы нам с вами. Гоунз думал, что для того и идут они на берег, чтобы это проверить, иначе дал бы деру. А про тех двоих Салкен сказал ему, что они живодеры, и это было истинной правдой.

И вот едва они дошли до берега, где было лежище котиков, Гоунзу заткнули рот и связали; только тут он понял, что за эксперимент готовится. Это было отвратительнейшее преступление. Вокруг расположились котики, будто ожидающие своей участи; но те двое, даже не взглянув на них, раздели Гоунза догола, что уж само по себе жестоко морозной ночью в тех широтах. А потом они принялись сдирать с него кожу.

Через несколько минут Салкен вытащил у него изо рта кляп, и тогда епископ с женой и охотничье семейство услышали их спор. Они находились слишком далеко, чтобы слышать слова Салкена — примерно в полумиле; но Гоунза они слышали отчетливо и разобрали, что он кричал. А кричал он, что для котиков этот способ годится, но для человека убийствен. Однако он не смог переубедить Салкена, и тот велел своим подручным продолжать.

Охотник держался того мнения, что котики находятся в неравном положении с людьми, а это неспортивно; жена с дочерью с ним соглашались — в семейном кругу трудно ждать разнообразия взглядов. Что думали на этот счет епископ и его жена, осталось неизвестным, потому что они не проронили ни слова. Салкен содрал с Гоунза всю кожу, после чего бедняга, конечно, умер.



Едва Смуэн закончил рассказ, разгорелся спор. Одни считали, что Салкена следовало повесить, другие особого законопослушания в этом вопросе не проявили. И как часто бывает в спорах, когда у каждой стороны есть свой резон, мы ни до чего не договорились.

В ДОЛИНЕ ЛЮТИКОВ

Не могу сказать, в каком году случилась эта история. Рассказал мне ее в пору моей ранней молодости старый полковник, старина Чардерс, еще в начале века. Я был слишком юн, чтобы задавать ему вопросы, а потому не уточнил, когда именно это произошло; знаю лишь, что в те времена железные дороги в Энгадине* были редкостью, а далее Тузиса* их вообще еще не проложили, так что Чардерсу пришлось двинуться в горы на сани.

За давностью лет я забыл, где он остановился на ночь, но до сих пор помню, какого цвета была река, струившаяся с гор за окном у его изголовья: она была бледно-изумрудного цвета, сказал полковник.

Мы случайно встретились с ним в унылой гостинице; он курил трубку в одиночестве и очень скучал, а потому и заговорил со мной, а я был очень польщен, что ко мне обратился человек гораздо старше меня, раза в четыре. Начав разговор, он поведал всю историю целиком, глядя больше на дым от трубки, чем на меня. Помнится, как ни молод я был, а все ж обратил внимание на то, что одни вещи, о которых он говорил – вроде той изумрудной реки – он будто воочию видел перед собой в этих клубах дыма, а другие, которые мне как раз казались более существенными, оставались ему невидимыми.

Полковник продолжил рассказ на другое утро; припомнил колокольчики под дугой, выкрики возницы и большие круглые печи в гостинице, от которой он отъехал, а еще немецкие слова, которые только что тогда выучил. Направлялся он в место под названием Зильсер Зее и рассчитывал прибыть туда к вечеру.

Он поначалу ничего не говорил про красоту гор, будто не видел их своим мысленным взором; они будто внезапно вспомнились ему где-то глубоко за полночь. Он рассказывал, что повалил густой снег, за ним почти ничего не было видно, но полковник сохранил в

памяти впечатление невероятной красоты, сокрытой в глухой тиши. Я не вполне понимал, о чем идет речь, и не осмелился переспрашивать, но в моем воображении рисовалось великолепие горных утесов, мрачно нависающих с высот, где буйствовал ветер, и безмятежность озер там, внизу, красоту которых он так запоздало заметил после ночного снегопада при свете, лившемся из окон монастыря, расположившегося высоко на горе.

Он сказал, что к тому времени снег пошел так обильно, что ничего не видно было окрест, кроме тех скудных огней. Поднялся ветер, снегопад превратился в буран. Проехав некоторое расстояние, он заметил, что огни, которые он некоторое время назад увидел с правой стороны, так справа и остаются, словно монастырь двигался вместе с ними. И тут возница сказал, что дальше дороги нет.

— Что ж нам, ночевать здесь? — спросил его полковник Чардерс. (Правда, в то время он еще был, наверное, младшим офицером, а то и вообще не служил в армии, но об этом речи не было.) В ответ возница пожал плечами; так они застряли в снегу. «А нельзя ли поехать на эти огни?» — спросил Чардерс. Они казались единственным знаком присутствия человека в кольце гор. Возница ответил, что не знает туда дороги.

Полковник стоял на своем: мол, к такой большой обители должна быть проложена тропа, и надо ее искать. Возница, похоже, ничего про тропу не знал и хотел вернуться назад в Тузис, но полковник решительно отказался ехать с ним. В итоге они стали искать во тьме тропу по краю дороги и нашли ее. Возница одолжил Чардерсу фонарь и повернул по склону горы назад в Тузис, а полковник двинулся вверх, освещая фонарем путь во мгле. Буран здесь, на высоте, улегся, не то что на дороге, вырубленной в скалах.

И все же путь был нелегок, и полковнику временами казалось, что путь не одолеть; в какой-то момент он уж и вовсе было отчаялся и сел прямо в снег, но как раз тут и обнаружил его монах, увидевший свет фонаря и вышедший ему навстречу. Вместе они дошли до монастыря; к тому времени поднялся сильный ветер и становился все пуще. У входа возле открытой двери столпились монахи; они, казалось, рады были бурану, позволившему им совершить одно из



Танцовщица Трепещущий Лист



тех благих дел, к которым они были призваны – дать приют страннику в такую ночь, как эта.

Полковника накормили и, наверное, обсушили, но об этом, как и о том, какими словами его встретили, он мне не говорил. Похоже, что в его памяти осталось лишь то, что один монах рассказал ему после ужина, сидя рядом с ним в библиотеке и угощая сладким самодельным вином.

Подозреваю, что полковник замерз до полусмерти, и монахи из всех сил старались его согреть, так что, пожалуй, переусердствовали. Так или иначе, сидел он с тем старым монахом, братом Игнотелло и пил их необычное вино, которое пробудило его воображение, заставившее поверить в то, что, наверное, мир однажды тоже показался обитателям монастыря новым, прекрасным и удивительным, как вот сейчас ему самому. Он, возможно, пока не вполне отчетливо это понял, лишь догадка сверкнула в его мозгу. И он сказал монаху, что, верно, их жизнь в миру была совсем не похожа на ту, которой они наслаждались здесь среди книг.

– Да, пожалуй, – ответил монах. – По крайней мере, для некоторых из нас.

А потом он захотел показать полковнику некоторые старинные книги, любовно переплетенные в тонкую кожу. Но вместо того чтобы смотреть книги, полковник упросил монаха выпить с ним вина. И с удовольствием наблюдал за результатом, попыхивая трубкой. Он снова вернулся к разговору о большом мире за монастырскими стенами и заговорил о том, знакомы ли монахи с его чудесами. Разговорился и монах; к каким временам относился его рассказ, полковник не знал, лишь сказал мне, что монах был очень стар.

Да, подтвердил брат Игнотелло, у монахов, как и у мирян, была раньше своя жизнь. Вот и ему пришлось пережить такое, что заставило бы не одно молодое сердце забиться сильнее. Глаза старика загорелись, и полковник подумал, что сейчас он расскажет о каком-то бурном приключении. Но старик молчал, задумчиво глядя в дальний угол сумрачной комнаты, а глаза его по-прежнему горели. Молчание затягивалось. Наконец, поняв, что не дожидется от старика воспоминаний молодости, полковник пододвинул ему вино и задал еще один вопрос.



— А что привело вас сюда? — спросил он.

Он был уверен, что получит ответ, ибо это относилось к той жизни, к которой монах был призван, а не к той, от которой он ушел по своей воле. И, помолчав, брат Игнотелло ответил ему. Его слова звучали подобно бурному потоку, что прорывается из-под ледяной корки в горах.

— В Европе тогда шла война, — начал он. — Было это давно; разразилась битва, от которой зависел ее исход. Слева от неприятеля была река.

— Как она называлась? — спросил полковник Чардерс, надеясь таким образом понять, где имел место этот эпизод, а стало быть, и дату, о чем он не мог догадаться, судя по почтенному возрасту монаха.

— Гравины*, — ответил монах.

— Гравины? — переспросил полковник.

— Она обозначена только на военных картах, — сказал брат Игнотелло, — да и на них теперь уж вряд ли; а еще на карте, принадлежавшей одному фермеру, которая хранится в конторе адвоката в небольшом городишке вместе с другими документами, касающимися этого фермера. Столицы обычно располагаются на берегах больших рек; о них рассказывает география; но история иной раз творится на малых реках, и важные сражения связаны с такими речушками, как Гравины, которой не найти ни на одной карте. Мне выпал случай убедиться в ее значимости.

Нам надо было перейти эту речку, чтобы спровоцировать неприятеля. Сделать это следовало открыто, у него на виду, чтобы заставить его подтянуть резервы на левый фланг. Мы должны были перейти реку по центру. Наверняка Европа представляется вам монолитной, как гора, издревле нерушимая; страна рядом со страной, границы между которыми незыблемы, как Альпы; но если бы я тогда перешел эту речку, вам, мой юный друг, пришлось бы заучивать в школе другие границы.

— Я с волнением слушал его, — сказал полковник. — И когда он умолк, спросил: «А вы, значит, ее не перешли?»

— Что ж, — ответил монах, — не каждый рождается Наполеоном. Конечно, я ее не перешел. Речка текла меж зеленых лугов, а в траве золотились лютики. Я раньше этих лютиков не замечал! Будь я

Наполеоном... но я раньше не замечал лютиков. Наполеон бы их заметил. Они росли куртинами...

— В голосе его слышалось такое грустное томление, — сказал полковник, — что я оторопел. «Лютики?» — растерянно повторил я.

— Я повернул свою конницу назад, — закончил монах, — и больше никаких лютиков не видел.

— Мне показалось, что у старика в голове все смешалось, — сказал полковник. — Он спутал идиллическую картинку юности с военным эпизодом; я был уверен, что он верит в то, что говорит, и мне хотелось, чтобы он отделил в своем рассказе историю о сражении от той, что наложилась на нее у него в памяти.

— А почему, вы думаете, Наполеон заметил бы лютики? — осторожно спросил я.

— Земля была болотистая, — ответил старый монах и тихо вздохнул. Потом улыбнулся, словно отпуская воспоминания о прошлом, избавляясь о горестных размышлений о славе и утратах, и лицо его разгладилось.

— По сей день у меня в ушах, — сказал полковник, — стоят слова, которыми я, запинаясь, нарушил повисшую тишину.

— Что же произошло дальше? — спросил я.

— В одну секунду, — ответил брат Игнотелло, — понял я, что моим честолюбивым планам не суждено сбыться, и решил удалиться сюда.

— А что же это были за планы? — спросил полковник.

— Я думаю, — сказал монах, — что это касается только моего исповедника и меня. Но вы явились сюда в такую страшную ночь, и мы так счастливы дать вам приют, сделать все, чтобы вы приятно провели время, пока сани не вернутся за вами, что я скажу вам то, о чем вы спрашиваете, как уже много-много лет рассказываю моему исповеднику.

— Да-да, — заторопился полковник вернуть его к сути дела. — Итак, ваши планы...

— Это было мировое господство, — сказал монах.

Кто же был тот монах? С кем я говорю? — терялся в догадках молодой человек.

— Да кто же вы? — выпалил он.

Старик улыбнулся.

— Ну как кто, — ответил он, разведя руками. — Я брат Игнотелло.

БЛАГОДАРНОСТЬ ДЬЯВОЛА



двадцать лет Бостер поступил на службу в крупную лондонскую фирму, изготавливавшую всевозможную еду в консервных банках и пакетах, а также множество других вещей. С тех пор прошло немногим больше года. По субботним дням и воскресеньям он обыкновенно уезжал из Лондона и прогуливался по сельской местности. Но даже в сельской глуши, даже в разгар весны, он по-прежнему думал о работе. Бостер мечтал изобрести новый продукт для завтрака. Так как он с самого начала трудился над новой линией съестного, то исключил из рассмотрения обычную пищу и сконцентрировался на таких вещах, как конский каштан, мягкая кора деревьев, ягоды шиповника и боярышника, древесные почки, желуды и даже глина, правда, в небольших количествах. Заметив во время своих пеших прогулок что-то новое, он брал эту вещь на заметку, чтобы затем испытать на пригодность. У него была собачонка, очень помогавшая ему в этом деле.

И вот однажды весенним воскресным утром, в одну из прогулок по лесу, его внезапно осенило, и он изобрел свой новый продукт для завтрака. Продукт понравился фирме и она, щедро заплатив Бостеру, немедленно выпустила его на рынок. Новая еда весьма успешно раскупалась, и не прошло и недели, как к молодому Бостеру ночью, когда он пробудился ото сна, явился дьявол. Увидев, как тот, голый и черный, стоит в его комнате, в квартирке на скромной лондонской улочке, он первым делом подумал: «Как ты сюда попал?» Произнес он эти слова вслух или же просто подумал про себя, но дьявол ответил:

— Я прекрасно знаю эти места.

При встрече с важной персоной маленький человек обычно полагает, что та не может знать всех подробностей того, с чем хорошо знаком он сам. Подобное заблуждение проистекает из двух источников: во-первых, из веры маленького человека в то, что ему доподлинно известны собственные обстоятельства, а, во-вторых, из ощущения, что важные персоны слишком далеки от обыденной



жизни, чтобы быть осведомленными о вещах, знакомых маленькому человеку. А дьявол тем временем стоял и улыбался.

— Чего ты хочешь? — выдавил из себя Бостер.

— Ничего, — ответил дьявол.

— Тогда что привело тебя сюда? — спросил Бостер, почувствовав облегчение, но по-прежнему испытывая некоторую неловкость.

— Чувство признательности, — ответил дьявол.

— За что? — поинтересовался Бостер.

— За «Тоддламс», — ответил дьявол. Так фирма Бостера окрестила его новый продукт для завтрака.

— Ну что ж, — произнес весьма польщенный Бостер, — по-моему, недурная еда.

— Отвратительная, — поправил Сатана. — И я преисполнен благодарности.

— О, — протянул Бостер.

— И вот я, — продолжал Сатана, — пришел предложить тебе все, что пожелаешь... разумеется, в разумных пределах.

— Все что пожелаю? — переспросил, запнувшись, Бостер.

— В разумных пределах, — напомнил дьявол.

Бостер принялся торопливо перебирать возможности, опасаясь, что если его просьба окажется чрезмерной, он не получит вообще ничего или даже хуже. И, руководствуясь этими соображениями, а также чувствуя на себе могучее воздействие весны, он второпях сделал следующий выбор: он хочет сочинить величайшее стихотворение из всех когда-либо написанных. Выражение, появившееся при этом на лице дьявола, Бостер так и не смог истолковать. На самом деле тот хотел сказать, что Бостер попросил слишком много, хотя потом сам Бостер всю жизнь винил себя за то, что попросил такую безделицу. Затем Сатана, кивнув, исчез. Он покинул дом в обличье человека и зашагал вниз по улице.

— Добрый вечер, дорогуша, — обратилась к нему на улице женщина свободной профессии. Ответив ей теми же словами, он вернулся в Ад.

Едва забрезжил свет и защелбтали ласточки, как Бостера охватило непреодолимое желание сочинять. Он тут же вскочил с кро-



вати, собрал все свои карандаши, блокноты и писчую бумагу, затем для вящей предосторожности выгреб всю бумагу из комода. И принялся писать. Слова лились легко – это было для него удивительно, – и он быстро занес их на бумагу, всего четырнадцать строк.

Больше он, как ни старался, не смог написать ни строчки. Похоже, он заключил невыгодную сделку. Но позже, когда он встал и оделся, он понял, что ничего не потерял, а кое-что и приобрел, пусть даже сущую безделицу; так что любой, кто хоть немного разбирается в бизнесе (а Бостер полагал, что он-то разбирается прекрасно), не назовет эту сделку невыгодной. Он дважды переписал стихотворение, чтобы оно не потерялось, ибо, вполне доверяя дьяволу, считал, что это лучшие стихи из всех когда-либо написанных, хотя он сам не видел в них большого смысла и чувствовал себя немного оскорбленным тем, что, несмотря на все его усилия, ему не удалось прибавить к ним ни строчки.

Далее следовало решить, что делать со стихами. В его конторе работал старший клерк мистер Биллингс, знавший о спросе и предложении все, что можно было знать; к нему обращались по любым вопросам – иногда даже глава фирмы. И Бостер, дождавшись перерыва на ланч, спросил его, можно ли с ним поговорить, прошелся с ним немного пешком и спросил, что он думает о поэзии.

– Полезная штука, – ответил мистер Биллингс, – если ее верно применить. Коротким стихом можно привлечь внимание людей, которые ни за что не дочитали бы фразу до конца. Но все зависит от партии товара.

– У меня есть короткое стихотворение, – сказал Бостер.

И он его прочел.

Мистер Биллингс разразился слезами.

– Не думай, молодой глупец, – сказал он через некоторое время, – что эта минутная слабость с моей стороны как-то связана с твоим стихотворением. На самом деле я вспомнил свою любимую тетушку. В данный момент я не в трауре, потому что она умерла уже давно, но это не мешает мне думать о ней. Ты ведь не считаешь, что о людях не стоит вспоминать только потому, что они давно умерли?

– Нет, вовсе нет, – ответил Бостер.

– Очень хорошо, – сказал мистер Биллингс, – я все сказал.

И они расстались.

В маленькой закускойной, куда зашел Бостер, обычно обедал в то же время клерк другой фирмы, Стеркин. Часто они сидели вместе за столом, так что Бостер довольно хорошо его знал. Когда Бостер вошел, тот, как обычно, был на месте. И так как мистер Биллингс из-за странного потока слез так и не высказал ему своего мнения о стихах, Бостер, как только они уселись за стол, прочел их Стеркину. Тот внимательно слушал, но как только короткое стихотворение закончилось, ужасно рассердился. Стеркин не сказал почему, но глядел на Бостера так свирепо, что через некоторое время тот встал и пересел за другой столик. Теперь ему не с кем было поговорить, кроме официанта, и в перерыве между подачей блюд, пока официант стоял поблизости, он, подождав его кивком головы, спросил, не согласится ли он выслушать стихотворение.

– Что ж, – отозвался официант, – вообще-то я не прочь.

Он напустил на себя строгий вид и, когда Бостер начал читать, уставился левым глазом в потолок. Но вскоре он устремил взгляд в окно на апрельское небо, выражение его лица смягчилось, он выронил салфетку, не замечая посетителя, подающего ему знаки, и даже, вероятно, забыл о своих обязанностях. А когда стихотворение закончилось, он взял тарелку, швырнул ее об пол и удалился по осколкам вглубь зала, не вымолвив ни слова.

«Кажется, с этим стихотворением что-то не так, – подумал Бостер, – но что, ума не приложу».

И странное дело: следующий человек, которому он прочел стихи, пришел от них в неописуемый восторг. Бостер, вернувшись на работу, прочел их другому клерку; тот подскочил, его глаза сияли, лицо светилось радостью:

– Меня тошнит от этого места, – сказал он. – Я отправляюсь в лес.

Он тут же бросил работу и сел на автобус, идущий за город.

В тот же вечер, на вечеринке с коктейлями, Бостер прочитал свои стихи девушке по имени Джин, которая была, скорее, его другом, или так ему стало казаться. Но пока он читал ей стихи, она, даже не дослушав до конца, странно посмотрела на него и ушла, что-то пробормотав о том, что ни от кого не потерпит вольностей. Бостер огорчился, что потерял друга – абсолютно неожиданно и неизвестно почему. Вскоре он был представлен другой девушке, но почти все



время молчал, так как все еще был расстроен из-за Джин. И вдруг ему пришло в голову, что он легче разберется с этим странным стихотворением, если прочтет его абсолютно чужому человеку.

Поэтому он прочел стихи этой девушке, имени которой даже не запомнил. Девушка стояла неподвижно и молчала, зрачки ее глаз стали огромными, и Бостер испугался, что она сейчас расплчется, как мистер Биллингс. Однако под конец она просто отшвырнула сигарету, оставила свой нетронутый коктейль и вышла вон из комнаты на свежий воздух, глубоко вздохнула и стала глядеть на звезды.

— Что ж, — произнес Бостер вслух и, больше не сказав ни слова, тоже покинул вечеринку. На улице он подозвал такси, сообщил водителю свой адрес, но прежде чем сесть в автомобиль, сказал:

— Погодите немного. Я собираюсь послать в газету одно стихотворение и хочу убедиться, что поступаю правильно.

И он начал декламировать. Но не успел он закончить, как водитель очень сердито крикнул:

— Эй, я не позволю себя дурачить!

Он на самом деле очень рассердился. Будь он возницей прежних лет, он спрыгнул бы с козел и ударил Бостера, но время подобных поступков вот уже несколько десятков лет как миновало, и водитель, не дав выхода гневу, уехал, что-то бормоча себе под нос.

Для Бостера это стало последней каплей. Он чувствовал себя отцом непослушного ребенка, посылающего свое чадо в школу. Его глупая ложь, что он хочет послать стихи в газету, подсказала ему, что делать дальше. Он уничтожил все копии стихотворения, кроме одной, и отослал ее в «Ньюс-Гатерер». С него довольно, пусть его читает публика. Как ни опротивело ему стихотворение, он давал ему последний шанс, посылая в такую важную газету. Через несколько недель оно к нему вернулось с письмом от редактора, в котором говорилось, что ему лично нравятся стихи, но они не вполне соответствуют стандартам «Ньюс-Гатерер».

— Ну что ж, — сказал Бостер, — это решает дело.

И он выкинул проклятое стихотворение прочь.



ПОСЛЕОБЕДЕННАЯ РЕЧЬ



«Хэмпшир-хаусе», крупном отеле, построенном на месте разрушенной ратуши и проданном несколько лет назад, в отдельном зале был накрыт стол для торжественного обеда на двадцать две персоны. Было уже восемь часов вечера, а из гостей явился только один. Когда он вошел в зал и направился к столу, один из официантов спросил: «Угодно ли вам подождать других джентльменов, сэр? Мне кажется, кое-кто уже поднимается. Они будут с минуты на минуту, сэр».

— Нет, ответил единственный гость, — начнем точно вовремя.

С этими словами он сел, выбрав место во главе стола. С этого момента официанты не отрывали от него глаз, потому что этот эксцентричный жест сразу вывел его из числа обычных гостей, а стало быть, за ним следовало следить в оба.

Ему подали обед из семи блюд, и в течение часа он не сделал ничего из ряда вон выходящего, но за ним по-прежнему пристально наблюдали. И вдруг ровно в девять он неожиданно поднялся со стула и стал говорить; не просто говорить, а произносить послеобеденную речь. Обращена она была, судя по всему, к двадцати одному игроку* в крикет.

— Он произносит речь, — шепнул какой-то из официантов своему соседу.

— Вот именно, — ответил тот.

И речь продолжалась.

— Надо бы сообщить мистеру Бретону, — сказал один официант. Как-никак, их было в зале шестеро, а обслуживать пришлось всего одного посетителя. Прочие закивали, и тогда один из них выскользнул из зала и направился к управляющему. Речь тем временем продолжалась. Через минуту-другую в зал поспешно вошел управляющий.

— Он произносит речь, — сразу же доложил ему один из официантов. — Он совершенно трезв.

— Я помню всех вас, — говорил единственный гость. — Все вы, кроме меня, мертвы, и каждый из вас играл лучше меня. Да, каждый из вас.



— Он и вправду трезв! — удивленно заметил управляющий.

— Все вы били по мячу лучше меня, — продолжал одинокий гость. — Большинство из вас забрала война. А те, кого она миновала, тоже были покруче меня. Представьте теперь, что я последний из вас, кто остался в живых. Вот так. И средства нашего фонда позволяют устроить еще один, последний обед.

— Хорошо бы послать за полицией, — тихо промолвил мистер Бретон.

И еще один официант выскользнул из зала, чтобы позвонить по телефону.

— Конечно, — продолжал оратор, — на эти деньги можно было бы устроить несколько не столь пышных обедов в расчете на меня одного. Но стоило ли? Я хочу вспомнить вас всех и выпить за вас за всех, увидеть ваши лица — и я почти вижу их благодаря бокалу-другому шампанского, которое всколыхнуло мою память; но я и без шампанского помню всех вас, ребята. И никогда не забуду. Всех и каждого. Я помню каждого. Я мог бы по одной подаче различить и узнать вас. Я без труда могу мысленно увидеть, как вы играете в крикет. Но мне трудно представить, будто я сам сейчас играю. Только взгляните на меня! А вы сохранились в моей памяти все теми же молодыми парнями. Как ни смешно, но я так и вижу всех вас с мячом, а вот себя вообразить с ним больше не могу.

Теперь я хочу попрощаться с вами; дело в том, что, как я уже сказал, средства нашего фонда исчерпаны, и более нам здесь не обедать. Прощайте, ребята. Я говорю «прощай» каждому из вас. Больше мы так явственно уже не увидимся. Некоторые из вас уже растворяются в сумраке, а может, просто тают в дыме моей сигары. И вы будете становиться все менее различимы, но навсегда останетесь со мной. Навсегда сохранитесь в моей памяти. Я вот думаю, что будет после моей смерти, куда денется моя память? Заметите ли вы мой уход? На что он будет похож — на закрытие поля для крикета? Может быть, наша память никуда не исчезает? Не знаю... Но мы прожили вместе чудесное время, много замечательных летних дней.

— Идет! — негромко воскликнул кто-то из официантов. Управляющий ввел в зал полицейского.

– Ваше имя? – обратился он сперва к управляющему и записал себе имя.

– И ваше имя, сэр? – спросил он гостя. – Ваш адрес?

Затем он вновь обратился к управляющему:

– За обед уплачено?

Управляющий ответил, что да, уплачено. Полисмен записал и это. Он записал еще имя и фамилию гостя, его адрес, фамилию управляющего под названием «Хэмпшир-хаус». Пролодав все это, он пересчитал куверты и сказал:

– Сколько тут должно быть? Двадцать два. Пришел только один джентльмен; стало быть, на его долю досталось многовато шампанского. Но перебор шампанского особого вреда не наделает. К утру джентльмен будет в полном порядке.

С этими словами полисмен удалился, следом за ним медленно вышел управляющий, а двое официантов вежливо подали гостю пальто. И едва он покинул зал, третий официант одну за другой погасил лампы в зале. Когда же комната погрузилась во тьму, и только тусклый свет слабо мерцал в окне над дверью, официант оглядел длинный стол, и его, единственного из всех, осенила догадка о смысле слов, сказанных одиноким гостем. Но то, что он понял, исчезло через мгновение, пропало из виду, едва он вышел из темного зала на яркий слепящий свет.

JE-NE-SAIS-QUOI¹



днажды, прогуливаясь в пиниевой роще, которая вместе с растущими под деревьями асфоделями удивительнейшим образом врзается прямо в центр Афин и поднимается по склону горы, сверкающей своей голой вершиной на фоне синего неба, встретился я с существом, в котором, не вспомни я, что нахожусь вдали от Ирландии, опознал бы лепрекона; может, чуть побольше и получше одетого, но явно того рода-племени. К моменту нашей встречи в городе прозвучал сигнал воздушной тревоги, и у него,

¹ Неизвестный (фр.)



когда он ко мне приближался, был тот озадаченный вид, что видится порой в глазах человека, которого внезапно пробудили ото сна.

Огонек, блеснувший в его глазу, привлек мое внимание; мы разговорились. Он сказал, что живет в этой роще, и добавил:

— Вы, должно быть, никогда обо мне не слышали. Моя мать продавала асфодели, которыми украшали храмы. Она собирала их в этой роще. О ней вы тоже наверняка никогда не слышали. Никто не удосужился записать ее историю. Да и с чего бы?

Он так робко говорил о себе и о своей матери, что я из простой вежливости решил поддержать разговор и заметил:

— Возможно, я слышал что-нибудь о вашем отце.

— О да, о моем отце вы, безусловно, слышали, — откликнулся он. — Но это не важно, не важно.

Следует заметить, что говорил он по-гречески, но не на современном, а на древнем языке, а потом молниеносно переходил на удивительно беглый английский. Можно было бы счесть его английский родным, если бы истинного англичанина нельзя было бы тотчас опознать уж не знаю по чему — по платью, по лицу или по шляпе еще до того, как он откроет рот.

— Мой отец появился однажды в этой роще, — продолжил он, — под личиной, которую он себе иногда выбирал. Словом, он маскировался. Но я-то вообще никто, просто живу в этой роще.

— В роще? — переспросил я. — Но ведь тут даже укрыться негде под деревьями. Слышали вой сирены? Не лучше ль приискать себе более надежное укрытие?

Каким-то нутряным чутьем я понял, что он говорит правду. Ясно было, что его мать — простая женщина, как и сам он; в то же время в его очевидном нежелании смутить меня малейшим намеком на то, что могло бы поселить во мне ощущение неполноценности, я явственно видел знак аристократизма. Он запинаясь, отводил глаза, наконец, надолго умолк. Заговорил он вновь с виноватым видом, будто извиняясь за то, что вообще затронул эту тему:

— Конечно, моя мать была простой женщиной, проще не бывает. А я... как бы это сказать.... Я бессмертен.

С этими словами он в полном смущении отпрянул в тень молодых пиний и неземной свет асфodelей.



ПОСЕЙДОН



олнце уже клонилось к Пелопоннесу*, когда я подошел к храму Посейдона*. Его колонны, насквозь пропитавшиеся золотом солнечного света, теперь как будто растворялись в воздухе, превращаясь в золотой эфир. Это впечатление исчезало по мере моего приближения к храму, и когда я оказался рядом с ним, исчезло совсем. Горы и острова, полукругом окружавшие берег, еле заметно стягивали к себе пурпурные облака, которыми окутывались на ночь.

Подходя к храму, я никого там не увидел, но, блуждая взглядом по кромке моря, заметил сидевшего в прибрежных зарослях тихого маленького старичка. Пока я не обратился к нему, он не произнес ни звука, а когда я заговорил, в ответ на всякий вопрос лишь вздыхал и повторял, что нынешние времена не то, что прежние.

— А чем вы занимаетесь? — спросил я, подозревая, что он, верно, в изменившемся мире не нашел места своему ремеслу.

— Теперь ничем, — ответил он. — Я отошел от дел. Ничем нынче не занимаюсь.

Он вздохнул и умолк.

— А что же вы все-таки делали раньше? — спросил я.

— Ах, — ответил он, — ах, я сотрясал землю. Буквально сотрясал ее. И приводил в ужас людей, живших вдали от берегов.

— Приводили в ужас? — переспросил я.

— Конечно, — ответил он. — За девять миль от побережья и даже дальше. И они приносили мне жертвы в этом храме. Быков. В огромных количествах. Отличных быков, красиво истекавших кровью. И земля сотрясалась, покуда они приносили их в жертву. Такие были времена. Такие времена. Я поднимал шторма, которые сотрясали землю.

— Следовательно, вы были... — начал я.

— Разумеется, — ответил он. — И это мой храм.

— И вам более не приносят жертв? — спросил я.



– В том-то и дело, – сказал он. – В том-то и беда. Когда жертвоприношения возобновятся, я снова смогу сотрясать землю. Но люди нынче беспечны и ленивы, не то, что их предки. Знаете, я ведь выдывал в этом храме до пятидесяти быков за один раз.

– А почему вы теперь не сотрясаете землю? – спросил я его.

– Мало что можно сделать без бычьей крови, – ответил он. – Откуда взяться силам, ежели нет бычьей крови. Но люди, конечно, снова будут приносить мне жертвы; может, очень скоро. Но покуда они беспечны и ленивы.

– Отчего же они должны приносить вам жертвы? – спросил я.

– Это их долг, – резко ответил он.

Тогда я сделал то, что нипочем не следует делать, когда речь заходит о религии; я попытался спорить.

– Но разве они жертвовали не за тем, чтобы вы прекратили сотрясать землю? – спросил я.

– Безусловно, – ответил он.

– Тогда какой резон им вновь начать приносить жертвы, чтобы вы набрались сил и снова взялись за свое?

Мой вопрос пропал втуне. Подобные аргументы никогда не достигают цели. Он просто потерял ко мне интерес, и вместе с этим растаял в воздухе; лишь смутные очертания фигуры, его лица, бороды и изодранного одеяния чуть виднелись в вечернем свете. А потом прилетела жужжащая бабочка-шмелевидка*, закружила над цветком, и старый бог отодвинулся от нее.

– Что тут за суета? – сварливо произнес он. – Нельзя разве вести себя поспокойней? Я вот никогда не тороплюсь. Какая в том нужда? Никакой нужды нет.

А я подумал, что он лишь сделал вид, будто покинул меня по своей воле. На самом деле его отбросило сквознячком, потянувшим от крыльев летящей бабочки.

БЛИЗКО



ухи вовсе не обязательно обитают в некоем своем замкнутом пространстве. Если старый дуб или руины башни, или какой-то темный коридор древнего дома при свете полной луны сподобились стать обителью призрака, который вновь появился там в полнолуние, как знать, какой путь успел он проделать за этот лунный месяц. И покада мы следуем заросшими травой тропинками, огибающими сад, призраки, быть может, кружат по орбитам планет, а то и где-нибудь дальше, где и планет-то нет, путешествуя близко к скорости мысли; хотя их шаг, само собой, меняется в зависимости от настроений, нарушающих невозмутимость эфира. Однажды я повстречал такого вдали от его дома. Он поведал мне свою историю. Но смысл ее дошел до меня только на другой день, когда я гулял у отрогов гейдельбергских гор, поблескивавших черными искрами железных руд.

Боги звезды, которую он мне не назвал, слепили себе планету и даже уже почти заставили ее вертеться в космической пустоте вокруг своего светила. Из слов того призрака я понял, что планета эта, хоть и небольшая, была прекраснейшей из всех, чьи орбиты он посетил. Пусть она частью была сумрачной или пустынной – не обо всех уголках ее он мне рассказал – но если она действительно во многом была именно такой, какой он ее описывал, то никакое воображение не нарисует себе что-либо более прекрасное.

Он говорил о цепи гор, утесы которых смутно напоминали очертания самих богов: серые и мрачные на вершине, ниже они были украшены зеленым лутовым нарядом, который переходил в виноградники, окруженные лесом. Называл он и деревья в том лесу, да звучали их имена мне незнакомо, но по звенящему голосу, каким он рассказывал о них, можно было понять, что отличались они дивной красотой, неведомой на нашей земле.

Он рассказывал о белых домиках, расположившихся в их тени, и садах вокруг этих домов; о горных ручьях, вечно струящихся по кручам, ибо нет разницы во временах в глазах богов, и они, не прикованные, как мы, к настоящему, как к единственной странице



в открытой книге, взирают на все, как на картины, развешенные по стенам. А потому они видели дома, которым еще только предстоит появиться, и все сады и виноградники, подобно тому, как они видели новорожденную планету, сияющую в руках старших богов. И был среди них один, кого другие не знали, столь древний, что он выпадал из тех времен, что они могли прозревать. Они лишь слышали его голос. И они взирали на эту планету в тиши, пока он, нарушив безмолвие, толчком невидимой руки не привел ее в движение.

Призрак немного рассказал об этой планете прозой, вскоре перейдя на стихи, а потом на пение; и по мере того как доходил он в своем описании до экстаза, мелодия восходила к звукам, недоступным моему слуху, но по его глазам и по едва уловимым токам околдованного эфира я чувствовал, что он продолжает петь о той планете. Потом он рассказал, что древний бог, тот, кого другие не знали, от щедрот своих невидимой рукой раскидал у подножья гор крупницы золота — одну только горсть, но то была горсть божьей десницы; и эта золотая пыль сверкала на склонах под светом небес.

Боги некоторое время любовались этой красотой; а потом, окинув взглядом ход времен, один из них заметил то, что таилось во временах, скрытых в глубине садов. И в тех временах сады исчезли, исчез и лес, и виноградники; ручьи струились по своим руслам вдоль омертвевших склонов; люди рыли золото, и младших богов поразил ужас. Только древний бог, которого они не знали, оставался невозмутимым, и его безмятежность пережила века целых созвездий.

Думается, картина, которую увидели в тот момент боги, была еще страшнее, чем описал ее призрак. Он вновь заговорил прозой, а потом замолчал и разрыдался. Кажется, самый младший из богов произнес: «Можно ли нам не собирать эту золотую пыль?»

А голос того, кого они не знали, ответствовал: «Уже слишком поздно».

И потом вновь прошли века под властью невидимой руки бога, которого они не знали. Покуда самый младший из богов не сказал: «О, пусть тот, кого мы не знаем, превратит золото в железо».

И в тот последний миг бог, которого они не знали, мановением невидимой длани превратил крупницы золота в железо. И планета мирно продолжила свой путь, а люди на ней жили, воздвигая виноградники и поклоняясь богам — иным, не тем, которых знал этот призрак.



Богатство Яхна

ARDOR CANIS

Не принято обсуждать публично исключение из какого бы то ни было клуба его члена. По двум причинам: с одной стороны, это с очевидностью вредит клубу, а с другой — такие обсуждения обычно невыносимо скучны публике. Но некоторые аспекты недавнего исключения мистера Таббнера-Уорбли из Клуба избирателей столь необычны, что оно выбивается из общего порядка. Нет нужды объяснять, что Клуб избирателей — это очень старый клуб и что его основатели всегда стремились сделать его как можно более закрытым, для чего одно из требований к членству, как следует из его названия, состояло в том, чтобы каждый кандидат имел право избирать в парламент. И если этому требованию сейчас отвечает несколько большее количество народа, чем предполагалось изначально, то виноват в этом не клуб, который непоколебимо придерживается этого правила, а государство.

Я упомянул об этом правиле, просто чтобы объяснить название клуба; но правило, важное для моего рассказа, правило, в соответствии с которым был исключен Таббнер-Уорбли, состояло в том, что если ежегодный взнос платили чеком, то чек должен быть кроссирован*. Член клуба, о котором идет речь, обычно платил посредством банковского поручения, и банк, а точнее, один из его клерков, нанятый на временную работу уже в войну, выписал некроссированный чек. Ответственность за это, разумеется, легла исключительно на Таббнера-Уорбли и, в соответствии с другим правилом, которое предусматривало исключение в наказание за преднамеренное нарушение устава клуба, он был исключен. Вот и все, что известно об этом сейчас, — правление сочло, вполне достаточно; но мне кажется, обстоятельства, которые заставили правление действовать именно таким образом, настолько неординарны, что заслуживают обнародования.

Таббнер-Уорбли вошел в возраст, когда жизненные интересы и страсти стали его покидать; но вместо того чтобы совершать моцион или придерживаться диеты, он обратился к врачу. Что само по себе совершенно разумно, неразумно только придавать слишком большое



значение обыкновенной апатии и вялости, не страдая никакой определенной болезнью, которую могут излечить врачи. Наверное, доктор прописал каломель*, но это не возымело действия, и через несколько дней врач понял, что столкнулся со сложнейшей задачей: лечить человека, который ничем не болен. Скоро он обнаружил, что его медицинские знания неприменимы в данной ситуации, и стал давать Таббнеру-Уорбли некоторые общие рекомендации относительно диеты и прочего, и вспомнил о последних достижениях медицины, которые сам еще не опробовал, но которые могли помочь или не помочь в подобных случаях. В конце концов, нет другого пути проверить на практике последние достижения медицины, кроме экспериментального; и поскольку к экспериментам над животными относились весьма неодобрительно, оставались пациенты.

— Существует новый препарат, — сказал доктор Потрингтон, ибо именно к этому специалисту обратился Таббнер-Уорбли, — которым лечат случаи, подобные вашему. Совсем новый и пока широко не используемый, но вреда он вам не принесет.

И он вкратце рассказал об *ardor canis*¹ — вытяжке из мозга собаки, которая, будучи введена в вену, возбуждает, если верить ее разработчику, бодрость, интерес к жизни и кипучую энергию, столь знакомые всем, кто имел дело с собаками.

— Не скажу, — заключил доктор Потрингтон, — что он сделает с вами все, что обещает доктор Шнильц, но в вашем случае даже слабая стимуляция может восстановить баланс, который, мы, ээ, надеемся и, ээ, ожидаем...

— Огромное вам спасибо, — тепло сказал Таббнер-Уорбли.

И на следующей неделе прошел курс лечения. Не думаю, что доктор Потрингтон хоть сколько-нибудь верил в это новое открытие, но уколы, тем не менее, делал. Вероятно, он просто устал от Таббнера-Уорбли, и это естественно: он был хороший врач, а перед ним был человек, которого не от чего было лечить. С таким же успехом можно попросить скрипача сыграть на досках забора, из которых нельзя извлечь никакой музыки. И к тому же Таббнер-Уорбли был скучный малый, можно сказать, скучный, как собака, хотя это совер-

¹ *Ardor canis* (лат.) — здесь: «собачий пыл».



шенно неправильно, ибо собаки не бывают скучны. Результат лечения поверг доктора Потрингтона в величайшее изумление.

Мы впервые после лечения увидели Таббнера-Уорбли в Клубе избирателей, когда он, войдя, подбежал к швейцару в холле и стал чрезвычайно заинтересованно спрашивать, нет ли для него писем. Швейцар скорбно протянул ему один-единственный рекламный проспект, ибо, исходя из поведения Таббнера-Уорбли, естественно предположил, что тому за время отсутствия должно было прийти романтическое послание или уж во всяком случае очень важное письмо. Таббнер-Уорбли разорвал конверт чуть ли не с жадностью – странно употреблять это слово по отношению к рекламному проспекту, однако любое другое будет неточным. Жадно сорвав конверт, он тут же, прямо в холле, начал читать его содержимое с выражением столь бурного восторга, что первый же член клуба, которому случилось в этот момент подойти за своей почтой, сказал: «Хорошие новости, я вижу». Потому что не обратить внимания на то, с каким удовлетворением фонтанировал Таббнер-Уорбли, было невозможно.

– Да, да, – ответил Таббнер-Уорбли. – Прекрасные новости, новости – лучше не бывает. Существует фирма, которая хочет продать мне газонокосилку. Прекрасная вещь. Чрезвычайно замечательная вещь. Запах свежескошенной травы, ее зеленый поток льется и льется, и с ним смешиваются белые головки маргариток.

– Понятно, – сказал член клуба не вполне убежденно. – У вас красивый газон.

– Нет-нет, газона у меня нет.

– Тогда сад.

– Нет-нет-нет, сада тоже нет. Ничего такого, – сказал Таббнер-Уорбли. – Но я смогу косить по обочинам дорог. Или еще где-нибудь. Это будет приятно. В высшей степени приятно. Запах свежескошенной травы, такой чудесный, такой...

Его собеседник внезапно исчез.

Я и сам смотрел в этот момент на Таббнера-Уорбли, бурно радующегося рекламному проспекту. Вдруг, все в том же состоянии



бурной радости, он совершенно потерял интерес к проспекту и подбежал к новому радиатору, установленному в холле.

– Изумительное изобретение, – сказал он. – Воистину прекрасное. С ним так тепло и уютно. Чрезвычайно полезное изобретение.

В это время по холлу проходил один из членов правления клуба; ему, вероятно, приятно было услышать столь высокую оценку радиатора, за установку которого он частично отвечал. Однако он быстро прошел мимо.

Затем Таббнер-Уорбли отправился в библиотеку, подбежал – даже если и не подбежал, то в любом случае двигался он неоправданно энергично – к креслу перед камином и сел, с бессмысленным восторгом уставившись в огонь. Красота пламени совершенно очаровала его. И я должен сказать, что огонь в камине – это действительно прекрасно. Безусловно, это так, но воспитание почему-то заставляет нас в какой-то мере скрывать свои чувства, даже если нам что-то очень нравится; и привычка не слишком замечать всякие такие вещи, вероятно, уменьшает количество ситуаций, когда мы испытываем бурный восторг.

Но Таббнер-Уорбли заметил красоту огня, и то, как он демонстрировал глубочайшее наслаждение, выражаемое глазами, лицом и всей его повадкой, явно раздражало других членов клуба. Я не вполне понимаю, что именно вызывало их раздражение, но началось все именно с этого, и очень скоро – при том, что все читали разные газеты, имели разные интересы и любимые темы для обсуждения – выявился один общий для всех интерес, если можно так выразиться, одна общая тема для обсуждения: бурный восторг Таббнера-Уорбли по поводу всего, что попадаете ему на глаза.

Я описываю эпизоды малозначительные, и многим может показаться, что правление Клуба избирателей было к Таббнеру-Уорбли слишком строго; но дело в том, что никто из нас не создан жить постоянно на таком накале, и хотя, вероятно, следует признать, что приятно видеть человека счастливым, долго смотреть на Таббнера-Уорбли было все равно что долго смотреть на огромный водопад или затянутую кульминацию какой-нибудь великой драмы, или



бесконечно слушать страшные новости. Это утомляет. Вы скажете, можно отвернуться. Именно так большинство из нас и пыталось поступить, но это оказалось непросто.

Он начинал энергично вертеть головой, стараясь поймать чей-нибудь взгляд и рассказать о величественной красоте огня, но поймать чей-нибудь взгляд было трудно. Это забавно, потому что когда он был скучным стариком, многим из нас приходилось делать некоторое усилие над собой, чтобы не показывать естественного желания обойти его стороной, а теперь, когда он стал совсем не скучен, теперь, когда он проявлял больше жизнерадостности, чем кто бы то ни было, все с редким единодушием избегали вступать с ним в беседу. Боюсь, человеческий род нелогичен — или логика бесчеловечна.

Далее следовал обед, и Таббнер-Уорбли спешил в столовую. Там он брал меню, сопровождая это нелепым жестом радости, которой теперь были отмечены все его действия, и начинал читать с удовольствием, которое мы считали отвратительным. Не стану оправдывать такое отношение. Мало что способно принести нам большее наслаждение, чем хороший аппетит, и один из главных признаков хорошего клуба это хорошая кухня; но как только кто-то другой демонстрирует хороший аппетит вкупе с желанием и готовностью хвалить еду, обеспечиваемую правлением, у нас это вызывает почему-то отнюдь не радость, но сильнейшее отвращение.

Таббнер-Уорбли заказывал себе обед с пылом коллекционера, который добавляет к собранию всей жизни три-четыре завершающих его образчика, остальные члены клуба выражали глубочайшее неодобрение его восторгу, а официанты удивлялись.

Ел он возмутительно. Во всяком случае, именно это слово употребляли члены клуба при последующем обсуждении, и таково было общее мнение клуба. В сущности, он не делал ничего такого, что нарушало бы порядок, ничего такого, что могло бы вызвать возражения правления. Это стало ясно, как только вопрос о нем был вынесен на рассмотрение; и поэтому обвинение, в конце концов выдвинутое против него, состояло в том, что он заплатил взнос посредством некроссированного чека. Но хотя я ничего не могу сказать о том, как он ел, но могу свидетельствовать хоть на перекрестном допросе



в суде: без сомнения, удовольствие от еды, которое он демонстрировал, я бы даже сказал, неземное блаженство, в высшей степени пришлось не по вкусу остальным членам клуба.

Любопытно, насколько нам свойственно бросаться из одной крайности в другую: выкажи Таббнер-Уорбли отвращение к своему обеду, нас бы, вероятно, беспокоило удовольствие, которое мы получали от нашего, и мы бы тоже его порицали, причем куда более заслуженно. Все смотрели, как он, выходя из столовой, останавливался заплатить у кассы. Даже это он делал с неуместной радостью. Безусловно, невозможно ни объяснить, ни оправдать наше неприятие того, как он это делал, поэтому чем меньше я буду говорить об этом, тем лучше.

Я ищущу оправданий тому, что правление исключило из клуба Таббнера-Уорбли. Он сделал еще одну непозволительную вещь. Он справлялся о здоровье каждого члена правления. Он расспрашивал каждого в отдельности, подробно, он заступал им дорогу и даже поджидал у двери, из которой они должны были выйти. Боюсь, мои читатели скажут: но почему бы ему и не осведомиться о здоровье своих друзей? Я понимаю, это трудно понять. Но он делал это с таким пылом, словно действительно хотел знать, что по большому счету нормально, но просто так не делается ни в одном приличном клубе, каковым, безусловно, является Клуб избирателей, и правление этого не вынесло.

Я отдаю себе отчет в том, что ни один из упомянутых мною отдельно взятых случаев не доказывает правоты правления. Но следует помнить, что подобные вещи происходили ежеминутно; от бурной радости Таббнера-Уорбли некуда было деться. Может быть, радость – это очень хорошо; это и в самом деле хорошо. Но если какой-то член клуба хочет побыть в одиночестве или написать письмо, то куда более предпочтительно, чтобы в помещении библиотеки царила атмосфера более приземленная: печаль, усталость и даже дремота. К тому же наряду с эпизодами, мною рассказанными, случился еще один.

В клубе состоял некий старик по фамилии Уорг, с которым никто не дружил. Он был зануда, причем зануда, обиженный на весь



мир. Когда-то он изобрел что-то, и это что-то запатентовал кто-то другой. Мы все избегали старика Уорга. И вот Таббнер-Уорбли подбежал к нему со своим непреходящим пылом и стал спрашивать, как вы себя чувствуете, надеюсь, что хорошо, и стал слушать бесконечную историю Уорга с восторженным выражением проповедника-минорита*, которому явилось откровение.

Опять-таки, я понимаю, что неубедителен; только тот, кто знает, насколько непередаваемо скучен был Уорг, согласится со мной; но знали об этом все. Поощрять Уорга таким образом значит ухудшить ситуацию. Мы и так-то с трудом выносили искрящуюся жизнерадостность Таббнера-Уорбли, а усиление занудства Уорга стало для нас последней соломинкой.

Вы спросите, почему не исключили Уорга? Да просто не исключили, как все мы знаем. Ни один клуб не исключает своих зануд под выдуманными предложениями. Я говорю не о том, надо или не надо их исключать. Я просто говорю, что это невозможно, и, следовательно, незачем и предлагать. Нет, правление клуба столкнулось с явлением совершенно новым, с таким явлением не может мириться ни один клуб, и комитет поступил правильно.

Если остались хоть какие-то сомнения в этом, послушайте, что еще сделал Таббнер-Уорбли.

Один из членов клуба, с которым он был едва знаком, вознамерился уйти, и Таббнер-Уорбли подбежал к нему со словами, что пойдет прогуляться с ним вместе. Если я еще не убедил вас в правоте правления – а я боюсь, что не убедил, что мне не удалось передать, сколь сильное раздражение вызывал Таббнер-Уорбли у всего клуба, – то, боюсь, вы с трудом поверите в то, что я сейчас скажу. Этот член клуба его ударил. Вот до чего дошло. Он это сделал не нарочно, он просто нетерпеливо дернул своей палкой, но жест получился очень резким и палка сильно задела голень Таббнера-Уорбли.

В ту же секунду он понял, что не только нанес оскорбление законам страны, но, что гораздо хуже, совершил действие, какого никогда не позволял себе ни один член Клуба избирателей в самом клубе и в его окрестностях. На мгновение он буквально остолбенел. Но то, что за этим последовало, стало самым отвратительным эпизодом во всей истории с Таббнером-Уорбли.



Он подскочил ближе к ударившему его члену клуба и стал возбужденно выражать надежду, что не вызвал его раздражения, стал уверять, что у него не было такого намерения и что впредь раздражать его не станет, и так далее, и так далее, и так далее. Другие члены клуба отвернулись и поспешили прочь с выражением глубочайшего отвращения, а Таббнер-Уорбли все бежал за ним, уверяя в чистоте своих намерений и глубочайшем уважении к нему.

Интересно, что среди группы членов клуба, наблюдавших этот прискорбный инцидент, один употребил выражение «как побитый пес». Причем не из желания оскорбить, не надо думать, что все настолько плохо. Он имел в виду все ту же чрезвычайную суетливость, присущую собакам, которая с недавних пор отличала и поведение Таббнера-Уорбли.

Что ж, если я не смог обосновать обвинения в адрес Таббнера-Уорбли, то уж правление не смогло тем более. Я уже рассказал о правиле относительно кроссированных чеков. Это было неукоснительно соблюдаемое правило, потому что около ста лет назад случился мощный скандал по поводу кражи чека, и, чтобы предупредить его повторение, было введено это правило. Как я уже рассказал, Таббнера-Уорбли исключили за нарушение этого правила, и через несколько дней жизнь клуба вошла в обычное русло, и любой его член мог спокойно отдыхать после обеда без нелепых историй о газонокосилке, и никому не устраивали перекрестного допроса о состоянии его здоровья.

Если из этого можно извлечь какую-либо мораль, то, я полагаю, мораль в том, что человек должен быть доволен собой. Зануда должен быть доволен своим занудством, к которому он худо-бедно приспособился и которому соответствует лучше, чем чему бы то ни было. Измени он этому занудству, измени разговорам о погоде и дежурному вопросу, как здоровье, начини он всерьез добиваться ответа – тотчас попадет в безбрежное море, слишком бурное, чтобы в нем верно ориентироваться. И окажется, если оставить метафоры, жертвой гнева тех, кто охотно мирился с его занудством и уж, во всяком случае, несомненно, терпел его.

Так Таббнер-Уорбли исчез из наших жизней.

ПРОВАЛ В ПАМЯТИ

Но ночью, нейтральная полоса. Джонни вдруг пришел в сознание и сразу понял, где он. Увидел две вспышки сигнальных ракет Вери* – это значит: война, и он между двумя линиями укреплений, почти посередине. Сколько он себя помнил, он всегда был Джонни, и сейчас он вспомнил это имя. Кажется, потом у него было еще одно имя, но какое, он вспомнить не мог. Из носа текла кровь, потом перестала, уши тоже слегка кровоточили, в остальном он был цел.

Внезапное возвращение в сознание, накатившее, как прилив, обострило восприятие, он быстро осмотрел окрестности и верно определил свое местоположение. Зловещие зеленые огни вспыхивали лишь время от времени, но эти редкие вспышки освещали оба оборонительных рубежа. Он был почти ровно посередине между ними. Насколько он мог рассмотреть в темноте, он лежал на земле, которую не расчищали годами. Вокруг были бурьян, грязь, воронки от снарядов. Бурьян просто громадный.

Он лежал в яме – то ли это была старая дорога, то ли воронка от большого снаряда или даже двух-трех. Луны не было, только свет от ракет Вери, и он не видел далеко и не мог понять, дорога или воронка. Да это и неважно. Важно было, где чей рубеж и на какой он стороне. Время от времени мерцающая зеленая ракета падала рядом с ним, освещала то, что его окружает, и с тихим шипением гасла. Его каска, или что там у него было на голове, исчезла. При первой же зеленой вспышке он осторожно огляделся, ища ее, потом при двух-трех следующих, но не нашел. Должно быть, ее отбросило тем же, что повредило ему нос.

Его план состоял в том, чтобы найти свою каску и при вспышках порхающих ракет сравнить с теми, которые он видел в траншее перед собой; если они имеют одинаковую форму, ползти к тому рубежу, если нет, то ползти назад, найти какую-нибудь каску и сравнить. Но он не мог найти свою каску. Он подумал, не поискать ли ее, отползая подальше, но мудро рассудил, что не стоит, потому что если ему повезет найти там какую-нибудь каску, то нет доказательств, что

это его каска, даже если она подойдет по размеру. У него на воротнике и на погонах были знаки различия, но это ничем не могло ему помочь.

Потом он подумал о языке. Он мог говорить достаточно внятно и осмысленно — для пробы тихо произнес несколько слов себе под нос. Тот рубеж, где говорят на этом языке, и будет его. Но и на том, и на другом рубежах царило безмолвие, только с обеих сторон летели снаряды и разрывались невдалеке с совершенно одинаковым звуком.

Рядом пахло трупом, и он пополз в темноте в ту сторону, чтобы при свете очередной ракеты посмотреть, какая на нем форма и куда обращено лицо. Он подполз к трупу, и почти тотчас вспыхнула ракета, на несколько мгновений залив все вокруг неестественным зеленым светом. На трупе была не такая форма, как на Джонни, и цвета немного другого — он вытянул руку, чтобы сравнить с цветом своего рукава и убедиться в этом в призрачном свете «Вери». Труп лежал лицом к нему.

Согласно теории Джонни, это доказывало, что рубеж перед ним удерживала не его сторона. Но теперь, когда он был на месте и смотрел на убитого солдата, эта теория уже не казалась такой уж безупречной, потому что солдата могли убить и при отступлении, и при наступлении. Рубеж впереди него был ярдах в сорока, другой — чуть дальше. По-прежнему с обеих сторон не доносилось ни слова. Он еще раз посмотрел на знаки различия, они по-прежнему ничего ему не говорили.

Война шла уже давно: это было видно по мощи бурьяна. Он подумал: почему воюем? Может быть, это движение больших народов, внезапно ставших кочевыми? Или война происходит от каких-то явных разногласий между двумя государствами, одно из которых — его? Каким бы ни было это движение, по эту сторону траншеи оно замерло на некоторое время — и на довольно-таки значительное. Он вспоминал, на чьей стороне воюет.

На исходе ночи вспышки ракет участились. Разрывы снарядов тоже. Теперь снаряды ложились ближе и взрывались в воздухе — красные вспышки в зеленом свечении «Вери». Это оживление, говорил его военный опыт, предшествует предрассветной атаке. Значит, у него есть военный опыт, хотя он не помнил, в какой армии



он появился и в силу каких событий, или, может быть, из учебников. Но этот опыт глубоко укоренился, потому что превратился в своего рода инстинкт; инстинкт говорил ему, что перед рассветом бывает атака. И если атака начнется, он постарается рассмотреть в темноте, какая форма на атакующих, и если такая же, как на нем, то пойдет вместе с ними. Если же не такая, то останется лежать, совершенно как лежащий рядом труп, только что без запаха. И нужно будет узнать форму в темноте, не шевеля головой, а это непросто.

Там, где полагалось быть востоку, появился проблеск света. Он рос и ширился, но атака не начиналась. Становилось все светлее и светлее. В яме он был надежно укрыт. Ему не хотелось есть: наверное, ел недавно. И даже пить не очень хотелось. Стремительно наступало утро; чернота сменилась бледными красками рассвета. Он отчаянно старался что-нибудь вспомнить; но вспоминалось, очень ясно и живо, только лишь детство. Вспоминалось, как он собирал цветы в бескрайних полях, — или казавшихся бескрайними; вспоминалось, как он помогал на сенокосе; почему-то вспомнились куры — такие ослепительно чистые, что, должно быть, это были воспоминания самого раннего детства. Ничего, что говорило бы о том, на чьей он стороне. Но, может, если подождать, то вспомнится.

Утро наступило; запели птицы. Их пение было ему знакомо, но он не помнил, где слышал его раньше. Утро разгоралось. Он приготовился прожить еще день в этой грязи.

СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ



Все началось с того, что Э. Дж. Бринли, рассказавший мне эту историю, совершенно случайно встретил трех своих бывших учеников, причем каким-то непостижимым образом с возрастом они стали именно такими, какими привиделись ему во сне (о котором как раз эта история), избрав те самые профессии и достигнув в них того самого положения, и это сподвигло Бринли, наконец, поведать историю, которую в свое время, много лет назад, он однажды хотел было рассказать, однако прикусил язык, полагая, что, если рассказать



ее целиком, его сочтут чересчур эксцентричным, а это могло отрицательным образом сказаться на его карьере.

В те времена Бринли был младшим преподавателем в Этчестере, и однажды утром во время летнего семестра, в день, вроде бы ничем особо не отличавшийся от остальных, последовавший за днем, в которой тоже не произошло ничего особенного, и уж тем более — ничего выдающегося, он вошел, как обычно, в свой класс и, не глядя вокруг, подошел к своему столу и хотел открыть учебник.

А когда поднял глаза, его взору предстало нечто настолько удивительное, что это запомнилось ему навсегда, и он уверяет, что даже спустя многие годы детали этой сцены свежи в его памяти, как в тот день. Он помнил всех своих учеников, и кто из мальчиков где сидел, если здесь вообще уместно слово «мальчик». На самом деле первое, что он заметил, подняв голову от стола, — в классе пустовали многие парты, да и за партами сидели вовсе не мальчики, а судьи в мантиях, генералы в форме, адмиралы и даже один епископ.

От удивления он онемел. Разумеется, правильнее было бы велеть им покинуть класс, потому что у них не было никаких оснований там находиться, однако это были явно те, кому мог указывать молодой человек. И тут он заметил еще одну поразительную вещь: все они держали в руках ручки и явно ожидали, что сейчас он начнет им что-то диктовать, и чем дольше он на них смотрел, тем больше убеждался, что это были ученики, и что они пришли на урок. Что же он мог им сказать?

По расписанию был урок латыни, однако он был уверен, или почти уверен, что большинство из них латынь знает лучше него, ну уж епископ точно! Он мог, конечно, прочесть лекцию о каком-нибудь поэте времен Августа для взрослой аудитории, однако возраст здесь был ни при чем — сама идея учить этих судей и генералов, сидящих за детскими партами, словно лишила его дара речи. Но не мог же он просто сидеть молча! Ведь все они от него чего-то ждали, это было ясно. И в этот щекотливый момент своей вынужденной немоты он вдруг заметил в классе мальчика.

Это был Моксли, впоследствии поэт, а тогда — четырнадцатилетний мальчик, единственный из присутствовавших в классе



моложе пятидесяти лет, не считая самого Бринли. Присутствие Моксли в классе в данный момент оказалось для Бринли даже лучше соломинки для утопающего, оно сыграло роль хорошего крепкого бревна на пути измученного пловца, спасающегося во время кораблекрушения.

— Что ты здесь делаешь? — спросил он Моксли, поскольку Моксли, сидевший за одной партой с епископом, смотрелся здесь пугающе неуместным, хотя он-то как раз в данный момент находился там, где ему и полагалось в этот час, и был единственным в комнате, кто выглядел именно так, как и должен был выглядеть, и так, как Бринли и ожидал.

— Мне снится сон, сэр, — ответил Моксли.

— Какой сон? — спросил Бринли. — Вечно тебе что-то снится.

— Вот этот сон, сэр, — сказал Моксли, обводя взглядом класс.

— Давай-ка приступай к занятиям, — сказал Бринли.

Моксли склонился к учебнику, и в этот момент все генералы и судьбы исчезли, и весь класс заполнился учениками. Исчезли и пустые места за партами.

По-моему, шок от этого события слегка подпортил Бринли настроение, вообще-то он слыл справедливым учителем, но, быть может, он побоялся, будто ученики подумают, что примерно на полминуты у него помутился рассудок. Как бы то ни было, он дал задание Моксли переписать оду — в качестве наказания за невнимательность.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДВЕРЬ



Когда Альфред Питерс был юным первокурсником колледжа Святого Хильдебранда, ему казалось, что старшие ведут себя совсем как дети. И дело тут не в каком-то его предубеждении — наблюдая за ними, он обратил внимание, что они рассказывают друг другу какие-то детские байки, свято в них веря и передавая их из уст в уста. Он сделал вывод, что даже самая глупая история может передаваться от поколения к поколению и жить веками. Соответствующим образом он и судил об этих людях. Одна из таких бессмысленных баск, услышанная им сразу же после поступления в колледж Святого Хильдебранда, как раз подкрепила его мнение о старших. Ни один

из рассказчиков данной истории не выказал ни малейшего сомнения в ее подлинности, а ему она показалась в высшей степени абсурдной. И если до этого он еще сомневался в своих выводах, то сия история окончательно убедила его.

В одной из внешних стен колледжа имелась железная дверь, ключ от которой был только у декана, и байка, собственно, была такая, что когда декан уже был не в состоянии закрыть эту железную дверь, он должен был подать в отставку. История эта с самого начала показалась Питерсу глупой, однако, не желая идти на поводу у предубеждений, он решил прежде самостоятельно убедиться, может ли закрывание этой двери быть сопряжено с какими бы то ни было трудностями. Он стал прохаживаться возле железной двери как раз в те часы, когда декан, чье расписание было достаточно регулярным, обычно проходил мимо. В каком-то смысле это был для Питерса очень важный день, ибо он решил поставить небольшой эксперимент с целью оценить подлинность традиции и весомость мнения тех, кто данную историю передавал из уст в уста. Декан явился минута в минуту, открыл дверь своим ключом и вошел внутрь.

– Вы позволите помочь вам закрыть ее, сэр? – спросил Питерс.

– Благодарю, – ответил декан и подождал, пока Питерс закроет дверь. И Питерс закрыл дверь, и они разошлись.

– Я закрыл ее мизинцем левой руки, – рассказывал Питерс впоследствии одному из своих приятелей. – Вся эта история – полнейшая чушь.

– Но ведь к старости люди становятся намного слабее, – предположил кто-то из приятелей.

– Ну, не надо меня убеждать, – сказал Питерс, – что невозможно закрыть эту дверь обеими руками, не важно, сколько тебе лет, если я могу это сделать одним левым мизинцем.

И молодежь согласно закивала, и Питерса признали правым.

Шли годы, и Питерс получил ученую степень. Потом годы полетели еще стремительнее, и Питерс сделался членом совета колледжа Святого Хильдебранда. Он все еще не забыл эту забавную, но совершенно бессмысленную байку. Годы полетели еще быстрее, и вот уже он сам стал деканом. И по-прежнему история про дверь казалась ему забавной только с точки зрения ее полнейшей бессмысленности.



Но однажды ему в голову пришла мысль, совершенно неожиданная. А может быть, мысль эта уже в нем зародилась, но он не обращал на нее внимания, пока она вдруг не втемяшилась ему в голову. А мысль была такая – что по естественным причинам дверные петли должны были заржаветь сильнее, чем в годы его молодости. Иначе и быть не могло, ведь это была дверь на улицу. Он хотел было поручить кому-нибудь смазать петли, но в то же время не желал давать повода для суеверий, связанных с дверью, ведь они были совершенно абсурдными, а он не хотел забивать ими голову молодого поколения, чье образование было возложено на его плечи.

Поэтому, вместо того чтобы поинтересоваться, не забывали ли регулярно смазывать дверные петли, он решил, что ему проще будет прилагать чуть больше усилий, чем требуется, закрывая эту дверь. И это ему легко удавалось. Правда, порой ему хотелось, чтобы какой-либо юный первокурсник предложил ему свою помощь, как он однажды предложил декану, который вот уже сорок лет как умер. Сорок лет когда-то казались ему целой вечностью. И если усилие, которое он прилагал, чтобы закрыть дверь, его чересчур утомляло, он с легкостью компенсировал это, укорачивая на несколько сотен ярдов свою ежедневную прогулку.

В течение года этот план работал идеально. А на следующий год он еще и еще укоротил свои прогулки, по-прежнему полагая, что эти мелкие ухищрения все же лучше раздувания глупых суеверий про железную дверь, которые могут возникнуть, если поручить кому-то регулярно смазывать дверные петли. Проверив однажды петли, он обнаружил явные следы того, что петли кто-то недавно смазывал, и это его ободрило, хотя он до конца так и не понял, показалось ли ему это или так было на самом деле. Но совершенно очевидно было одно – дверь закрывать ему с каждым днем все труднее – труднее, чем раньше, и намного, даже летом.

А уж зимой стало и вовсе тяжело. Тяжело! Никогда за всю свою жизнь он ни разу не употребил этого слова по отношению к двери. Сама мысль о возможном затруднении с дверью всегда казалась ему полной чужью. Его прогулки в окрестностях колледжа стали короткими, и все укорачивались, так что он практически все время находился на территории колледжа, и в духовном смысле колледж Свя-



того Хильдебранда стал для него целым светом, окруженным по краям блеклым сумраком города, в котором колледж располагался.

Он постоянно находился в физическом контакте с колледжем, — и когда, выходя, опирался правой рукой о стену колледжа, и когда, возвращаясь назад, опирался о стену левой рукой. Покинуть колледж Святого Хильдебранда было для него равносильно тому, чтобы покинуть этот свет, он с большей готовностью примирился бы с собственной кончиной, чем с отставкой.

Как-то холодным зимним вечером он возвращался в свой домик декана, пройдя через железную дверь в стене. Ему уже не просто казалось, будто ему тяжело. Ему действительно было физически тяжело закрывать железную дверь. Выходит, пришло время сбыться этой абсурдной легенде, которую он услышал когда-то. Легенде или суеверию. Абсурдной? Ну, разумеется, абсурдной. С самого начала Питерс так для себя решил и не собирался идти на попятную. Теперь у него и вправду не было сил поступаться своими убеждениями, глубоко укоренившимися в его сознании. Тяжело? Да не так уж это и тяжело. Просто сама по себе идея абсурдна. Ему-то вполне по силам было закрыть эту дверь.

И он ее закрыл. Казалось, сама ледяная ночь пришла на помощь железной двери, но он их обеих поборол и закрыл эту дверь, а через несколько часов его нашли возле железной двери мертвым.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕНСАЦИИ



Один клуб, популярный среди журналистов, слетавшихся туда ближе к ночи разузнать о последних новостях для завтрашних газет, частенько хаживал один старик — с ним мало кто общался, и он сидел себе и с безмолвным удовольствием слушал чужие беседы, порой до самого рассвета. А общались с ним мало, потому что он не умел просто болтать о том о сем, у него в запасе была лишь одна шикарная история, и все, кроме разве что новичков, знали, что все равно из него и клещами ничего не вытянешь, и чем дальше, тем меньше оставалось тех, кто вообще знал о его шикарной истории, поэтому то и дело новички норовили сообщить ему, старику Госколду, всякую банальщину, которую они подцепили нынче



утром и намеревались тиснуть в колонки вечерних газет. А он слушал эту чушь да посмеивался. Завсегдатаи клуба снисходительно наблюдали всю эту тщету и порой, сжалившись над юным простофилей, предостерегали: «Слушай, на твоём месте мы бы не стали травить такие байки старику Госколду».

А молодой человек спрашивал: «А что такого?»

И ему ответствовали: «А то, что он в своё время был автором самой большой сенсации».

«Да что вы! — восклицал молодой человек. — И как же это ему удалось?»

А старожилы отвечали: «А никто так и не узнал. Но мы бы не стали Госколду рассказывать всякую ерунду».

Но однажды вечером, когда все сидели в длинной зале, курили, беседовали и выпивали, а старый Госколд, как водится, молча слушал, он вдруг заговорил. Он сказал:

— Уж не знаю, задумывались ли вы когда-нибудь, друзья, как я добыл этот сюжет про Трансерину.

Понятное дело, в этом клубе если уж о чём всерьёз и задумывались, то именно об этом. В воздухе повисло неловкое молчание. А потом кто-то сказал:

— Ну, да, в своё время я думал об этом.

— Видите ли, — продолжил старик Госколд, — вот не далее как вчера я прочёл, что умер последний из них, — последний из тех, кому это действительно было не безразлично, и я вдруг подумал, что, поскольку всех нас это рано или поздно не минует, расскажу-ка я это кому-нибудь из вас, а то ведь об этом так никто и не узнает.

— Да будет вам, вы проживёте ещё тысячу лет, — сказал кто-то.

— Эх, — сказал Госколд, — скорее тысячу дней. Но я в этом вовсе не уверен. Так вот, а произошло вот что, если вы, друзья мои, хотите знать.

Было так тихо, что вы бы услышали, как упала булавка. Тут, кстати, кто-то уронил спичку, и она упала с ужасным грохотом. А старик Госколд начал свой рассказ.

— Все вы помните, ну, некоторые из вас, конечно, нет, но все вы об этом читали, как европейские газеты сообщили однажды, что Император с Наследным Принцем намереваются отобедать в охотничьем дворце Принца в старом каштановом лесу у подножия Черных гор.



И, если вы помните, тогда целый месяц в связи с этим всех заверяли, будто визит носит сугубо спортивный характер, и цель его – охота на зайцев. Об этом не говорилось разве что в передовицах, и эту мысль мусолили и так и эдак, убив на это целый месяц. Одни газеты сообщали, какой ужасный урон наносят зайцы сельскому хозяйству Европы, другие – каким непревзойденным охотником на зайцев является сам Император. А на следующий день рассказывали о том, как Наследный Принц обожает спорт, и так далее, и тому подобное. В итоге и мы все, и весь свет знал больше, чем хотелось бы, о каждом из двух тысяч зайцев, которых планировалось подстрелить в каштановом лесу. И ни слова не было сказано о Трансерине.

И молодые члены клуба, и его завсегдатаи были прекрасно осведомлены, что имеет в виду Госколд под словом «Трансерина». С давних пор в клубе знали, что старик Госколд раскрыл заговор Императора по захвату Трансерины, который мог бы привести к преждевременному захвату Европы, но никто на самом деле не знал, каким образом Госколду это удалось.

– Начнем с того, – продолжал Госколд, – что на том обеде присутствовали только трое – Император, Наследный Принц и премьер-министр его отца. Его отец, конечно, был влиятельной фигурой в европейской дипломатии, влиятельнейшей фигурой, но к тому времени он был уже слишком стар, чтобы разбираться в происходящем. Официанты, прислуживавшие за обедом, должны были выйти из зала через две имеющихся там двери, миновать две задние комнаты, и затем дальние двери этих комнат должны были запереть. Мне было известно, как все это будет организовано, известно было и то, что у дальних дверей будут стоять охранники. Обед предполагался на втором этаже, на высоте шестидесяти футов от земли, и все окна, само собой, были закрыты. Я должен был находиться в саду среди магнолий, и не мог услышать даже их голоса, не говоря уже о том, что конкретно они там говорят. Еще там была высокая стена, через которую невозможно было перебраться, ну и, разумеется, тогда и мечтать не могли обо всяких современных штуковинах вроде радиоустановок и микрофонов, не говоря уже о том, что их еще тогда не изобрели. В общем, все складывалось не очень-то многообещающим образом, не так ли?



– Для меня, – сказал один из старейших членов клуба, – вся эта история так и осталось полнейшей загадкой.

– Так вот, – сказал старик Госколл, – начнем с того, что я догадывался о замыслах Императора. Но это и так все знали, хотя месяц пропаганды сильно заморочил всем голову пресловутыми зайцами, и Император не отправился бы в каштановый лес, пока история с Трансериной не была бы как следует замаскирована. Я не претендую на то, что соображал тогда лучше других. Как и все, я напрочь забыл о судьбах Европы и думал только про зайцев, потому что газеты ни о чем ином в течение месяца и не писали. И вдруг однажды я читаю в одной из европейских газет статью с разъяснениями, будто внутренние дела Трансерины ну никак не могут представлять никакого интереса для Императора. Там были изложены очень веские причины для этого, серьезнейшие причины. Однако я заметил в этой статье одну вещь.

Я заметил, что она была написана человеком выдающегося, экстраординарного ума. В доводах, изложенных в статье, угадывалась какая-то навязчивая убедительность, говорившая о том, что данную работу проделал специалист высочайшего класса. Статья меня абсолютно во всем убедила, как убедила бы любого из вас. Но потом я сказал себе: «Зачем было нанимать специалиста высочайшего калибра, настоящего гения, чтобы заставить нас поверить, как глупо было бы думать, будто Император может проявить малейший интерес к внутренним делам Трансерины?» В общем, это заставило меня задуматься.

К счастью, статья была написана задолго до этих событий, и у меня оставался почти месяц на подготовку. Одна вещь представлялась мне достаточно очевидной, и если бы я ошибался, то потратил бы много времени впустую, и вот что это было: если они и вправду собирались обсуждать дела Трансерины, не было никакого шанса подслушать это через двери, ну, конечно, если вы не планировали, что вас проткнут штыком, да и тогда тоже. Короче говоря, если хотите узнать, что я в итоге сделал, если это может послужить для вас когда-нибудь руководством к действию, я назову вам две вещи, которые я предпринял, и они являются самыми важными.

Первая – я твердо решил, как я вам только что сказал, что не собираюсь заниматься подслушиванием, а вторая вещь – мне необ-



ходимо было понять, что конкретно надо сделать, чтобы разузнать, собираются или нет, они обсуждать дела Трансерины. Все остальное меня не интересовало, пусть они говорят о любых других странах, пусть хоть про зайцев, но если они проронят хоть словечко про Трансерину, весь свет должен об этом узнать, вот, собственно, и все. При этом любые попытки подкупить кого-нибудь из официантов были абсолютно бессмысленными, потому что он все равно не смог бы подобраться достаточно близко, чтобы подслушать, как я очень верно рассудил, а еще потому что он не успел бы даже потратить полученные деньги, и это тоже прекрасно было мне известно.

И что же в итоге я сделал? А вот что. Я провел этот месяц в приготовлениях. Я купил молодого смышленного пса, дворняжку, к слову сказать, ибо они зачастую обладают недюжинным умом, маленького песика с пронзительным тонким голосом. Наверное, некоторые из вас гадают, кто же в итоге подслушал, когда Император заговорил о Трансерине. Так вот – именно он. Целый месяц я его дрессировал. Да, дрессировал. Представляете себе собаку, которую дрессировали, чтобы она погибла во славу своей страны или лаяла в интересах империи? В общем, я его надрессировал лаять при упоминании Трансерины. Он насобачился это делать за неделю. А к концу второй недели это слово невозможно было при нем произнести, чтобы он хоть раз не гавкнул. И если ему немедленно не давали кусочек сахара, он принимался гавкать громче и громче. А еще я надрессировал его тихонько прятаться под столом.

Вот и все. Да, я еще дал сто фунтов официанту, который посадил пса под стол. И это вернулось сторицей. В каком-то смысле это вернулось сотнями миллионов фунтов. Ибо Император все ж таки заговорил о Трансерине, как нам всем нынче известно. И песик услышал его, а я услышал песика и обнародовал все остальное, и мы на какое-то время спасли мир. Ну, что уж теперь говорить, теперь уж все пропало.

Последняя фраза старика Госколда сильно удивила некоторых из молодых посетителей клуба, – юношей в военной форме, посетивших любимое пристанище на время своей увольнительной. Ведь мир казался им прекрасным, пусть даже он и лежал в руинах. Но старик Госколд был слишком стар, чтобы надеяться дожить до того дня, когда этот мир отстроят заново.

КОММЕНТАРИИ

«БОГИ ПЕГАНЫ»

(The Gods of Pegana)

 ервая книга Лорда Дансейни была напечатана за его счет в 1905 году у лондонского издателя Элкина Мэтьюза. Читатели встретили книгу благосклонно, хотя она и показалась необычной.

Это сборник историй, посвященный вымышленным Дансейни божествам, живущим в Пегане. Книга иллюстрирована художником Сидни Саймом.

Комментарии к этому и другим сборникам по большей части основаны на автобиографической книге Лорда Дансейни «Солнечные блики»¹.

В 1903-м Дансейни больше интересовался охотой на лис и политикой, чем писательством. В книге воспоминаний он пишет, что на него оказали влияние два события: встреча на охоте с мистером Джеком Хоуп-Джонстоном, с которым они много разговаривали о литературе, и просмотр в Театре Его Величества спектакля «Любимец богов»².

«Когда я начал писать, в изображаемых мною богах не было ничего японского, тем не менее, “Любимец богов” помог мне показать, что это мир, границы которого находятся за пределами самой

¹ Lord Dunsany «Patches of Sunlight». NewYork: Reynal & Hitchcock, 1938.

² «Любимец богов» (1902) – пьеса из японской истории, написанная американскими драматургами Дэвидом Беласко и Джоном Лютером Лонгом. Перу Д. Беласко также принадлежит пьеса «Мадам Баттерфляй», вдохновившая Дж. Пуччини на создание одноименной оперы.

дальней охоты на лис и вне каких бы то ни было политических схем. Много лет спустя, когда в Театре Его Величества проходил аукцион, я вспомнил об этой манившей руке, указавшей мне на Восток, и купил все акварельные эскизы декораций к этой пьесе.

И с тех пор я пишу, ведомый двумя источниками света, которые далеко не всегда светят вместе, — поэзией и юмором»¹.

Лорд Дансейни сам сделал рисунки к этой книге, сознавая при этом, что можно найти иллюстрации гораздо лучше. «Но мне казалось, что только два человека могли бы проиллюстрировать книгу так, чтобы мне понравилось. Про одного я знал, что он уже умер, а про другого не знал, жив ли он. Эти два художника, что произвели на меня такое впечатление, были Гюстав Доре² и Сидни Сайм³. По счастью, Мистер Сайм не только оказался жив в 1904 году, но и живет до сих пор. Этот удивительный человек согласился сделать для меня восемь иллюстраций, и я никогда не видел работающего в черно-белой графике художника с таким колоссальным воображением. Я ставлю его выше Бёрдсли⁴ и не знаю, кто еще из живущих сейчас художников мог бы создать волшебные сцены на бумаге с помощью туши и краски из ламповой копоти. Разумеется, нарисованные им для моей книги боги и их небеса были совсем другими, чем я их воображал, но я понимал, что невозможно поймать Пегаса Сайма и провести его точно тем же путем, каким шел я сам, а если и возможно, то только подрезав ему крылья.

Поэтому я предоставил мистеру Сайму возможность делать то, что ему нравится, и я считаю, что восемь иллюстраций, которые он сделал для моей первой книги — одни из самых замечательных, что я когда-либо видел»⁵.

¹ «Patches of Sunligh», p. 114.

² Поль Гюстав Доре (1832–1883) – французский гравёр, иллюстратор и живописец.

³ Сидни Херберт Сайм (1867–1941) – английский художник, известный фантастическими картинами и, среди прочего, иллюстрациями к книгам Лорда Дансейни.

⁴ Обри Винсент Бёрдсли (1872–1898) – английский художник-график, иллюстратор, декоратор, поэт, один из виднейших представителей английского эстетического движения 1890-х гг.

⁵ «Patches of Sunligh», pp. 114–115.



«...мистер Сайм прислал иллюстрации, и я стал лучшего мнения о себе, потому что то, что было мною увидено и записано прозой, нашло еще один способ выражения. Например, как-то утром я видел лебедей в Кламбере, когда был там вместе с покойными герцогом и герцогиней Ньюкасл, и шелест их крыльев и воспоминание о Южной Африке дали толчок фантазии, что отразилось в одной из историй “Богов Пеганы”, только я превратил лебедей во фламинго, а теперь они украшают эту удивительную иллюстрацию¹. Насколько мои фантазии далеки от реальных путешествий, когда-либо совершенных мной, можно судить по следующему фрагменту, взятому со страницы рядом с этой иллюстрацией, украсившей мою книгу: “Они продолжали лететь на Юг мимо всех миров, оставляя их за собою, пока впереди не оказались лишь Аракес, Задрес и Хираглион. Отсюда огромная Ингази казалась лишь светлой точкой, а Йо и Миндо больше не были видны”»².

«ВРЕМЯ И БОГИ»

(Time and the Gods)



торая книга Лорда Дансейни. Впервые была издана в сентябре 1906 года Уильямом Хейнеманном и впоследствии неоднократно перепечатывалась.

Дансейни предварил ее коротким предисловием. Книга представляет собой сборник рассказов, связанных с вымышленным Дансейни миром божеств, населяющих Пегану.

Книгу иллюстрировал любимый художник Дансейни, Сидни Сайм.

Вот что пишет о сборнике сам автор:

«В течение этой зимы и следующим за ней летом рассказы, которые я теперь – и в дальнейшем – диктовал своей жене, сложились в книгу, которую я назвал “Время и боги”. Эта книга и после-

¹ См. иллюстрацию к «О том, кто не был ни богом, ни чудовищем», с. 115.

² «Patches of Sunlight», p. 118.

довавший за ней сборник “Меч Веллерана” были названы, как большинство сборников коротких рассказов, по, я бы сказал, неправильному принципу, то есть по одному из рассказов сборника. Я просто следовал существующей традиции, но сейчас мне кажется, что у книги должно быть отдельное, собственное название. Хотя я считаю, что все фантазии получают толчок от мира, в котором мы живем, оказалось, мне трудно проследить, с чем именно связаны фантазии, породившие “Время и боги”, потому что я придумывал по мере надобности небеса и земли, и королей, и народы, и обычаи; но нисколько не ощущал, что выдумываю, казалось, я записываю историю земель, которые видел в позабытых теперь странствиях. Название рассказа, по которому я озаглавил книгу, возникло, подобно большинству названий, как единственно возможное для этого рассказа, словно он уже где-то был записан и назван, а оригинал этого названия я сумел проследить, потому что через несколько лет натолкнулся на строчку Суинберна, начинавшуюся словами: “Время и боги враждуют”¹, и подумал, что когда-то давно услышал эту строку, возможно от мистера Хоуп-Джонстона, но забыл ее, и она погрузилась в глубины сознания, туда, где возникают фантазии. Это всего три слова, и легко предположить, что употребление двумя разными людьми одних и тех же трех слов – не больше чем совпадение, но я верю, что память умирает не так легко, как нам кажется, и чувствую себя в долгу перед Суинберном за эти три слова. Первая часть книги представляет собой мир, где правят боги Пеганы, но по мере того, как книга продвигалась вперед, я сделался еретиком по отношению к собственной ереси и написал рассказы о людях, поклонявшихся другим богам”².

¹ “Time and the Gods are at strife...” – Алджернон Чарльз Суинберн «Гимн Прозерпине» (1866).

² «Patches of Sunligh», p. 124-125.

**«ПЯТЬДЕСЯТ ОДНА ИСТОРИЯ»****(Fifty-One Tales)**

Сборник коротких фантастических рассказов-притч, впервые опубликованный в апреле 1915 года одновременно в Лондоне и Нью-Йорке, соответственно, Элкином Метьюзом и Митчелом Кеннерли. Английское и американское издание несколько различаются порядком расположения рассказов, кроме того, в каждом есть одно произведение, которое не повторяется в другом: в английском варианте это маленький рассказ-виньетка «Поэт говорит с Землей»¹, в американском – «Туман». В 1974 году в США этот сборник был также переиздан под заглавием «Пища Смерти: пятьдесят одна история» (The Food of Death: Fifty-One Tales).

Дансейни коротко пояснил историю появления этого сборника: «Я стал писать рассказы в 200-250 слов, и когда их оказалось более пятидесяти, собрал их в книгу»².

¹ Лорд Дансейни «Поэт говорит с Землей» (перевод Г. Бондаренко).

Возвращаясь однажды домой поздно с прогулки под ночными звездами, я повстречал Мать Землю, сидящую в темноте посреди Пространства, бормочущую повести о своих детях.

«Грёзы и битвы, – говорила она. – Грёзы и битвы», я не слышал от нее ни слова больше.

Я сказал ей: «О Мати, сыны твои сотворили чудеса». Я поведал ей обо всех наших машинах, о политике, о науке; о знаменитых изобретениях Человека.

Из всего этого она не помнила ничего.

«Но Пар! – восклицал я. – И Электричество!»

Нет, она не помнила ничего, лишь бормотала о поэтах и героях. Она не дрогнула даже, когда я назвал наш Парламент.

«Грёзы и битвы, – она повторяла. – Грёзы и битвы», и стала причитать стихами и рокотать рёвом древних сражений.

Мати, о Мати, ты будешь помнить о нас.

² «Patches of Sunligh», p. 157.



СМЕРТЬ ПАНА

Аркадия – область Древней Греции, обитатели которой жили скотоводством и земледелием, мало или вовсе не знали промышленности, искусств (за исключением музыки) и наук. Аркадцы пользовались у остальных греков славой гостеприимного и благочестивого народа. От этого названия произошел поэтический образ страны счастливой жизни, не ведающей забот.

СФИНКС В ГИЗЕ

Сфинкс – Большой Сфинкс на западном берегу Нила в Гизе, древнейшая из сохранившихся на Земле монументальных скульптур в виде лежащего на песке льва, лицу которого, как издавна принято считать, придано портретное сходство с фараоном Хефреном, погребальная пирамида которого находится поблизости.

Далила – в Ветхом Завете женщина-филистимлянка, обольстившая и предавшая влюбленного в нее богатыря Самсона, врага ее народа.

Фивы – греческое название столицы Верхнего Египта. В эпоху греческих царей Птолемеев, правивших Египтом, город был разрушен, его храмы пришли в запустение.

Во Флоренции есть красивейшие врата... – скорее всего, речь идет о вратах-дверях баптистерия. Эти врата украшены сложными позолоченными рельефами со сценами из Ветхого завета и с большим количеством персонажей.

Пирамида Хеопса – крупнейшая из египетских пирамид, единственное из «Семи чудес света», сохранившееся до наших дней.

СТРОИТЕЛИ ПЛОТОВ

Вавилон – один из крупнейших городов Древнего мира, столица Вавилонии.

Ниневия – с VIII–VII вв. до н. э. столица Ассирийского государства. В 612 г. до н. э. Ниневия была разрушена объединённым войском вавилонян, мидян и армян.



Персепо́ль, иначе Персеполис – древнеперсидский город, возникший в VI–V вв. до н. э., столица огромной империи Ахеменидов. *Елена (Елена Прекрасная)* – в древнегреческой мифологии прекраснейшая из женщин. Жена Менелая, царица Спарты. Была похищена троянцем Парисом, что послужило поводом к Троянской войне.

ГОСТЬ

Царь Сети – Сети I, фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 1290–1279 гг. до н. э. С его правления начинается новый блестящий период Египта – памятники снова начинают рассказывать о победах фараона и воспевать славу его царствования.

Хеопс – второй фараон IV династии Древнего царства Египта (2551–2528 гг. до н. э. или 2589–2566 гг. до н. э.), предположительно, строитель Великой пирамиды в Гизе.

Клеопатра (69–30 гг. до н. э.) – последняя царица эллинистического Египта из македонской династии Птолемеев. Прославлена благодаря драматической истории любви к римскому полководцу Марку Антонию. В годы её правления Египет был покорён Римом, сама Клеопатра покончила жизнь самоубийством, чтобы не стать пленницей первого римского императора Октавиана Августа.

СМЕРТЬ И ОДИССЕЙ

Итака – остров в Ионическом море, родина и царство Одиссея.

Афина – в древнегреческой мифологии богиня организованной войны, военной стратегии и мудрости. Кроме того, богиня знаний, искусств и ремёсел; дева-воительница, покровительница городов и государств, ума, сноровки, изобретательности. Афина помогала Одиссею в истреблении женихов Пенелопы.

Илион – другое название Трои.

ГОРОДОК

Горажвуд – станция пригородной железнодорожной сети Дублина.

Дрохеда (ирл. «мост у брода») – портовый город в Ирландии на восточном побережье в 56 км. к северу от Дублина.

ОГРОМНЫЙ МАК

Ронсеваль – ущелье в Пиренейских горах, на границе современных Франции и Испании. Здесь в 778 г. произошла битва, в которой войска Роланда, командующего армией Карла Великого, были разбиты басками. Это сражение описано в поэме «Песнь о Роланде».

ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ СЕРЬГОЙ

Саргассово море – море, лишенное берегов. Часть Атлантического океана, окруженная со всех сторон течениями: теплыми Гольфстримом, Северным Пассатным течением и холодным Канарским течением. Большие скопления плавучей бурой водоросли – саргассов – вызвало появление множества легенд. Благодаря некоторым романистам центральные районы Саргассова моря приобрели известность как фантастическое царство, где друг на друге громоздятся некогда затонувшие, битком набитые сокровищами суда, многие из которых пролежали там уже сотни лет, а обитатели этого удивительного царства, занесенные сюда неумолимыми морскими течениями, равнодушны к сокровищам, бесполезным для них.

ПРОИГРАННАЯ ИГРА

Дейнотерий (от др.-греч. «ужасный зверь») – вымерший представитель отряда хоботных, третий по величине среди наземных млекопитающих всех времен, его превосходили только наиболее крупные виды мамонтов и гигантский носорог индрикотерий. Отличительная черта – загнутые вниз бивни на нижней челюсти.

НА ПИКАДИЛЛИ

Пикадилли – одна из самых широких и оживлённых улиц в историческом центре Лондона – Вестминстере. Протягивается от площади Пикадилли (на востоке) до Гайд-парка (на западе).



ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗГНАННИКОВ

Стоунхендж – каменное мегалитическое сооружение на Солсберийской равнине в графстве Уилтшир. Находится примерно в 130 км к юго-западу от Лондона. Один из самых знаменитых археологических памятников в мире, внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Два старика-изгнанника – скандинавские боги Тор (с молотом) и Один (с копьём).

ПРИРОДА И ВРЕМЯ

Тир – знаменитый финикийский город, один из древнейших крупных торговых центров. Находился на территории современного Ливана, современное арабское название – Сур.

Фарсис – в наиболее распространенном значении: место, откуда экспортировалось серебро. Некоторые комментаторы (Иосиф Флавий) полагали, что за Фарсисом скрывается киликийский Тарс.

«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЪЕЛ ФЕНИКСА»

(The Man Who Ate the Phoenix)



Борник впервые опубликован в Лондоне издательством «Джарролдс» в декабре 1949 года. Дансейни посвятил эту книгу своей племяннице – леди Мэри Клайв. Она тоже была писательницей (умерла в 2010-м, прожив 102 года).

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЪЕЛ ФЕНИКСА

(повесть)

Старый мореход – главный герой поэмы С. Кольриджа «Сказание о старом мореходе», который совершает тяжкий проступок и в наказание должен вести рассказ о своем злодеянии.

Лепреккон (лепрехун) – персонаж ирландского фольклора, традиционно изображаемый в виде небольшого коренастого человечка. Цвет

одежды лепрекона зависит от местности, из которой он происходит. В XX веке в массовой культуре лепреконов обычно изображают одетыми во всё зелёное. В 1948 г. в американском городе Портленд (штат Орегон) был создан миниатюрный парк Милл Эндс Парк, прозванный «единственным местом жительства лепрекона к западу от Ирландии». Создатель парка, остроумный журналист Дик Фаган, утверждал, что поймал на этом месте лепрекона, который исполнил его желание – личный парк, неоговоренных размеров.

Кавендиш и Берк: Уильям Кавендиш-Бентинк, 3-й герцог Портлендский (1738–1809) – 15-й и 20-й премьер-министр Великобритании в 1783 г. и с 1807 по 1809 гг.

Эдмунд Берк (1729–1797) – английский парламентарий, политический деятель, публицист эпохи Просвещения, идейный родоначальник британского консерватизма.

Баньши – фигура ирландского фольклора, женщина, которая, согласно поверьям, является возле дома обречённого на смерть человека и своими характерными стонами и рыданиями оповещает, что час его кончины близок.

Сиды – в кельтской (ирландской) мифологии божественные существа, обитавшие под землей в холмах, в пещерах, расщелинах скал, а иногда на чудесных островах в океане. В ирландской мифологии есть множество сюжетов о соперничестве смертных и сидов, проникновении героев в их мир с целью сватовства или добывания чудесных предметов.

Даны (дуны) – остатки древних укреплений в виде кольцеобразных земляных валов на холмах. Ирландцы верят, что это – жилища и крепости фей.

Фейри – общее наименование сверхъестественных существ в фольклоре германских и кельтских народов, прежде всего – шотландцев, ирландцев и валлийцев.

Тара («Холм королей») – длинная невысокая возвышенность в Ирландии возле реки Бойн в графстве Мит, в 32 км к северу от Дублина, сложенная из известняков. На холме находится множество



древних памятников. Тара считается древней столицей Ирландии (до XII века), резиденцией и местом коронации Верховных королей. *Боррис* – деревня на юге Ирландии, находится в графстве Карлоу (провинция Ленстер).

Гаршнеп – вид птиц из семейства бекасовых, выделяемый в отдельный род. Величина гаршнепа составляет от 17 до 19 см, размах крыльев насчитывает от 30 до 36 см, а вес колеблется в пределах от 40 до 60 г. Он значительно меньше похожего бекаса.

Ши, или Сид в ирландской мифологии, потусторонний мир, населённый туатами, которых в народе, за место обитания, также именовали сидами. Это также название холмов, поскольку считалось, что именно в них находится мир сидов. В христианскую эпоху к сидам стали также относить ирландских языческих богов. Отличались необычайной красотой.

РАССКАЗ СТАРИКА

Кромвель, Оливер (1599–1658) – вождь Английской революции, выдающийся военачальник и государственный деятель, в 1643–1650 гг. – генерал-лейтенант парламентской армии, в 1650–1653 гг. – лорд-генерал, в 1653–1658 гг. – лорд-протектор Англии, Шотландии и Ирландии. Считается, что его смерть наступила от малярии или же от отравления. Уже после смерти его тело было извлечено из могилы, повешено и четвертовано, что было традиционным наказанием за измену в Англии.

ОПАЛОВЫЙ НАКОНЕЧНИК СТРЕЛЫ

Вино горгонди – см. рассказ «Тайна моря» из сборника «Новейшая Книга Чудес» (3-й том настоящего издания).

Тот, кто сказал, что лучшая вещь на свете – не родиться вовсе... – речь идет о Филоне Александрийском (ок. 25 г. до н. э. – ок. 50 г. н. э.) – выдающемся представителе еврейского эллинизма (центром которого была Александрия), религиозном мыслителе и апологете иудейства, оказавшем большое влияние на последующее богословие.

КАК БЫЛ ОБНАРУЖЕН МИСТЕР ДЖАПКЕНС

Стрэнд – центральная улица Лондона, которая соединяет районы Вестминстер (центр политической жизни) и Сити (центр деловой активности).

Риммон (др.-евр. «гранат, гранатовое яблоко») – древнееврейское название арамейского божества Хаддада, или Хаддада Римона, которого позднее отождествляли с греческим Адонисом. По иной версии, Риммон – это ассирийский бог грозы Рамман, его атрибутом был плод граната – символ Солнца и плодородия.

Ариммон – возможно, Ариман, бог зла в религии древнего Ирана.

ВЫБОР

Цыган Пульони – действующее лицо рассказа «Висельник» из сборника «Меч Веллерана» (2-й том настоящего издания).

РОЗА ТИББЕТС

Великие пирамиды Гизы, Висячие сады Семирамиды, Колосс Родосский, храм Артемиды в Эфесе, гробница Мавзола, Александрийский маяк, статуя Зевса (в Олимпии) – семь чудес света, самые прославленные достопримечательности культуры Ойкумены.

Кортес, Эрнан (Фернандо Кортес де Монрой и Писарро Альтамирано, 1485–1547) – испанский конкистадор, завоевавший Мексику и уничтоживший государственность ацтеков.

Юлий Цезарь (100 или 102 до н. э. – 44 до н. э.) – древнеримский государственный и политический деятель, диктатор, полководец, писатель.

Вордсворт, Уильям (1770–1850) – английский поэт-романтик, основной автор сборника «Лирические баллады», условно относимый к так называемой «озёрной школе».

НОВАЯ ИСТОРИЯ БЕЛОСНЕЖКИ

Гросвенор-сквер – центральная площадь квартала Мейфэр в Лондоне.



Первый бал Бланш состоялся, когда ей было всего семнадцать – обычно дебют бывает в восемнадцать лет.

Орикс (сернобык) – вид саблерогих антилоп, обитающий в Восточной и Южной Африке.

«Селфриджес» – крупнейший (второй по занимаемой площади во всей Англии) универсальный магазин, расположенный в Лондоне на Оксфорд-стрит. Название происходит от фамилии владельца, американца Гарри Гордона Селфриджа (1858–1947).

Мария-Антуанетта (1755–1793) – королева Франции, младшая дочь императора Франца I и Марии-Терезии, супруга французского короля Людовика XVI. С начала Французской революции вдохновительница контрреволюционных заговоров и интервенции. Осуждена Конвентом и казнена на гильотине.

Лорд-камергер – главное должностное лицо королевского двора, непосредственный начальник распорядителя королевских увеселений, ответственный за все придворные развлечения.

ПРИЧИНА

Он так и не смог – Лорд Дансейни был заядлым охотником, путешественником, воевал в Первую мировую войну. Ему приходилось непосредственно сталкиваться и с холодным оружием. Вот какую историю приводит Дансейни в своей книге воспоминаний: «...Еще я проводил время [в Риме] с Хорасом Коулом, знаменитым своими розыгрышами¹, моим большим другом. Он в это время был в Риме, картинно выздоравливая после того, как сломал ключицу, упав с лошади во время охоты. Как правило, к нему на чай приходили дамы, узнать, как здоровье этого романтического персонажа, так что навещать его не было скучно. Многие из друзей Хораса становились мишенями его шуток, и моя “неприкосновенность” была нарушена

¹ Хорас де Вир Коул (1881–1936) был эксцентричным любителем розыгрышей и поэтом. В 1910 г. в компании Дункана Гранта, Эдриана Стивена и его сестры, писательницы Вираджинии Вульф, он присутствовал на торжественной церемонии спуска на воду корабля Ее Императорского Величества «Дредноут», переодевшись абиссинским королем. Друзья изображали свиту. Никто не заподозрил обмана, пока сам Коул не рассказал о шутке газетчикам.



в эпизоде, который произошел в этот раз в Риме. Мы подшучивали друг над другом у него в комнате, дурачась все больше и больше, пока я не сгруппил – в ответ на какой-то его выпад намазал джемом одну из его щеток для волос. Хорас совершенно справедливо потребовал извинений, но, возможно, оказался слишком нетерпелив – вытащил шпагу из трости и направил острием мне в горло, сказав: “Если не извинишься, не выйдешь из этой комнаты живым”. Шпага была реальной, кончик клинка находился в дюйме от моего тела, но была ли реальной угроза? Я решил, что нет, и вышел, а Хорас со своей шпагой постороились. Потом он сказал мне какой-то комплимент, и мы разошлись»¹.

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ

Полкроны – английская монета в пять шиллингов.

РАССЛЕДОВАНИЕ ЛИЛИ БОСТУМ

Новый Скотланд-Ярд – в 1890 году часть полицейских управлений Скотланда-Ярда (штаб-квартира полиции Большого Лондона, исключая лондонский Сити) была перемещена на набережную Виктории, и получила название Новый Скотланд-Ярд.

Великая хартия вольностей – грамота, подписанная английским королем Иоанном Безземельным (Король Джон) 15 июня 1215 года и ставшая в последующем одним из основополагающих конституционных актов Англии.

ПОЧЕТНЫЙ ЧЛЕН КЛУБА

Атлас (или Атлант) – в греческой мифологии могучий титан, сын титана Иапета и Климены. От имени Атлант произошло название Атлантического океана, поскольку титан поддерживал небо недалеко от сада Гесперид на крайнем западе земной тверди. Он был приговорен держать на голове и руках небесный свод за участие в повторной титаномахии против олимпийских богов.

¹ «Patches of Sunlight», p. 143-144.



В ДОЛИНЕ ЛЮТИКОВ

Энгадин – регион в швейцарском кантоне Граубюнден. Расположен в долине реки Инн от перевала Малоя и до австрийской границы у перевала Финстержюнг.

Тузис – коммуна в Швейцарии, окружной центр, находится в кантоне Граубюнден. Входит в состав округа Хинтеррайн.

Гравиньи – река и город во Франции, в Северной Нормандии.

ПОСЛЕОБЕДЕННАЯ РЕЧЬ

...к двадцати одному игроку – в крикет играют две команды по одиннадцать человек.

JE-NE-SAIS-QUOI

Je-ne-sais-quoi (с франц. буквально «сам не знаю что») – в искусстве XVIII века этот термин употреблялся в связи с красотой, невыразимой словами (русская калька – распространённый до середины XIX века эпитет «неизъяснимый»). Определяет некую невыразимую суть искусства, нечто расплывчатое и неопределенное. Первое употребление выражения в описанном значении приписывается Жан-Жаку Руссо.

ПОСЕЙДОН

Пелопоннес – южный полуостров Балканского полуострова, соединяющийся с ним Коринфским перешейком.

Посейдон – в древнегреческой мифологии бог морей, второй сын Кроноса и Реи, брат Зевса, Геры, Деметры, Гестии и Аида. Храм Посейдона в Пестуме – памятник древнегреческого искусства, развалины которого сохранились до сих пор, был построен к 440 году до н. э. и был действующим по крайней мере до I века нашей эры.

Шмелевидки – род бабочек из семейства бражники, по внешнему виду напоминают шмелей, характеризуются стремительным полетом, перелетают рывками от цветка к цветку.



ARDOR CANIS

Чек должен быть кроссирован – кроссированный чек (в переводе «перечёркнутый чек») – это чек, на лицевой стороне которого проведены две параллельные линии по диагонали. Кроссированный чек не может быть непосредственно обменян на наличные деньги, его оплата производится только через кредитное учреждение. При этом владелец чека предъявляет его в банк, а банк производит списание средств со счёта лица или организации, выписавшей чек, и зачисляет денежные средства на счёт предъявителя чека.

Каломель – хлористая ртуть. Ранее использовалась в медицине как противомикробное средство, применяемое наружно в виде мази. Иногда принимали внутрь как желчегонное средство. В настоящее время в медицине практически вытеснена более современными препаратами.

Минорит – т.е. проповедник из ордена францисканцев (лат. *Ordo Fratrum Minorum*; «минориты», «меньшие братья»), католического нищенствующего монашеского ордена, основанного св. Франциском Ассизским в 1208 г. с целью проповеди в народе апостольской бедности, аскетизма и любви к ближнему.

ПРОВАЛ В ПАМЯТИ

Ракета Веры – сигнальная ракета, использующая белые или цветные огни, запускается при помощи специальной ракетницы.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕНСАЦИИ

Чёрные горы – горная цепь в Срединном и Западном Уэльсе.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Боги Пеганы

<i>Пегана</i> (О сотворении Миров).....	5
<i>Сны МАНА-ЙУД-СУШАИ</i> (О Скарле-барабанщике).....	27
<i>Слид</i> (РЕЧЕНИЯ СЛИДА, душа которого в море).....	36
<i>Хиш</i> (О Руне, боге ходьбы и о сотне домашних богов).....	48
<i>Мунг и зверь Мунга</i> (Деяния Мунга, Владыки всех смертей между Пеганой и Пределом).....	71
<i>Рейнорад</i> (Око в Пустыне).....	83
<i>Трогул</i> (О том, кто не был ни богом, ни чудовищем).....	115
<i>Корабль Йохарнет-Лехея</i> (Река).....	155

Время и боги

<i>Инзана призывает грам</i> (Легенда о Заре).....	191
<i>Услышав слово «милость», Каи</i> расхохотался (Пещера Каи).....	226
<i>Как Шаун нашел величайших богов</i> (Горечь поиска).....	257
<i>Уход Ходрана Дата</i> (Жители Йарнита).....	298
<i>О чудо! Это боги!</i> (За честь богов).....	325
<i>Йазун наш бог</i> (Млидин).....	377
<i>Гробница Праотца Зея</i> (Тайна богов).....	408
<i>Погребальная песнь Шимоно Кани</i> (Странствие царя).....	429
<i>Танцовщица Трепещущий Лист</i> (Странствие царя).....	466
<i>Богатство Яжна</i> (Алчность).....	483
На авантитуле «Карта Страны Грёз» Сидни Сайма (1905)	

СОДЕРЖАНИЕ:

ФАНТАСТИКА И РЕАЛЬНОСТЬ ЛОРДА ДАНСЕЙНИ. <i>В. Гопман</i>	7
БОГИ ПЕГАНЫ	
Предисловие. <i>Перевод В. Кулагиной-Ярцевой</i>	25
Боги Пеганы. <i>Перевод В. Кулагиной-Ярцевой</i>	25
О Скарле-барабанщике. <i>Перевод В. Кулагиной-Ярцевой</i>	26
О сотворении Миров. <i>Перевод В. Кулагиной-Ярцевой</i>	28
Об игре богов. <i>Перевод В. Кулагиной-Ярцевой</i>	29
Песнь богов. <i>Перевод В. Кулагиной-Ярцевой</i>	30
Речения Киба (пославшего жизнь во все Миры). <i>Перевод В. Кулагиной-Ярцевой</i>	31
О Сише (которому служат Часы). <i>Перевод В. Кулагиной-Ярцевой</i>	31
Речения Слида (душа которого в Море). <i>Перевод В. Кулагиной-Ярцевой</i>	33
Деяния Мунга (Владыки всех смертей между Пеганой и Пределом). <i>Перевод В. Кулагиной-Ярцевой</i>	34
Песнь Жрецов. <i>Перевод В. Кулагиной-Ярцевой</i>	37
Речения Лимпанг-Танга (бога радости и сладкоголосых музыкантов). <i>Перевод В. Кулагиной-Ярцевой</i>	37
О Йохарнет-Лехее (боге сновидений и фантазий). <i>Перевод В. Кулагиной-Ярцевой</i>	39
О Руне, боге ходьбы и о сотне домашних богов. <i>Перевод В. Кулагиной-Ярцевой</i>	40
Бунт речных божеств. <i>Перевод В. Кулагиной-Ярцевой</i>	43



О Дорозанде (чьи глаза видят Конец).	
<i>Перевод В. Кулагиной-Ярцевой.....</i>	<i>45</i>
Око в Пустыне. <i>Перевод В. Кулагиной-Ярцевой.....</i>	<i>47</i>
О том, кто не был ни богом, ни чудовищем.	
<i>Перевод В. Кулагиной-Ярцевой.....</i>	<i>49</i>
Пророк Йонаф. <i>Перевод Н. Кротовской.....</i>	<i>51</i>
Пророк Йут. <i>Перевод Н. Кротовской.....</i>	<i>52</i>
Пророк Алхирет-Хотеп. <i>Перевод Н. Кротовской.....</i>	<i>53</i>
Пророк Кабок. <i>Перевод Н. Кротовской.....</i>	<i>53</i>
О беде, что приключилась с Йун-Иларой у Моря, и о строительстве Башни Исхода Дней. <i>Перевод Н. Кротовской.....</i>	<i>55</i>
О том, как боги погубили долину Сидифь.	
<i>Перевод Н. Кротовской.....</i>	<i>56</i>
О том, как Имбон стал в Арадеке Верховным Пророком Всех богов кроме Одного. <i>Перевод Н. Кротовской.....</i>	<i>59</i>
О том, как Имбон повстречался с Зодраком.	
<i>Перевод Н. Кротовской.....</i>	<i>61</i>
Пегана. <i>Перевод Н. Кротовской.....</i>	<i>63</i>
Речения Имбона. <i>Перевод Н. Кротовской.....</i>	<i>66</i>
О том, как Имбон говорил с царем о смерти.	
<i>Перевод Н. Кротовской.....</i>	<i>67</i>
Об Ооде. <i>Перевод Н. Кротовской.....</i>	<i>68</i>
Река. <i>Перевод Н. Кротовской.....</i>	<i>68</i>
Птица судьбы и Конец. <i>Перевод Н. Кротовской.....</i>	<i>70</i>
 ВРЕМЯ И БОГИ	
Предисловие. <i>Перевод В. Кулагиной-Ярцевой.....</i>	<i>75</i>
Часть I	
Время и боги. <i>Перевод В. Кулагиной-Ярцевой.....</i>	<i>75</i>



Приход моря. Перевод Н. Цыркун.....	78
Легенда о Заре. Перевод Е. Мурашкинцевой.....	82
Людская месть. Перевод А. Бурмистровой.....	89
Когда боги спали. Перевод Г. Шульги.....	93
Царь, которого не было. Перевод Ф. Иванова-Филиппова.....	99
Пещера Каи. Перевод В. Гришечкина.....	101
Горечь поиска. Перевод Ф. Иванова-Филиппова.....	106
Жители Йарнита. Перевод Е. Камаровой.....	112
За честь богов. Перевод Ф. Иванова-Филиппова.....	120
Ночь и Утро. Перевод Ф. Иванова-Филиппова.....	123
Алчность. Перевод Ф. Иванова-Филиппова.....	125
Млидин. Перевод Е. Мурашкинцевой.....	127
Тайна богов. Перевод В. Кулагиной-Ярцевой.....	128
Южный Ветер. Перевод И. Борисовой.....	130
Страна Времени. Перевод В. Гришечкина.....	132
Милость Сарнидака. Перевод В. Гришечкина.....	142
Шутка богов. Перевод Н. Цыркун.....	147
Сны пророка. Перевод Н. Цыркун.....	147
Часть II	
Странствие царя. Перевод Н. Цыркун.....	150
ПЯТЬДЕСЯТ ОДНА ИСТОРИЯ	
Назначенная встреча. Перевод Е. Джагиновой.....	185
Харон Перевод. Перевод Е. Джагиновой.....	185
Смерть Пана. Перевод В. Кулагиной-Ярцевой.....	187
Сфинкс в Гизе. Перевод В. Кулагиной-Ярцевой.....	187
Курица. Перевод Г. Шульги.....	189



Ветер и туман. Перевод А. Бурмистровой.....	190
Строители плотов. Перевод Г. Шульги.....	192
Рабочий. Перевод Г. Шульги.....	192
Гость. Перевод Е. Джагиновой.....	193
Смерть и Одиссей. Перевод В. Кулагиной-Ярцевой.....	195
Смерть и апельсин. Перевод В. Кулагиной-Ярцевой.....	196
Молитва цветов. Перевод Г. Шульги.....	196
Время и мебельщик. Перевод Г. Шульги.....	197
Городок. Перевод Г. Шульги.....	197
Небесные поля. Перевод Г. Шульги.....	198
Червь и ангел. Перевод Г. Шульги.....	199
Беспесенная страна. Перевод Г. Шульги.....	199
Самое последнее. Перевод Г. Шульги.....	200
Демагог и дама полусвета. Перевод Г. Шульги.....	201
Огромный мак. Перевод Г. Шульги.....	201
Дикie розы. Перевод А. Бурмистровой.....	202
Человек с золотой серьгой. Перевод А. Бурмистровой.....	203
Видение короля Карна-Вутры. Перевод А. Бурмистровой.....	204
Буря. Перевод А. Бурмистровой.....	205
Ошибка. Перевод Е. Джагиновой.....	206
Подлинная история Зайца и Черепахи. Перевод Е. Джагиновой.....	206
Истинно Бессмертные. Перевод Е. Джагиновой.....	208
Нравоучительная история. Перевод Е. Джагиновой.....	210
Возвращение песни. Перевод Е. Джагиновой.....	211
Весна в городе. Перевод А. Бурмистровой.....	212
Как враг пришел в Тлунрану. Перевод Н. Кротовской.....	213



Проигранная игра. Перевод Г. Шульги.....	215
На Пикадилли. Перевод Г. Шульги.....	216
На пепелище. Перевод Е. Джагиновой.....	216
Город. Перевод А. Бурмистровой.....	217
Пища Смерти. Перевод В. Кулагиной-Ярцевой.....	218
Забывтый идол. Перевод А. Бурмистровой.....	218
Сфинкс в Фивах (Массачусетс). Перевод В. Кулагиной-Ярцевой.....	219
Возмездие. Перевод В. Гришечкина.....	220
Беда на улице Зеленых Листьев. Перевод В. Гришечкина.....	221
Туман. Перевод В. Гришечкина.....	222
Пахарь. Перевод В. Гришечкина.....	223
Арабеска. Перевод В. Гришечкина.....	225
Возвращение изгнанников. Перевод В. Гришечкина.....	227
Природа и Время. Перевод В. Гришечкина.....	229
Песня дрозда. Перевод В. Гришечкина.....	230
Вестники. Перевод Е. Джагиновой.....	231
Три рослых сына. Перевод Е. Джагиновой.....	234
Компромисс. Перевод Е. Джагиновой.....	234
До чего мы дошли. Перевод Е. Джагиновой.....	235
Гробница Пана. Перевод Е. Джагиновой.....	236
Поэт говорит с Землей. Перевод Г. Бондаренко.....	508
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЪЕЛ ФЕНИКСА	
Человек, который съел феникса (повесть).	
Перевод В. Гришечкина	
Глава I. Как съели феникса.....	239
Глава II. Дух.....	249



Глава III. Лепрекон.....	255
Глава IV. Баньши.....	261
Глава V. Блуждающие огни.....	267
Глава VI. Зачарованный принц.....	271
Глава VII. Ведьмы.....	276
Глава VIII. Мертвецы.....	280
Глава IX. De minimis.....	287
Глава X. Царица фейри.....	292
Яблоня вдовы Флинн. <i>Перевод В. Гришечкина</i>	301
Там, где все про всех знают. <i>Перевод В. Гришечкина</i>	312
Розовый объезд. <i>Перевод В. Гришечкина</i>	315
Рассказ старика. <i>Перевод В. Гришечкина</i>	322
Как бродячий торговец вернулся в Скавангур. <i>Перевод В. Гришечкина</i>	326
Опаловый наконечник стрелы. <i>Перевод В. Гришечкина</i>	331
Домашний любимец султана. <i>Перевод В. Гришечкина</i>	340
Родословная султана. <i>Перевод В. Гришечкина</i>	343
Пророчество полисмена. <i>Перевод В. Гришечкина</i>	349
Ветер в лесу. <i>Перевод В. Гришечкина</i>	354
Тигровая шкура. <i>Перевод Е. Джагиновой</i>	358
Как был обнаружен мистер Джапкенс. <i>Перевод Е. Джагиновой</i>	361
Ночной кошмар. <i>Перевод Е. Джагиновой</i>	363
Миссис Малджер. <i>Перевод В. Гришечкина</i>	367
Выбор. <i>Перевод В. Гришечкина</i>	369
Роза Тиббетс. <i>Перевод В. Гришечкина</i>	374
Новая история Белоснежки. <i>Перевод В. Гришечкина</i>	389
Возвращение. <i>Перевод В. Гришечкина</i>	403



Безумный призрак. Перевод В. Гришечкина.....	411
Причина. Перевод В. Кулагиной-Ярцевой.....	419
Пренебрежение. Перевод Е. Джагиновой.....	421
Расследование Лили Бостум. Перевод Н. Цыркун.....	430
Вероятность жизни на третьей планете. Перевод Н. Цыркун.....	437
Старая Эмма. Перевод Н. Цыркун.....	442
Как Абдул Дин спас Правосудие. Перевод Н. Кротовской.....	446
Первый сторожевой пес. Перевод Н. Кротовской.....	450
Шахматист, финансист и другой. Перевод Н. Цыркун.....	455
Почетный член клуба. Перевод Н. Цыркун.....	457
Эксперимент. Перевод Н. Цыркун.....	461
В долине лютиков. Перевод Н. Цыркун.....	464
Благодарность дьявола. Перевод Н. Кротовской.....	470
Послеобеденная речь. Перевод Н. Цыркун.....	475
Je-ne-sais-quoi. Перевод Н. Цыркун.....	477
Посейдон. Перевод Н. Цыркун.....	479
Близко. Перевод Н. Цыркун.....	481
Ardor canis. Перевод Г. Шульги.....	484
Провал в памяти. Перевод Г. Шульги.....	492
Сорок лет спустя. Перевод Е. Джагиновой.....	494
Железная дверь. Перевод Е. Джагиновой.....	496
История одной сенсации. Перевод Е. Джагиновой.....	499
КОММЕНТАРИИ. В. Кулагина-Ярцева.....	504
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ.....	520

Литературно-художественное издание

Хрустальная проза

**Дансейни Лорд
ВРЕМЯ И БОГИ**

Выпускающий редактор
В.Ф. Матющенко

Художественное оформление,
макет, верстка, переплет
К.Ю. Конькова

Корректор
Д.В. Мельник

ООО «Издательство «Вече»

Адрес фактического местонахождения:
127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 48, корпус 1.
Тел.: (499) 940-48-70 (факс: доп. 2213), (499) 940-48-71.

Юридический адрес:
129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 47, строение 5.

Почтовый адрес:
129337, г. Москва, а/я 63.

E-mail: veche@veche.ru
<http://www.veche.ru>

Подписано в печать 20.11.2014 Формат 60×90 ¹/₁₆.
Гарнитура «Garamond». Печать офсетная. Бумага офсетная.
Печ. л. 33. Тираж 1500 экз. Заказ № А-3236.

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в типографии филиала ОАО «ТАТМЕДИА»
«ГПК «Идел-Пресс».
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2.

ХРУСТАЛЬНАЯ ПРОЗА

ЛОРД ДАНСЕЙНИ

ВРЕМЯ И БОГИ
**
РАССКАЗЫ СНОВИДЦА

КНИГА ЧУДЕС

Есть острова в Срединном море, куда не доплывет ни один корабль. Там живут повелители ночной тишины, хранители тепла домашнего очага, владыки сновидений, музыки и фантазий. Они, как и люди, играют в шахматы и даже в мяч. Только цели и задачи игры у них совсем другие. Ведь они – боги. И есть у этих богов верный пес, имя ему – Время. День за днем он служит своим владыкам, разрушая все вокруг и заставляя забыть обо всем, вплоть до самих богов.

Создатель этой причудливой концепции мироздания ирландский писатель Лорд Дансейни (1878–1957) уверял, что любит рассказывать не о том, что легко могут увидеть сотни других людей, а лишь о том, что выдумал сам. И тем не менее его мир понятен каждому, кто с ним соприкасается. В своих удивительных историях он умудряется соединить несоединимое, рассказав об устройстве Вселенной жалобным стоном ветра, а о человеческой глупости – молниеносным ударом клинка.

Строитель «Вавилонской библиотеки» Борхес и создатель «Властелина колец» Толкин, мрачный Лавкрафт и насмешливый Шекли не раз называли ирландского лорда-выдумщика в числе своих любимых авторов, находя в его обширном творчестве грань, созвучную собственному таланту. Как сказал один из вышеперечисленных коллег писателя: «Лорд Дансейни – это автор, который из любого читателя творит поэта». И это не просто красивые слова. Откройте его книги и убедитесь сами.

В данный том, первый из трех запланированных, впервые на русском языке входят полные авторские сборники разных лет. Книга содержит иллюстрации известного поздневикторианского графика Сидни Сайма (1867–1941), друга и творческого единомышленника Лорда Дансейни.

ISBN 978-5-4444-2417-9



9 785444 424179

